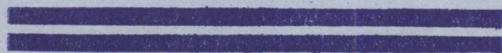


# НОВОБЫИ МИИР

12

НОВОБЫИ МИИР

12



1980

1980



# НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 12

Декабрь, 1980 г.

О Р Г А Н   С О Ю З А   П И С А Т Е Л Е Й   С С С Р

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ	
ЕВГЕНИЙ БАТЕНЧУК — Долгой тебе жизни, КамАЗ!	3
ПРОСТОР — Эдуардас Межелайтис (перевел с литовского Мих. Двинский), Леонид Шкавро, Джубан Муддагалев (перевел с казахского Вл. Савельев), Владимир Дагуров, Александр Шевелев, Марк Гроссман, Феликс Чуев, Евгения Гай, Валерий Краснополский, Леонид Вьюнник, Леонид Виноградский. Стихи	21
ФРАНЦ ТАУРИН — Каменщик революции, повесть о Михаиле Ольминском	32
ЮРИЙ ЧЕРНЯКОВ — Пространство для маневра, повесть. Предисловие Николая Евдокимова	134
<b>ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ</b>	
ГИЙОМ АПОЛЛИНЕР. Перевел с французского М. Кудинов	186
<b>ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ</b>	
ГРИГОРИЙ РЕЗНИЧЕНКО — Трудный выбор	190
<b>НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ</b>	
С. КОНДРАШОВ — Прикосновение к Хиросиме	203
<b>ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ</b>	
ВЛ. КУПЧЕНКО — Вольнолюбивая юность поэта. М. А. Волошин в студенческом движении	216
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
ВЕСОМОЕ ПИСАТЕЛЬСКОЕ СЛОВО: Вл. Воронов. Художник и его время; Евгений Сidorov. Критическая проза поэта	224
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
Литература и искусство	236
С. Семанов. Всеволод Вишневский — писатель «напора, труда, драк, мук и побед...». — Вл. Новиков. «Героев начну ремеслу обучать...». — Игорь Волгин. Уроки Гоголя.	

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	246
<b>В. Елисева.</b> Женщины революции.— <b>И. Забелин.</b> Первый космос.— <b>В. Турбин.</b> Педагогика истории.	
<b>КОРОТКО О КНИГАХ:</b> Владимир Разумневич.— Владимир Беляев. Избранные произведения в двух томах. ♦ И. Борисова.— Б. Зингерман. Очерки истории драмы XX века... ♦ Маргарита Ногтева.— Елена Быкова. Большая Ордынка. Рассказы. ♦ Анна Илупина.— Асаф Мессерер. Танец. Мысль. Время. ♦ И. Пушкарева.— Ф. Д. Рыженко. Декабрь 1905. ♦ М. Галлай.— А. И. Молодчий. Самолеты уходят в ночь. ♦ О. Татевосян.— О. И. Ларичев. Наука и искусство принятия решений. ♦ А. Божанов.— А. Нежный. Решающий довод. ♦ В. Френкель.— В. В. Кунин. Библиофилы пушкинской поры. ♦ Ю. Шаратов.— Революционеры текстильного края. Сборник очерков. ♦ Г. Степанидин. — Ева Анчел. Мифы потрясенного сознания. ♦ В. Маркин.— П. А. Кропоткин. Великая французская революция 1789—1793	256
<b>КНИЖНЫЕ НОВИНКИ</b>	266
<b>СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1980 ГОД</b>	267

## НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

ЕВГЕНИЙ БАТЕНЧУК,

начальник производственного объединения КамГЭСэнергострой

★

### ДОЛГОЙ ТЕБЕ ЖИЗНИ, КАМАЗ!

Эта статья пишется в знаменательное для всей нашей страны время: близится XXVI съезд Коммунистической партии Советского Союза, наступает конец десятой пятилетки. Для нас, строителей КамАЗа, это дни особой ответственности: мы готовим к сдаче вторую очередь, завершаем дела десяти предыдущих лет. И если отойти от повседневной, будничной череды дел, можно поразмыслить над реальными результатами достигнутого, оценить успехи хозяйственной деятельности, проанализировать недостатки, мешающие нашему продвижению вперед, подвести итоги собственной работы.

Уже сегодня можно сказать, что минувшее десятилетие было для нашего народного хозяйства, для всех нас широким шагом вперед. Человек военный обязательно употребил бы для этого движения термин марш-бросок. Мне ближе другой термин — восхождение; мне кажется, что трудные успехи минувшего десятилетия в чем-то сродни нелегкому подъему к вершине.

Давным-давно миновали времена, когда мы лишь закладывали основы нашей энергетики и тяжелой индустрии, стремясь охватить как можно более широкий хозяйственный фронт. Первые ГЭС и ГРЭС, первые тракторные и автомобильные, авиационные заводы, первые химкомбинаты, гиганты электронной и радиотехнической промышленности — мы стремились получить как можно больше продукции нашего, отечественного производства.

В минувшее десятилетие мы решали задачу, оказавшуюся не менее сложной: добиться высокого качества наших изделий, чтобы продукция, выпускаемая отечественной промышленностью, по своим техническим параметрам находилась на уровне последних достижений мировой науки и техники.

Для строительства как одной из важнейших отраслей народного хозяйства тоже наступила новая пора. Отжило представление о строителе как о человеке с кайлом и лопатой, с тачкой и носилками. Теперь и людей-то на стройплощадке не увидишь: все сидят в кабинах — экскаватора, или крана, или автомашины, или бульдозера. «Пешими» остались монтажники, сварщики, каменщики, бетонщики; они и механизаторы — вот главные фигуры на нынешней стройплощадке. В стране возникла современная строительная индустрия, выпускающая заводы по производству заводов. Сегодня у нас, строителей, тоже период восхождения к трудным вершинам мастерства: мы обязаны строить быстро и дешево, причем создавать предприятия, способные выпускать в массовом масштабе продукцию, превосходящую или, во всяком случае, сравнимую с лучшими мировыми образцами. А это, в свою очередь, означает, что мы должны возводить гиганты энергетиче-



ки и промышленности не по типовым образцам, а весьма и весьма сложные в исполнении.

Одно из таких предприятий — Камский автозавод по производству большегрузных автомобилей, первая очередь которого пущена в ход в 1976 году, а вторая сейчас готовится к сдаче заказчику.

Наступила горячая пора: пусковой период. Минавтопром СССР принимает от нас готовые здания новых цехов и заводов, энергетические мощности, административно-бытовые корпуса, подстанции — десятки и сотни объектов, откуда уже выметен строительный мусор, где уже отполированы бетонные полы и настелена деревянная шашка, установлено технологическое оборудование.

Вот почему сегодня, накануне XXVI съезда нашей партии, в дни окончания десятой пятилетки и пуска второй очереди КамАЗа, мне хочется, как сказал поэт, «остановиться, оглянуться» — оглянуться и единым взором окинуть путь, пройденный нами на берегах Камы в минувшее десятилетие. То был период бурного, напряженного строительства, преобразившего край.

Минувшее десятилетие произвело в здешних краях решительное переустройство. Вместе с КамАЗом возник новый крупный город, в территориально-производственном комплексе образовался мощный промышленный узел с центром в Набережных Челнах. Этот узел вписался в общую карту народного хозяйства, обеспечил себя и окрестности электроэнергией.

Энергетические возможности промышленного узла должны всегда несколько обгонять потребности региона, тогда легче его развивать экономически. Эта азбучная истина регионального планирования привела, по сути дела, к тому, что именно мы, энергостроители, оказались первыми на берегах Камы, организовали свое крупное строительное подразделение, опираясь на которое и было создано объединение КамГЭСэнергострой, или сокращенно КамГЭС.

Можно сказать, что стройка КамАЗа началась с создания Заинской ГРЭС, одной из крупнейших электростанций европейской части России. Именно она, Заинская ГРЭС, обеспечила энергией дальнейший разворот работ, создав на некоторое время задел энергетической мощности для Челнов. Прошли годы, и мы можем сегодня сказать, что с тех пор КамГЭС построил несколько ТЭЦ в Казани, возвел плотину Нижнекамской ГЭС и ввел в эксплуатацию первые ее агрегаты, а также еще более 10 крупных сооружений энергетики в районе. С 1970 по 1978 год было запущено 22 турбины, 23 паровых котла, 13 водогрейных, компрессорная станция в Шемордане, подстанции в Сидоровке, а в 1979 году мы сдали подстанции КамАЗу. За десять лет на Нижнекамской ГЭС, Заинской ГРЭС, ТЭЦ автозавода, казанских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, на прочих объектах Минэнерго СССР мы выполнили строительно-монтажных работ на сумму более 310 миллионов рублей.

Естественно, что гигантский разворот строительства потребовал создания и соответствующей базы строительной индустрии, без нее было бы немисливо справиться с поставленными перед нами задачами. Еще в середине 60-х годов в Набережных Челнах был создан завод ячеистых бетонов, мы ввели на нем новые мощности. Но, разумеется, этого было недостаточно. КамГЭС поставил в Челнах и его окрестностях более двух десятков крупных заводов и комбинатов, выпускающих строительные материалы и конструкции. Среди них завод силикатного кирпича, гравийный, крупнопанельного домостроения, бетонный, керамзитового гравия, растворный, железобетонный, металлоконструкций, деревообделочные комбинаты, карьеры для добычи песка, глины, гравия.

Не искушенному в строительном ремесле человеку даже трудно представить себе, сколько продукции выпустили за эти годы заводы стройиндустрии в Челнах. Только за четыре года десятой пятилетки

промышленные предприятия КамГЭСа дали стройке около двух миллионов кубометров сборного железобетона, почти 900 тысяч кубометров товарного раствора, 200 тысяч кубометров пиломатериалов, более 300 тысяч квадратных метров дверных блоков, 300 миллионов силикатных кирпичей, почти 160 тысяч квадратных метров облицовочной плитки из естественного камня...

Но самой главной нашей заботой все эти годы оставался КАМАЗ. Мне думается, читатель судит о нашей работе не по кубометрам и рублям освоенных средств — сегодня все видят, что грузовик «КАМАЗ» стал обыденной деталью наших дорог. Эту машину можно увидеть на полях Казахстана, в кубанских и ставропольских степях, в Москве и Ленинграде, в Сибири и на Сахалине. И все же я хочу напомнить, что мы построили на том гигантском квадрате земли, на той пустоши, что была отведена некогда под КАМАЗ.

Первым вступил в строй ремонтно-инструментальный завод КамАЗа, мы сдавали его заказчику в 1974 году. Нам он казался тогда громадным — 121 тысяча квадратных метров производственной площади! Но первенец КамАЗа был самым «крохотным» из гигантов автозавода. Следом за РИЗом в строй вступили кузнечный завод, завод двигателей, прессово-рамный, автосборочный, огромный литейка. Ни названия, ни даже размеры производственных площадей ничего не скажут читателю о масштабе строительства. Скажу лишь, что литейка КамАЗа состоит из нескольких заводов — серого ковкого чугуна, стального литья, цветного литья, точного стального литья. А каждый завод — из нескольких громадных цехов и корпусов. Чтобы вы могли представить себе размеры построенного, приведу одну деталь: когда крыли корпуса заводов, то рифленое железо поднимали вверх краном и грузили на мотороллер, и вот уже водитель мотороллера — какая-нибудь восемнадцатилетняя девчонка! — на полной скорости мчала по крыше завода из одного конца в другой, подвозя кровлю монтажникам.

Завод колес в Заинске, автоматнотокарный корпус, десятки, сотни более мелких объектов: административно-бытовые корпуса с душевыми и столовыми, котельные, подстанции, очистные сооружения, склады, галереи, внутривозовские дороги и коммуникации, трубопроводы — все это входит в комплекс КамАЗа, за десять лет (с 1970-го по 1979-й) мы освоили на нем 2 миллиарда 452 миллиона рублей строительно-монтажных работ.

Вместе с энергетическим строительством, созданием базы стройиндустрии заводов КамАЗа мы вели строительство нового города Набережные Челны. За те же десять лет нами сдано более 4 миллионов квадратных метров жилья, 44 школы, 70 дошкольных учреждений, 37 поликлиник, больниц, родильных домов, огромные хлебо- и молокозаводы, мясокомбинат, булочно-кондитерский комбинат, сотни зданий магазинов, ресторанов, кафе, дворцов культуры, клубов, парикмахерских, пошивочных и ремонтных ателье, комбинатов бытового обслуживания — всего того, что привычно большому городу и входит в обслугу его жителей.

Ходишь нынче по Набережным Челнам, присматриваешься к жизни горожан, к облику самого города — куда девались, к примеру, керосиновые лавки? Где обретаются теперь ломовые лошади, возившие зерно к элеватору со всего района?

В Набережных Челнах появились первые приметы крупного города. Нет, я имею в виду не подземные переходы и развязки для автомашин на двух уровнях. У нас, кстати, еще не приучились пользоваться подземными переходами и все еще пытаются по старинке перебежать улицу. Я говорю о других приметах. Социологи считают, что в крупных городах у людей возникает тоска по животным и птицам, по природе. Отсюда голубятни, множество собак и т. п. Иду я как-то по Челнам и вижу — точно, уже умельцы мастерят голубятни! Не знаю

уж почему, но мне вдруг вспомнилось, как в первые годы строительства мы практиковали показ кинофильмов на белых торцах домов... Теперь уже есть свои кинотеатры, свои дворцы культуры и клубы. Город живет, обустраивается, озеленяется, раздвигает свои пределы. Сегодня в нем уже живут около 350 тысяч человек — за десять лет в десять раз выросли Набережные Челны.

Хочу еще обязательно сказать о переустройстве сел вокруг Челнов. Без создания сельскохозяйственных предприятий, оснащенных передовой техникой, располагающих современными помещениями, без создания молочных ферм и птицефабрик — короче, без зоны мощного сельского хозяйства вокруг Челнов едва ли мог бы состояться пуск автозавода. За десять лет (с 1970 по 1979 год) КамГЭС построил 118 объектов сельского хозяйства. Коровники и картофелехранилища, свинокомплексы, склады зерна, тепличный комбинат, птицефабрика, комбикормовые заводы, силосные башни, фермы и телятники, клубы и котельные, дороги и административные здания, жилье — во всех колхозах и совхозах окрестных районов вы увидите здания, поставленные строителями КамГЭСа. За эти десять лет мы освоили на строительном-монтажных работах на селе более 200 миллионов рублей.

Естественно, это преобразило облик окрестных сел и деревень. На них лег отблеск КамАЗа. Оказалось, что рядом с гигантом автоиндустрии и современным социалистическим городом невозможно жить и хозяйствовать по старинке. Широкие асфальтовые дороги связали весь район в единый промышленно-аграрный узел, живущий насыщенной современной жизнью.

Вот, пожалуй, итог деятельности строителей в здешних краях. Нет, не только завод и город здесь созданы — произошли решительные перемены в самом укладе жизни нескольких районов Татарии. Опыт, накопленный коллективом КамГЭСа, может пригодиться в одиннадцатой пятилетке при решении задач, быть может, еще более сложных и масштабных.

Строительство КамАЗа и Набережных Челнов вывело все строительное дело в нашей стране на какой-то новый качественный уровень. Теперь уже нельзя ни строить, ни жить без оглядки на КамАЗ. Не зря сегодня говорят и пишут об уроках КамАЗа. Я уверен, что об опыте ведения скоростной стройки на берегах Камы еще не раз будут вспоминать в следующем десятилетии, осмысливая его социальное и историческое значение. В этой статье я хочу рассказать о том, что лично мне, участнику стройки КамАЗа, представляется наиболее важным в этом опыте.

### **«Сумма технологий»**

Тридцать пять лет я занимаюсь строительным делом. Первая моя стройка, по нынешним временам небольшая, — Краснополянская ГЭС вблизи Адлера... Потом были стройки побольше: Иркутская ГЭС на Ангаре, плотина в Мирном, сам Мирный в его комплексе, порт в Ленске, Вилюйская ГЭС. В 1971 году я приехал в Набережные Челны, имея за плечами солидный опыт строителя. Казалось бы, ничем уже не удивишь. И все же Набережные Челны и здешняя стройка поразили меня.

Я вспоминал, с чего начиналась Краснополянская ГЭС: два бульдозера, четыре экскаватора, буквально горстка инженеров-энтузиастов, руководимая выдающимся строителем Семеном Константиновичем Калижнюком, впоследствии начальником стройки Иркутской ГЭС, стройки Ферганского канала, Ката-Курганского водохранилища и ряда гидростанций... А с чем мы начинали строить Иркутскую ГЭС на Ангаре?

Иркутяне были очень заинтересованы в создании новой ГЭС, город в ту пору имел всего одну электростанцию мощностью в 18 тысяч киловатт, ее едва хватало на промышленность, а население вечерами сидело без света. Естественно, что нам помогали. И сама эта помощь была свидетельством нашей строительной бедности. Однажды позвонил мне главный механик железнодорожного строительства Козаченко и попросил принять в дар от него несколько ящиков с инструментами, домкраты, трос, блоки для монтажа прибывающих в наш адрес механизмов. Золототранс выделил нам трайлер, строители аэропорта — несколько автомашин.

Вот от какого нуля развивалась материальная база строек в те времена! А КамАЗ, по захватскому выражению одного из журналистов, начался с автоматов по продаже газированной воды... Это, конечно, не совсем так, но что-то верное в этом преувеличении есть.

И все же главное отличие стройки на Каме не только в насыщенности техникой. Сегодня стало азбучной истиной: нельзя начинать крупное строительство, не подготовив базу строительной индустрии, не сконцентрировав в руках подрядчика соответствующие машины и механизмы. Зде́шняя стройка отличается, на мой взгляд, от всех прочих тем, что в руках одного мощного генерального подрядчика были сконцентрированы колоссальные ресурсы: финансовые, технические, энергетические, людские... Общий итог этого разнообразного капитала невозможно исчислить ни в рублях, ни в миллионах кирпичей, ни в единицах машин и механизмов.

Я приводил уже некоторые цифры, и по ним можно убедиться, что КамГЭС ворочает миллиардами рублей. В часы пик стройки на ее объектах одновременно трудились почти 80 тысяч человек. Представляете задачу: вывезти на смену 20 с лишним тысяч человек и столько же увезти со стройплощадок домой — в общежития, в дома и вагонные городки. Размах наших действий начал носить уже не чисто хозяйственный, а социальный характер.

Неслыханный масштаб строительства, концентрация ресурсов в руках одного генерального подрядчика, отвечающего и за создание завода, и за возведение нового города, и за рост сельскохозяйственного потенциала, мощный приток рабочей силы, влияние расположенного рядом научно-технического и промышленного центра страны — все это резко повысило социальную и экономическую отдачу стройки, она оказалась высокоскоростной, технологичной.

Сама по себе неслыханная трудность задачи воодушевляла инженеров на поиски новых решений. Все понимали, что, только применяя новейшую технологию, можно справиться с правительственным заданием. В коллективе возник особый настрой: все подвергать проверке на скорость, на технологичность.

Еще когда КамАЗ только задумывался, было ясно, что придется переходить на свайное фундаментное при возведении заводских корпусов, иначе не поднять в назначенные сроки такую махину. Идею применить буронабивные сваи выдвинул Гидропроект. На первый взгляд казалось, что выход найден. Но в таких масштабах свайное фундаментное никто не применял, нам предстояло впервые в мировой строительной практике поставить этот метод на поток.

Возникла первая сложность: принципиально верное решение проблемы влекло за собой трудноразрешимые технические и организационные меры. Требовалось создать, в частности, целый комплекс механизмов для работ с буронабивными сваями, а мы его не имели в те времена. Такой комплекс спроектировали в киевском отделении Гидропроекта под руководством С. И. Мильковицкого. Следующий этап — разработка станков и механизмов комплекса. Гидропроект закончил эту разработку в 1971 году. Был сконструирован специальный станок, позволявший бурить скважину под сваю точно вертикально. За внед-



рение станка взялся Гидроспецстрой, но наш размах ему оказался не по плечу. Мы привлекли к работе наше Управление механизации, а потом создали специализированное управление Фундаментэнергострой. Наши инженеры разработали технологию производства работ, она обеспечила устраивающие нас темпы. И тут вмешалась погода...

Началась морозная камская зима 1972 года. Земля быстро промерзла, затвердела не хуже бетона и не поддавалась буру. Но идея технологичности и скорости уже овладела всеми на стройке. Мы еще не знали как, но понимали, что зима не остановит бурение. И действительно, инженеры быстро нашли выход из положения: применили электропрогрев земли в месте бурения. То был пример умелого и оперативного инженерного решения. Электропрогрев не новинка в строительстве. Но в том-то и дело, что о нем вспомнили в тот час, когда грозила остановка работ.

Так наладили поток на бурении свай. Следом за бурением по технологии работ шло армирование, заливка бетоном. Люди на морозе трудились самоотверженно, а все же бурение отставало. Причина оказалась весьма простой: станок обслуживали двое, один сидит в кабине, ему тепло, а другой рабочий у копра, он открывает и закрывает желонку, и вот он-то и не мог выдержать необходимого темп работы — мороз загонял его отогреваться в теплушку. Тогда крановщики предложили заменить неквалифицированного рабочего у копра квалифицированным крановщиком, они с напарником будут время от времени меняться местами. И сразу производительность труда на буронабивных сваях выросла в два раза. Мы выиграли на устройстве свай целый год — вот что значит технологичность в производстве работ!

Поиски ускорения строительства продолжались. Ведь технология — это некая удобная последовательность операций. И если одна из них упростилась и ускорилась, надо живее продвигаться следующим за ней. Буронабивные сваи решили одну проблему и ускорили создание фундаментов корпусов заводов. Возникла следующая технологическая задача: как можно быстрее закрыть здания, чтобы пустить в них тепло и начать работы внутри, не оглядываясь на капризы погоды.

В это самое время в КамГЭСе был создан новый метод перекрытия корпусов. На земле, в заводских условиях — точнее, в условиях, приближенных к заводским, — был пущен конвейер по сборке укрупненных блоков металлоконструкций. Проект его подготовили инженеры Гидропроекта, их возглавлял Н. Я. Шкунов; для руководства всеми работами к нам прибыл заместитель главного инженера института Е. А. Смирнов. Блоки монтировались на земле, потом грузились на специальные тележки, подкатывались к корпусу. А здесь махина весом в 50—60 тонн поднималась специальным краном наверх и там быстро устанавливалась. Выработка на одного монтажника достигла 22 тысячи рублей в месяц — цифра небывалая на монтаже металлоконструкций.

Итак, пустили в ход второе звено большого строительного конвейера, теперь дело было за третьим: изыскать средства для ускорения земляных работ внутри зданий. Предстояло форсировать подготовку котлованов для фундаментов под технологическое оборудование и для коммуникационных тоннелей, засыпку и подготовку земли под заливку полов. Возникла весьма технологичная идея: создать механизированные комплексы для производства того или иного набора работ. Каждый из комплексов должен иметь на вооружении все нужные ему механизмы и машины, включая самосвалы. Закончив все работы своего профиля, такой комплекс передавал бы фронт работ другому, следующему за ним по технологии.

Так постепенно возник непрерывный скоростной поток работ на строительстве КамАЗа. Борьба за технологичность строительных ра-

бот стала главной в нашей производственной жизни, она охватила не только инженеров, но и рядовых рабочих, бригадиров, прорабов и мастеров.

В Управлении строительством города есть бригада Вазыха Мавликова, за две пятилетки она построила около 100 зданий в Набережных Челнах, регулярно выполняет норму кладки кирпичей на 180—200 процентов. Бригада комплексная, принимает от смежников фундамент, возводит дом, облицовывает его плиткой и ухаживает, освобождая фронт работ малярам и электрикам. Особенно много хлопот им доставляла облицовка зданий плиткой, знаменитой «челнинкой», которая так украшает наш город. Дело это было для наших строителей новое — как класть эту плитку, в то время в КамГЭСе никто толком не знал. Мавликов поехал в Казань, в Алма-Ату, где живут лучшие мастера плиточного дела, вернулся, обучил бригаду передовым методам.

Однажды, когда работа у них была в полном разгаре, к Мавликову подошел звеньевой Борис Давыдов и сказал:

— Знаешь, Вазых, они там, в Алма-Ате, неправильно делают...

— И мы, выходит, неправильно?

— И мы... Зачем нам столько разных плиток и панелей? По проекту получается шестьдесят восемь разных типоразмеров на один дом. А нельзя поменьше? Я тут придумал...

Они сели вдвоем и буквально распотрошили по косточкам весь проект дома, составляя из плит, как из игрушечных деталей «конструктора», привычные блоки. Потом засели за расчеты и чертежи: надо было доказать, что не только можно уменьшить число видов плит, но и что дом не потеряет в красоте, прочности. И доказали! На 23 единицы можно сократить, то есть на треть. Мавликов и Давыдов защитили свой проект перед комиссией архитекторов и проектировщиков, их поправка была принята. Все это резко ускорило и упростило технологию строительства жилых зданий в Набережных Челнах, повысило технологичность изготовления самих плит на заводе.

Над этим фактом стоит поразмышлять, он говорит о многом, в том числе и о прямой личной заинтересованности рядового строителя в скоростной технологии стройки. Нет ничего горше и хуже простоев, неорганизованности, лишних перекуров, расслабляющих людей и снижающих темп их работы. У Мавликова есть свой девиз, свое требование, которое он не раз высказывал на совещаниях и планерках: «Дайте нам работать восемь часов не разгибая спины!» И, как строитель строителя, я хорошо его понимаю. Вот почему мы и боремся за высокую технологичность стройки, за ее скорость и высокий темп.

Всегда ли нам сопутствовал успех? За минувшие годы бывало всякое — и победы и поражения... Нарушали технологию — брали энтузиазмом, напором, мастерством. Люди прибывали на стройку и втягивались в ее стремительный бег, в ее невиданные скорости. Помню один эпизод осени 1971 года. На строительстве десятого жилого комплекса сложилась отчаянная ситуация, хуже некуда. Жилые дома, школа, детский сад уже построены, а котельную, которая должна была отапливать комплекс зимой, даже не начинали. На дворе август, холода не за горами. Тут было грубое нарушение технологии, за него люди понесли наказание. Но сейчас-то что делать? Оставить комплекс жилых домов без отопления на зиму — преступление. Да и выселить жильцов некуда...

Незадолго до этого на стройку приехал мой старый знакомый — строитель высокого класса, Герой Социалистического Труда Алексей Борисович Новолодский. Я хорошо знал его еще по Иркутской, а потом и по строительству Вилюйской ГЭС. Приехал он хотя и по моему вызову, но как-то неожиданно и странно. Потребовал, чтобы я никому не говорил о том, что он Герой Соцтруда. В бригаду пошел рядовым рабочим, хотя он прославленный бригадир, мастер своего дела. Я уди-

вился, пожал плечами. Зачем, думаю, это ему надо? Все равно ведь узнают. Но промолчал, согласился. И в суতোлке дел вообще потерял его из виду.

В это время как раз и собралось совещание по поводу десятого жилого комплекса. Предложили бригадирам: кто возьмется построить эту котельную за два месяца? Люди молчат, понимают, что задание невыполнимое. Тут поднялся Новолодский и говорит:

— Дайте мне двенадцать человек, больше не надо. Думаю, успеем...

— А не успеешь,— бросил кто-то из президиума совещания,— положишь партийный билет на стол.

Новолодский только пожал плечами.

И на следующий же день начали эти 12 строителей работать. Новолодский не отбирал себе специально бригаду из лучших, брал тех, кого присылал отдел кадров, кто прибыл вчера на стройку. Никто, честно говоря, не верил, что они сдадут котельную под монтаж котлов за два месяца. Наобещать можно, знаете ли, многое. По нормам такое сооружение возводится в течение восьми с половиной месяцев. Не верили и жильцы окрестных домов. Я видел, как каждое утро они, уходя на работу, присматривались к доске объявлений на будущей котельной: «До пуска котельной осталось ... дней».

Сложность дела заключалась еще в том, что фронт работ очень мал и узок, здесь числом людей не возьмешь. Надо трудиться в две и даже в три смены. Новолодский показал себя тогда настоящим мастером. Он одновременно учил бригаду, быстро вел дело, технологично планируя все работы. Не прошло и нескольких дней, как мы увидели сильный, слаженный коллектив, на который можно положиться. Следом за бригадой шли монтажники, устанавливавшие технологическую аппаратуру котельной. Они дают Новолодскому шесть дней на строительство такого-то участка, он им предъявляет его за четыре. Монтажников возглавлял пожилой мастер, они все его звали дедом. В день пуска котельной «дед» вытер пот со лба и сказал Новолодскому:

— Ну тебя к дьяволу, Борисыч, заездил ты человек. Никогда так не работали, как на этой проклятой котельной.

Сорок три дня понадобилось бригаде Новолодского, чтобы построить и пустить котельную в десятом комплексе. Вот какие темпы предложил КамАЗ строителям и какую скорость они предложили КамАЗу. Между прочим, после этой котельной Новолодский раскрыл свое инкогнито, сказал, что он Герой Социалистического Труда. Он много и хорошо поработал на стройке, а недавно уехал все же обратно в Якутию.

Технологичность и скорость стали постоянным девизом на стройке, здесь все подвергалось сомнению, все решения пересматривались под углом этих требований. Вскоре мы почувствовали, что сама структура нашего объединения неудовлетворительна. Создание крупных специализированных комплексов по выполнению определенных видов работ, быстрое увеличение размаха стройки повлекли образование новых подразделений. Так, впрочем, не раз бывало и раньше: следом за изменением технологии обязательно наступал момент, когда прежние рамки организационной структуры приходилось менять.

Помню, как в 1952 году по инициативе академика Александра Васильевича Винтера в Иркутске состоялась научно-техническая конференция АН СССР. На ней присутствовал и сам Винтер, давно мечтавший о сооружении электростанции на Ангаре.

Винтер предложил мне сделать доклад на конференции о новых требованиях к механизации строительства. Я писал доклад и волновался: предстояло выступить перед академиками, руководителями

партийных и государственных органов. Доклад завершился критикой существующей организационной структуры механизации строительства: она устарела, необходима специализация, нужны управления механизации, требуется пересмотреть само отношение к инженерам-механизаторам, установить им новую оплату труда. Надо собрать механизмы на стройке в единый кулак, говорил я, иначе они быстро изнашиваются и, оставленные без обслуживания, выбрасываются под забор. Низка оплата механизаторов, мы относимся к ним так, как будто они заботятся о паровом котле или о том, чтобы была подкована лошадь.

Винтер, не сразу уловивший, к чему я клоню, резко оборвал меня:

— Бы что, выпрашиваете себе с трибуны высокий оклад?

— Нет,— ответил я,— мой оклад высок, он персональный. А вот товарищи мои получают в четыре раза меньше меня и вдвое меньше линейных руководителей. Это несправедливо.

Винтер словно застеснялся своей резкости и предложил продолжать доклад. В перерыве он, секретарь областного комитета партии и еще несколько человек взяли у меня копии доклада. И впоследствии именно Винтер настоял, а партийные руководители поддержали, на структурной ломке. Так впервые было создано у нас в стране Управление механизации строительства (УМС), вскоре по ходатайству академика Винтера инженеры-механизаторы были приравнены в зарплате к инженерам-строителям.

Я вспомнил об этом эпизоде потому, что в Набережных Челнах сложилась в чем-то сходная ситуация: тоже требовалась, видимо, организационная ломка самого аппарата стройки. Первоначально КамГЭС состоял из трестов, наделенных своими оборотными средствами и выполняющих определенную строительную программу. Понадобилось, к примеру, вести жилое строительство — возник трест Жилстрой. Скоро, однако, выяснилось, что такая структурная единица, как трест, не в состоянии вести все строительство в Набережных Челнах. Пришлось создавать еще один трест — Жилстрой-2. Возникла новая проблема: кто будет координировать их работу?

Нечто сходное появилось и в промышленном строительстве. Вести стройку КамАЗа силами треста Промстрой оказалось невозможно: слишком велик объем работ. Появились Автозаводстрой и Металлургстрой. За ними возникли специализированные Водстрой и Сельстрой, Отделстрой-1 и Отделстрой-2, Гидрострой, Теплоэнергострой-1 и Теплоэнергострой-2... Но это уже были по специализации, по объемам строительного-монтажных работ не обычные тресты, а, как мы их назвали, управления строительством. Эти самые УСы взяли на себя прямое руководство строительными делами, производством. Возникло и еще одно важное подразделение — служба управления строительством.

Борьба за технологичность и скорость стройки привела еще к двум решениям, которые положительно отразились на состоянии наших дел. И здесь мы впервые в нашем разговоре перебрасываем некий мостик от технологии строительной к технологии социальной, захватывающей интересы сотен тысяч людей, живущих делами стройки, ее интересами, ее проблемами. Стройка на Каме не только дала работу этим людям, она обязана была — и в этом, на мой взгляд, самая суть нашего социалистического строительства — обеспечить их современными городскими удобствами, жильем, питанием, медицинским обслуживанием и т. п. При наших масштабах решение социально-бытовых проблем должно было так или иначе приобрести столь же «технологичный» характер, что и решение проблем чисто производственных. Так оно в действительности и произошло.

Сегодня каждый понимает, что поднять столь масштабное и скоростное строительство на Каме едва ли было возможно без повсе-



дневной помощи республиканской партийной организации, городского комитета КПСС, всех министерств Татарии, комсомола. Мы чувствовали постоянную заботу и поддержку ЦК КПСС, его отдела машиностроения, Совета Министров СССР, нашего министерства. На стройку не раз выезжали члены Политбюро ЦК КПСС, руководители Совета Министров СССР. Памятно недавнее посещение КамАЗа А. П. Кириленко, решившим на месте многие вопросы нашей экономической жизни. Такая забота и конкретная помощь позволили легче справиться с многочисленными трудностями, возникавшими на нашем пути.

Естественно, что республиканские и городские партийные организации в значительной степени взяли на себя то, что называется идеологическим обеспечением стройки. Воспитание дружного и боеспособного коллектива строителей — огромная заслуга общественных организаций. Так бывало и на других стройках, в которых мне довелось участвовать. Помощь партийной, комсомольской и профсоюзной организаций на стройке всегда оценивается очень высоко. Но здесь, на берегах Камы, в условиях столь громадного и скоростного строительства, она оказалась просто неоценимой.

Кроме привычных им функций, городская и республиканская партийные организации, министерства и ведомства Татарии, городские советские органы взяли на себя дополнительные, помогая стройке технологично и на современном уровне решить социально-бытовые проблемы, кадровые вопросы.

Вы знаете, конечно, что на стройке, даже на такой крупной, как наша, где одновременно начинается и сдается заказчику множество больших и малых объектов, не обойтись без пиковых моментов. В пусковые периоды, когда сдается, скажем, целая очередь производственных объектов, требуется напряжение всех сил. Не хватает людей, техники, средств. Естественно, что такие моменты были и у нас в КамГЭСе. Спасти положение мог только маневр рабочей силой, которая концентрировалась на отдельных пусковых участках. Но где ее взять? И тогда республиканская партийная организация проводила мобилизацию среди рабочих республики. К нам на помощь своевременно прибывали квалифицированные кадры строителей.

Огромную помощь оказало молодежное студенческое движение, год за годом приезжали к нам строительные отряды студентов Москвы, Казани, со всего Советского Союза. А когда нам не хватало и их, то людей давал КамАЗ. Это были и люди, готовившиеся к работе на еще строящихся предприятиях, но и те, которых КамАЗ снимал со своего уже действующего производства и передавал нам. Бывали периоды, когда на стройке трудились до 5 тысяч камазовских рабочих! Причем, как правило, это были вчерашние строители, неплохо знавшие специфику нашей работы. Естественно, что это сказывалось на делах самого КамАЗа и без помощи партийных организаций такой маневр вряд ли был бы возможен.

Еще один пример — теперь уже из другой области. Всем известно, что раньше на крупных стройках приходилось нам заниматься проблемами торговли и общественного питания. Существовали так называемые орсы, отделы рабочего снабжения. В их ведении находились магазины продуктовые и промтоварные, столовые и кафе. Естественно, что по уровню культуры труда и обслуживания орсы были много ниже, чем предприятия Министерства торговли. Оно и понятно: разве это технологично — вести торговлю и общественное питание в рамках строительной организации?

В Набережных Челнах была создана разветвленная сеть бытового обслуживания и торговли, находящаяся на современном уровне. Город и республика взяли на себя все заботы об этой стороне жизни нашего коллектива. Мы сдавали соответствующим организациям лишь торговые и прочие помещения. Мы занимались своим привычным делом,

которое умели делать неплохо: мы строили... Думается, такая социальная технология дала свои положительные результаты, этот опыт, видимо, следует использовать и на других крупных стройках.

И наконец, еще одно важное технологическое решение — в сфере жилья. И хотя именно здесь мы добились, на мой взгляд, не самых больших успехов, все же принципиально решение было принято верное.

Я уже называл цифры жилищного строительства в городе. И все равно по-настоящему жилья еще не хватает. Наплыв людей на КамАЗ и на стройку был огромным. Порой в день прибывало до тысячи человек — в основном молодежь до двадцати лет. Всех их надо было разместить и обеспечить хотя бы временно жильем. Но где и как? Требовалось найти специфическое технологическое решение этой немаловажной проблемы. Мы понимали, что люди едут в Челны не только по велению сердца и не только повинувшись романтической мечте построить свой город. Ехали, чтобы устроить свою жизнь, найти свою судьбу. А можно ли устроить свою судьбу без крыши над головой?

Ясно, что на первых порах молодой строитель был готов мириться с временками, с общежитием. Но лишь на первых порах! Следовательно, требовалось создать своеобразный конвейер, когда молодой человек сперва получал место в общежитии или в вагончике, затем перемещался в так называемую малосемейку, где уже располагал отдельной комнатой, а затем уже получал квартиру со всеми удобствами. Такой цикл носил и своеобразный демографо-технологический характер: приезжали к нам холостяк или холостячка, обзаводились семьей, затем появлялись дети. Этим трем ступеням удовлетворяли три вида жилья: общежитие (вагончики), малосемейка, квартира.

Большинство наших и камазовских рабочих прошли через квартирный конвейер. Но, к сожалению, получалась значительная разница во времени между прохождением демографических ступеней и получением квартиры. До сих пор нам не удалось ликвидировать вагонные городки, многие слишком долго живут в общежитиях и в малосемейках. Другого выхода из положения, кроме развития и ускорения жилищного строительства, нет. И все же эта технология себя оправдала, позволив обеспечить вполне добротным жильем абсолютное большинство людей.

Не удивительно, что «сумма технологий» (это известное название философской книги Станислава Лема) дала единый результат. Продуманные инженерные решения обеспечили добротность и качество строительства, его высокую скорость, сглаживали остроту попутно возникавших социальных проблем.

Но, разумеется, сложнее всего было применить технологические принципы в работе с людьми. Тысячи судеб, характеров, индивидуальностей, личных особенностей. В социальных и социологических исследованиях стремятся обычно свести их в какие-то категории, определить типы. Все это хорошо и, конечно же, помогает в повседневной деятельности руководителя. Но вместе с тем, думается, никогда нельзя забывать, что за всеми цифрами и обобщениями стоят реальные люди и каждый из них — неповторимая личность.

### Строители

Меня часто спрашивают: как это вам удалось создать и сохранить в течение более чем десяти лет такой огромный коллектив людей, все время находящийся в наступлении? В самом деле, ведь напряжение, возникшее в 1970 году, не снижалось на стройке ни на один день. Вот уже одиннадцать лет мы живем в беспереывной, непрекращающейся

атаке. И как только люди выносят ее буквально бешеный ритм и темп?

Что ответить на эти вопросы? Разумеется, было нелегко, да и сейчас тяжесть не уменьшилась. Впрочем, мне кажется, что именно скорость и масштаб строительства в какой-то мере помогли созданию и сплочению нашего коллектива. Он рос очень быстро, увеличиваясь в год на 15—20 и даже на 25 тысяч человек. Еще в начале 1970 года, когда имя КамАЗ лишь начинало греметь по всей стране, у нас было всего 9 тысяч рабочих. За год мы приняли 18 тысяч в свои ряды. Часть из них уволилась, многие остались в Челнах, другие уехали. Но на конец года в КамГЭСе уже трудилось 19,5 тысячи строителей.

В 1971 году мы приняли 27,5 тысячи на работу, и снова часть из них отсеклась — на конец года мы располагали 32,7 тысячи человек. Коллектив рос и увеличивался каждый год: на 1 января 1973 года — 38,5 тысячи, на 1 января 1977-го — 40,6 тысячи, на 1 января 1979-го — 41,9 тысячи человек. Сегодня мы располагаем почти шестидесятитысячным отрядом строителей, это почти вдвое больше всей численности населения Набережных Челнов накануне строительства.

Откуда же взялись эти люди, как они попали к нам и что с ними здесь произошло?

В отличие от многих других строек КамАЗ, как известно, поставлен не на краю нашего великого отечества, а чуть ли не в самом его центре. В Татарии в районе Набережных Челнов и окрестностей было немало неквалифицированной рабочей силы. Женщины, как правило, не работали, разве что в колхозах. Молодежь подрастала и уезжала из здешних мест, не получив в Челнах ни достаточного образования, ни хорошей специальности. Между прочим, именно с расчетом на излишки рабочей силы в местных краях Госплан и Госстрой СССР выбирали место для создания будущего КамАЗа.

После возникновения стройки все эти излишки рабочей силы двинулись в КамГЭС. Приходили и приезжали самотеком и по путевкам комитетов комсомола, по мобилизации партии. Они не знали строительного ремесла, не умели обращаться с современной строительной техникой. Квалификация — полный ноль, их можно было ставить лишь учениками. Но энергии, задора, энтузиазма у людей хватало. Они не пугались трудностей первых дней строительства, они строили на своей родной земле, где, как известно, и стены помогают.

Второй поток строителей пришел к нам из сердца страны. Московские и ленинградские рабочие, инженеры, ученые стали непосредственными участниками стройки на Каме. Рабочий люд старинных русских промышленных городов — Вологды, Вятки, Костромы, Новгорода, Казани, Перми и многих других, — обладая высокой культурой труда, чувством сплоченности и долга, мастерством, деловитостью, очень помог обрести нашему коллективу свой, камгэсовский стиль.

Константин Михайлович Альчиков приехал в Набережные Челны рядовым рабочим. Сам он вятский, трудился до Челнов на машиностроительном заводе слесарем-лекальщиком. Если кто не знает, что это за профессия, можно объяснить просто: портной-закройщик по металлу. В слесарном ремесле лекальщик — одна из самых квалифицированных специальностей. Она требует немалых математических знаний, умения работать с чертежами.

На заводе Альчиков имел высший разряд, личное клеймо, отличный заработок. Дома семья, дети... И вот в тридцать семь лет он задумал сменить профессию, уехать в Набережные Челны. Его, конечно же, отговаривали, старались удержать ценного специалиста. Но решив уехать на стройку, Константин Михайлович больше не раздумывал. Приехал сам, осмотрелся, вызвал семью. Начал работать рядовым монтажником. Однажды бригадира куда-то вызвали, а по ходу дела необходимо было свериться с чертежами. Альчиков пошел в прораб-

скую, достал чертежи и сел их рассматривать. Подошел прораб и спрашивает:

— Ты что здесь шарить?

— Да вот надо посмотреть, где тут на плите требуется пробить отверстие для прокладки коммуникаций.

— Так ты умеешь чертежи читать?

И тут же поставили Альчикова бригадиром другой бригады — тогда в грамотных строителях была в Челнах сильная нужда.

Прошел год, и об Альчикове заговорили как об одном из самых лучших бригадиров стройки. Кадровый рабочий, относящийся с величайшей требовательностью к себе, к качеству труда, он воспитал и свою бригаду в таком же духе. О нем стали говорить как о самом надежном исполнителе, сдающем объект заказчику с первого предъявления и всегда с отличной оценкой за качество. И он не раз оправдывал это мнение.

В 1975-м его бригада закладывала фундаменты под автоматическую линию резки металлов на прессово-рамном заводе. Конфигурация их была на редкость сложной и запутанной, не чертеж, а сплошные сетки линий — вся синька зачерчена... Проект, между прочим, японский, принимать объект должны их инженеры. Альчиков исполнил проект в точности. И вот идет сдача. Все проходило нормально, пока не дошли до щели, куда должен опускаться нож автомата, режущий металл. Японцы меряют щель — узка, на несколько миллиметров уже толщины лезвия. Допуски там незначительные, не более миллиметра.

Взяли в руки чертеж. И тут Альчиков им доказал, что виновата не его бригада, а проектанты! Пришлось-таки переделывать — расширять — эту щель, но переделки были по вине не строителей, а заказчиков. Иностранные инженеры признали свою ошибку.

Лично мне в Альчикове больше всего нравится упорство в достижении цели. Знаете, в нашем ремесле это качество характера особенно важно. Нередко бывает так, что все работает против строителя: погода плохая, материалы не подвезли вовремя, кран вдруг отказал, инструментов нет — куда как плохо! И если у тебя нет настойчивости, воли и инициативы, то строитель из тебя неважный. Бригадир обязан противостоять этим трудностям, преодолеть их и настроить бригаду на победу.

В 1976 году для бетонщиков наступила тяжелая пора: в объединении ощущалась сильная нехватка досок для опалубки. А что делать с бетоном без опалубки? Многие отступились. Сидели и ждали, когда подвезут доски. Альчиков предложил изготовить железную свинчивающуюся опалубку, которую можно употреблять многократно. Сварщики его бригады соорудили образцы такой опалубки, и вот уже пять лет она служит бригаде. Больше сотни раз прошла она оборот, а все еще в ходу. По примеру Альчикова и другие бригады начали варить себе свинчивающуюся опалубку. Вот вам пример делового строительного решения возникшей проблемы, который говорит о характере Альчикова, быть может, больше, чем длинные рассуждения на тему о рабочей инициативе.

Сегодня Альчиков депутат Верховного Совета Татарской АССР, мы с ним вместе заседаем в одной комиссии по делам строительства. И, поверьте, к слову бригадира прислушиваются в Верховном Совете с не меньшим вниманием, чем к слову начальника производственного объединения.

Замечу кстати, что Альчиков приехал к нам самотеком, то есть принадлежал к той категории людей, которую социологи считают трудной, наименее благополучной...

Пожалуй, самым большим и полноводным был поток приезжавших на стройку по комсомольским путевкам. ВЛКСМ взял шефство



над строительством КамАЗа, он был объявлен Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Центральный комитет комсомола направлял к нам тысячи и тысячи молодых людей — и эта помощь по своей важности для стройки неопределима!

К нам приезжали юноши и девушки со всей страны, не случайно сегодня здесь трудятся представители 70 национальностей нашей родины. Ехали сразу после окончания школы, из профессионально-технических училищ, после окончания службы в армии, с заводов и других строек... Абсолютное большинство ничего не смыслило в нашей профессии, но все хотели стать строителями КамАЗа. Это было поистине патриотическое движение, охватившее широкие слои молодежи.

Молодые люди ехали со всех концов страны, всеми видами транспорта, прибывая подчас по несколько сотен человек в сутки. Рюкзачок, чемодан походного образца, сапоги и куртки — длинные очереди приехавших всегда толпились у отдела кадров, который работал круглосуточно. Бессмысленно было спрашивать их, держали ли они когда-нибудь в руках кельму или газовый резак, умеют ли управляться с бульдозером или краном. Многие из них вообще в глаза не видали стройки.

И вдруг они оказались в самой гуще ее событий. Да и стройка-то какая — самая большая в стране! Поистине великая. У некоторых от этой неожиданной встречи с реалиями строительной обстановки наступал своеобразный шок. Большинство сумело проявить подлинное мужество, перенести тяжесть и трудность адаптации в новых условиях, овладеть мастерством и стать строителями. Другие, не выдержав, переходили на работу полегче — в предприятия обслуживания, — третьи вообще сбежали из Челнов, испугавшись дождей и холодов, работы под открытым небом, общежития и вагончиков...

Честно сказать, мне не хочется упрекать в слабости тех, кто испугался и сбежал со стройки, особенно в те трудные годы, когда она лишь разворачивалась и набирала силы. Уверен, что эта школа все-таки для них не прошла даром. В дни войны — а я сам фронтовик — бывало, что новичок в первом бою трусил, и казалось — не будет из него настоящего солдата. А потом, глядишь, он выправлялся и не раз удивлял нас своим мужеством в бою. Думаю, что и тем, кто не вынес испытания КамАЗом, наша стройка все же дала немало: опыт первой схватки с жизнью бесследно для них не прошел, вчерашние школьники получили хороший урок и поняли, что право на уважение товарищей дается нелегким трудом.

А тогда, в те сложные для нас дни, когда стройка лишь набирала темпы, уход каждого рабочего расценивался как потеря бойца в сражении. Мы боролись за каждого, пытались найти оптимальные способы адаптации молодых строителей. И здесь не обошлось без применения кое-каких технологических принципов. Мы разбили процесс адаптации на несколько технологических ступенек. Первая — прием на работу.

В отделе кадров была создана комиссия, которая заседала круглые сутки. В нее входили работники отдела кадров, представители строительных подразделений, комитетов партии, комсомола, профсоюза. С каждым из приходящих беседовали индивидуально, расспрашивая, почему и как приехал на стройку, кем хотел бы работать, с кем вместе жить и где. Здесь же брали его на учет в общественных организациях, старались тут же определить не только трест и СУ или СМУ, где он будет трудиться, но даже и бригаду. Здесь же выписывали направление в общежитие. Буквально за несколько часов новичок проходил этот первый круг и выходил из отдела кадров с направлением в общежитие и в бригаду. Потом собиралась группа вновь прибывших и беседовала с кем-нибудь из ответственных руководителей

строительства и города — им рассказывали о том, что они будут строить, объясняли положение на стройке... Но главное заключалось в другом: рабочие должны знать руководителей в лицо. Знать, к кому им обращаться, если возникнет такая надобность, за помощью. Потом новичков возили в автобусе в городской музей, на стройку. Теперь их уже водят и по цехам КамАЗа — показывают, что же создали мы за эти годы. Везут в новый город, объясняют, где клубы и дворцы культуры, где баня и кинотеатры, магазины...

Этим ознакомлением кончается первая ступень адаптации. Следом начинается вторая — в СУ или СМУ, в той бригаде, куда новичок направлен на работу. Бригадир или другой старший рабочий закрепляется за ним как наставник. Молодой строитель проходит курс техники безопасности, его учат новой для него специальности, иногда направляя для этого в учебный комбинат. Ведь, как правило, к нам приезжали не строители. Мы не жаловались, мы брали всех, кто хотел трудиться на стройке. Правда, это создавало нам дополнительные трудности. В 1970 году средний разряд нашего строителя был 2,5, в 1975-м уже 3,2, а в 1980 году — 3,6!

Постоянная производственная учеба стала неременной обязанностью всех бригад. Учебный комбинат, техникум, высшее техническое заведение — учиться приходилось всем, от рабочего до руководителя. И тут мы не считались с рангами. Не случайно у нас в коллективе сейчас около 3 тысяч человек имеют высшее образование, более 7 тысяч — незаконченное высшее и среднее специальное. Особенно высокие требования к образованию мы предъявляем руководителям подразделений. Это и понятно: можно ли грамотно руководить, не зная инженерного дела, не зная технологии строительства?

Строительно-монтажным управлением № 5 Автозаводстроя долгое время руководил Александр Андреевич Кича, сумевший повести дело очень напористо, скажу больше — талантливо. Он хорошо знал людей, был неплохим строителем-практиком. Но высшего образования у него не было. И дело не просто в дипломе, в формальности. Ему не хватало инженерных знаний, во многих чисто технических вопросах он вынужден был полагаться на специалистов. Естественно, что когда поднимался вопрос о его повышении в ранге, то его кандидатура как-то молчаливо и с сожалением отстранялась.

А это было обидно — и ему и мне: я считал его перспективным руководителем. Несколько раз мы говорили с ним об учебе. И вот, быть может, уступая моей воле, Кича согласился поступить в вуз. Когда он сдал все экзамены для поступления, мы — я, Кича и вместе с ним еще несколько вчерашних абитуриентов — выехали за город, устроили небольшой вечер отдыха под открытым небом, благо погода была теплой. Я на радостях произнес целую речь о пользе высшего образования для руководителя строительного подразделения. Они слушали меня как ученики... Вечер прошел очень хорошо, мы выпили за успешное окончание института и закопали на поляне наши стаканы: когда Кича и его друзья окончат институт, мы поедем снова на ту же поляну и вспомним тот вечер... А ждать осталось недолго — в 1981 году Александр Андреевич уже будет защищать диплом инженера-строителя. Не дожидаясь окончания им института, мы выдвинули его на более высокий пост — теперь он начальник Металлургстроя, одного из самых крупных и ответственных УСов объединения.

Мне думается, что в технологию работы с людьми на стройке должно обязательно входить и следующее правило: если руководитель заслуживает повышения в ранге, его надо немедленно повышать. У нас в КамГЭСе за минувшие десять лет выросла уже третья генерация руководителей подразделений. Скажем, был начальником Автозаводстроя Владислав Александрович Фоменко. Он зарекомендовал себя отличным строителем, умелым организатором. Его повысили, сде-

лав начальником объединения. Прошло время, мы сдали первую очередь КамАЗа, и Фоменко вновь повысили — он уже начальник главка в нашем министерстве. А в Автозаводстрое новый руководитель — молодой перспективный инженер Яков Абрамович Григорян.

Несколько лет назад к нам из Казанского инженерно-строительного института приехал по направлению молодой специалист Виктор Ельцов. Направили его в Металлургстрой мастером. Он проявил себя как способный инженер, умный и напористый хозяин. Не прошло и нескольких месяцев, как он уже стал начальником участка. За три года он прошел путь от мастера до главного инженера СМУ. Когда обсуждали, не рано ли его назначать на эту должность, высказывались его сослуживцы. Вспоминали, что именно он сумел организовать скоростную укладку бетона и на его участке был поставлен рекорд КамГЭСа по приемке его — 256 кубометров за смену. Говорили о его строгости и справедливости, что у него нет любимчиков на участке. И решили единогласно: быть ему главным инженером.

Я мог бы назвать десятки людей, чья быстрая карьера на стройке поразительна. Н. А. Микряшов еще не так давно был начальником СМУ, теперь начальник Управления строительства дорог. Р. Б. Низамудинов еще в 1976 году был начальником участка, теперь главный инженер Отделстроя-1. Примеров, повторяю, много. Мне думается, постоянный рост руководителей, выдвижение на более ответственную работу, соответствующую возможностям человека, — это, если хотите, в какой-то мере тоже технологический принцип. Надо, чтобы руководитель поднялся до своего потолка, как сказали бы летчики. Уверен, что КамГЭС повысил этот потолок для многих рабочих и инженеров, рядовых исполнителей и руководителей, раскрыв их личные способности.

Не случайно за пуск первой очереди КамАЗа трое наших работников удостоены высокого звания Героя Социалистического Труда, 19 человек награждены орденом Ленина, 40 — орденом Октябрьской Революции, 272 — орденом Трудового Красного Знамени, более тысячи получили другие ордена и медали.

Высокая цель сплотила коллектив КамГЭСа, трудности его закалили, скоростной темп нашей работы потребовал от каждого из нас всех сил, всей энергии и способностей. Характерно, что у нас в аппарате объединения, в коллективе КамГЭСа нет ни дрызг, ни склок. И не потому, что у нас какие-то особые люди. Просто здесь критерием оценки человека всегда служило дело.

### После КамАЗа...

Пуск первой очереди КамАЗа был главным событием производственной жизни объединения КамГЭС за минувшее десятилетие. Минтинги, награды, празднества, приветственные телеграммы, звонки и письма... КамАЗ стал реальностью, один за другим сходят с его конвейера грузовики, о которых в начале десятилетия только мечталось.

Но вот отшумели праздничные салюты и наступили вновь суровые будни. Казалось бы, мало что должно было измениться для строителей — надо продолжать стройку, готовить вторую очередь комплекса КамАЗа. На самом же деле изменилось многое.

Кое-кто посчитал, что раз мы сдали первую очередь завода, то строителям здесь больше делать нечего. Изменилось материально-техническое снабжение стройки, мы как бы перешли из первого во второй разряд... Быть может, сработал и психологический фактор: накануне пуска некоторые, что называется, тянули из последних сил. Сдача первой очереди подвела черту тем периодам строительства, когда все, по меткому выражению нашего главного инженера, стояли на цыпочках. Сыграло роль и то обстоятельство, что главные строи-

тельные объемы выполнялись в ходе сдачи первой очереди КамАЗа, на вторую отодвигалось то, что можно было доделать потом, что требовало тщательной проработки, терпения и настойчивости. Рассуждали примерно так: «Не успели сдать этот объект? Но ведь и без него можно пустить главный сборочный конвейер! Подождет...» Нынче положение иное. Мы достраиваем вторую очередь и не имеем права оставлять на будущее недоделки — третьей очереди не будет.

Все эти соображения привели к тому, что возник устойчивый отток людей со строительства. Уходят на КамАЗ, на соседние заводы, в сферу торговли и обслуживания, разъезжаются по другим стройкам, чьи имена сейчас особенно громко звучат в печати. Целые бригады уехали в Старый Оскол, на Атоммаш... Думается, в значительной степени это происходит потому, что до последнего времени не была ясна хозяйственная перспектива деятельности КамГЭСа.

Пусковой комплекс второй очереди КамАЗа представляет собой огромные сооружения, без которых завод не может выйти на плановые рубежи и добиться проектной мощности по выпуску 150 тысяч большегрузных автомобилей и 250 тысяч дизель-моторов. Объекты второй очереди сдаются постепенно, уже на 1 января этого года мы сдали для нее мощности по выпуску продукции на 1 264 миллиона рублей, то есть по производству автомашин до 100 тысяч в год и двигателей до 115 тысяч единиц. В этом году мы должны сдать производственные мощности, прибавляющие КамАЗу выпуск 50 тысяч автомашин, 35 тысяч двигателей, 114,5 тысячи тонн чугунного литья и 23,5 тысячи тонн стального, 117,4 тысячи тонн горячей штамповки, запасных частей на сумму 3 миллиона рублей. Это лишь по комплексу заводов КамАЗа. Параллельно мы сдаем много объектов по заводу электротранспортного оборудования, по селу и жилому сектору.

Итак, мы прощаемся с КамАЗом. Полным ходом идут работы по пуску его второй очереди... Означает ли это, что мы уходим отсюда, закрываем наши заводы стройиндустрии, собираем шкафы с бумагами, письменные столы, аппаратуру и расстаемся с Челнами? Я думаю, каждый поймет, что это было бы нерентабельно и не по-хозяйски.

Мы понимали, конечно, что никто не допустит такого. Но что же все-таки будет после КамАЗа? Все мы мечтали получить программу на следующую пятилетку, сравнимую с камазовской стройкой. И чем раньше мы эту программу будем знать, тем лучше. В хозяйственной деятельности невозможны слишком крутые повороты, можно понести серьезные убытки. Такой громадный корабль, как КамГЭС, должен перенацеливаться постепенно, сосредоточиваясь на новой стройке, переключая один за другим свои управления строительства на новые объекты, расширяя в новом месте фронт работ.

Вот почему нам необходимо было сохранить для себя на одиннадцатую пятилетку определенную часть работ того же КамАЗа. Плановые наметки показывают, что нам доведется выполнить на промплощадке КамАЗа строительные-монтажные работы еще на сумму около 432 миллионов рублей. По нашим масштабам это не так уж много — если разбить по годам, то окажется, что такая сумма составит программу лишь одного из наших управлений строительства. По-видимому, им будет Автозаводстрой. Примерно такие же средства будут освоены на строительстве жилья, социально-бытовых и культурных объектов. Набережные Челны будут расширяться ускоренными темпами. Работа еще для одного УСа. А остальные?

Неужели великое строительство в наших краях все-таки заканчивается? Нет, мы вступаем в новый период. Он потребует от нас не меньшего напряжения сил и средств, чем строительство КамАЗа. Решено создать атомную электростанцию недалеко от Нижнекамска, в районе Камских Полян, примерно в семидесяти километрах от Набережных Челнов.

Кроме того, мы будем продолжать создание завода электротранспортного оборудования, вводить очередные генераторы на Нижнекамской ГЭС, на казанских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, вести сельское строительство и многие другие объекты. Главным же будет, конечно, новая атомная электростанция.

...Когда прикинули, что же получается с нашей пятилетней программой, то выяснилось, что мы стройка расцветающая! Ближайший период будет для нас трудным. Мы придем на площадку, где еще нет ничего: ни фундаментов, ни кранов. Все опять придется начинать с нуля.

Но предвидятся и другие трудности. Прежде всего с рабочей силой, с людьми. Всем известно, что в ближайшее десятилетие ожидается серьезная нехватка кадров, об этом немало пишут газеты. Выход из положения мы видим в одном: резко повысить производительность труда.

Практика показывает, что высокая технологичность стройки достигается тогда, когда ее центральная фигура — рабочий, рядовой строитель, механизатор — получает оплату за конечные итоги своего труда. Вот почему мы рассчитываем в следующей пятилетке усилить работу по внедрению бригадного подряда в наши подразделения, добиться укрупнения таких бригад, включать в подряд шоферов грузовых автомашин и механизаторов — крановщиков, бульдозеристов, экскаваторщиков... Но это, видимо, отдельная тема для разговора.

Камские Поляны ждут нас, честного и умного нашего труда. Лично для меня здесь есть некая жизненная символика: как гидростроитель я начинал в Красных Полянах, где возводилась небольшая ГЭС, через тридцать пять лет начинаю строить в Камских Полянах атомную электростанцию...

Я хочу вернуться к тому, с чего начал этот разговор: близится XXVI съезд нашей партии, идут последние дни десятой пятилетки. Уже сейчас мы исподволь готовим инженерное обеспечение новых объектов строительства, которые предстоит нам возводить в следующем пятилетии, чтобы без передышки приступить к исполнению нашей перспективной программы. Весь народ готовит свои трудовые подарки партийному съезду. Естественно, что готовим их и мы, строители КамАЗа. Сегодня все наши думы — на промплощадке камского автогиганта. Сдать вторую очередь завода ко дню открытия XXVI съезда КПСС — наш долг, наша честь, наше слово.



---

---

## ПРОСТОР



ЭДУАРДАС МЕЖЕЛАЙТИС

*Из цикла «Армянский авиаблокнот»*

### Медоносные дрозды

Песни вьют армянские дрозды,  
Как и в нашей Сантаке певучей.  
Яркие Сарьяновы холсты  
Жадно пьют мажорный мед созвучий.

И сочтется птичьих песен мед,  
Каплет на палитру чудадея —  
Сладость колорита этих нот  
Вкусу лаваша всего роднее.

А дрозды — армянские зурны —  
Вензелями звуки завивают.  
Крылья горной музыки сильны —  
И парит мелодия живая.

Я поаплодирую дроздам —  
Сантака слышна в армянской гамме.  
И поклоном почести воздам  
Автору — Армении — как даме.



Пришлите к нам в Литву хачкар надгробный!  
Армянский сокол Акопян Гарник,  
В бою сраженный, землю нашу обнял  
И к ней навеки головой приник.

А было девятнадцать лет солдату —  
В такие годы сладостен полет! —  
Пришлите же ему хачкар крылатый,  
Пусть каменные крылья развернет.

Сражался он за вильнюсские стены,  
Как будто защищал родимый дом.  
Пришлите же ему хачкар нетленный —  
Пускай он спит спокойным, легким сном.

Склонились клены в трауре по-братски,  
Янтарным соснам стал он здесь родным.  
Пришлите же ему хачкар солдатский —  
И синь небес раскроется над ним.

В косынке черной, плача, как сиринга,  
К нему литовка ходит на погост.  
Хачкар сюда пришлите материнский —  
Армения с ним рядом примет пост.

Прошу вас, братья, крепкою киркою  
Отбейте глыбу от высоких гор —  
Пришлите для него хачкар героя  
И звезд отчизны принесите горсть.

Теперь здесь дом Гарника Акопяна —  
К нам сокол залетел издалека...  
Пришлите же ему хачкар армянский —  
И будет он воздвигнут на века.

*Перевел с литовского МИХ. ДВИНСКИЙ.*

## ЛЕОНИД ШКАВРО

### На Дальнем Востоке

Захлебывались нордом мотоботы,  
и капитан, окинув все вокруг,  
на них глядел, как бог морской охоты,  
штурвал не выпускающий из рук.  
Пучина ярость по морю катала  
и рыбаков на гребнях волн крутых  
крушила, и в мгновение глотала,  
и из себя выталкивала их.  
И никакого не было спасенья  
от вздыбленной воды... И в этот раз,  
казалось, вся вселенная в движенье  
пришла, совсем не думая о нас.  
Но рыбаки бросали в воду тралы,  
и серебром гудящих косяков  
их до отказа море набивало,  
приумножая будущий улов.  
С материка спеша летела сводка,  
что завтра штиль — наступит благодать.  
А шторм гудел во всю тюленью глотку,  
себя и не пытавшийся унять.  
И он гулял по палубам намоклым,  
надраив их до блеска, точно сталь...  
А капитаны, прикипев к биноклям,  
как полководцы, всматривались вдаль.

### Автогенщик

Он в пасть метели рукавицу  
чуть сунул вроде бы любя:  
мол, некогда с тобой возиться,  
пока что нам не до тебя.  
И брызнул в хвост ей автогеном.  
Приладив на глаза щитки,  
он по трубе повел степенно  
замысловатые витки.  
Потом одобрил теплым взглядом  
литую талию ее  
и отошел, и тут же рядом  
он взялся снова за свое.

Еще сжимая крепче губы,  
дух напряжения храня,  
он окольцовывает трубы,  
владыча силою огня.  
К колену варит он колено  
идущих труб аж до Москвы...  
Где он прошелся автогеном,  
там все выдерживают швы.  
И, в ночь расшвыривая тени,  
у пробудившейся тайги  
землепроходческой Тюмени  
на трассах блещут огоньки.



### Северный ветер

С утра заставил он скрипеть полозья,  
а к полудню так в ярости окреп,  
что даже крылья ветру обморозил  
и заселил собою черствый хлеб.  
И не могли мы справиться с буханкой —  
кристаллами в ней нашпигован снег:  
ну хоть бери дави тяжелым танком,  
а уж потом дели ее на всех.  
Она невыносимо жгла нам губы  
и так была действительно крепка,  
что пасовали перед нею зубы,  
обшарпав ей румяные бока.  
Ну а мороз, как верхолаз, рывками  
влезал к высоковольтным проводам,  
и облицовывал их куржаками,  
и расквартировывался там.  
Мы, не жалея рук, по вышкам лезем,  
им горла монолитами крепя,  
и остается кожа на железе,  
уже необратимая в себя.  
И дело шло. И каждый был при деле,  
и ни один в бригаде не сробел...  
И нефть текла. И люди свирепели,  
но и мороз не меньше свирепел.

### ДЖУБАН МУЛДАГАЛИЕВ

## *О старинных играх*

### 1. «Золотая бровь»

Стрелком издревле метким был казах!  
Джигиты «золотую бровь» в степях  
Затеют и, прицелившись в монетку,  
Бывало, тихо шепчут: «Аруах!..»<sup>1</sup>.  
Но побеждает дерзостная прыть —  
И рвется волоса тугая нить!  
Теперь монетку с дырочкою можно  
К одежде, словно пуговку, пришить.  
Теперь удача прочь не улетит.  
Хотя в монетку целится джигит,  
Сумел он поразить девичье сердце —  
Вот главный приз,  
Который им добыт.

### 2. Платочек

Здесь летом все раскалено от зноя,  
Зимой буран ревет здесь много дней.  
Но чем здесь как не скачкою степною  
Испытывать джигитов и коней!  
Батыры схватывались здесь картинно,  
Вытаптывалась толпами трава.  
Здесь, как пригоршни золота,  
Акыны  
Бросали гордым женщинам слова.  
Здесь под джигитами храпели кони.

<sup>1</sup> Обращение к духу.

И коль горит любовь в твоей груди,  
 С платочком ты девичьим  
 От погони  
 На скакуне стремительном уйди!  
 Платочек бьется флагом над тобою.  
 И ты, промчавшись дважды по степи,  
 Поспорь за девушку с самой судьбою,  
 Избранницу другим не уступи!  
 Вот гул копыт. И крики. И призывы.  
 Догнать бы скачку ласточке под стать!  
 Но девушка страдает молчаливо:  
 Уже в пыли джигитов не видать...  
 Но вот он — первый!  
 Вот он, лучик света,  
 С платочком возвращается в руке.  
 И девичьим признанием монета  
 Сохранена в заветном узелке.  
 Джигит и девушка!  
 Навек не их ли  
 Свела победа честная сейчас?  
 ...В моем родном ауле эти игры  
 Еще мальчишкой видел я не раз.

### 3. Сегодня

Джигитов удалых сегодня мало  
 Или красивых девушек не стало?  
 Или — коней?  
 Пусть стрелы в цель летят  
 И на ветру платочки бьются шало!  
 Все есть для игр — и степи, и свобода,  
 И интерес к ним нашего народа.  
 Пусть в играх испытают дух и страсть  
 Все те,  
 Кому вдвоем идти сквозь годы!

### 4. Борьба

Сливая честь и силу воедино  
 И в жаркую борьбу их привнося,  
 Я помню, в детстве,  
 Подвернув штанины,  
 Друг друга брали мы за пояса.  
 Кто устоит в пылу такого спора?  
 Кто ловок тут?  
 Над кем смеются тут?  
 Быть побежденным — в этом нет позора:  
 Позор, коль вдруг тебя перешагнут.  
 Позор... Позор...  
 И снова ты открыто  
 Для схватки выбегаешь босиком.  
 Издревле честь казахские джигиты  
 Вбирали с материнским молоком.

### Такой мы народ

\* \* \*

Да, интересный мы народ, казахи,  
 Как люди с цельной и прямой душой:  
 Всего сполна в избытке и с размахом  
 Нам подавай в счет бедности былой.

\* \* \*

Заспорим мы — так обессилим от споров.  
Ключей к нам, открытым, ты не подбирай:  
Ни в чем не бывает у нас недоборов,  
Зато переборов во всем — через край.

\* \* \*

Никто вовек казахам не был страшен.  
Еще с былых времен из мига в миг  
И спорим и поем мы песни наши  
Лишь в полный голос —  
Не таясь других.

\* \* \*

Не клинка, подводящего жизни черту,  
А лишь слова казах признавал правоту.  
И на рай не спешил променять он свободу:  
С ней, родной, и в аду, мол, я не пропаду!

\* \* \*

Понюшка табаку... Из-за нее, желанной,  
Мог стать врагом казах.  
И другом — тоже мог.  
Он в юрте у себя и змей поил айраном  
И после провожал бесстрашно за порог.

\* \* \*

Степняк, терпя нужду,  
Всем сердцем ждал гостей,  
И жизнь ему была не в радость без детей.  
Он правила в делах придерживался четко:  
Купил — не сожалей и продал — не жалеи!

\* \* \*

Казах был — и в ширях стеснен поневоле —  
С конем и с камчой неразлучен в пути.  
Он знал: всем народом найти свою долю  
Отрадней, чем личную долю найти.

\* \* \*

Иной казах и рад бы тишине,  
Но рот раскроет — слышно на луне.  
В степях у нас характеров немало,  
Да как тут обо всех поведать мне...

\* \* \*

Казахи другим помогали все вместе:  
Пусть те без скота — лишь бы те не без чести!

\* \* \*

Казах бывал без хлеба.  
Но, однако,  
Без песни нет и не было казаха.

\* \* \*

Порой казах без юрты жил своей.  
Но разве смог бы жить он без друзей?

## ВЛАДИМИР ДАГУРОВ

### Диaposитивы о ГДР

Вот замок Мекленбург из волн встает:  
 идиллия — с природой соразмерность.  
 Но низко пролетает вертолет  
 и разом возвращает в современность.  
 Вот Веймар. У театра — Шиллер, Гёте.  
 Дорога в парк, а оказалось — в ад:  
 погибли от коричневого гнета  
 невинных сотни тысяч — Бухенвальд.  
 Вот Алекс, устремленный в облака,  
 в грядущую эпоху устремленный.  
 Вот девушка целует паренька  
 со всею безоглядностью влюбленной...  
 Мои рассказы слушает родня,  
 и щупает мой заграничный свитер,  
 и радуется явно за меня  
 и за страну, которую я видел.  
 «Спасибо за картинки! Молодец!»  
 И правда развлеченье, не заметь я:  
 всех пристальнее смотрит мой отец,  
 он видит глубже — сквозь десятилетия.  
 Он видит город, черный от руин,  
 и раненых друзей — бойцов артвзвода.  
 Совсем другим запомнил он Берлин  
 и до Берлина шел четыре года.  
 Он напрягает близоруко зренье,  
 чтоб были все черты ему видны  
 единственного в мире поколения,  
 живущего с рожденья без войны.

### У могилы Неизвестного солдата

Могила Неизвестного солдата —  
 трагичней места в государстве нет.  
 Лежит солдат, как пал в бою когда-то.  
 В одной утрате — миллионы бед.  
 К нему приходят матери и вдовы,  
 однополчане, братья и сыны...  
 Людей родимых у солдата вдоволь,  
 как вдоволь было горя у страны.  
 Кладут цветы на парапет гранитный  
 с окаменелой скорбью на лице,  
 и если слез на их глазах не видно,  
 то, значит, слезы вышлаканы все.  
 Вдруг — свадебный кортеж! В фате невеста,  
 шары и куклы, шаферы, родня...  
 Но было это счастье неуместно  
 вблизи трагизма Вечного огня.  
 Невеста шла к огню с довольным видом,  
 с охапкой гладиолусов в руках.  
 Жених глаза отвел от инвалида,  
 что путь им уступал на костылях.  
 Что ж, верно — подвиг в памяти народной.  
 Что ж, верно — в мае новая листва.  
 Но было бы, пожалуй, благородней  
 сюда прийти не в шуме торжества.

Приходят к Мавзолею космонавты,  
и незаметен людям этот миг.  
О подвиге страна узнает завтра,  
а ныне день интимнейший у них.  
Они слились с прохожими, с народом  
и думают о самом дорогом...  
А свадьба может кончиться разводом —  
что ж клясться пред немеркнущим огнем?!

### Чусовая

Река текла и отражала  
мир, по которому текла.  
Она, как девушка, дрожала  
в прикосновениях ветерка.  
Ломались сосны и березы,  
худые прутья ивняка,  
и тенью легкой и белесой  
в реке скользили облака.  
В протоках камешки простые  
горят, как друзья хрустала, —  
как будто перстни золотые  
лежат, девичью грусть тая.

Лежат, пронизанные светом  
новородившейся зари,  
как будто камни-самоцветы,  
исходят солнцем изнутри.  
Они расплывчаты, неясны,  
но все же восхищенный глаз  
в них видит то рисунок яшмы,  
то ослепительный алмаз.  
Но мне дороже всех сокровищ,  
что это край родимый мой.  
Да и сейчас глаза закроешь —  
и снова там, на Чусовой..

### АЛЕКСАНДР ШЕВЕЛЕВ

#### Земные заботы

Устремляются ввысь самолеты.  
Поезда пробегают, звеня.  
Но простые земные заботы  
от себя не отпустят меня.  
По весне огород я копаю,  
убираю оттаявший сад,  
журавлиную стаю встречаю,  
что в Россию вернулась назад.  
Высеваю цветы возле дома.  
Провожая в просторы ручьи.  
Разбираю следы бурелома.  
Дождик слушаю теплый в ночи...  
Заскрипела в доме половица —  
встала мама затапливать печь...  
Снова жизнь будет медленно длиться,  
рядом с вечностью течь...

#### С холмов России

Земля тепла. Щедра по-матерински.  
Иду один. Безоблачно кругом.  
Стоят в молчанье обелиски,  
напоминая людям о былом.  
Шуршит жнивье. Звенит овес в округе,  
и в небе ястреб медленно кружит.  
Спокойный ветер, влажный и упругий,  
с холмов России надо мной гудит.  
И пробуждает он во мне тревогу —  
ведь здесь прошла губительно война...  
Гляжу с холма на дальнюю дорогу,  
она до горизонта мне видна...

\* \* \*

Во ржи вдруг стайкою березы  
поодаль от села стоят:  
они в себя вобрали слезы,  
и горечь скорбную утрат,  
и плачи вдов, и крик сиротства...  
Здесь все равны перед судьбой...  
Души российской благородство  
витают гордо над тобой.

Придя сюда в часы дневные,  
старушки подолгу сидят.  
Кресты, как будто постовые,  
извечно в трауре стоят.  
Вокруг шумит ржаное море.  
Простор распахнут голубой...  
Из века в век война и горе  
нерасторжимы меж собой.

## МАРК ГРОССМАН

### Малая война

Была та, малая, война  
И тяжела и скоротечна.  
И не твоя, поверь, вина,  
Что наша молодость беспечна,  
Что, начитавшись грозных книг,  
Живя военными громами,  
Мы поднимались штык на штык,  
В бою не думая о маме,

И не жалели ни о ком  
В снегу, за поредевшим лесом.  
И билось знамя над полком,  
Чужим прожженное железом.  
Мы там учились все забыть,  
Забыть до смерти, кроме цели.  
...И оттого мы, может быть,  
На той, на малой, уцелели.

### Былое зарубцуется на коже...

Былое зарубцуется на коже.  
Шагает время грузною стопой.  
Мне по ночам мерещится все то же —  
Река Ловать, и рукопашный бой,  
И губы побелевшие упрямо  
Кусает унтер, пистолет креня,  
И дуло парабеллума — как яма,  
В которую зароет он меня.  
Но враг внезапно валится на спину,  
Его глаза в холодной пустоте.  
Лежит он, руки вялые раскинув,  
И в дыме дуло моего «ТТ».  
Во сне, бывает, я страшусь иного:  
В том поединке честного огня  
Вдруг не успею выстрелить я снова,  
И унтер первым выстрелит в меня.

### По уставу, без устава...

По уставу, без устава,  
Без вины и по вине  
В три кнута судьба хлестала  
Нас, бывало, на войне.  
Гнев, обиды, непогода,  
Мины, бомбы, боль и злость —  
За четыре горьких года  
Много всякого стряслось:  
Похоронки и блокада,  
Волги долгие деньки

И японского микадо  
Пограничные полки,  
Сны пустые о постели,  
Свист осколков у виска,  
Подмосковного безделья  
Госпитальная тоска,  
Метки разные на коже  
От плеча и до плеча.  
...Ну и что же? Ну и что же?  
А зато победа чья?!

## ФЕЛИКС ЧУЕВ

## Из новой книги

\* \* \*

И говорит герой пилот,  
высотный блеск седин:  
— Пусть молодежь свое берет,  
как брали мы Берлин.—  
Легко такому старику  
вещать со стороны:  
ему достались на веку  
три вещие войны.  
Ему — голодный сумрак сел,  
в него зенитки бьют,  
а им — с рожденья сытый стол,  
родительский уют.

Коль пассажиром он летит  
куда-нибудь вообще —  
звенит проверочный магнит  
от стали, что в плече.  
Есть у сынов передний край  
и для души маршрут,  
но этот край — пока не рай,  
а нынче рая ждут.  
Отцы и дети. Не укор  
святыни гордых дней,  
а неизбежный разговор  
о жизни. Все о ней.

\* \* \*

— Вы рядом с богом,  
небожитель,  
бесценным будет ваш рассказ...  
Иван Иваныч, напишите! —  
просили Пуцина не раз.  
— Кому все это интересно? —  
смущенный старец говорил.  
Ох, нелегко придвинуть кресло  
к столу со склянкою чернил.  
И напечатать — тоже штука!  
Иль для внучат закрыть в бюро?

Вот так же точно маршал Жуков  
не сразу взялся за перо.  
— Кому я нужен? Нет таланта.  
Пускай другие... Не горит.—  
Зато строгали фолианты  
те, кто был Жуковым разбит.  
А он глядел на дочку Машу,  
подняв высокое чело.  
Ах, эта совестливость наша!  
А то, что было, то прошло.

## ЕВГЕНИЯ ГАЙ

\* \* \*

Есть в этом выгода простая...  
О, человек не так уж глуп,  
Когда он мчится, все бросая,  
Куда-нибудь на Итуруп,  
На полюс, на Камчатку света,  
На ледяную Анадырь, —  
Он хочет знать, товарищ этот,  
Он рохля или богатырь?!  
Когда ведут по рекам шалым  
Плоты, летящие, как вихрь,  
Взрывают каменные скалы,  
Собой рискуя каждый миг,  
В пустыне белой, снежной,  
волчьей

Под лунный тусклый ночничок  
Везут без сна еду и почту  
Туда, где нет еще дорог,  
Когда встречаются штормы  
грудью,

Морячкой вверившись судьбе,  
Все это — людям, людям, людям,  
Но и — себе, себе, себе.  
О миг, душе необходимый:  
Как все изведать что почем  
И вровень с участью орлиной  
Крыло ощупать за плечом,  
Жизнь ощутить вдвойне и  
втрое...  
Потом напишут, может быть,  
О чувстве долга, о героях,  
Принесших в жертву теплый  
быт.

А было так: ночей не спали,  
Во льдах работали, в огне.  
Большое счастье покупали  
По самой бешеной цене.



## ВАЛЕРИЙ КРАСНОПОЛЬСКИЙ

### Ташкент

Война над родиной пылала, И не был я еще рожден, И мать моя еще не знала, Что меч над сыном занесен... Она к твоей груди прижалась, Ташкент, Ты кров ей дал и хлеб — И то была не просто жалость, Что даст бездомному ночлег, То было истинное братство, Что в грозный час еще сильней, И это главное богатство Страны моей, ее людей... И уходили добровольцы — Десятиклассники-юнцы, — Пожары затмевали солнце, Но шли и шли вперед бойцы... И победили в битве правой! И ты, Ташкент, встречал сынов —	Омытые росой кровавой, Не все вернулись из боев... Печаль и радость, боль людскую — Ты все изведал до конца, О сыновьях своих тоскуя, Спасал ты каждого мальчика. И матери детей спасенных, Склонившись в пояс до земли, Благодарили изможденных Людей, что их детей спасли... Прошли года... Но не забыто Ни матерями, ни детьми То братство, что в огне добыто, — Живет оно между людьми! Ты победил, Ташкент, руины, И возрожденная земля, Собрав всех братьев воедино, Победу праздновать могла!
--	---

## ЛЕОНИД ВЬЮННИК

\* \* \*

Мне хорошо, что я сейчас устал,  
Что мир вокруг и яростный и мудрый,  
Что моя совесть так пред ним чиста,  
Как это замечательное утро!

### Степь и море

*Кашпурову И. В.*

Степью, словно дочерью, согретый,  
Я воскликнул как-то невзначай:  
«Из зимы вернулся прямо в лето,  
Ну, Иван Васильевич, встречай!»  
Широки, вольны твои просторы...  
И люблю к тебе я приезжать  
Потому, что степь — она как море,  
Где пришлось мне крепнуть и мужать.  
...Высь крута и воздух здесь криничный,  
Травы ветром пахнут, как прибой.  
Есть у них какое-то различье,  
Как у нас, наверное, с тобой...  
То не парус плещет в чистой сини,  
То не чайка реет над жнивьем...  
Степь твоя — степенная Россия  
В сердце отражается моем.

\* \*  
\* \*

Звезду заприметь впереди,	Пусть слово забьется на солнце,
Шагай по буграм и по кочкам,	Как чистый на дереве лист.
Пусть слово взорвется в груди,	Души вдохновенной веление
Как будто на дереве почка.	Исполни, планету любя.
Светло, и упруго, и сочно,	Твори от лица поколения,
Что птицы предутренний свист,	А значит, и от себя.

## ЛЕОНИД ВИНОГРАДСКИЙ

### Доноры тепла

О день спасенья — день благодаренья  
 души, впитавшей теплоту огня,  
 лизавшего последние поленья,  
 которые сжигали для меня.  
 Беда прошла. Душе жилось и пелось.  
 И белая не догоняла смерть.  
 Смеялся я. И плакать так хотелось,  
 чтобы глаза от хиуса согреть...  
 Жгли рыбаки последние поленья,  
 плясал костер на стылом берегу...  
 И никаким теплом стихотворенья  
 я то тепло вернуть им не смогу.  
 Кто б ни был ты, дать у огня согреться  
 обычай есть, да будет он нетлен,—  
 дарить тепло и очага и сердца  
 и ничего не требовать взамен!  
 Ты спал в зимовье? Нет к тебе вопросов.  
 Но уходя ты поступи, как встарь:  
 оставь вязанку дров и папиросы,  
 сухие спички на столе оставь.  
 А нет их у тебя — то и тогда ты  
 прощен и понят. Ты не сделал зла.  
 Нет в тундре за тепло ни мзды, ни платы.  
 Мы, северяне,— доноры тепла!



---

---

ФРАНЦ ТАУРИН  
★  
КАМЕНЩИК РЕВОЛЮЦИИ

*Повесть о Михаиле Ольминском*

В Вашем лице съезд приветствует всю старую гвардию РКП, в тяжчайших условиях царизма закладывавшую фундамент партии российского рабочего класса.

*Из приветствия XII съезда РКП(б)  
Михаилу Степановичу Ольминскому.  
Апрель 1923 года.*

В четверг 25 сентября

**М**ихаил Степанович был до глубины души возмущен услышанным и как только вошел к себе в кабинет, даже не сняв пальто, сразу взялся за телефон.

Позвонил управляющему делами Совнаркома Бонч-Бруевичу. Ответили, что Владимир Дмитриевич на докладе у Ленина.

— Передайте, пожалуйста, Владимиру Дмитриевичу, что звонил Ольминский,— сказал Михаил Степанович.— У меня к нему крайне срочное и важное дело.

И только после этого прошел к стоящей в углу у двери вешалке и снял свое когда-то щегольское, а теперь уже сильно поношенное пальто.

Вернувшись к столу, тут же позвонил наркому здравоохранения Семашко:

— Николай Александрович! Безобразие, граничащее с преступлением! Сейчас мне рассказали, что на Павелецком вокзале раненые и тифозные красноармейцы лежат прямо на полу.

— Все больницы и лазареты переполнены,— угрюмо сказал Семашко.

— А эти так и останутся вповалку на грязном полу?

— Вы меня убеждаете? — грустно усмехнулся Семашко. Немного помолчав, сказал: — Сейчас пошлю на Павелецкий врача и санитаров. Все возможное будет сделано.

Через несколько минут позвонил Бонч-Бруевич. Выслушав Михаила Степановича, сказал:

— О тех, что на Павелецком, можете, Михаил Степанович, не тревожиться. Николай Александрович сказал, значит, сделает. Сейчас распоряжусь, чтобы проверили все вокзалы... Вам сообщат, какие меры приняты. А то, я вас знаю, не уснете всю ночь...

— Не усну... — печально подтвердил Михаил Степанович, поблагодарил Бонч-Бруевича и положил трубку.

Михаил Степанович углубился в лежащие перед ним бумаги, но тут же пришлось оторваться от текущих служебных дел. Принесли свежий, еще пахнущий типографской краской номер «Правды». Не просмотрев очередного номера «Правды», Михаил Степанович не то

что начать работать, самим собою просто не мог быть. Профессиональный партийный литератор, для которого партийное слово было главным делом его жизни, и не мог иначе. А эта газета и лично близка ему. Он стоял у ее колыбели.

Быстро пробежал первые страницы и задержался на объявлении, вынесенном на четвертую полосу.

«Московский комитет РКП (большевиков) приглашает нижеследующих товарищей на заседание, которое состоится в четверг 25 сентября ровно в 6 час. вечера в помещении — Леонтьевский переулок, дом № 18: Антонова, Антонова-Лукина, Арского, Бакинского, Барсова, Батурина, Бухарина, Винокурова, Дивильковского, Диканского, Залежского, Инессу, Каменева, Керженцева, Коллонтай, Красикова, Крестинского, Кропотова, Ломова, Мещерякова, Невского, Ногина, Осинского, Павловича, М. Перчихина, Покровского, Преображенского, Рейнштейна, Сафарова, Свидерского, Смидовича, Стеклова, Степанова, Ходоровского, Чучина и Ярославского.

Явка всех обязательна... Заседание важное и необходимое».

Фамилии Ольминского в списке приглашаемых на совещание не было, но секретарь Московского комитета Владимир Михайлович Загорский вчера вечером звонил на квартиру и просил Михаила Степановича быть обязательно. А сегодня, когда Михаил Степанович уже с головой погрузился в текущие дела своего комиссариата, — он работал в Комиссариате имуществ Республики и исполнял весьма хлопотные обязанности полномочного комиссара Московского Кремля, и на его плечи, кроме многих иных текущих дел, возложена была забота о сохранении огромных материальных и художественных ценностей, заполнявших помещения и подвалы Кремлевских дворцов и палат, — ему снова позвонили из Московского комитета партии и молодой, но строгий женский голос сообщил, что Владимир Михайлович просил напомнить: заседание в МК ровно в шесть часов.

Михаил Степанович поблагодарил за напоминание и сказал, что непременно будет.

Примерно в это же самое время, когда Михаилу Степановичу напомнили о заседании в Московском комитете, разговор об этом же заседании велся за столиком в третьесортном ресторане «Поплавок», притулившемся к гранитному парапету Кадашевской набережной, неподалеку от Малого Каменного моста.

Ресторанчик этот, когда-то бывший излюбленным прибежищем приказчиков, ремесленников и разного мелкого служилого люда, с некоторых пор стал пользоваться недоброй славой у окрестного населения, особенно после того, как летом этого нелегкого — тысяча девятьсот девятнадцатого — года милицейский пост, что у Чугунного моста, несколько раз вылавливал из воды покойников, распростившихся с жизнью явно не по своей воле. Жители близлежащих Якиманки, Полянки и Ордынки с унижавшими их переулками, так же, как жители набережных и Болота, избегали заходить в «Поплавок», который, однако же, не пустовал: у него завелась своя клиентура. Открывался ресторан в одиннадцать часов утра, но заполнялись оба его зала обычно только к вечеру. Днем посетителей было мало. Немного их было и сегодня. Особенно в зале, смотревшем на Стрелку. Со стороны Нескучного сада дул резкий порывистый ветер, позванивая стеклами, плохо закрепленными в разошедшихся переплетах оконных рам, и выдувая остатки тепла из помещения. Завсегдагаи «Поплавка», учитывая это обстоятельство, проходили сразу в кормовой зал.

И лишь двое отважились остаться в пустом носовом салоне. Сидели они за столиком у самого окна один против другого, и одному были видны в окно Кремлевские купола, другому кирпичные корпуса и трубы кондитерской фабрики.

Тот, что сидел лицом к Кремлю, проступал на фоне голубеньких обоев внушительным темным пятном: рослый, плечистый мужчина в черной кожаной куртке и комсоставских сапогах; на его крупном лице, обросшем короткой бородою, выделялись большие, круглые, как у филина, глаза; в разговоре он слегка заикался и каждый раз при этом вскидывал голову, отчего взметывались над широким лбом темные, плохо расчесанные кудри.

Сидевший напротив был совсем другого покроя — почти столь же высокий, но тощий и узкогрудый, что заметно было по свисавшим плечам серого поношенного пальто; он сидел ссутулясь, почти упираясь рыжеватым клинышком бороды в кромку столешницы; на бескровном, землистого цвета лице казались чужими яростные, горящие лихорадочным блеском глаза.

Здоровяк в черной кожанке был одним из главных руководителей недавно сложившейся организации анархистов подполья. Звали его в настоящее время Петром Соболевым. Собеседник его — Донат Черепанов — входил в руководящее ядро партии левых эсеров.

— Предупреждали меня не связываться с вашей бражкой. И правильно предупреждали. — Выговаривал Соболев Черепанову. — Во сколько было условлено?..

— Вам очень хочется, чтобы я за собой хвост привел? — возразил Черепанов.

— Веди, если жизнь надоела... — хмуро усмехнулся Соболев. И, немного помолчав, спросил: — А что, был хвост?

— Может быть, просто показалось... — Черепанов пожал плечами. — Но береженого и бог бережет. Пришлось покрутиться вокруг Балчуга и подойти по Кадашевской.

Он, по-видимому, ждал, что его предусмотрительная осторожность заслужит одобрение, но собеседник хмуро молчал.

— Щепкин, председатель «Национального центра», на чем стогрел? — напомнил о себе Черепанов. — Хвоста к нему привели. И амба...

— Хватит! — хмуро оборвал Соболев. — Давай без болтовни, ближе к делу!..

Черепанов достал из кармана газету.

— Сегодняшнюю «Правду» читали?

— Читал «Известия», — ответил Соболев.

— Это одно и то же. Текст идентичный. Как видите, сведения мои оказались совершенно точными.

— Самого-то не будет, — хмуро произнес Соболев.

— Будет! — уверенно возразил Черепанов.

— Не поименован.

— Ишь чего захотели! — язвительно усмехнулся Черепанов. — Мало вам, что всю партийную знать перечислили?.. Не бояться!..

— Вы все давно уж хвосты поджали, — с откровенным пренебрежением отозвался Соболев. — Только вас им и бояться.

По землистым щекам Черепанова пошли темные пятна. Словно задыхаясь, выдавил:

— А вас?

— Нас они еще не знают, — как-то вразяжку произнес Соболев. — А когда узнают, некому будет бояться.

— А зачем собираются товарищи большевики, какой вопрос будут обсуждать, это вы знаете? — уязвленно спросил Черепанов.

— Какой? — равнодушно спросил Соболев.

Черепанов оглянулся и понизил голос:

— Об эвакуации большевиков из Москвы и сдаче Москвы Деникину. Понимаете, до чего докатились товарищи комиссары!

— Это, конечно, собачья брехня, — спокойно возразил Соболев. — Не за этим они собираются. Только нам это все равно. Они пусть об-

суждают, что хотят, а мы будем с ними разговаривать только на языке динамита.

— А успеете обернуться Москва — Красково и обратно? — деловито осведомился Черепанов.

Соболев метнул на него пристальный и тяжелый взгляд.

— Много знаете...

— Мы же верные союзники в борьбе за революционные идеалы! — высокопарно произнес Черепанов. — Союзники на жизнь и на смерть!

Соболев не пошел ему навстречу.

— Умирать не собираемся, — жестко сказал он. — Они пусть умирают... Ну, хватит воздух ворошить, господин хороший! Ближе к делу! Мне нужен план помещения и все подходы к нему.

— Обойдемся без бумаги, — сказал Черепанов. — В этом здании, Леонтьевский, восемнадцать, раньше помещался наш Цека. Я знаю здание и все подходы к нему как свои пять пальцев.

— Да я-то не знаю! — грубо оборвал его Соболев.

— Я вас сам проведу, — сказал Черепанов, — и укажу самый удобный подход.

— Не сдрейфишь?..

— Наша партия не меньше вашей заинтересована в успешном исходе операции, — с достоинством возразил Черепанов.

Секретарь Московского комитета Владимир Михайлович Загорский готовился к вечернему заседанию, которому он придавал особое значение.

Положение в Москве было предельно тревожным. Деникин подступал к Воронежу. Все наличные силы были брошены на деникинский фронт. В самой Москве почти не осталось воинских частей. Больше половины коммунистов Москвы — почти все, кто способен носить оружие, — ушли на фронт. Создалась исключительно благоприятная обстановка для возникновения всяких подпольных контрреволюционных групп и для организации всяких антисоветских заговоров.

«Наступил один из самых критических, по всей вероятности, даже самый критический момент социалистической революции», — писал Ленин в своей работе «Все на борьбу с Деникиным!», опубликованной 9 июля как «Письмо ЦК РКП (большевиков) к организациям партии».

*«...подтянуться по-военному, переведя максимум своей работы, своих усилий и забот на непосредственные задачи войны, на быстрое отражение нашествия Деникина, сокращая и перестраивая, в подчинение этой задаче, всю свою остальную деятельность, — говорилось в «Письме ЦК». — Советская республика осаждена врагом. Она должна быть единым военным лагерем не на словах, а на деле».*

Надо разъяснять, требовал Ленин, «правду о Колчаке и Деникине». «Осведомление народа — во главу всей агитации и пропаганды», — писал он.

Тысячи агитаторов и пропагандистов несли московским рабочим слова ленинской правды.

На заводах и фабриках Москвы прошли сотни митингов, лекций, бесед. Каждую пятницу во вместительных помещениях, а в хорошую погоду прямо на площадях столицы проходили общерайонные митинги. Перед рабочими выступали виднейшие деятели партии и правительства.

Сегодняшнее совещание и было, по сути дела, подготовкой к завтрашним очередным общерайонным митингам. На этих митингах предстояло рассказать рабочим о раскрытом контрреволюционном заговоре, призвать их к укреплению революционной дисциплины, к

всемерному повышению бдительности, мобилизовать на новые трудовые усилия во имя быстреешего разгрома врага.

Поэтому на заседание были приглашены опытейшие и авторитетнейшие работники партии. Назавтра им предстояло выступать на многолюдных митингах, которые пройдут по всем районам Москвы.

Ровно за неделю до нынешнего четверга, то есть восемнадцатого сентября, уже под вечер, дежурный одной из подмосковных станций Московско-Киевской железной дороги случайно обнаружил стоящий на путях товарный вагон. По документам вагон не значился в числе прибывших на станцию. Дежурный внимательно осмотрел вагон со всех сторон и заметил, что на нем нет пломбы. А прислушавшись, установил, что в вагоне кто-то есть.

На первый стук дежурного никто не отозвался. Лишь после повторного стука дверь вагона раздвинулась и выглянул молоденький чернявый красноармеец в шинели внакидку.

Состоялся лаконичный диалог:

— Что за вагон? Куда следует?

— Твое какое собачье дело!

— Я дежурный по станции.

Из глубины вагона что-то подсказали и красноармеец ответил нехотя:

— В Одинцово.

— Что в вагоне?

— Срочный военный груз.

— Документы!

Красноармеец повернулся и сказал кому-то невидимому в сумраке вагона:

— Буди, скажи, документы требуют.

К проему двери подошел подтянутый командир в новенькой форме с ремнями вперехлест, с маузером на бедре.

— Срочный груз,— сказал командир.— К утру должен быть на станции Одинцово.— И подал дежурному мандат.

На листе с печатным штампом «Московская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлением по должности» напечатано было на слепой машинке, что «дан сей мандат тов. Азарову, который командировается в города Брянск и Орел по весьма секретным делам». И дальше, как положено в столь важном документе: «предлагается всем Советским, Военным, Общественным и Партийным организациям оказывать всяческое содействие...»

Разглядев штамп ЧК, дежурный не стал и читать дальше, вернул мандат товарищу Азарову и сказал, что немедленно узнает, какая есть возможность быстро отправить вагон в Одинцово, после чего вернется и доложит товарищу командиру.

— Груз секретный, так что зря о вагоне никому! — строго предупредил командир.

— Слушаюсь, товарищ начальник.

Проводив взглядом дежурного, командир отдал бойцам несколько странные распоряжения:

— Стань у двери и смотри в оба. Патрон в стволе, гранаты под рукой. К вагону никого не подпускай! А ты приготовь запальную шашку. Поджигать буду сам.

— Думаешь, стукнет в Чека?

— Черт его душу знает! — выругался командир.— На всякий случай. Если отдадим товар чекистам в руки, Петька всех нас отправит в штаб Духонина.

Но тревоги оказались напрасными. Минут через пять стоявший у



двери красноармеец доложил командиру, широкими махами отмеривавшему бикфордов шнур из массивной бухты:

— Снова бежит к вагону.

— Подпусти.

Дежурный подбежал и, снова козырнув, доложил, запыхавшись, что через несколько минут подойдет маневровый паровоз и доставит вагон до Окружной.

— Как фамилия? — спросил командир.

— Петушков, товарищ начальник.

Командир строго и пристально оглядел железнодорожника с головы до ног.

— Смотри, Петушков, не кукарекай. Чтобы о вагоне никому ни гугу! Узнаю, вернусь, выщиплю крылышки!

— Что вы, товарищ начальник, разве я не понимаю...

— Ну иди, товарищ Петушков. Встречай паровоз. И чтобы все по-быстрому!

В ту же ночь вагон с особо секретным грузом был доставлен на станцию Люберцы (Одинцово было названо на всякий пожарный случай — для отвода глаз) и загнан в дальний тупик. На утро к вагону подъехали две телеги, груженные сеном. Возчики и сопровождающие груз красноармейцы быстро выгрузили из вагона два десятка деревянных ящиков и упрятали их под сено. Подводы выехали на Рязанское шоссе, часа через два благополучно добрались до дачного поселка Красково и подъехали к двухэтажной деревянной даче, стоящей в глубине густого сада.

На другой день утром Васька Азаров, теперь уже не в командирской форме, а в отлично сшитой темной пиджачной паре, выехал в Москву в извозчичьей пролетке, запряженной резвым гнедым рысаком. В ногах у него стояли две корзины, наполненные отборными, одно к одному, ярко-красными яблоками.

Яблоки Васька Азаров отвез в большой дом на углу Тверской и Козицкого переулков. В этом доме в просторной комнате полуподвального этажа проживал дружок его и соратник по подпольной организации Сашка Розанов, работавший, а точнее сказать, числившийся, токарем в ремонтно-механической мастерской, расположенной в одном из Вятских переулков, неподалеку от Савеловского вокзала.

Михаил Степанович, верный своей привычке никуда и никогда не опаздывать, выработанный долгими годами нелегальной подпольной работы, пришел на заседание за десять минут до назначенного срока.

В вестибюле двухэтажного особняка в Леонтьевском переулке было оживленно и шумно. Стояли кучками и переговаривались. Конечно, прежде всего всех интересовало, будет ли на заседании Владимир Ильич. Но об этом не знали даже сами работники партийного комитета.

О том, какой вопрос будет обсуждаться на заседании, большинство знало, или, по крайней мере, догадывалось. Сообщение Всероссийской Чрезвычайной Комиссии о раскрытии контрреволюционного заговора было опубликовано во всех центральных газетах еще два дня назад. Обойти молчанием такое событие невозможно, и все ждали подробностей, так как на завтрашние общерайонные митинги, на собрания по фабрикам и заводам с пустыми руками к рабочим не выйдешь.

Ровно в шесть часов секретарь Московского комитета Владимир Михайлович Загорский открыл заседание.

Несколькими минутами позже высокий плечистый человек в кожаной куртке и комсоставских хромовых сапогах, с выбивающимися из-под фуражки прядями жестких темных кудрей, прошел в подворотню четырехэтажного кирпичного дома по Казарменному переулку. Войдя во двор, он достал папиросу, закуривая на ветру, неприметно огляделся и, не обнаружив ничего подозрительного, спустился в одну из квартир полуподвального этажа.

Следуя друг за другом с небольшими интервалами по пять—десять минут, в ту же квартиру спустились еще три человека.

Последним явился красавчик Яша Глагзон. Он остановился на пороге, как всегда франтовато одетый, в отличном темно-сером костюме и новеньком щегольском макинтоше, в кепочке с прямым козырьком и хлыстиком в руке и отвесил общий элегантный поклон.

— Не торопиться. Жди тебя!..— сердито буркнул Мишка Гречаников, сутулый и длиннорукий, с копной темных, давно не чесанных волос.

Яша Глагзон небрежным, хорошо заученным жестом пригладил ровно подстриженные светлые усики и не торопясь достал из жилетного кармана серебряную луковицу.

— Дорогой коллега! Ваши упреки неосновательны. Я прибыл ровно за две минуты до назначенного срока.

— Вырядился, как жоржик,— проворчал Мишка.

— Мы же собираемся навестить интеллигентных людей,— возразил Яша Глагзон.— А вот вас, дорогой коллега, могут и близко не подпустить. Вы, извините за откровенность, обмундированы, как босяк.

Мишка Гречаников был самым молодым во всей компании, ему лишь недавно исполнилось девятнадцать. Но так разговаривать с собой он позволял только Яше Глагзону. Все остальные, даже сам Соболев, его побаивались. Мишка прибыл в Москву из пггаба Махно и, по видимому, прошел там хорошую выучку. У всех на памяти был случай, когда в ответ на какую-то пакостную шутку Сашки Барановского, вместе с ним прибывшего от Махно, Мишка, не говоря ни слова, выхватил револьвер и лишь случайно промахнулся, продырявив все же Сашке левое ухо. После этого случая Мишку Гречаникова остерегались задевать.

Соболев положил конец дружескому разговору:

— Хватит языки чесать! Слушай разнарядку и запоминай. Барановский идет со мной. Яше Глагзону обойти все улицы и переулки вокруг Леонтьевского. Если нет засады, ровно в восемь быть у памятника Пушкину. Когда мы с Барановским пройдем мимо, прикрывать нас. Николаеву и Гречаникову идти за Черепановым, привести его в Чернышевский переулок к восьми часам. Если откажется идти — ликвидировать. Всем ясно?

— Как я понимаю,— улыбнулся Яша Глагзон,— у меня самая интересная прогулка. У памятника Пушкину встречаются такие симпатичные девочки!

— Самая интересная прогулка у нас с Сашей Барановским,— в тон ему отозвался Соболев.

Он не терпел зубоскальства, но сейчас Яшино балагурство снимало напряжение и поэтому он — руководитель операции — не только не оборвал весельчака, но даже поддержал его.

— Первым выходит Яша,— распорядился Соболев.

Глагзон церемонно откланялся, расшаркался и вышел.

— Насчет Черепанова запомнил? — обратился Соболев к Гречаникову.

Мишка Гречаников достал наган и нежно погладил его.

— Запомнил. Когда Мишка о деле забывал? Надо будет, я и этого эсера,— он ткнул дулом в сторону Николаева,— отправлю к Духомину.

— Этого не надо,— сказал Соболев.— Это наш. Он с нами крепко повязан.

Помолчал немного и кивнул Барановскому:

— Пошли, Саша. Мы с тобой в главной упряжке.

— Нам не привыкать,— сказал Барановский.

По его испитому лицу старого морфиниста скользнула усмешка. Барановский, на вид медлительный и вялый, был патологически жесток. Занимаясь квартирными грабежами в Туле, он, допытываясь у своих жертв, где спрятаны деньги и драгоценности, подвергал их мучительным пыткам, прижигая тлеющей папироской самые болезненные места на теле. Во время экса на патронном заводе он, без всякой на то надобности, застрелил кучера, который вез кассира с деньгами. И когда его попрекнули ненужным убийством, сказал, нехотя улыбаясь: «Одним свидетелем меньше...»

Он сам вызвался кидать бомбу в здание МК вместе с Соболевым, едва услышал о подготовке к взрыву. И Соболев охотно взял его в подручные: Барановский с полным безразличием относился к жизни и смерти, как чужой, так и своей.

— Пошли, Саша,— повторил Соболев, пропустил Барановского вперед и, остановившись в дверях, напомнил остающимся: — Вам выходить ровно через полчаса. И ровно в восемь, ни минуты позже, быть в Чернышевском!

У Покровских ворот сели на извозчика, доехали до Театральной площади. Молча, быстро дошли до Копьевского переулка. У подворотни многоэтажного дома остановились. Барановский пошел во двор и вскоре вернулся вместе с Васькой Азаровым.

— Прикрывай нас,— сказал Соболев Барановскому и тот, пропустив Соболева и Азарова вперед, пошел следом за ними.

Поднялись по Дмитровке и свернули в Козицкий переулок. Соболев и Азаров вошли в дом через черный ход, Барановский остался во дворе. Сашка Розанов, как приказано было, ждал их. Но был заметно встревожен. И Соболев сразу заметил это.

— Значит... сегодня...— сказал Розанов.

— С парадного открыто? — не отвечая ему, спросил Соболев.

— Открыто.

— Встанешь в конце коридора. Сюда никого не пропускай. Только без лишнего шума, без стрельбы.

— А если двое?.. Они теперь парами ходят...

— Отведи. Как птица от гнезда отводит. Если сюда пропустишь, на дне моря сыщу.

Сашка Розанов вышел. Азаров вытащил из-под кровати большой сверток и осторожно поставил на стол. В свертке было десятка три пироксилиновых шашек,— желтовато-серых призмочек, похожих на бруски банного мыла.

— Какого же ты черта! — разозлился Соболев.— Тебе сказано было, уложить в ящик!

Васька стал оправдываться:

— Не нашлось подходящего... Ну и что?.. Можно связать... веревкой...

— Дура!.. Кидать будем. Рассыплется все к боговой матери! И выйдет пшик...

— Ладно, поищем,— сказал Васька Азаров.

Отошел в угол комнаты, где у Розанова стоял самодельный верстак с небольшими тисками. Пошарил под верстаком и достал круглую фанерную коробку (по-видимому, футляр от дамской шляпы), наполненную шурупами, болтами и гайками. Высыпал все металлическое барахло и протянул коробку Соболеву.

— Это, брат, не ящик, а футляр первого сорта!

— Твое счастье, а то бы я тебя!..— сказал Соболев, но уже без всякой злобы.

Коробка действительно была очень удобна даже и с точки зрения конспирации.

Соболев быстро уложил в коробку пироксилиновые шашки, приладил запал, закрыл коробку крышкой, выпустив из-под нее конец бикфордова шнура, и тщательно, в несколько рядов обвязал прочной бечевкой. Проверил, удобно ли нести и сможет ли нести, не выдавая тяжести шляпной коробки, потом выглянул в коридор и окликнул притаившегося в дальнем его конце Сашку Розанова.

Сашка поспешно подошел и, взглянув на него, Соболев прочел на его лице нетерпеливое ожидание: скоро ли, наконец, эти опасные гости оставят его в покое и покинут квартиру...

— Скоро вернемся,— сказал ему Соболев.— Запрись на ключ и не открывай никому. Только на условный стук. Понял?

— Понял...

— Ну смотри!

— Теперь ты прикрывай нас,— сказал Соболев Азарову, когда они вместе вышли из подъезда.

У памятника Пушкину Яша Глаззон во всем своем великолепии старательно веселил двух размалеванных девиц, не спускавших с него глаз.

— Котует, фраер!..— ухмыльнулся Сашка Барановский.

— Теперь иди к Розанову и до девяти часов не выпускай его никуда,— приказал Соболев догнавшему их Азарову.— Даже в сортир не выпускай. Понятно?

— Ты что, Петр!..

— Не понравился он мне сегодня,— пояснил Соболев.— Сильно не понравился. Действуй!

И теперь уже злоеца троица в новом составе — Соболев и Барановский впереди, Глаззон следом за ними — направилась вниз по Тверской в сторону Скобелевской площади.

После короткой вступительной речи Загорский предоставил слово Бухарину, затем Покровскому.

Они подробно рассказали о том, как белогвардейцы подготавливали контрреволюционный мятеж.

В Москве действовала хорошо законспирированная подпольная организация «Национальный центр», подчиненная штабу Добровольческой армии. План мятежа разрабатывали опытные боевые офицеры, засланные в Москву штабом армии Деникина.

Руководители мятежа отлично понимали, что рассчитывать на свержение советской власти силами одних лишь мятежников, сосредоточенных в черте города, нереально, и поэтому они поставили перед собой значительно более скромную, но зато вполне конкретную задачу.

Заключалась она в следующем: захватить центр Москвы хотя бы в пределах бульварного кольца и хотя бы на несколько часов, завладеть радио и телеграфом, оповестить фронты о падении советской власти и вызвать таким способом губительную панику и разложение в армиях, отражавших натиск дивизий Колчака, Деникина и Юденича.

Заговорщики не тратили времени понапрасну. Им удалось не только стянуть в Москву значительное число офицеров, но и внедрить их на достаточно важные командные посты. В их руках оказались три военные школы московского гарнизона. Силы вполне достаточные для внезапного удара.

Руководители мятежа разработали подробный план оперативных действий. Начать предполагалось одновременно в трех пунктах: в подмосковных городках Вешняки, Волоколамск и Кунцево. Эти от-

влекающие мятежи должны были сковать основные силы гарнизона и ЧК, оставив саму Москву и центральные правительственные учреждения без достаточной защиты.

Мятеж в самой Москве также был тщательно спланирован. Вся Москва была разбита на секторы по Садовому кольцу. За Садовым кольцом по всем улицам намечалось устроить баррикады, чтобы, надежно прикрывшись с тыла, повести наступление на центр по главным магистралям: по Тверской и Никитской, по Мясницкой и Покровке.

У заговорщиков были агенты во многих штабах, поэтому удалось расставить своих людей всюду, где им было необходимо.

— Заговорщики были настолько уверены в своей победе,— сказал, заканчивая свою речь Михаил Николаевич Покровский,— что заготовили даже целый ряд воззваний и приказов. Сейчас я прочту вам некоторые из них.

Он начал читать хвастливый самонадеянный приказ мнимых завоевателей Москвы, и голос его потонул в общем гуле возмущенных возгласов.

Когда Соболев со своими спутниками пришел в Чернышевский переулок, их там уже поджидали Черепанов, Николаев и как всегда хмурый Гречаников.

У Соболева отлегло от сердца. До последней минуты он не был вполне уверен в Черепанове. Струсит и смоеется из Москвы. А то еще и побежит в ЧК, чтобы предательством спасти свою шкуру. И только увидев его здесь, в Чернышевском переулке, рядом с Гречаниковым, Соболев успокоился.

— Оставьте свою коробку, я проведу вас ближе к зданию,— сказал Черепанов.

Соболев передал бомбу Барановскому и последовал за Черепановым. Внимательно озираясь по сторонам, они подошли к узорчатой металлической ограде, за которой в глубине сада виден был двухэтажный особняк с высокими, по всему фасаду освещенными окнами.

— Где калитка? — спросил Соболев.

— Калитки нет, есть ворота для хозяйственных нужд,— ответил Черепанов.— Но они закрыты и через них проникнуть в сад нельзя.

— Значит, через ограду...— сказал Соболев, примеряясь к высоте увенчанных острыми пиками металлических стержней.— Высоковато!..

— Напрасно сетуете,— заметил Черепанов.— Если бы ограда была ниже, здесь бы прогуливались охранники из Чека.

— Теперь понял...

— Заседание проходит в большом зале. Видите эти четыре окна?— показал Черепанов.— Удобнее всего бросать с балкончика. На балкончик вы легко подниметесь по дереву. Отсюда не так видно, но оно совсем рядом с балконом. Вопросы есть?

— Вопросов нет! — резко ответил Соболев, закипая.

Тля эдакая!.. Все чужими руками. А если выгорит дело, первым кинется пенки слизывать!..

Соболева вдруг охватила такая застилающая глаза ярость, что он с трудом удержался, чтобы не взять этого долговязого чистоплюя за горло и не вытрясти из чахлого тела всю его пакостную душонку. И удержало его только то, что тех, которые заседали там, за высокими светлыми окнами, он ненавидел еще больше, потому что они были сильнее.

— Если вопросов нет, я, с вашего позволения, удаляюсь,— сказал Черепанов.

— Подальше в кустики! — не выдержал все же Соболев.

— Все, как условливались,— хладнокровно отвел упрек Черпа-

нов.— Я предупреждал: наша партия должна быть вне подозрений. Честь имею.

Соболев плюнул вслед уходящему союзничку.

Он распорядился, кому где охранять подходы к переулку и строго-настрого приказал:

— Чтобы ни одна живая душа не подошла. Хитростью или силой задержать любого. Стойте насмерть!

Барановский, ловкий, как обезьяна, быстро перемахнул через ограду, принял у Соболева смертоносную коробку и помог ему самому перелезть. Оставив бомбу в кустах, оба подошли к зданию вплотную. В открытую форточку доносились звуки голосов.

Ни один из заполнивших зал людей лично ему — Петру Соболеву — никогда не причинил никакого вреда. Он даже не был знаком ни с одним из них. Винаваты эти люди были лишь в том, что являлись как бы душою и мозгом партии большевиков, партии, им яро ненавидимой. И эту свою вину они могли искупить только своей жизнью...

За несколько последних лет и особенно за несколько последних месяцев Петр Соболев так привык убивать, что даже тени сомнения в своем праве отнять жизнь у всех этих людей не закралось в его окаменевшую душу. Тревожила лишь одна мысль: здесь ли все главные...

Он еще не знал, что несколько просчитался во времени и что после первого, основного вопроса многие — и в числе их видные деятели партии и государства — покинули заседание. Он утром с жадной дотошностью перечел несколько раз объявление в газете и порадовался, что почти вся головка собралась вместе. А Черепанов, кроме того, заверил, что будет и с а м...

И вот теперь наконец-то все они в его — Петра Соболева — власти...

Как и говорил Черепанов, забраться на балкончик не составило большого труда. А отсюда хорошо был виден просторный зал заседаний и сидящие в нем люди. Его же самого никто видеть не мог. Ночь была пасмурная и темная, фонари в саду не горели, электрическую энергию берегли, как хлеб.

Та часть зала, в которой находился стол президиума, не была видна Соболеву, и он не мог определить, кто же из «главных» присутствует на заседании. Но теперь он уже и не думал об этом. В зале было не менее сотни большевиков, и добытый такими трудами пиросилин не будет потрачен напрасно...

Соболев подал знак. Барановский, оберегаясь, чтобы не попасть в полосу света, падающего из окна, кинулся за спрятанной в кустах бомбой, принес ее и подал наверх. Соболев встал на колени спиной к окну, прижимаясь боком к холодной стене, достал из кармана кусок шнурового фитиля и, чиркнув зажигалкой, поджег его.

Зажав в кулаке тлеющий фитиль так, чтобы огонек его не был виден, осторожно заглянул в окно.

Заседание продолжалось. Все внимательно слушали очередного оратора.

«Пора!» — сказал сам себе Соболев, поджег фитилем выпущенный из-под крышки конец бикфордова шнура и как только оттуда брызнули колющие искры, размахнулся, что было силы, и бросил бомбу в окно...

Михаил Степанович сидел недалеко от окна и осколок стекла царапнул его по щеке.

Он не успел почувствовать боли и не сразу понял, что произошло. Тяжелый — судя по звуку, с каким он ударился об пол — предмет, пролетевший над его головой и валявшийся сейчас в проходе между стульями, был похож на шляпную коробку и, казалось, не мог таить в себе никакой опасности.

Но многие догадались и опрометью ринулись к двери, своей стремительностью мешая друг другу. В дверях мгновенно образовалась пробка.

— Товарищи! Без паники!..— крикнул Загорский и кинулся к бомбе, но не успел еще коснуться ее, как громыхнул взрыв...

Вспышка яростного света ударила в глаза Михаилу Степановичу и ослепила его. Потом все его тело прошло пронзительной болью и он, теряя сознание, провалился в глубокую безмолвную темноту...

### Как много всего было в жизни...

Очнулся он уже в санитарной машине. От сильной боли тут же снова потерял сознание. Снова ненадолго очнулся, когда занесли в палату и перекладывали с носилок на узкую больничную койку. И уже окончательно пришел в себя ночью.

Он лежал в длинной и узенькой, как пенал, комнатушке на старом диване, с порванной или пропоротой во многих местах кожаной обивкой. В слабом свете, проникавшем в комнатушку из коридора через фрамугу над высокой дверью, различим был стоявший напротив дивана широкий шкаф с застекленными дверцами, на полках которого выстроились в ряд всевозможные склянки и коробки, еще один шкаф с глухими дверцами и небольшой столик в углу. За окном чернела осенняя ночь.

Вошла медсестра в ветхом пальтишке, накинутом поверх больничного халата, со свечой в руке, заслоняя ее ладонью, чтобы не потревожить спящего. Бесшумно открыла стеклянную дверцу шкафа, осторожно достала какую-то склянку и поставила ее на столик. Подошла к дивану и поправила сбившееся одеяло.

Михаил Степанович открыл глаза и попытался оторвать голову от подушки. Хотел приподняться, опираясь на руки, но тело его не повиновалось ему. С трудом шевеля губами, еле слышно невнятно выговорил:

— Кто... кто бросал бомбу?..

Сестра, наверно, и не расслышала его.

Нагнулась к нему, коснулась лба мягкой ладонью и сказала, успокаивая и убеждая:

— Вам нельзя разговаривать... Спите, спите...

Сестра ушла, и Михаил Степанович снова забылся неверным сном, то на какое-то время приходя в сознание, то опять проваливаясь в небытие.

...А потом пришла мать. Вошла неслышно, как будто проплыла по воздуху, присела на край постели, положила ему на лоб ласковую ладонь и сказала:

— Ты тоже не спишь, Мишенька... Я не хочу упрекать тебя, но скажи, ради бога, для чего тебе нужен был этот револьвер? Ты так напугал всех нас... Зачем ты хранил его?

Что было ответить? Нельзя же было пугать и огорчать ее, сказав, что повинна во всем случившемся с ним она сама, что впервые задуматься над всем, что творится вокруг, заставили его те две тоненькие политические брошюрки, которые привез из Петербурга ее брат, гостивший у них позапрошлым летом, и которые она читала, а потом заткнула за подушки дивана.

— Тебе нет еще шестнадцати,— продолжала мать,— выучись, окончи университет, и тогда определишь свой путь в жизни...

— Я уже определил его, мама,— ответил он ей.— Определил раз и навсегда!

— Хоть меня пожалей... Подумай об отце. Классный наставник унес револьвер. Он, наверно, сообщит в полицию. Отца могут уволить со службы... А мы и так едва сводим концы с концами.



Мать заплакала, и он понимал, что, как бы ни пытался, невозможно утешить ее. Но и обманывать ее он тоже не мог.

— Мне будет горько, если из-за меня вы все пострадаете. Но меня бедность и даже нищета совсем не удручают. Я счастлив, мама, что мы не богаты и совсем не завидую тем, кто живет в роскоши. Напротив, мне и сейчас совестно, что мы живем лучше многих.

— Я понимаю тебя. Но скажи мне только, зачем ты хранил револьвер?

Он долго не решался ответить, но почувствовал, что его молчание для нее страшнее любых признаний.

— В прошлом году в Петербурге убили палача, генерала жандармов Мезенцева. Убил смелый, очень смелый человек, прямо на улице заколол кинжалом. И сам написал об этом: «Смерть за смерть!». Этого человека звали...

— Я знаю,— сказала мать. — Я читала.

— А этой весной, после того, как стреляли в царя... И человека этого схватили и повесили... я купил револьвер и стал учиться стрелять.

— Господи! В кого ты собирался стрелять?

— У меня не хватит мужества стрелять в человека, даже если этот человек и заслуживает казни.

— Для чего тебе револьвер?

— Чтобы в трудный час, когда не будет другого выхода, не сдаваться живым.

Мать так же неслышно исчезла, и когда он открыл глаза, ее уже не было в комнате.

Михаила Степановича доставили в больницу одним из последних. Сначала увозили пострадавших с открытыми ранами, истекающих кровью. На его же теле ран не было, если не считать ссадин и ушибов от обрушившихся на него обломков кирпича, штукатурки и потолочных балок. К тому же он, потеряв сознание, даже и не стоял.

Но когда уже в больнице дежурный врач осмотрел его, то сказал:

— Этому, не говоря об убитых на месте, досталось, пожалуй, больше всех. Жесточайшая контузия. Положите его так, чтобы меньше тревожить. Хорошо бы отдельно от прочих.

На что палатная сестра возразила:

— Где уж там отдельно. В палатах ни одного места не осталось. В коридорах кладем.

Врач еще раз прослушал пульс и сказал уже более настоятельно:

— Этому надо отдельно!

— Господи! Да говорю же я вам, в коридорах кладем!

И тогда врач приказал положить его в комнатку дежурных сестер.

— А сейчас в операционную? — спросила сестра.

— Не надо,— сказал врач.— Ему сейчас нужен полный покой. Следите за ним внимательно. Если будет слабеть пульс, инъекцию камфары.

О тяжелом состоянии Михаила Степановича сообщили наркому здравоохранения Семашко. Николай Александрович тут же позвонил давнему приятелю своему, очень известному профессору медицинского факультета. Было это уже на третий или четвертый день пребывания Михаила Степановича в больнице.

Профессор, седой и благообразный, осматривал и прослушивал тщательно, не спеша. Очень долго прослушивал пульс, а потом положил руку Михаила Степановича поверх одеяла и сказал:

— Все опасное позади. — Пошевелил белыми лохматыми бровями и пообещал: — Через две недели сами бомбы кидать сможете.

Михаил Степанович усмехнулся в бороду.

— Я, доктор, по другой части... Бомбы кидать не приходилось.

Профессор посмотрел на него пристально.

— Не приходилось... Как же так? Вы ведь большевик? Весь мир насилия мы разрушим!.. Как же без бомбы?..

Профессор вышел, а Михаил Степанович долго еще смотрел с улыбкой на закрывшуюся за профессором дверь.

Не приходилось... Действительно не приходилось. А ведь было время...

...Не всегда он был таким принципиальным противником террора. Гимназическая история с покупкой револьвера системы «Смит и Вессон» не в счет. А вот то, что было позднее, — это уже вполне серьезно... Хотя, если по совести, то решающую роль в той «аничковской» истории сыграла Катя.

Зародился замысел «аничковского» покушения как бы совсем случайно... Наверное все же это слово здесь непригодно. Не подвернулся бы этот случай, нашелся бы другой. Не мог не найтись, потому что Катя жила жаждой подвига, подвига опасного, жертвенного; в таком подвиге видела цель жизни. Так что тот как бы случайный разговор с Олтаржевским лишь подтолкнул развитие событий...

Олтаржевский пришел поздно вечером.

Предупредить Катю и Михаила, что на квартире у Купцова засада. Ему совершенно случайно удалось обнаружить это, и он кинулся извещать товарищей. Прежде всего Александровых. Олтаржевский давно уже был влюблен в Катю, влюблен безмолвно, по-рыцарски; и Катя и Михаил знали об этом и щадили его, не выдавая тайны. Кинулся Олтаржевский прежде всего к ним, через весь город, и добрался лишь в начале двенадцатого.

Катя приготовила чай и сказала Олтаржевскому, что в ночь его нипочем не отпустит. Олтаржевский ужасно смутился: Александровы жили в двух крохотных комнатках.

— Ты у нас самый легальный, — сказала Катя Олтаржевскому, — мы должны тебя беречь как зеницу ока. Не беспокойся, устроим не хуже, чем в «Европейской». Ты ляжешь на койку Михаила, он на мою, а я устроюсь в соседней комнате, и вы можете заниматься своими мужскими сплетнями хоть до самого утра.

Что с Катей спорить бесполезно, это все знали.

— Как ты установил, что у Купцова засада? — полюбопытствовал Михаил.

— Повезло, — несколько беспечно ответил Олтаржевский. — Я подходил к дому, а навстречу из подъезда вышел человек. И проходя мимо, сказал негромко: «Не заходите в этот дом!».

— Что за человек?

— Не знаю. Наверно, кто-то из жильцов этого дома. Мне кажется, я видел его раньше. Но не у Купцова. Может быть, кто-то из соседей.

— А может быть, глупая шутка?

— Ты плохо обо мне думаешь, Михалек. Я дошел до угла, свернул и вышел на соседнюю улицу. Там есть проходной двор. И подворотня этого дома напротив окон Купцова. Я стоял там долго. Даже продрог. Зато хорошо разглядел всех, кто был в комнате.

— Сквозь занавески? — удивилась Катя.

— Они были задернуты только наполовину, — уточнил Олтаржевский. — А филеры, вероятно, решили, что это условный знак, и так оставили.

Олтаржевский встал из-за стола и показал, в каком месте в глу-

бине комнаты находился сам Купцов и где располагались его незваные гости. Один возле Купцова, другой сидел за столом у окна, почти скрытый занавеской, и третий у самой двери.

И пояснил:

— Все так, чтобы мышеловка могла сразу захлопнуться.

— Ты не помнишь, Катя, мы у Купцова ничего не оставили? — спросил Михаил.

— Ничего. Я все отнесла на Выборгскую.

— Тогда Купцову нечего опасаться.

— В том случае, если мышеловка не захлопнется, — сказал Олтаржевский.

Катя строго посмотрела на него и на мужа.

— Не должна захлопнуться! — сказала она жестко. — Мы точно знаем, кто должен быть завтра вечером у Купцова. За день мы успеем всех предупредить.

У Кати была поистине феноменальная память. Она помнила адреса всех членов подпольной организации. Десяти минут ей хватило, чтобы скомпоновать три группы. Сперва она объяснила мужу, кого он должен предупредить и в какой последовательности, чтобы не терять времени на лишние переезды. Потом Олтаржевскому.

Олтаржевский прослушал до конца и попросил карандаш и клочок бумаги.

— Позор! — прикрикнула на него Катя. — Кого мы приняли в организацию? Этот потомок шляхтичей не хочет обременять свою светлую голову тайнами мелкой конспирации. Никаких бумажек! Изволь повторять за мной, и пока не запомнишь, как «Отче наш», я от тебя не отступлюсь.

И тогда только отступилась, когда вконец замученный Олтаржевский смог повторить без запинки один за другим все пять порученных ему адресов. Только после этого экзамена принесла ему еще стакан чая.

— Сейчас лишь пришло в голову, — сказал Олтаржевский, прихлебывая из дымящегося стакана, — я мог очень скомпрометировать Купцова... и себя тоже, если бы успел зайти к нему. У меня же с собой план дворца.

Он отставил стакан, вынул из внутреннего кармана пиджака сложенный вчетверо лист плотной бумаги, развернул его и положил на стол.

— Какого дворца? — поспешно спросила Катя.

— Аничкова...

— Откуда он у тебя?

— Со вчерашнего дня мне поручено придворным архитектором наблюдать за работами по ремонту Аничкова дворца.

— Царского дворца! — воскликнула Катя и побледнела как полотно. — И ты молчал весь вечер! Немедленно перерисуй его мне!

Она опростелась кинулась искать бумагу. Олтаржевский остановил ее:

— Если он тебе так интересен, возьми.

Опять сложил лист вчетверо и передал удивленной Кате.

— Как ты объяснишь его пропажу?

— Никакой пропажи, — спокойно сказал Олтаржевский. — Я сам скопировал его. Он нужен мне для расчетов с подрядчиками. Я могу еще раз...

— Какой ребенок! Господи, какой ребенок! — воскликнула Катя. — А ты что уставился на меня? — напустилась она на мужа. — И ты не лучше его. Сущие младенцы!.. В этом доме будет жить царская семья!..

— Это будет еще не скоро, — сказал Олтаржевский. — Ремонт продлится не менее чем полгода.

— А ты уверен, что через полгода династии Романовых уже не будет?

— Катя?.. — сияясь улыбнуться, спросил Михаил, — что еще пришло в твою буйную голову?

— Об этом мы поговорим потом! — строго, почти торжественно произнесла Катя.

С этого и началось... Катя обрела цель жизни. Она продолжала вести занятия рабочего кружка на Выборгской стороне, но уже без прежней увлеченности, явно тяготясь невозможностью отдаться целиком и полностью новому делу, ставшему теперь главным в ее жизни. Она пыталась убедить мужа, что в интересах этого нового главного дела и ей и ему надо прекратить работу в кружках (она сказала: «покончить с педагогикой»), с тем чтобы все помыслы устремить к тому, чтобы одним точно нанесенным ударом добиться решающего поворота в судьбах России.

— Если к цели ведут несколько путей, настоящий революционер всегда выберет путь кратчайший, — доказывала Катя.

Но тут Михаил, обычно безропотно во всем соглашавшийся с Катей, неожиданно для нее решительно воспротивился и сказал, что кружка своего не оставит. И добавил, что кружок — это живое дело, пусть и малое, но живое.

— У людей открываются глаза, — говорил он. — Они начинают понимать главное: почему они живут трудно, кто их истинный враг и с кем надо бороться.

— Филистерская философия! — взрывалась Катя. — Набившая оскомину проповедь пользы малых дел! Старая песня: по силе возможности!.. — Катя вся клокотала от возмущения. — Конечно, — уточняла она язвительно, — куда спокойнее и безопаснее вести душевительные беседы, за это ведь не вешают, а только ссылают...

Понимая, что впрямую Катю не переспоришь, Михаил отыскал довод, для нее убедительный: для исполнения всякого замысла нужны надежные люди. Особенно, когда замышляется такое громоздкое дело, как покушение на особу государя императора. Чтобы подобрать надежных людей, надо очень основательно присмотреться ко всем, кому собираешься довериться. Занимаясь в кружках с рабочими, можно глубже изучить людей и отобрать среди них надежных помощников.

Кате пришлось согласиться с ним. Действительно, взорвать царский дворец (это представлялось ей наиболее целесообразной формой царубийства) им двоим не под силу.

Долго спорили, следует ли посвящать в замысел всех членов «Группы народовольцев»? Катя считала это само собою разумеющимся. Именно акция по взрыву Аничкова дворца должна была теперь стать главной целью в деятельности всей организации. Но Михаил все же уговорил Катю повременить с обнародованием своего замысла.

— Федор сказал, что ремонт дворца самое малое на полгода. Тайна не выдержит такого срока.

— Ты не доверяешь Сущинскому или Белецкому, или Келлеру! — вознегодовала Катя.

— Я беспредельно доверяю всем им, — сказал Михаил. — Так же как и Федулову, и Зотову, и Скабичевскому. Но тайна, которую знают хотя бы трое, уже не тайна.

— Олтаржевский тоже все знает, значит, уже трое, — возразила Катя.

Михаил улыбнулся.

— Ты и я это один человек, плюс Олтаржевский, всего двое, — и добавил, по-видимому, вполне серьезно: — Что же касается осталь-

ных, то свою жизнь я могу доверить любому из них, но ведь речь идет о жизни государя императора.

В конце концов Катя согласилась, что торопиться действительно ни к чему. Условились, что они оба будут продолжать вести занятия в своих кружках, постараются проверить каждого из своих слушателей, с тем чтобы распознать самых отважных, самых преданных, самых надежных. За это время Катя в совершенстве изучит все подходы к зданию и, может быть, даже сумеет с помощью Олтаржевского проникнуть в самое здание.

Вечером пришли неразлучные Сущинский и Белецкий.

Катя сразу принялась их отчитывать.

— Мальчики мои непутевые! Сколько раз вам сказано было: приходите по одному! Наш Тимофей служит царю-батюшке верой и правдой. Увидит, идут скопом, сразу запишет.

Флегматичный Николай Белецкий молча отмахнулся. Зато живой и порывистый Миша Сущинский с ходу ударился в полемику:

— Во-первых, достопочтенная Екатерина Михайловна, позвольте вам заметить — вдвоем это еще не скопом; во-вторых, мы однокашники — студенты одного и того же четвертого курса Императорской Военно-Медицинской Академии; в-третьих, Коля близорук, как старая сова, и я оберегаю его, чтобы он не попал под извозчика или, чего доброго, не свалился в канаву!..

Катя напоила однокашников чаем и собралась уже отправиться, как она сказала, «по своим делам», но Миша Сущинский попросил ее на минуточку задержаться.

— Мишенька, я очень тороплюсь, — сказала ему Катя.

Но Миша, встав в дверях, решительно преградил ей путь.

— Достопочтенная Екатерина Михайловна, прослушайте разговор, — произнес он важно.

Затем вынул из кармана лист бумаги, не спеша развернул его и начал читать с подчеркнутой торжественностью:

— «От имени всех рабочих Санкт-Петербурга и всего многострадального отечества нашего верховный палач и главный жандарм государства Российского император Александр Третий приговорен к смертной казни расстрелянием из пушки. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Приговор привести в исполнение немедленно!..»

— Все резвитесь, Мишенька, все шуточками развлекаетесь, — укорила Катя.

— Какие шуточки, Екатерина Михайловна!.. — обиделся Миша Сущинский. — Какие шуточки?.. Приговор приведен в исполнение. Коля, подтверди!

Белецкий подтвердил, что присутствовал при казни.

И рассказал со всеми подробностями, как после прочтения приговора и исполнения прочих формальностей из пушки, заряженной крупной дробью, был расстрелян большой, во весь рост, портрет Александра Третьего.

— Мальчишеские игры! — рассердилась Катя. — Постыдились бы!.. Революционеры-подпольщики!..

— Ты, Катя, не права, — остановил ее Михаил. — Я вижу в этих играх, которые ты назвала мальчишескими, глубокий смысл. Больше того, вижу в этом подтверждение тому, что труды наши не пропали даром, что семена упали на добрую почву и дали первые всходы. Рабочие наконец-то приходят к пониманию, что главный враг рабочего класса — самодержавие.

— Раньше они этого не знали?!

— Не знали. Не смотри на меня так. Вспомни, что говорили в на-

роде о казни Александра Второго?.. Если забыла, напомним: что царя убили помещики за то, что он освободил крестьян.

Катя просто не могла допустить, чтобы последнее слово осталось не за ней.

— Сумей застрелить Александра Третьего, не портрет, конечно,—она метнула взгляд в сторону Миши Сущинского,—а самого Александра, и ты услышишь, что станут говорить о тебе!

— И что же станут говорить? — полюбопытствовал Михаил добродушно.

— В лучшем случае, что ты сумасшедший, свихнувшийся от постоянного недоедания, а скорее всего, скажут, что ты провокатор, убивший доброго царя, царя-миротворца.

— Стало быть, не будем убивать доброго царя? — засмеялся Михаил.

— Ну это мы еще посмотрим! — сказала Катя.

Быстро оделась и ушла. Тщательное изучение подхода к Аничкову дворцу продолжалось.

— Михаил Степанович, почему Екатерина Михайловна так напустилась на нас? — спросил заметно обескураженный Миша Сущинский сразу же после того, как только Катя скрылась за дверью.

— Екатерина Михайловна женщина серьезная и строгая,— ответил Михаил, улыбаясь.

— Нет, на самом деле,— продолжал допытываться Миша Сущинский.— Я вот тоже считаю, очень важно, что рабочие перестали не то что боготворить, а просто даже уважать царя. Вы знаете, какую недавно я песенку услышал? Рабочие пели, даже не таясь особенно. Я записал ее специально для вас.

И он протянул Михаилу листок с текстом крамольной и дерзкой песенки:

Появилась нелепость  
От Петра до наших дней,  
Что в Петропавловскую крепость  
Возят мертвых лишь царей.  
Не дождусь я дней златых,  
Чтоб в Петропавловскую крепость  
Повезли царей живых.

— Очень даже недурно,— сказал Михаил, прочитав песенку.— Но я полагаю, вы пришли ко мне не только с пушкой и не только с песней?

Одноклассники пришли с важными новостями. На ткацкой мануфактуре купца Воронина завтра должна начаться стачка.

— Мы с Колей решили пробраться на фабрику,— сказал Миша Сущинский.

— С какой целью? — спросил Михаил.

— За опытом,— сказал Коля Белецкий.— Потом расскажем у себя на кружке, как это делается. Может быть, и еще где-нибудь начнут бастовать.

— Понятно,— сказал Михаил,— мысль дельная, но только я думаю, лучше будет, если к рабочим ткацкой мануфактуры пойду я.— И, предупреждая вопросы и возражения, пояснил: — Я уже почти десять лет встречаюсь с рабочими, мне легко найти с ними общий язык. Мне проще увернуться от полицейских филеров, есть уже кое-какой опыт. И, наконец, я меньшим рискую. В случае если попадусь, самое большее, что мне грозит — увольнение со службы. Найду другую. А попадетесь вы, непременно отчислят из Академии, да и не просто отчислят, а с волчьим билетом. Да вы очень-то не огорчайтесь,— прибавил он, заметив, как помрачнели лица студентов.— Я отыщу на фабрике людей, которым можно довериться, и вас с ними свелу. Так что и вы побываете у забастовщиков. А завтра все же лучше пойти мне.

В тот же вечер Михаил Александрович испросил у прямого своего начальника заведующего отделом статистики петербургской губернской земской управы Льва Карловича Чермака разрешение отлучиться со службы на один день. Чермак состоял в той же «Группе народолюбцев» и отлучку, конечно, разрешил.

Утром Михаил поднялся задолго до чиновничьего часа и облачился в подготовленную с вечера рабочую одежду. Было у него и у Кати такое одеяние, приобретенное специально для выходов в рабочие кварталы Петербургской или Выборгской стороны. Теперь надо было суметь так выйти из дому, чтобы не попасться на глаза дворнику Тимофею. Он бы, конечно, несказанно удивился, увидев чиновника, выходящего в столь ранний час да еще и одетого в замасленную куртку и простые штаны и обуви в смазные сапоги. И о странном сем случае непременно сообщил бы в полицию. А супругам Александровым известно было, что они и без того давно уже состояли под подозрением.

По счастью, из окна общей кухни виден был вход в дворницкую. Катя, затеяв для отвода глаз какую-то раннюю стряпню, сама внимательно следила за подметавшим двор Тимофеем, и как только он скрылся в своей конуре, тут же сообщила мужу и тот бегом спустился по лестнице со своего пятого этажа и выскользнул на улицу.

К воротам Воронинской мануфактуры Михаил успел еще до первого гудка. Но пройти на фабричный двор не удалось. Возле проходной стояли городовые, которые пропускали далеко не всех.

Михаил хотел было сунуться наудачу, выбрав момент, когда около открытой двери проходной будки столпилось много рабочих, но его окликнули:

— Петр Петрович!

Михаил насторожился. «Петром Петровичем» он был для слушателей кружка, в котором вел занятия. Но среди них не было рабочих Воронинской мануфактуры и поэтому здесь некому было его знать... Второй раз окликнули громче и настойчивее.

Михаил оглянулся и увидел знакомое лицо. Рабочий этот бывал на занятиях кружка, которые Михаил вел на Выборгской стороне в квартире рабочих Михаила Хорькова и Якова Майорова. Михаил не помнил, как зовут рабочего, который его окликнул, но лицо, узкое, худощавое, в редких оспинах, запомнилось. И Михаил без опаски подошел к нему.

— Не ходите, Петр Петрович, заберут,— сказал рабочий Михаилу, понизив голос.

— Почему заберут?

— А вон гляньте, рядом с урядником усатый стоит в поддевке. Это старший мастер ткацкого цеха, он указывает, кого пропускать. Бастует-то только красильный цех, а ткацкий пока не пристал к забастовщикам. Вот красильщиков и не пропускают, чтобы не подбивали ткачей на забастовку.

— Я-то не красильщик,— возразил Михаил.

— А вас мастер сразу разглядит, да и городовые тоже, что вы человек здесь на фабрике совсем сторонний, и сразу заберут.

— Так уж и разглядят,— усомнился Михаил.

Рябоватый его собеседник усмехнулся добродушно.

— Одежду и обувь вы сменили, это точно, ну а по рукам все равно враз признать можно...

— Досадно,— сказал Михаил,— я-то надеялся, что сумею пройти в цех к бастующим.

— Да их никого и нету в цеху,— сказал рябоватый,— не пускают их. Они собрались за углом в трактире. Вроде как чаю попить. Там сейчас весь стачечный комитет.

— Отведите, пожалуйста, меня к ним,— попросил Михаил.

На высоком крыльчке трактира под ярко размалеванной вывеской стояли двое, мирно покуривая. Но когда Михаил со своим спутником хотели пройти мимо них, стоявший у двери рослый бородатый мужчина лет тридцати пяти — сорока молча преградил им путь.

А товарищ его, совсем молоденький, безусый еще паренек, спросил Михаила:

— Кто таков?

— Свой.

— Кому свой, — сказал бородатый густым басом, — а нам, однако, видится, чужой.

— Второй раз ты меня заподозрил, Иван Митрофанович, — сказал ему Михаил.

Этого картинного бородача он узнал сразу, хотя и видел его только однажды и прошло с того дня года полтора.

...Когда связная центрального рабочего кружка швея Наталья Григорьева привела его в первый раз на квартиру Хорькова и Майорова, там в числе прочих был и этот чернобородый. Михаил хорошо запомнил его, потому что именно этот бородач тогда допрашивал его с особым пристрастием. И в продолжение всей беседы Михаил не раз ловил на себе пристальный и недоверчивый взгляд чернобородого. Это было до того неприятно, что Михаил то и дело сбивался с мысли.

И только когда занятия уже окончились и Михаил перед уходом достал кошелек и, вытряхнув из него все, что там было — что-то около восьми рублей, — передал деньги Хорькову и сказал, что надо к следующему воскресенью купить стол и чайную посуду, чтобы всегда стояла на столе и в случае чего собрание можно было выдать за обычное чаепитие, — только после этого чернобородый подошел к Михаилу, представился Иваном Митрофановичем и сказал:

— Не обессудьте, что плохо подумал, — и, усмехнувшись в бороду, добавил: — Обжегся на молочке, дуешь и на водичку!.. Да и то сказать, Петр Петрович, не милуют нашего брата за всякие такие вот беседы...

— Ну, скажи ты, — пророкотал сейчас Иван Митрофанович, — какая оказия!.. Вот уж нежданно-негаданно, Петр Петрович!.. — И, схватив руку Михаила, крепко пожал ее.

— Правильно сообщили нам, Гаврюха, — сказал он, обращаясь к молоденькому своему товарищу, — это свой человек. Проходите, милости просим, Петр Петрович!

В трактире, как и положено, было дымно и шумно. Сновали из конца в конец расторопные половые в темных жилетах с полотенцами, перекинутыми через левую руку. Сам трактирщик, приземистый и рыхлый, с круглым отечным лицом, стоял возле буфетной стойки.

Еще с порога Михаил заметил, что обстановка в трактире сегодня отличается от обычной. Не было распивающих чай бородачей извозчиков в зипунах, опоясанных цветными кушаками; не видно было ни одной студенческой фуражки. Судя по одежде, все помещение заполнили рабочие красильщики.

Потом уже Михаилу объяснили, что, решив собраться именно здесь, стачечный комитет сказал хозяину заведения, что посторонних в трактир сегодня не будут пускать, но что в убытке хозяин не останется, потому что народу будет битком. Трактирщика строго предупредили, что полицию ни в коем разе тревожить не надо, намекнув при этом, что трактир деревянный и в случае чего может, неровен час, и сгореть начисто.

Петра Петровича провели к столу, где сидели члены стачечного комитета.

В середине этого главного стола сидел пожилой рабочий в кожаном картузе. Михаилу запомнились его живые глаза и скуластое ли-



цо в седоватой бородке. Иван Митрофанович подошел к нему, склонившись, сказал что-то и сразу же возвратился на свой пост на крыльце трактира.

— Присаживайтесь к нам, Петр Петрович,— сказал председатель стачечного комитета и, подвинувшись на лавке, высвободил Михаилу место рядом с собой.

И сразу же продолжил прерванную появлением Михаила речь.

— ...и выходит, товарищи, теперь все дело в том, поддержат или не поддержат нас ткачи. Не поддержат, хозяин сломит нас. Одни против хозяина не сдюжим. Он будет выпускать суровье, а красить отдаст на Маркеловскую мануфактуру. Ему и горя мало. А вот ежели ткачи забастуют, тогда хозяину полный раззор. Тогда ему придется пойти на уступку рабочим...

— Это и глупому понятно... — подал голос молодой рабочий, сидевший в конце стола.

— Не гоноши, Пантелей. Понятно не каждому,— возразил ему сосед, высокий тощий старик. — Ткачам, стало быть, не понятно...

— Стало быть, объяснить надо! — выкрикнул кто-то.

— Обождите, ребята,— степенно и веско произнес круглолицый крепыш, сидевший прямо напротив Михаила и не спускавший с него глаз. — Про наши дела погодим. Кого это ты, Кузьма Лукич, рядом с собой посадил? Уговаривались, чужих не пускать. А этот господин не с нашей фабрики. Не рабочий он. Сразу видать, хоть и вырядился в нашу лапотину.

— Это Петр Петрович,— спокойно ответил председатель.

— А хоть бы Иван Иваныч! — грубо возразил круглолицый. — Не нашего поля ягода. Зачем к нам пожаловал?

За соседними столами зашумели.

— Петр Петрович наш товарищ,— все так же спокойно пояснил председатель стачечного комитета. — Мы его знаем не первый день. Он давно ведет занятия в кружках на Выборгской стороне.

— Разговорами, стало быть, занимается. Самое что ни на есть милое господское дело! А чем ты, господин хороший, окромя разговоров, помочь нам можешь?..

Явное презрение, сквозившее в голосе круглолицего, задело Михаила. Очень хотелось оборвать грубияна, но он сдержался и ответил как мог спокойно:

— Умный разговор делу не помеха. Да и сами-то вы сейчас разве не разговорами занимаетесь?

— Мы бастуем! Ты чем можешь нам помочь?

— Пока только советом...

— Развелось вас, советчиков! — с откровенной злобой бросил ему круглолицый.

Но его тут же одернули:

— Не ярись, Григорий! Пушай скажет...

— Говорите, Петр Петрович,— спокойно и уважительно произнес председатель.

Михаил спохватился и подумал, что он вовсе ничего не знает о состоянии дел на фабрике и лучше бы ему повременить с речами и послушать мнение рабочих, прежде чем вылезать со своими советами, но понял, что оказался в положении, когда отмалчиваться нельзя. Пришлось говорить.

Михаил честно признался, что на мануфактуре он первый раз в жизни, и какая у них тут обстановка — ему неизвестно.

— А берешься советовать! — не преминул упрекнуть круглолицый.

— Берусь! — сказал Михаил с мужеством отчаяния. — Потому берусь, что рабочая доля везде одна, что на вашей мануфактуре, что на любой другой. Везде хозяин норовит три шкуры содрать, и сде-

рет, если отпора не получит. И это мне так же хорошо известно, как и всякому другому... Вот потому и берусь советовать. А советы мои таковы. Первый совет — начали стачку, держитесь твердо, до победного конца. Второй — надо сделать так, чтобы на всех питерских заводах и фабриках знали о вашей забастовке. В этом деле и мы вам поможем. А третий совет — надо предъявить хозяину свои требования. Требования ваши надо написать и не только вручить хозяину, но и расклеить по всей фабрике. Тогда и ткачи за ум возьмутся. Словом, надо сейчас же написать. Вот тут и моя помощь пригодится.

Кузьма Лукич распорядился сходить к хозяину трактира за бумагой и чернилами.

— Что писать? — спросил Михаил. — Говорите.

— Говорить все будем, — сказал Кузьма Лукич и обратился к рабочим: — Вставай по одному, у кого какие есть требования.

Михаил едва успевал записывать. Когда предложения иссякли, Кузьма Лукич сказал:

— Теперь можете чай гонять до седьмого пота, а мы тут все обмозгуем, потом Петр Петрович запишет, чтобы все складно было, и опосля того нам прочитает, а мы послушаем, все ли записано, не пропущено ли чего.

Никакие предосторожности не смогли обезопасить участников собрания. У охранки и среди рабочих Воронинской мануфактуры были свои осведомители.

Все, что происходило за закрытыми дверями трактира, в тот же вечер стало известно охранному отделению. И с этого дня дамоклов меч навис над головами Михаила и Кати.

Катя добилась своего. Олтаржевский не в силах был противостоять ее напору. И сам провел ее в покои Аничкова дворца.

Но прежде чем капитулировать, Олтаржевский долго сопротивлялся. Михаил не принимал участия в их споре, зная, что своим вмешательством только подольет масла в огонь.

Он сидел за столом и писал статью о только что подавленной стачке на ткацкой мануфактуре Воронина. Статья предназначалась для первого номера нелегального «Рабочего сборника».

А Катя ожесточенно спорила с Олтаржевским.

— Отстраняя меня от участия в великом деле, ты полагаешь себя правым? — наступала она. — Чего доброго, мнишь себя рыцарем, спасающим даму от грозной опасности?.. Никакой ты не рыцарь!.. Ты тупой немецкий бюргер, типичный филистер, для тебя женщина — это три проклятых «К» — Kirche, Kinder, Küche.

— Ну при чем тут рыцарь и при чем бюргер? — возражал обиженный до слез Олтаржевский. — Никто тебя ни от чего не отстраняет. Но зачем самой проситься в Петропавловскую крепость? Пользы от этого посещения дворца на грош, а риск огромный. Ты пойми: во дворце работают несколько артелей мастеровых. Все мужики. Ни одной женщины. Всем бросится в глаза, если вдруг во дворце появится женщина...

— Я же и говорю: женщина должна сидеть на кухне...

— Ну как ты не хочешь понять, — разгорячился Олтаржевский, — что городской у входа сразу приметит тебя и немедленно доложит по начальству. Не говоря о том, что и среди мастеровых наверняка есть подсаженный к ним филер. Может быть, и не один. После взрыва в Зимнем дворце охранка стала гораздо умнее!..

Катя, конечно, понимала, что Олтаржевский прав, однако продолжала спорить.

— Но почему же именно меня должны приметить?

— Матка боска! — воскликнул Олтаржевский. — Да именно по-

тому, что ты будешь единственная женщина среди всех работающих во дворце мужчин!

— Опять женщина!

— Но я же не виноват, что всемогущий пан бог создал тебя женщиной!

— И напрасно! — отрезала Катя и задумалась, сдвинув к переносью тонкие брови. — Хорошо, — сказала она наконец. — Исправим ошибку пана бога. Я переоденусь мужчиной. Не маши руками. Я много раз играла в водевилях с переодеванием и отлично выгляжу в мужском костюме.

В конце концов после долгих препирательств Олтаржевскому пришлось уступить. Решили, что Катя пойдет во дворец в качестве писца, обойдет вместе с ним все комнаты дворца и будет записывать все распоряжения, которые Олтаржевский будет отдавать мастерам.

Катя вернулась из дворца окрыленной.

Просидела целый вечер над планом, помечая на нем только ей понятными условными знаками, как размещена мебель в комнатах, какие комнаты сообщаются между собою, как расположены лестницы и переходы. Сказала Михаилу:

— Теперь мне все ясно.

— Что именно?

— Все!

— Когда же проезжает в Аничков дворец царская семья? — спросил Михаил.

— Это еще никому не известно.

— Что же тогда ясно?

Катя ужасно рассердилась.

— Я вижу, — сказала она, — тебе очень не хочется участвовать в этом деле.

— Так если бы дело...

— Тебе важнее твои трактирные беседы и твои статьи, которые никому не нужны и которые никто и читать не станет!

— Но это же дело, пусть и не столь важное, как задуманное тобою, но все же дело.

— Теперь я вижу, что наши пути расходятся! — торжественно произнесла Катя.

Михаилу стало и смешно и горько. Раздосадованная и обидевшаяся на него Катя явно искала ссоры. Надо было тушить ссору в зародыше. И он ее потушил. Сумел убедить Катю, что когда дойдет до дела, у нее не будет ни малейшего повода на него обижаться.

И все же с того вечера в их давней и тесной дружбе возникла первая трещина.

Кто же из них был тогда прав в этом первом серьезном споре?.. Катя, заявившая сгоряча, что пути их разошлись, или он, постаравшийся разубедить ее?..

Тогда ему казалось, что прав он, что с ее стороны это просто нервная вспышка, вполне простительная молодой женщине, ставшей на нелегкий путь профессионального революционера и в силу этого лишенной многих обыденных радостей жизни...

Но, по-видимому, все же права была Катя.

Не потому, что была права по существу дела. А потому, что уже тогда, — и, вероятно, всего, не трезвым рассудком, а чисто интуитивно, — почувствовала, что они постепенно, очень медленно, но неудержимо отдаляются друг от друга. И что недавно возникшую, но уже явно наметившуюся трещинку эту не зарубцевать ни силами

ума, ни силами сердца. Разным виделся им путь к победе над самодержавием.

Он сразу же, с того памятного вечера, когда Олтаржевский принес к ним план Аничкова дворца, отнесся к тираноборческой затее Кати довольно скептически. И потому, что не верил в возможность ее осуществления, и потому, что не усматривал большой разницы в том, кто будет восседать на российском престоле — запойный пьяница Александр Третий или слабоумный его наследник Николай...

И все же если бы дело дошло до реальной попытки покушения на венценосную особу, он принял бы в ней участие и, если бы доверили ему, взял на себя самую опасную роль. Но даже бросая своей рукою бомбу, или поднимая на самодержца дуло револьвера, или поджигая запал снаряда, которому предназначено поднять на воздух царский дворец, он бы отчетливо сознавал, что главная опасность для самодержавия отнюдь не в актах индивидуального террора.

Теперь он был убежден — главное в том, чтобы поднять на борьбу всех тех людей, кому живется голодно и холодно. И давно уже начал понимать, что решающую роль в этой борьбе сыграют именно рабочие.

Катя попрекнула его тем, что он корпит над статьями, которые никому не нужны и которых никто и читать не станет. Это больно укололо его. В статьи эти он вкладывал всего себя. Иначе он не мог. Он знал, что оратор он очень и очень посредственный. Не было в его речах пафоса, который воспаляет массы. Для этого он слишком медленно и как бы осторожно думал. Но знал за собой и другое. Когда было время обдумать свою мысль, как это возможно, сидя над листом бумаги, то всегда отыскивались нужные и точные слова для выражения самой сути. Это он давно уже заметил за собой.

Возвратясь в Воронеж после того, как, сдав экзамен на прапорщика, избавился от подневольной солдатчины, он написал едва ли не первую свою статью, которая, к искреннему его изумлению, стала очень популярной в городе, переписывалась и передавалась из рук в руки и читалась на многих тайных сходках.

Черновик ее сохранился у него, и теперь, собирая первый номер «Рабочего сборника», стоило бы использовать некоторые места из этой юношеской статьи. Хотя бы вот это:

«Возникнув с помощью татар, царская власть целые века душила русский народ: она уничтожила народную власть — вече, гнала людей вон с родины, укрепостила крестьян, истребила массу народа в бессмысленных войнах, жгла на кострах и гноила в тюрьмах людей, не желавших признать казенной церкви. Все это было. Что же есть? Естественно, чтобы главным правительственным лицом выбирался самый честный, самый способный из всех граждан. У нас высшая власть переходит по наследству: будь наследник сумасшедший, как Павел, идиот, как теперешний наследник Николай, негодяй и пьяница, как Александр Третий, — все равно ему вверяются интересы и жизнь миллионов».

Надо подумать, как использовать это, — сказано просто и доступно для понимания каждого, даже для самого малограмотного рабочего... А пока — закончить быстрее статью о стачке на ткацкой мануфактуре...

Издание «Рабочего сборника», к которому Катя отнеслась столь пренебрежительно, было и оставалось главным делом «Группы народолюбцев». Первый номер был уже почти готов. Сегодня собрались, чтобы предварительно обсудить его содержание.

Сошлись на следующем составе номера. Сборник решили открыть программным обращением к рабочим Петербурга. Затем следовала статья «Русское правительство о русских рабочих», разобла-

чающая лживое сочинение главного фабричного инспектора Михайловского, статья о стачке на ткацкой мануфактуре Воронина и перевод статьи Лафарга об организации рабочей партии в Западной Европе.

Далее шло «Внутреннее обозрение» — подборка корреспонденций из разных концов страны, в которых приводились факты того, как увеличиваются доходы помещиков и прибыли фабрикантов, а с другой стороны, как разоряются рабочие и крестьяне. «Внутреннее обозрение» заканчивалось словами: «...пора понять, что так будет до тех пор, пока народ, выведенный из терпения жалкими подачками, не сметет это правительство вместе с шайкой его приспешников-капиталистов с лица земли».

В «Хронике фабрично-заводской жизни» публиковалась корреспонденция о притеснениях и штрафах в Петербургском порту, где по распоряжению командира порта Верховского рабочих штрафовали, даже если они не выходили на работу по болезни. Далее в «Хронике» печатались заметки о притеснениях рабочих на Балтийском судостроительном заводе и об усмирении «поголовной поркой» бунта крестьян в Нижнем Тагильске из-за взыскания недоимок.

Завершался первый номер «Рабочего сборника» хроникой арестов по политическим делам, произведенных в Петербурге в январе и феврале 1894 года и сведениями о рабочих пожертвованиях на издание «Сборника» за то же время в общей сумме 263 рубля 25 копеек.

Вспоминая впоследствии о выпуске в свет первого номера «Рабочего сборника», он говорил, смеясь:

— История мировой журналистики не знает примера подобной стремительности.

Так оно и было. Участвовали все. Никто не остался в стороне.

Расторопный Миша Сущинский раздобыл у кого-то из друзей пишущую машинку. Коля Белецкий достал у знакомых слесарей две бензиновые лампы и большой жестяной лист, купил на рынке кастрюлю.

Лев Карлович Чермак принес потребное количество бумаги.

Сам Михаил разыскал через адресный стол старого своего знакомого, рабочего-печатника Арсения Матвеевича Колодонова, — того самого, который в свое время впервые ввел его в рабочий кружок и приохотил к делу пропаганды, — и с его помощью приобрел типографскую краску.

Вся редакционная коллегия (она же авторский коллектив) сборника преобразилась в типографских рабочих.

Трудились ночи напролет и через трое суток весь тираж первого номера был готов. Правда, исчислялся этот тираж всего пятьюдесятью экземплярами, — больше не позволяли производственные мощности. Но и эти пятьдесят экземпляров привели авторов, редакторов и печатников в неистовый восторг.

Аккуратно сброшюрованные, в обложках из плотной синей бумаги, сложенные на столе высокой стопкой, выглядели они весьма внушительно.

И когда кто-то, скорее всего, деловитый Коля Белецкий посетовал, что тираж маловат, Миша Сущинский решительно запротестовал:

— Вы просто не умеете крупно мыслить. Это очень даже значительный тираж! Считайте сами! Каждый экземпляр прочтут не менее ста человек. За это я ручаюсь. Выходит — пять тысяч!

Конечно, Миша Сущинский хватил через край. Но никто не стал с ним спорить. Все были воодушевлены первой удачей.

Катя от всей души поздравила его с выпуском первого номера. Она видела, как он радостно взволнован и не могла остаться равнодушной к его успеху, которому сам он придавал столь большое значение. К тому же теперь, выпустив «Рабочий сборник», он сможет наконец весь отдать главному делу.

Сама она считала, что вся необходимая подготовка проведена: изучено расположение царских покоев и с большой степенью достоверности можно определить, в какой комнате в то или иное время дня будет самодержец находиться; изучены все внутренние переходы из конца в конец здания и с этажа на этаж; установлено наиболее вероятное размещение постов внутренней и наружной охраны.

Пришло, по мнению Кати, время посвящать в заговор всю «Группу народолюбцев».

— Все, что я могла сделать одна, я сделала, — сказала она ему.

Но он опять возразил, что так как срок переезда царской семьи в Аничков дворец еще неизвестен, расширять круг лиц, посвященных в заговор, преждевременно.

Катя вспыхнула:

— Значит, я по-прежнему буду... одна, а вы все будете... бездействовать?

— Наши дела тебе известны. Мы будем готовить второй номер «Сборника» и будем вести занятия в рабочих кружках, — сухо ответил он и, помолчав, добавил: — Если это значит бездействовать, ты права.

И тогда она сказала ему:

— Слушай, Михаил, а может быть, ты... просто трусишь?

— Наверно так оно и есть, — сказал он, глядя ей прямо в глаза.

Кате стало стыдно, стыдно до того, что слезы выступили у нее на глазах и, что с нею случалось очень, очень редко, она попросила извинить ее и сказала, что эти мерзкие ее слова он должен забыть навсегда.

Она так расстроилась, что уже он стал ее успокаивать, и сам принялся наводить мосты. Как всегда бывало, это ему удалось. Условились твердо, сразу после выпуска второго номера посвятить в тайну заговора Сущинского, Белецкого и Скабичевского.

— Я всегда знала, что ты лучше, умнее и добрее меня, — сказала ему Катя.

Много-много раз — и в томительно протяженные дни и ночи в тюремной камере петербургских Крестов, и во время странствий по берегам могучей Лены и ее таежных притоков, и во время размеренных прогулок по берегу неправдоподобно красивого Женевского озера, — вспоминал он те несколько дней, которые прошли между этим их объяснением и арестом, разлучившим их на долгие годы...

И сейчас, лежа в холодной и неудобной дежурке на старом кожаном диване, болезненно ощущая всем телом ребра продавленных пружин и еще не зная, кем ему предстоит быть в дальнейшей жизни — полноценным бойцом или жалким инвалидом — он, пролистывая в своем воображении прошедшее, тоже не раз возвращался памятью к этим именно дням.

Эти дни, эти три дня, — да, их было всего лишь три, — выделались из всех остальных более чем двух тысяч дней, прожитых вместе.

Как бы снова вернулась ликующая радость самых первых дней их любви, только теперь к ней добавилась заботливая, выстраданная годами нелегкой скитальческой жизни нежность друг к другу и тревожная бережность, подсказанная пониманием неизбежной в их положении зыбкости этого снова озарившего их счастья...

Нет, никакого предчувствия близкого провала у них не было. И он и она были далеки от всякой мистики. Просто они понимали,

что замахнувшись на столь могущественного врага, как российское самодержавие, каждую минуту можно получить ответный, может быть и смертельный удар.

Но он хорошо помнит, и в голову не приходило тогда, что эта минута так близка...

Уже после полуночи их разбудил резкий стук в дверь. Катя опомнилась первая.

— Не вставай, ты болен...— шепнула она Михаилу и, не одеваясь, в ночной сорочке, босая кинулась к этажерке, собрала все лежавшие там рукописи и сунула их в топку печки. Быстро выдернула из-под кровати чемодан, отыскала ощупью спрятанный под стопкой белья план Аничкова дворца и засунула его между рукописями.

Снова стук в дверь и резкая команда:

— Открывайте! Полиция!

Катя подошла к двери.

— Я одна... муж тяжело болен... не могу открыть... Приходите утром...

— Открывай!

— Я не знаю, кто вы... я боюсь... Помогите! — истерически закричала Катя.

— Я полицейский пристав вашего участка Варфоломеев,— прокотал за дверью строгий бас.— Имею ордер на обыск. Требую немедленно открыть!

— Я не знаю вас!..— закричала Катя, торопливо сняла висячую лампу, отвернула горелку, плеснула керосин в топку и кинулась искать спички.

— Открывай! — рявкнули снова.

— Без дворника не открою! — крикнула Катя, лихорадочно шаря по подоконникам.

— Где же дворник? — прикрикнул пристав на кого-то из полицейских чинов.

— Невозможно привести.

— Почему?

— Пьян без памяти, ваше благородие.

— Тащите волоком!

Михаил встал, чтобы помочь Кате отыскать спички. Катя в темноте наткнулась на него, потащила к кровати, зашептала ему в ухо:

— Ложись немедленно. Ты тяжело болен... Я уже нашла спички, нашла...

Осторожно подошла к рукописи и прикрыла дверцу. Потом накинула на себя халат и, уже совсем обессилив, опустилась на стул.

Оглянулась на печь. Круглые отверстия дверцы высветлились яркими точками в темноте комнаты. Хорошо, что догадалась плеснуть керосина... Поднялась, привернула фитиль в лампе и пристроила ее на место...

Наконец приволокли дворника.

— Открывайте, Катерина Михайловна, это я, Тимофей Затравкин... Открывайте, полиция требует...— пробормотал он коснеющим языком.

Катя открыла дверь.

В комнату ввалилось несколько человек.

— Ваше благородие! — закричал полицейский.— Жгут прокламации!

— Достать! — приказал пристав.

Полицейский грохнулся на колени перед печкой, открыл дверцу и, обжигая руки, с руганью, вышвырнул горящую пачку рукописей на пол. Сдернул со стола скатерть и, набросив на рукописи, загасил пламя.

— Нехорошо, господа Александровы, нехорошо!.. А еще интеллигентные люди! Нехорошо!..— протянул пристав, уселся за стол и приказал полицейскому: — Клади сюда! И обыскать все!.. Как следует...

Трое полицейских и филер в цивильном платье ринулись исполнять приказание. Искали ретиво. Перерыли, перетрясли все до последнего лоскутка. Больного подняли с постели, обыскали, а затем прощупали с чрезвычайной дотошностью и матрас и подушку. Но сколь ни старались, ничего полезного для следствия не нашли. Поневоле все внимание пристава переключилось на извлеченные из племени рукописи.

Рукопись, оказавшаяся сверху, сильно обгорела, и пристав, стараясь не марать пальцев, отложил ее в сторону и углубился в чтение следующей.

Читал он старательно, пытаясь добраться до истинного смысла написанного, и в минуты особо сильного напряжения мысли шевелил толстыми губами и даже произносил про себя отдельные особо встретившие его фразы:

— ...а что за штука такая хорошая — политическая и гражданская свобода?..

Но тут же, опасливо покосившись на стоящего рядом филера, спускал голос до невнятного шепота, а то и вовсе откладывал в сторону крамольную страницу. Скоро это чтение ему надоело и он стал просто перелистывать страницы одну за другой, пока не наткнулся на сложенный вчетверо лист плотной бумаги.

Развернув его и поняв, что это план какого-то здания, пристав сразу оживился.

— Любопытно-с, любопытно-с...

Осмотрел подозрительно лист с обеих сторон и обратился к Михаилу:

— Что за чертеж?..

— В первый раз вижу,— сказал Михаил и посмотрел на Катю достаточно выразительно.

Но она или не поняла его предостережения, или решила, что огульное заpiresательство только усугубит подозрительность пристава и, не дожидаясь дальнейших вопросов, сама вступила в разговор.

— Муж прав,— сказала она приставу,— он действительно первый раз его видит. Я ему этого плана еще не показывала. Я хотела сделать ему сюрприз.

Услышав про «сюрприз», филер злорадно усмехнулся, но на пристава это благополучное и столь не подходящее к данной ситуации слово произвело иное впечатление. От этого слова пахло чем-то уютно домашним, бесконечно далеким от его беспокойной и за долгие годы изрядно опостылевшей профессии, и он, вскинув голову, даже при свете не очень-то яркой десятилинейной лампы разглядел, что перед ним женщина молодая и очень даже привлекательная.

— Вы сказали сюрприз, сударыня, благоволиите пояснить... в каком именно смысле...

— Я его по памяти набросала,— принялась вдохновенно сочинять Катя,— и не успела еще закончить, поэтому и не показала мужу. Понимаете, я уже пятнадцать лет не была в этом доме и кое-что забылось...

— Но позвольте, сударыня, в каком смысле вас понимать? Вы хотите сказать...

— Да, да, это наш дом... в этом доме прошли мои детские годы.

Пристав, по-видимому, в гимназиях не обучался, но сколь ни слабо разбирался он в чертежах, одно было даже и ему понятно, что дом огромный, и, стало быть, дамочка не из нищих... всякое случается... и



генеральские дочери тоже... тут как бы не оступиться... надо прояснить...

— Вы хотите сказать, сударыня, этот дом...

— Это дом моего отца,— с достоинством произнесла Катя.— Мой отец полковник Долгов... в отставке... он служил во Владикавказе. Это наш дом, я выросла в этом доме.

Немалых трудов стоило Михаилу удержаться от улыбки. Бедная Катя!.. Чего хочет достичь она такой примитивной ложью? Впрочем, он начинал догадываться о ее замысле. Катя лелеяла надежду, усыпив подозрительность пристава, заполучить в свои руки хотя бы на минуту злосчастный план, с тем чтобы любым способом уничтожить самую опасную улику.

Катя продолжала сочинять:

А теперь папа отдает этот дом нам... отказывает мне по завещанию... Понимаете, я хотела обрадовать мужа, сделать ему сюрприз... Но вот не успела начертить как следует... забылось кое-что, все-таки пятнадцать лет... меня увезли в Петербург еще ребенком... Что вы так смотрите на меня?.. Это наш дом, наш!..

— Ваш, ваш, уважаемая,— с язвительной вежливостью подтвердил филер.— Вы только извольте адресочек нам сообщить. Город, вы сказали, Владикавказ. Еще улицу и номер дома. Адресочек нам сообщите, а мы-с проверим...

И тогда до пристава дошло, что его пытались водить за нос. Он построжал и крикнул:

— Да-с, проверим...— оглянувшись на филера, приказал: — Пишите протокол!

Филер расположился за столом поудобнее и на бумагу легли первые строки:

«В ночь на 21 апреля 1894 года произведен обыск в доме № 12 по Поварскому переулку у прапорщика запаса армии Михаила Степановича Александрова, каковой совместно с женою Екатериной Михайловной Александровой проживал в квартире под № 17. При обыске обнаружено...»

Нет, не помогла Катина вдохновенная импровизация...

После того, как закончилось многомесячное дознание по делу петербургской «Группы народовольцев», в обвинительном заключении было сказано:

«В отдельности, относительно каждого из привлеченных к делу обвиняемых произведенным дознанием выяснено следующее:

1. Михаил Александров, уже наказанный в 1885 году четырехмесячным тюремным заключением за государственное преступление, участвовал в составлении изданного «Группой народовольцев» первого номера «Рабочего сборника», написал статьи революционного содержания для предполагавшегося второго номера того же «Сборника»; организуя противоправительственные рабочие кружки, руководил под псевдонимом Петра Петровича преступными занятиями: а) в рабочем кружке Хорькова и Майорова, где произносил революционные речи, давал рабочим читать нелегальные издания и ввел в этот кружок для таких же занятий Михаила Сущинского; б) в кружке рабочих Никифорова и Нефедова, где дал деньги на нужды кружка и в) в кружке Матвея Фишера, совместно с Сущинским и Зотовым; кроме того, посещал кружок Ивана Медова...»

И заканчивалось это подробное перечисление всех вин его следующими строками:

«Кроме сего, народовольческое направление Александрова доказывается тем, что он имел у себя составленный для преступных целей план бельэтажа Аничковского дворца».

О Кате в этом обвинительном заключении было сказано:

«10. Екатерина Александрова участвовала на сходке у Скабичевского в числе других членов «Группы народолюбцев», совместно с Михаилом Александровым хранила и читала рукописи революционного содержания и начертила копию составленного тайно и с преступными целями плана бельэтажа Аничковского дворца, который и хранила у себя».

И даже теперь, по прошествии стольких лет, не переставал он поражаться потрясающему цинизму финала всей этой полицейско-прокурорской акции.

Прокурор Санкт-Петербургской судебной палаты, подробнее исследовав и обстоятельнее описав все вины привлекаемых по данному делу, пришел к выводу, что «деятельность «Группы народолюбцев» не достигла своей преступной цели, так как была пресечена возбуждением уголовного преследования», и потому решил до суда дело не доводить, а «разрешить настоящее дознание в административном порядке...»

Иначе говоря, прокурор установил, что обвиняемые преступления не совершили и поэтому судить их не за что.

Но что же крылось за туманной формулой о применении «административного порядка?»

А вот что:

«Прапорщика запаса армии Михаила Степановича Александра, 32-х лет, заключить на три года в тюрьму и затем сослать в Восточную Сибирь на пять лет...»

«Жену прапорщика запаса армии Екатерину Михайловну Александрову, засчитав в наказание время, проведенное ею под предварительным арестом по сему дознанию, сослать в северо-восточные уезды Вологодской губернии на пять лет...»

Иначе сказать, прокурор-человеколюбец позаботился, чтобы и после отбытия наказания муж и жена как возможно дольше не свиделись.

Сегодня радостный день. Приехал из кадетского корпуса на летние каникулы старший брат Володя. Начинается иная, куда более привольная жизнь. А сейчас живет Миша не так уж привольно и весело. Он с утра до вечера под неусыпным надзором строгой Феоны.

Феона — это их кухарка и «прислуга за все». Ей давно за сорок, она высока и костиста. Невежественный, а скорее всего просто пьяный поп дал ей при крещении мужское имя, и, может быть, именно поэтому у нее такой густой, прямо-таки басовитый голос, и тяжелая рука, и скорость на расправу.

Феона старательна, исполнительна и дотошна, как старослужащий солдат. Ей поручено следить за Мишей, и она не спускает с него глаз. Непонятно, как ухитряется она совмещать этот неусыпный надзор со своими многочисленными обязанностями горничной, прислуги и кухарки,— но едва на минуту отлучившись с пустыря, горделиво именуемого садом, как Феона тут же поднимает истошный крик.

Наверно, Мише жилось бы вольготнее, если бы мать сама следила за ним, а не препоручала бы его заботам не в меру старательной Феоне. Но в их доме все не как у других...

Матери некогда следить за Мишей. Она искусно вышивает гладью; искусство это высоко ценится и у нее всегда масса заказов от ворованых дам. И большую часть дня — если ее не отрывают от дела праздными разговорами разряженные заказчицы, или если она не занята очередной перебранкой с отцом,— она проводит за работой.

А перебранки с отцом почти каждый день. И все по одному и то-

му же поводу. Отец долго болел, потерял хорошо оплачиваемое место в губернском казначействе, с трудом снова устроился на службу, но жалованье у него теперь всего сорок рублей в месяц; на эти деньги невозможно хоть сколько-нибудь сносно содержать огромную семью, и чтобы сводить концы с концами, мать целые дни корпит над вышивкой.

Мать корит отца дворянскими привычками, особенно картежной игрой, хотя играет отец по копейке, с постыдной прижимистостью, дрожа над каждым грошом. Отец попрекает ее неумением вести хозяйство, распущенностью и пьянством Феоны и плохим воспитанием детей. И отец и мать неправы; слушать их почти ежедневные ссоры скучно и противно. Если бы не бдящее око Феоны, убежать из дому куда глаза глядят.

Но теперь власть Феоны кончается. К кадету Володе она благоволит больше, чем к кому бы то ни было из всей семьи. Высокий красивый мальчик, выучится — офицером станет. А Феона обожает военных. От солдата местной конвойной команды у нее двое детей, которые живут здесь же в доме и которых она усердно лупит по всякому поводу, а часто и без повода. Особенно достается маленькой Катеньке, которая родилась вскоре после того, как солдат бросил Феону ради другой, более состоятельной сожительницы. Покинутая мать вымещала на новорожденной свое огорчение. Миша всегда заступался за малышку и, едва заслышав крик ребенка, бежал на кухню и начинал молотить кулаками Феону по спине до тех пор, пока она не прекращала бить Катеньку.

К Мише Феона тоже благоволила и если следила за ним не спуская глаз, то лишь только потому, что опасалась, не обидел бы кто на улице малое дитя, не попал бы под лошадь, не свалился бы в овраг, или еще не приключилась бы какая беда с несмышленком. Миша пытался убедить ее, что не один же он бегаёт по улице, их целая компания и кто же их посмеет обидеть. Но Феона не поддавалась на Мишины уговоры.

— Такие же огольцы, как и ты, — отмахивалась она, — что Гришка, что Егорка...

— А Тимофей? — возражал ей Миша. — Он с тебя ростом и знаешь, какой сильный!..

Тимофей был сыном легкового извозчика, жившего неподалеку и державшего два выезда. Тимофеем было лет четырнадцать и отец уже сажал его на козлы и отправлял на заработки.

— А Тимофей вам вовсе не компания, — строго выговаривала Феона. — Нашли, с кем дружбу водить, вы чиновничьи дети, а он кучерский сын.

— Ну и что, что кучерский?.. — заступался за товарища Миша.

— А то, что не ровня! — уже сердито обрывала Феона. — И ему нечего к господским детям лезть. Всяк сверчок знай свой шесток!.. И вам нечего с ним компанию водить. Только срамным словам обучаться. Скажу вот Ольге Николаевне, каких словечек сынок ее нахватался.

Но эта угроза не могла устроить Мишу. Он знал, что Феона никогда его не выдаст. Стыдно, конечно, что она услышала...

На следующий же по приезде день Володя обрадовал несказанно:

— Сегодня поедем на рыбалку.

— А куда? — спросил Миша, затрепетав от радости.

— За Собачью щель.

— А где это?

— Где-где... На реке, конечно.

— А с кем поедем?

— Я сговорился с Тимофеем, — сказал Володя, — а ты позови своих дружков Гришу, Егорушку и Сашу.

— Сашу не надо,— сказал Миша.

— Почему?

— Он совершил подлость,— очень серьезно ответил Миша.— И рассказал брату следующую историю.

Егорушка очень боится собак. А Саша сказал, что знает такую молитву, ни одна собака не тронет. И сказал, что если Егорушка насыплет ему три шапки проса — они оба держат голубей — то он его научит этой молитве. Егорушка сперва не поверил. Саша побожился. Егорушка все равно не поверил. Саша дал честное слово. Тогда Егорушка поверил. Саша сбежал домой, принес большущую отцову шапку, забрал у Егорушки почти все просо и прочитал ему молитву «Отче наш», которую и без того все знают. Егорушка понял, как бессовестно его обманули и заплакал, но Саша еще раз дал честное слово, что именно эта молитва оберегает от собак. Егорушка прочитал молитву и пошел в соседний двор, где злая собака, но та его покусала. Потом Миша сам проверил и тоже оказалось, что молитва не помогает...

— И тебя покусала? — спросил Володя.

— Нет, я убежал,— сказал Миша.

Володя расхохотался и сказал, что Егорушка сам виноват, раз поверил такой глупой басне.

— Как ты не понимаешь! — возмутился Миша.— Ведь он дал честное слово! И обманул. А это подлость!

— Ишь ты какой! — удивился Володя и спросил, пытливо вглядываясь.— А что такое подлость?

Миша даже поразился никчемности вопроса. Неужели брат, такой большой, сам не понимает?.. Это же каждому понятно и известно. И тут объяснил, подробно и основательно:

— Ябедничать на товарищей — подлость; выдать тайну — подлость; дать честное слово и не сдержать — подлость; ну и еще — мучить людей, кожу с живых сдирать, как с младшего брата, с Иуды Маккавея — тоже подлость; и вообще преследовать людей, которые за правду...

— Кто тебе про Маккавеев-то рассказал? — полюбопытствовал Володя.

— Сам прочитал.

— А про тех, кого за правду преследуют?

— Ну, слышал...

Слышал, как разговаривали между собой приезжавшие из Петербурга студенты: мамин брат и два его товарища. Но это тоже была чужая тайна, и разглашать, от кого слышал, тоже было бы подлостью.

Поездка назначена на завтра, а сегодня, сразу же после обеда, все рыболовы собрались в дальнем углу пустыря за ветхим дощатым сараем, у самого обрыва, там, где с незапамятных времен свалены бревна.

Со слов Феоны известно, что бревна эти припас еще старый барин — отец Степана Николаевича — намереваясь прирубить пристройку к дому. Намерение не осуществилось, и с тех пор бревна лежат на задворках. Они давно уже рассохлись и растрескались, а некоторые и поистлели. Феона не раз говорила Ольге Николаевне, что надо их распилить на дрова, зачем покупать на базаре, когда тут хватит на целую зиму. Но Степан Николаевич не позволял. Он все еще надеялся употребить бревна по прямому назначению. Хотя все понимали, да и сам он тоже, что какая уж там пристройка, когда и лавочнику-то задолжали...

Бревна оставались лежать огромным штабелем в углу пустыря и сделались любимым прибежищем детской компании. Собрались все участники завтрашней экспедиции: кроме Миши и Володи, на бревнах восседали шустрый и востроглазый соседский мальчик Гриша, ху-

денький и застенчивый Егорушка и, конечно, Тимофей, на него возлагалась особо трудная обязанность раздобыть лодку. Володя и Тимофей сидели несколько обособленно от младших и оживленно переговаривались. Потом Володя сказал:

— Надо тридцать копеек. У меня есть пятнадцать. Добавляйте!

У Миши было пять копеек, припасенных на леденцы. Он без колебания отдал их брату. Гриша сделал вид, что увлечен синицей, порхающей с ветки на ветку и совсем не слышит, о чем говорят. Егорушка сказал, что дома у него есть десять копеек и вызвался сходить принести.

— Ладно, вечером отдашь,— говорит Володя,— остальные я уж сам добавлю,— достает деньги и отдает тридцать копеек Тимофею.

Тимофей быстро уходит и вскоре возвращается с каким-то предметом, завернутым в синюю оберточную бумагу.

— Отлично! — говорит Володя.

Младшие многозначительно переглядываются. Они тоже знают, что за вещь заключена в синем свертке, но и виду не подают. Таковы условия игры.

— Пшено не забыли? — спрашивает Володя.

— Я взял,— отвечает Егорушка.

— Следуйте за мной! — подает команду Володя.

По узкой тропке, врезанной в косогор, все спускаются вниз к реке. Там вдоль берега примостились домишки городской бедноты. Против одного из них чернеет на прибрежном песке длинная черная лодка. Тимофей передает синий свертки Володе, у всех остальных руки заняты: несут удочки, котел, торбы с едой и посудой,— и заходит во двор. Тут же возвращается с веслами на плече, сопровождаемый древней старухой, несущей в руках жестяной ковш и грязную холщовую тряпку.

Лодка лишь наполовину вытянута на берег, корма ее наполнена водой. Тимофей и старуха раскачали лодку, часть воды выплеснулась. Старуха ушла. Тимофей забрался в лодку и энергично действуя сперва ковшом, потом тряпкой, осушил и протер ее. Потом, засучив холщовые штаны, вошел в воду и стал тянуть лодку за корму. Остальные помогали ему, толкая с берега. Лодка медленно, словно нехотя, сползла на воду. Все погрузились, Тимофей оттолкнул лодку от берега, вскочил в нее сам и уселся за весла.

— Курс знойд-вест! — скомандовал Володя.

Вряд ли Тимофей понял команду, но это и не имело значения,— только он знал, куда им надо ехать.

Тимофей ведет лодку вдоль берега. Миша лежит на носу и смотрит в воду, иногда озирается по сторонам. Вот миновали плот, на котором женщины стучат вальками по мокрому белью и переговариваются, стараясь перекричать друг друга. Домишки, протянувшиеся вдоль берега, становятся все меньше, железные и тесовые крыши сменяются соломенными. Наконец и последняя хата осталась позади. Пошли однообразные луга, окаймленные полоской лозняка...

Наконец-то выбрались из города... Миша — мальчик городской, родился и вырос в городе. Но в самом раннем детстве Мише посчастливилось два лета провести на природе.

У отца в Бирюченском уезде, на речке Усерд, был небольшой наследственный хутор с несколькими десятинами земли,— жалкие остатки земельной угодий, когда-то принадлежащих ныне оскудевшему дворянскому роду Александровых. Всего-то и было на хуторе крохотный домик, окруженный запущенным садом; но все равно летом там было куда лучше, чем в пыльном городе. Тем более что неподалеку от хутора, там, где Усерд впадал в извилистую, заросшую кувшинками степную речку с ласковым названием Тихая Сосна, стоя-

ла мельница Мишиного дяди Петра Николаевича и на этой мельнице Миша гостил очень часто.

Здесь было куда привольнее, чем на крошечном отцовском хуторе. Широко разлившийся мельничный пруд, с заливами, убежавшими в густые заросли камыша; глубокий омут за мельничной запрудой, окруженный раскидистыми ветлами; степь, полого вздымавшаяся по берегам реки; темная кайма дальнего леса, уходящего за горизонт.

Потом хутор пришлось продать, и вот уже несколько лет Миша безвыездно жил в Воронеже. Тем отраднее было хоть ненадолго выбраться за город, на природу...

Так хорошо лежать на носу лодки и смотреть в воду. Длинные мохнатые стебли плавно колышатся, колеблемые течением. Между водорослями виднеется гладкое песчаное дно, усеянное камешками и раковинами. Среди колышущихся стеблей снуют стайки крошотных рыбешек. Испуганные надвинувшейся лодочной тенью рыбки, как по команде, резко меняют направление и стремительно соскальзывают в темную глубину.

«Приснули, точно воробьи в кусты», — думает Миша и поднимает голову от воды.

У самого берега на стебле молодого камыша пристроилась птичка. Стебель согнулся под нею, и птичка, почти касаясь воды, глядится в нее. Низко над самой гладью реки порхают стрекозы и отражаются в воде, так же как отражаются в ней плывущие в небе облака.

«Как хорошо! — думает Миша. — И никто не знает, куда мы поехали. Пусть теперь посылают Феону хоть по всему городу, никто нас не найдет, никто нам не помешает...».

Но есть и менее терпеливые.

— А когда же Собачья щель? — с трепетом спрашивает Егорушка.

Егорушка единственный из всей компании не умеет плавать и потому панически боится воды. Страх не покидает его с той самой минуты, как Тимофей оттолкнул лодку и между нею и берегом образовалась широкая полоса пугающей воды. А впереди еще Собачья щель!.. Что это такое, никто, кроме Тимофея, толком не знает, а тот на все вопросы отвечает одно:

— Сами увидите.

И сейчас на вопрос Егорушки Тимофей коротко, но многозначительно бросает:

— Потерпи, увидишь...

Река крутым зигзагом сворачивает направо, потом налево.

— Вот она и есть! — торжественно произносит Тимофей.

Миша, подняв голову, смотрит вперед, но не видит там ничего страшного. И при чем тут собака?..

Русло реки резко сужается и уходит вдаль, прямое, как канал. Берегов нет, лозняк густо растет прямо из воды. Кажется, что Тимофей вот-вот заденет веслами гибкие клонящиеся к воде прутья.

— Смотри под себя! — приказывает Тимофей.

Миша заглядывает в воду и чувствует, как страх подбирается к нему. Вместо светлого песчаного дна, он видит темную пучину. Ни колышущихся стеблей, ни рыбьих стаек... Темная, почти черная глубина. Далекое небо с облаками словно ушло под воду и стало теперь на беспредельно огромной глубине дном этой страшной реки... Вдоль расщелины дует никогда не стихающий ветер и поднятая им зыбь дробным рокотом плещет в борта лодки. Вот-вот и лодка рассыплется, и все пойдут под воду к этим далеким, далеким облакам...

— Надо ближе к берегу... — жалобно просит перепуганный Егорушка.

И Миша душой благодарен Егорушке. Еще немного, и он сам взмолился бы.

— К берегу...— усмехается Тимофей.

Он подводит лодку вплотную к густой стене лозняка и, взяв весло за самый конец, толкает его в воду. Весло уходит вместе с рукой.

— Дна нету! — говорит Тимофей, вставляет уключину в гнездо и гребет дальше.

После этого стало совсем страшно. И одно только теперь на уме: хоть бы греб Тимофей побыстрее, чтобы выбраться из этой проклятой щели!.. А он совсем не торопится, после каждого рывка медленно отводит весла назад, словно любуясь, как скатываются с лопастей прозрачные капли.

Наконец можно перевести дух. Уже виден низкий, радостно зеленый луг с раскидистыми ветлами по всему берегу. Вырвавшаяся на простор река делает еще один крутой поворот, и еще один, разливаается все шире и шире, и заголубевшую гладь ее вспарывает далеко выдвинувшийся голый песчаный мыс.

Тимофей разгоняет лодку и она вонзается в пологий песчаный берег. Не дожидаясь, пока Тимофей выдернет лодку на песок, малыши выскакивают из нее прямо в воду, выбирают на песок и отплясывают радостный танец. Очень приятно почувствовать себя на твердом берегу и заодно размять затекшие ноги!..

— Купаться! — командует Володя.

В миг все сбросили одежду и опрометью кинулись в воду. Тимофей и Володя сразу же крупными саженками заплыли на середину реки. Миша и Гриша потянулись было за ними, но вовремя спохватились и, отчаянно колотя по воде руками и ногами, плавали наперегонки вдоль берега, время от времени проверяя, есть ли под ногами дно. А вовсе не умеющий плавать Егорушка уселся в двух шагах от берега, где воды было всего по колено, и поливал себя из горсточки. Такое купание, конечно, не могло доставить большого удовольствия, и поплескавшись немного, Егорушка направился к берегу.

Но тут же вслед ему летят две горсти песка. Приходится возвращаться в воду. Очень забавно смотреть, как ополаскивается Егорушка. Зайти поглубже, так, чтобы можно было окунуться с головой, он не решается. Забредает снова по колено, ложится в воду и, переваливаясь с боку на бок, смывает приставший к телу песок.

После купанья надо заморить червяка. Большая коврига хлеба разрезается почти пополам. Большую половину Володя укладывает обратно в торбу — это к обеду, вторую разрезает на пять равных ломтей. Из другой торбы достается отваренная в мундирах картошка, завернутая в холщовую тряпочку соль и на каждого по вареному яйцу. Все это удивительно быстро съедается. Когда с едой покончено, Володя разворачивает синий пакет, в котором покоится казенный штоф, но не с водкою, а с темно-красным церковным вином. Все прекрасно знали, для чего собирались деньги и за каким продуктом ходил в лавочку Тимофей, и все же появление наполненного вином сосуда вызывает общее ликование и радостный визг младших.

Володя подносит каждому по маленькому граненому стаканчику, а затем начинается самое интересное. Володя забредает в реку и, осторожно погрузив штоф в воду, пополняет убыль в сосуде. Затем торжественно вскидывает руку, выставляя штоф для всеобщего обозрения, и каждому видно, что он снова наполнен до краев точно таким же густо-красным вином.

Больше всех ликует и радуется Гриша. Это законное ликование изобретателя. Именно он еще в прошлом году придумал такую хитрую затею. И сейчас, когда Володя выходит на берег с полным штофом, Гриша, весело хихикая, провозглашает:

— Как Иисус Христос, воду в вино превращаю!..

Но эта его шутка не встречает одобрения.

— Говори, да не заговаривайся! — строго обрывает богохульника Володя.

— А то и по сопатке схлопотать можно! — строго добавляет Тимофей.

Перед тем, как заняться главным делом, Володя еще раз подносит всем по стаканчику, после чего снова забредает в реку и снова штоф полнехонек... И так повторяется в течение всего дня много раз, пока уже, наконец, содержимое штофа ни на цвет, ни на вкус, ни на запах, — решительно ничем не станет отличаться от обычной речной воды.

А главное Володино дело, которому он предается с увлечением, можно сказать, с азартом, это приготовление кулеша. В этом искусстве Володя поднатерел во время учебных походов в кадетском корпусе и очень гордится им.

Прежде всего надо выбрать удобное место для костра. В прибрежных зарослях лозняка Володя находит полянку со следами кострища: черным кругом выжженной земли, обгорелыми колышками тагана, разбросанными кругом клочками бумаги.

Все занялись делом. Тимофей и Гриша, взяв удочки, уселись в лодку и поплыли куда-то вниз по течению. Мише и Егорушке поручено наносить дров для костра.

И вот уже эмалированный чугунный котел, наполовину заполненный водой, висит на тагане, шустрые, почти бесцветные при ярком солнечном свете язычки пламени облизывают закопченное днище; вскоре вода закипает. Володя, тщательно примериваясь, отсыпает на ладонь кучку соли из бумажного фунтика, бросает в котел, помешав ложкой, снимает пробу и засыпает пшено, непрерывно помешивая. Когда варево вновь закипает, Володя убавляет огонь под котлом, какое-то время томит пшено на малом жару, после чего опускает в котел сало и мелко нарезанный картофель. Теперь самое главное: следить, чтобы варево не подгорело. Это уже забота главного кашевара, и Володя отпускает своих помощников.

Егорушка отходит подальше от костра и, недолго думая, укладывается в тени под развесистой ветлой. Миша тоже хотел было последовать его примеру, но тут же укорил себя: валяться на траве можно и дома на задворках. Надо обойти, осмотреть все окрест, и прежде всего отыскать, где укрылись рыболовы.

Среди зарослей лозняка едва просматривается узенькая тропинка. В том же направлении, куда уплыли Тимофей с Гришей. Миша, собравшись с духом, решительно ныряет в заросли. Тропинка петляет, огибая старые полусгнившие пни и лужицы, заполненные водой и тиной, и вскоре уже Мише кажется, что он сбился с курса и идет совсем не туда. Так и заблудиться недолго в этих зарослях... Можно, конечно, крикнуть, Володя отзовется, не так еще далеко ушел от костра. Но будут потом смеяться и дразнить... Миша начинает вспоминать, где было солнце, когда он сидел у костра и смотрел на реку. Солнце было за спиной. Потом он пошел к зарослям направо. Значит, если солнце будет у него справа, как сейчас, то он удаляется от костра, а когда будет возвращаться к костру, тогда надо следить, чтобы солнце было слева. Вот и все! А солнце хорошо видно даже через самые густые заросли, так что тревожиться нечего.

Миша медленно пробирается между кустами, после каждой петли обязательно сверяясь по солнцу и стараясь запомнить все повороты тропинки, которая то разветвляется, то снова сходится в одну. Да на этой тропе и не разбежишься. Кучки сухих веток, разросшиеся лопухи и высокая колючая трава то и дело преграждают путь. Тропинка то выбегает на поляну, то снова ныряет в заросли, то прижимается к самой реке и извивается вдоль берега, который отвесно падает к воде, а она здесь темная, черная и не обещает дна. В таких местах Миша



жметя к берегу, хватается за ветви, иногда при этом обжигаясь о крапиву.

Потихоньку подползает тревога: не пора ли возвращаться?.. Да и солнце уже опустилось ниже. Или это кусты лозняка здесь такие высокие и густые, что временами совсем заслоняют солнце и тогда даже кажется, что уже наступают сумерки... Может, пока еще видно солнышко, лучше повернуть назад? Но и досадно, что не удалось разыскать рыболовов. Наверно, они уже совсем близко... А может быть, он уже прошел мимо них, они остались далеко позади, и он тут совсем один? Стало совсем жутко. Миша останавливается в нерешительности. И назад не хочется поворачивать, не дойдя до цели, и вперед ноги не идут...

Наконец он перебарывает свой неясный страх и почти бегом бросается вперед по едва различимой тропе. Гибкие прутья хлещут его с обеих сторон и такое ощущение, что его стараются задержать и не выпустить из этой чащи. Он рвется вперед, думая лишь о том, чтобы как можно быстрее выбраться на простор, пробегает еще несколько шагов и... едва успевает удержаться над самым обрывом.

Перед ним довольно широкий залив с едва заметным протоком в русло реки, похожий больше на продолговатое озеро. Противоположный берег залива скрыт прямо из воды растущим камышом. Над сплошной густо-зеленой стеной тут и там возвышаются темно-коричневые султаны. Верхушка залива тоже прячется в зарослях камыша. И совсем неподалеку от того места, где он вырвался из чащи, под кустами приткнулась лодка.

Гриша и Тимофей сидят на корточках у самой воды и не спускают глаз с разноцветных поплавок. Миша застывает на месте, рыбалка требует священной тишины. Один из Гришиных поплавок скрывается под водой.

Миша, забыв обо всем на свете, кричит:

— Тяни!

В воздухе мелькает серебристая рыбка, срывается с крючка и с громким плеском шлепается в воду.

— Из-за тебя!..— с досадой произносит Гриша, показывая кулак приятелю.

— Принесло тебя...— ворчит Тимофей.

— Много наловили? — Миша знает, как задобрить рыболовов.

— Гляди! — И Гриша вытягивает из воды кулан, на который нанизано десятка два плотичек.

— А у него? — спрашивает Миша.

— У него больше,— признается Гриша и, разведя руки без малого на пол-аршина, добавляет: — Он вот такого окуня поймал и еще одного чуть-чуть поменьше.

— Хорошей ухи наварим! — радуется Миша.

— Смотри, костью не подавись! — совсем недружелюбно отвечает Тимофей.

Ему рыба нужна для других целей. Если принесет рыбы, отец не так будет ругаться, что проболтался где-то весь день.

— Я за вами пришел,— говорит Миша, заметно огорченный тем, что ухи не будет.

— А кулеш готов? — осведомляется Гриша.

— Наверно готов,— говорит Миша.— Пшено уж когда засыпали...

— Ему еще упреть надо,— деловито замечает Тимофей.— Поспешет, позовут.

Он еще во власти рыбацкого азарта и ему совсем не хочется уходить. Но или разговорами распугали рыбу, или просто время клева закончилось... Проходит еще несколько бесполезных минут. Миша чувствует себя виноватым: видно, при нем рыба не ловится. И ему

приходит в голову, что не надо было и приходить сюда... и сейчас самое лучшее уйти отсюда.

Размышления его обрываются криком Егорушки из кустов:

— Ребята! Ужинать!..

Тимофей и Гриша вытаскивают из воды и сматывают свои рыболовные снасти.

— С нами, что ли, поедешь? — сухо предлагает Мише Тимофей.

Миша, понимая, что Тимофей сердит на него, отказывается:

— Сам дойду,— и, круто повернувшись, ныряет в кусты.

На тропинке едва не сталкивается с Егорушкой. В первый миг оба напуганы, потом непритворно обрадованы, особенно Егорушка. Он так же, как и Миша, полчаса тому назад начал опасаться, что заблудился в кустах.

До чего же вкусен хорошо разопревший кулеш, слегка отдающий дымком! Уничтожали его с таким рвением, какого никогда не удаивались блюда, приготовленные трудолюбивой Феоной.

Снова появился на свет бездонный штоф с уже слегка осветлевшим вином, и снова Володя, обнеся всех по стаканчику, забредал в воду.

Перед отъездом Миша набирает большой букет пахучих полевых цветов для сестренки Людочки.

Теперь на весла садится Володя. Тимофей, сидя на корме, подгребает правилом. Миша, как и утром, пристраивается в носу лодки, но уже не заглядывает в воду. Его, как и остальных малышей, изрядно напекло горячим солнцем, разморило от усталости и обильной еды и он сидит, подтянув колени к подбородку, таращит слипающиеся глаза и держит обеими руками собранный для сестренки букет.

— Букет уронил! — кричит ему Гриша и довольно чувствительно толкает его в бок...

Михаил Степанович, стиснув зубы, подавил готовый вырваться стон... Все-таки эти перекосившиеся пружины, подпирающие обшивку, не для контуженного. До рассвета еще далеко. Надо постараться снова заснуть. Заснуть, не тревожа никого, все и так с ног сбились. Вот только бы чуточку сдвинуться, чтобы проклятая пружина не упиралась так в ноющее ребро.

Вспомнив оптимистическое заверение благообразного профессора, подумал с усмешкой: «Тут, дорогой профессор, не то что бомбы кидать, с боку на бок повернуться невогугу».

Но что же это такое с ним было сейчас? Тут и сон, перемежаемый воспоминаниями и размышлениями во сне, и воспоминания о тогдашних размышлениях. Но как же все хорошо помнится и видится... Ну прямо как наяву. Еще бы!..

Все это он пережил дважды: в далеком воронежском детстве и второй раз через двадцать с лишним лет в петербургских Крестах, в мрачной тюремной одиночке, когда уже на третьем году заключения написал в камере первый свой рассказ «Собачья щель».

Но уснуть в эту ночь больше уже не удалось.

Мрачное слово Кресты всколыхнуло тяжкую глыбу воспоминаний, одна за другой замелькали в памяти сцены и картины тюремной жизни, нет, тюремного существования — называть которое жизнью не только несправедливо, но и просто кощунственно,— и тут уж, конечно, было не до сна...

До Крестов пришлось отсидеть девять месяцев в Петропавловской крепости и еще двенадцать месяцев в Доме предварительного заключения.— всего без малого два года. Все это время шло следствие, или, выражаясь официально казенным языком, дознание.

До чего уж там пытались дознаться — неизвестно, все вины были

на виду, надо полагать, просто не хватало этих вин, чтобы расправиться с неблагонадежными молодыми людьми, так как они того заслуживали по мнению власть предержащих или, точнее сказать, так, как властям хотелось.

На этих молодых людей давно точило зубы царское правительство. Еще благополучно убиенный Александр Второй многие годы вынашивал сокровенную мечту: выстроить в киргизских степях город, обнесенный высокой стеной, и свезти туда нигилистов со всей Руси, пусть там на досуге просвещают друг друга.

Осуществить свой великодушный замысел царю-освободителю не удалось. Неподъемно оказалось выстроить город в киргизских степях. Пришлось рассылать нигилистов по разным местам, по разным окраинным углам обширного отечества. Кого на Мезень и на Печору, кого на Обь и на Енисей, а кого и вовсе за тридевять земель на далекую Лену и затерянный в северных тундрах Вилюй...

А чтобы не стеснять себя рамками хотя и царских, но все же законов, власть предержащие изобрели рассмотрение дел в административном порядке — то есть сконструировали пригодную для любого беззакония безотказно действующую машину административного произвола.

Михаил, Катя и их товарищи, поступи дело на рассмотрение суда, скорее всего подверглись бы самым незначительным наказаниям, а то и вовсе были бы оправданы, так как они лишь «злоумышляли», но ничего еще не «преступили».

Вот им и было оказано «снисхождение». Под суд их не отдали, а разрешили их дело в административном порядке.

Отчетливо, до мельчайших подробностей запомнилось, как вселялся в Кресты.

Подвезли к тюремной карете с двумя конвойными, словно убийцу или опасного рабителя. Первым вышел из кареты старший конвоир, затем выпустили его, следом выскочил второй солдат. И сразу же стали по бокам с обеих сторон. Подвели к воротам тюрьмы.

— Обожди! — приказал старший.

Тут же возразил, спокойно, но твердо:

— Не обожди, а обождите!

Старший отмахнулся:

— Все равно.

— Все не все равно. Вы унтер-офицер, а не знаете, как должны вести себя, — и уже нарочито громко: — Я буду жаловаться начальнику тюрьмы!

Неизвестно, чем бы окончился для него этот протест, будь это уже за воротами, в тюремном дворе. Но здесь, на улице, на виду у прохожих, которые уже начали останавливаться и прислушиваться, унтер-офицеру препираться с арестантом не с руки. Унтер службу знает и понимает отлично, что лишний шум тут ни к чему, начальство за это не похвалит. И круто сбавляет тон:

— Потрудитесь обождать!

Первая, — в новом естестве человека без судебного приговора заключенного в тюрьму, — попытка отстоять свое человеческое достоинство.

Первая, ничтожно малая, но — победа.

Были в тюрьме не только часы и минуты, но и дни и недели уныния и тоски, когда от одной мысли, что еще столько-то и столько-то сотен дней и ночей придется провести в этих стенах, готов был впасть в отчаяние и биться головой о стену...

Об этих скорбных днях не хочется и вспоминать. Не стоят они воспоминаний, и — с гордостью можно сказать — не так уж много их было.

Куда больше было других, наполненных осмысленной заботой о том, чтобы не стать на колени, вымаливая крохи режимных послаблений, чтобы не позволить унижить себя ни в чем, чтобы суметь сохранить и душевную бодрость и физическое здоровье,— сохранить себя для грядущей революции.

Ему многого удалось добиться.

Когда позже, в олекминской ссылке, рассказывал о том, как, сидя в Крестах в одиночке, почти два года выписывал и получал ежедневную газету, товарищи недоумевали, не сразу сообразив, в чем соль шутки.

А он вовсе не шутил. Он действительно в начале второго года своей отсидки выписал ежедневную газету и получал ее до конца своего пребывания в Крестах.

Случай, по-видимому, беспрецедентный, в корне несообразный с тюремными порядками. По правилам тюремного режима чтение газет и любой периодической печати категорически воспрещалось. Не дозволялось читать даже старые, многолетней давности журналы. Не раз приходилось ему видеть, как надзиратель тщательно собирает и уносит обрывки газеты, в которую завернута передача.

Но как-то разговорив одного из надзирателей, он узнал от него, что когда-то, несколько лет назад, одному из заключенных разрешено было получать официальное издание министерства финансов — «Вестник финансов, промышленности и торговли». С живейшим интересом отнесся он к сообщению надзирателя. Стал задавать вопросы, пытаюсь выяснить, каким образом удалось добиться такого послабления тому заключенному. И когда надзиратель ушел, весь вечер даже не приоткрыл пером к бумаге (хотя и занят был тогда очень для себя интересным делом — составлял словарь к сочинениям любимого своего писателя Щедрина), а все размышлял, как же это удалось?..

Не так уж ему нужен был этот «Вестник». Но он вспомнил, что Министерство финансов издает еще и ежедневную «Торгово-промышленную газету» (эту газету он читал, когда служил в статистическом отделе губернской земской управы) и что газета эта числится официально приложением к «Вестнику».

Таким образом оказалось, что «Вестник» не только министерский справочник и сборник министерских циркуляров, но еще и ежедневная газета. Теперь уже имело смысл побороться.

Целый вечер сочинял прошение на имя начальника главного тюремного управления. В качестве главного обоснования своей просьбы приводил крайнюю необходимость иметь «Вестник» для продолжения научных занятий, начатых им еще в бытность на службе в статистическом отделе. Сослался также на усердную и безупречную службу в губернской земской управе, за каковую был неоднократно поощряем начальством, все это соответствовало действительности: свои обязанности статистика он выполнял вполне добросовестно, и непосредственный начальник его, Лев Карлович Чермак, не скупился на поощрения и, наконец, соблюдая весь необходимый в таком тонком деле такт, помянул об имевшем место прецеденте.

Прожение было передано по команде. Ожидал результата с естественным волнением, хотя и без особой надежды. Но то ли высокое начальство пожелало поощрить стремление арестанта к научным занятиям, то ли уважило его безупречную службу в земском ведомстве, то ли повлияла ссылка на прецедент или просто прошение легло на стол начальника в минуту, когда суровая душа его была смягчена очередной наградой или повышением в чине,— какова бы ни была причина, только Главное тюремное управление официально разрешило находящемуся в заключении Михаилу Степановичу Александрову получать журнал «со всеми приложениями».

Теперь надо было ковать железо, пока горячо. Пока никто из ме-

стного тюремного начальства не разобрался, что кроется за словами «со всеми приложениями». Не медля ни часу, написал прошение начальнику тюрьмы, в котором, ссылаясь уже на разрешение Главного тюремного управления, просил выписать «Вестник финансов, промышленности и торговли» со «всеми приложениями». Подписка была оформлена на указанную им сумму и вскоре тюремное начальство обнаружило, что само выписало заключенному Александрову ежедневную «Торгово-промышленную газету». Идти на попятную не позволила «честь мундира», и в течение двух лет каждый день в его камеру подавалась служителем свежая газета.

И журнал и газета не только скрасили тяготы одиночного заключения. Изучая, казалось бы, сухие таблицы и статистические сводки, он за эти два года основательно ознакомился с экономическим положением страны, убедился в том, что все большую роль в ее жизни приобретает фабрично-заводская промышленность, что неудержимо растет количество новых промышленных предприятий, а с ними и число рабочих на фабриках, заводах, железных дорогах,— и с каждым днем крепла в нем давно уже зародившаяся мысль, что именно рабочему классу суждено стать главной силой в грядущей революции.

Кроме ценнейших экономических сведений, даже из этой казенной ведомственной газеты можно было выщедить, вычитать между строк какие-то крохи даже и политической информации. И не быть уже полностью отстраненным от всего того, что совершается в большом мире за глухими стенами его камеры.

И наконец,— и это было самым главным во всей этой истории,— еще раз подтвердилось, что и здесь можно бороться и даже побеждать. Это была еще одна, на сей раз уже более значительная его победа.

А случалось и так, что бороться надо было с самим собою и побеждать самого себя.

Первое такое противоборство произошло в ослепительные весенние дни в конце апреля.

Здесь, в Крестах, приход весны ощущался гораздо непосредственнее, нежели в вонючих камерах Петропавловской крепости. Уже с середины апреля стали открывать окна. С Невы тянуло свежестью и этим же свежим воздухом заносило с воли в камеру семена мечтаний, волнующих и тревожащих.

Тюремная ограда несколько заслоняет реку, но не всю, значительная часть русла видна, ощущается и «Невы державное течение» и видно, как с каждым днем нарастает оживление на реке. Пароходы, которые идут вверх по реке, на Ладогу, тянутся у самого «нашего» берега и видны лишь их закопченные трубы, медленно ползущие по тюремной стене, зато хорошо слышно надсадное учащенное дыхание их машин. Стремительно проносятся по стрележню идущие вниз пароходы, проворно сплывают лодки возле того берега. Приходят и уходят люди... Совсем неподалеку, совсем рядом, иная, деятельная, воистину живая жизнь. Неподалеку — а на самом деле так далеко...

Последние недели много читал, особенно Лермонтова. Понял то, на что раньше не обращал внимания. Его поэзия по преимуществу поэзия отверженного, вопль беглеца и стон узника... А горечь и злость его стихов — эти чувства так хорошо знакомы арестанту, так близки его душе!.. Читал жадно, спешил заучить как можно больше стихотворений, чтобы повторять их про себя вполголоса за нудной работой, склеивая опостылевшие, рябившие в глазах папиросные коробки.

Никогда не предполагал, что труд, физически вовсе не тяжелый, может так изнурять своей унылой монотонностью. Несколько недель клеил коробки для папирос «„Заря" — 10 штук шесть копеек». Когда стало невмоготу, спросил мастера, приносящего материал и забирающего счетом коробки:

— Неужели только одна эта работа есть?

— Нет, почему же,— сказал мастер,— есть еще «Ландыш», «Курьерские». Надоест «Заря» — клеите «Ландыш» или принимайтесь за «Курьерские».

Вспомнилось, как опасался, что один вид папиросных коробок заставит еще сильнее томиться от невозможности курить. Но оказалось, что опостылевшие коробки уже и не напоминали ароматный дымок папиросы с бодрящей затяжкой. А если уж покурить, то хорошо бы самой ядреной махорки... Странно, «в миру» курил почти всегда папиросы кстати, очень часто эту вот самую «„Зарю” — 10 штук шесть копеек». И никогда даже в голову не приходило, что клеил эти коробки какой-нибудь такой же проштрафившийся интеллигент...

Всю зиму торопил приход весны, зная, что весна распахнет окно, а вот теперь, когда его отворили, еще труднее стало приневоливать себя. А горькие и мятежные стихи будоражили душу еще сильнее. После них вовсе невмоготу в этом каменном мешке!.. Уйти, уйти из этой тесной камеры на светлый простор, на веселый берег реки, пройти по лесу и полю, хватить всей грудью этого пьянящего сочного воздуха, лишь жалкие клочья которого задувает ветер в тюремное окно...

Уйти, уйти!.. Как уйти?.. Вывести отсюда может лишь шапка-невидимка. Будь она под рукой, как бы просто!.. И дальше уже самая строгая и потому самая достоверная реальность прищвартовывается к фантастической мечте и своими трезвыми подробностями возвращается в действительность... С пристани возят на тюремный двор каменный уголь, ворота настежь с утра до вечера. Свернул бы с опостылевшего прогулочного круга внутри тюремных стен и пошел бы вдоль Невы и дальше, и дальше, куда глаза глядят...

Но мечта — химера, а действительность — вот она, вот они, проклятые стопы папиросных коробок, проклятые стены одиночки, проклятая дубовая дверь с бесстыдным глазком посередине!..

Именно в таком вот ужасном, одновременно и возбужденном и подавленном состоянии, находился он в то время, когда вся тюрьма с нетерпением ожидала 15-го мая — дня коронации. В этот день по установившейся традиции предстояла амнистия.

Всем предложено было подать прошение о применении манифеста.

Казалось бы, что зазорного в желании сократить срок своего тюремного заключения? И, стало быть, можно ли счесть предосудительным подачу прошения?..

Но сколь бы сильно ни было желание хотя бы на день раньше вырваться на волю, трезвый разум предостерег: не будь легковверен, опасайся царской милости, не поддавайся малодушию,— прошение это очень нужно и м, департаменту полиции и иным предержащим властям, нужно для того, чтобы отделить козлиц от овец, чтобы отсеять раскаявшихся и смирившихся от нераскаянных и убежденных.

Подача прошения становилась актом предательства по отношению к товарищам.

Конечно, он поступил достойно, отказавшись подать прошение об амнистии, хотя многие из близких ему людей так и не смогли понять, почему он отказался от возможности сократить тюремный срок из-за пустой, как им казалось, формальности.

Но для него это была еще одна победа, притом особо трудная, одержанная над самим собой.

Больше всего разгневало начальника тюрьмы то обстоятельство, что флоксы, выставленные в окне, красного цвета. Не было смысла спорить, но уж если быть точным, то один куст был густо-розовый,

другой малиновый, но для полицейского глаза все эти цвета сводились к одному — крамольному...

Началась вся эта «цветочная» история с сущего пустяка. Пришла на очередное свидание определенная ему в «тюремные невесты» славная девушка Васса Михайловна Можаровская и принесла довольно редкое лакомство — баночку сардин.

Полакомившись сардинами, баночку он не выбросил, а вымыл и поместил на полку с прочей табельной посудой: миской, тарелкой и кружкой.

Вскоре баночке нашлось применение: на вечерней прогулке уловив минуту, когда надзиратель отвлечен был ссорой двух арестантов, нагнувшись вроде бы поправить сбившийся при ходьбе носок и, проворно подковырнув черенком ложки, выхватил облюбованный заранее кустик травы с корнями и комом земли. Ухитрился пронести в камеру и посадил кустик в жестяной баночке.

— Не дозволено,— сказал надзиратель, осматривавший утром камеру.

— Но и прямого запрета ведь тоже нет,— возразил он довольно непринужденно.

— Ну ладно,— согласился надзиратель,— в случае чего скажу, что не заметил...

Надзирателю не пришлось оправдываться. Стихийно возникшее в камере садоводство вскоре было легализовано самим тюремным начальством.

В первый день пасхи вызвали в канцелярию. Облаченный в новенький, с иголки мундир и благоухающий, как куст жасмина, дежурный офицер произнес несколько даже напыщенную речь:

— Вот вам принесли провизию и гиацинт. Провизию вам передадут, а цветок я не имел права пропустить и обратился к господину начальнику, который приказал вам объяснить, что цветов вообще не полагается приносить в тюрьмы... но в виде исключения, по случаю праздника, разрешает пропустить цветок.

Цветку он до того обрадовался, что даже сдержанная Васса Михайловна разволновалась, глядя на него.

Теперь у него в коробке из-под сардинок луг, в цветочном горшке сад, да еще к тому же с соизволения начальства. А потом — по нормальной схеме. Как всяким уважающим себя земельным магнатом, им овладела неумная жажда к расширению площади землепользования. Семенами он был обеспечен в избытке. Его увлечение цветоводством стало известно всем, с кем поддерживал он переписку, и ему посылали в тюрьму семена наиболее жизнестойких цветов. Как потом выяснилось, в суровых тюремных условиях успешнее всего акклиматизировались флоксы и астры.

Нужна была земельная площадь. Одного поля — горшка, полученного вместе с гиацинтом — явно не хватало. Второе поле изготовлено было из фаянсовой питьевой кружки, у которой за три вечера удалось пробуровать дно. Чтобы обзавестись третьим полем, пришлось скрепя сердце отказаться от успешно освоенного возделывания луговых трав.

Прошло определенное природой время, и на всех трех полях расцвели цветы. Очень они скрасили ему томительные тюремные дни... Когда садился за работу, всегда ставил их на край стола перед собою, чтобы не разлучаться с ними надолго и в то же время не отрываться от дела. Перед тем как выходить на прогулку, ставил цветы на подоконник так, чтобы их видно было со двора, и, дефилируя по кругу, старался не отрывать глаз от окон своей камеры.

Очень яркие и веселы были астры и особенно пучки флоксов, когда солнце смотрело в окно!.. Если могут быть у заключенного счастливые минуты и если они были у него, то именно эти минуты.

Но когда уже в Олекминске рассказал одному из товарищей,— человеку очень достойному, которого до того очень уважал и ставил себе в пример,— про свои тюремные цветы и про эти радостные минуты, тот посмотрел на него с плохо скрытым презрением. И разразился почти гневной тирадой:

— Почувствовал себя счастливым?.. А что в мире изменилось от того, что ты поставил на тюремное окно два горшка и консервную банку?.. Меньше стало голодных и обездоленных? Смягчились сердца палачей? Державный жандарм Романов приказал раскрыть настежь двери тюрем? Наступило царство божие на земле?..

Он ничего не возразил тогда этому партийному праведнику. Да и надо ли было возражать? Ведь праведники тем и отличаются от обычных людей, что они вместо обычных слов изрекают неопровержимые истины.

Да, конечно, эти цветы никому ничем не помогли. Никому!.. Кроме одного человека, того, который вырастил их в своей камере...

Он ухаживал за своими цветами, лелеял их,— не каждая мать лелеет так свое дитя. Цветов стало так много, что он мог даже позволить себе дарить их (поистине царский в его условиях подарок!). Сестра Людмила пришла к нему в первый раз, и он подарил ей чудесный флокс. Она очень удивилась, принимая цветок из рук дежурного офицера и не сразу даже поняла, а когда поняла, то не сразу поверила, что этот цветок выращен здесь.

Потом несколько раз он дарил цветы своей «тюремной невесте» Вассе Михайловне. А потом случилось, что Васса Михайловна заболела и вместо нее прислали в тюрьму на свидание подменную «невесту», девицу молодую, в тюремных порядках малосведущую и, на его беду, излишне строптивую.

Он срезал цветок и понес его в камеру свиданий, даже не предполагая, какая сцена сейчас разыграется и как печально для него все это закончится.

Дежурный офицер, как обычно, взял у него цветок, тщательно осмотрел его и вручил удивленной девице. При этом позволил себе какой-то комплимент. Девица, совершенно искренне считавшая, что, согласившись добровольно войти за ворота царской тюрьмы, уже одним этим совершила геройский подвиг,— была оскорблена до глубины души фамильярностью царского прислужника. И вместо того чтобы с пустой улыбкой бросить офицеру «мерси!», закатила ему такую сцену, что он, оскорбясь за честь мундира, поднял брошенный девицею цветок и побежал с жалобой к самому начальнику тюрьмы.

Начальник, узнав о цветоводстве в тюремной камере, пришел сперва в изумление, а затем, после того как спустился во двор и убедился воочию, впал в ярость.

— Красные цветочки на окнах! — кричал он на своего помощника.

И сколь ни пытались ему доказать, что первый цветок занесен в камеру по личному его дозволению, начальник не пожелал выслушивать никаких резонов, круто оборвал всех осмелившихся возражать и приказал:

— Прекратить безобразие!

На следующий день пришел старший надзиратель и, отводя в сторону глаза, сказал хмуро, что цветы придется отобрать.

— Унесите!.. — сказал он и отвернулся лицом в угол, чтобы не видеть, как их выносят из камеры.

Несколько дней боялся смотреть на пустой подоконник. Потом притерпелся... Но по-настоящему долго не мог прийти в себя. Много раз ловил себя на глупейшем занятии: вычислял с точностью до



третьего десятичного знака, какова доля оставшегося ему тюремного срока.

Врезалось в память: в тот день, когда столь неожиданно пришли за ним, вычислилось, что оставшийся срок составляет двести пятьдесят четыре тысячных доли от всего определенного ему срока. Иначе сказать, осталось сидеть в Крестах в три раза меньше, чем уже отсидел. Осталось девять месяцев и пять дней, или, если не считать сегодняшнего дня, ровно сорок недель.

Эти его математические досуги прервал несколько запыхавшийся надзиратель:

— Приказано немедленно в канцелярию. И возьмите пальто. Поедете в сыскное.

Словно обухом по голове ударили. Наверно, они там тоже подсчитали, что осталось всего четверть срока. Что пора новое дело заводить.

В канцелярии все разъяснилось: вызывают не на допрос, а чтобы снять на фотографическую карточку. Ну как тут не поблагодарить радетелей из сысканого отделения за их служебное рвение. Вполне могли сфотографировать в камере или на дворе, не выводя за тюремные ворота.

Та же тюремная карета с крупными белыми буквами на черных боках: «Петербургская одиночная тюрьма» и с зарешеченным оконцем на задней двери. Сразу же кинулся к оконцу...

Но как оглушительно дребезжит эта проклятая колымага! Та, в которой привезли его в Кресты, так не дребезжала. А может быть, нарочно подбирают такие... Потом сообразил — два года тюремного безмолвия болезненно обострили слух...

На тюремную карету почти все оглядывались. Отвечал им твердым взглядом, хотя не поймал ни одного доброго взора. Вряд ли кто из разглядывавших посочувствовал ему. Скорее всего думали: «Проворовался малый — поделом ему!».

На набережной коротенький и брюхатенький родитель, слегка привалившись на бок, осторожно вел за руку крохотное чадо. Впору умилиться, если бы не разглядел блестящие пуговицы на форменной шинели родителя. Потом обогнали сытого господина в бобрах; потом поспешавшего куда-то дворника в холщовом фартуке поверх полукафтана; потом двух купцов, о чем-то степенно рассуждающих.

Нет, от этих не дождешься доброго взгляда...

Очень утомился от назойливого дребезжания кареты, от пестроты зрительных впечатлений. Хотел было пересесть подальше от окна, но остановила мысль: «Смотри! И слушай! Впереди еще сорок недель тюремной тишины».

У Львиного мостика путешествие закончилось. Позабавило, с какими почестями доставили его в помещение. Один конвоир шел впереди, второй вплотную сзади, почти касаясь его спины. Оба были настороже, словно опасались, как бы он, оборотясь птицей, не вспорхнул между ними.

В сыском долго не задержали. Тут свое дело знали. Фотограф быстро сделал форменные два снимка: анфас и в профиль. И после определенных распоряжком формальностей бдительные стражи снова отвели его в карету.

Обратно ехали по Большой Казанской. Другие дома, но такие же прохожие, такие же взгляды... Только на одном углу заметил четырех бедно одетых мальчишек. Вот к этим бы вышел, перемолвился словом... Зато пересекая Невский, преградили путь роскошному ландо с разряженными дамами и господами, — и вот тут уж обменялись взглядами.

Многие годы прошли с того дня, но до сих пор он хорошо и отчетливо помнит, с каким ощущением своего безусловного превос-

ходства и с каким пониманием значительности своей жизни смотрел он на них.

И если бы нашелся кто, имеющий необходимую для того власть и способ и предложил ему сейчас же, не размышляя, не медля ни минуты перейти из одной кареты в другую с тем, чтобы ехать в той, другой, до конца жизни, то он при всей своей мягкости и личной незлобivosti, ударил бы его и еще плюнул бы в лицо...

После этой встречи и этих размышлений почувствовал, что глядя на свободно идущих по улицам людей, не испытывал уже ни горечи, ни зависти. У него своя жизнь, своя дорога, и он не променяет ее ни на какую другую.

Вернулся он тогда в камеру совершенно спокойный. Таким редко бывал в тюрьме.

Не прошло еще и двух недель после поездки в сыскное — снова вызвали в канцелярию. Шел и терялся в догадках: для чего еще понадобился начальству? Доброго не ждал.

Вот и знакомый широкий стол с испачканным чернилами зеленым сукном. Дежурный помощник почему-то встает навстречу. Лицо торжественное и оттого глупое.

— Сейчас сообщу вам радостную весть... Ждете чего-то приятного?

Полная растерянность. Пробормотал что-то невнятно...

— Вот бумага, прочтите.

И подает ему бумагу с такой величавой и покровительственной миной, как если бы сам он творец ее.

Бумага из департамента полиции: «Согласно прошению административно-заключенного Михаила Степановича Александрова, его жене, административно-ссылной Екатерине Михайловне Александровой, отбывающей ссылку в пределах Вологодской губернии, разрешена отлучка в Петербург на неделю...».

Поднял глаза на помощника. Где она?..

— Вам дано два свидания. Каждое по полтора часа.

Три часа за три года! Пусть три часа! Где же она?..

— Это копия-с... — несколько невразумительно объясняет дежурный помощник.

Даже полицейскому чину, чего только не навидавшемуся за годы усердной безупречной службы, трудно смотреть в его обожженные надеждой глаза.

— Это копия-с, а подлинное отправлено в Вологду, господину начальнику губернии. Господин начальник губернии известит господина исправника. А господин исправник ее известит. Возможно, уже известил...

Вологда... исправник... возможно...

Понял одно: сейчас можно идти в камеру.

Какими ненавистными стали ее стены. Впору броситься на них. Но нет сил даже шагу ступить. И пронзительная боль, словно чем-то острым ткнули в обнаженное раскрытое сердце...

Когда же увидимся?.. Тысяча верст и... три часа. Стоят ли три часа тысячи верст?.. Не слишком ли эгоистично требовать от нее...

Бред! Нелепый бред усталого, глупого и трусливого человека!.. Да она с радостью проедет десять тысяч верст, чтобы хоть на день вырваться из опостылевшей избы, из-под надзора стражников и урядников, чтобы хоть на день выбраться на людные улицы Петербурга, увидеть знакомых и друзей! И его!..

А когда представил, как обалдеет исправник — в такие медвежьи углы всегда назначают самых тупоголовых, — получив распоряжение департамента полиции отпустить в Петербург административно-ссыл-

ную Екатерину Михайловну Александрову,— то расхохотался, как хохочут только на свободе.

Нет, подумать только, два с лишним года стерег, как цепной пес, глаз не спускал, в лес за грибами без спросу не позволяя, а тут на целую неделю, да куда?.. В Петербург! Да что же это такое!..

А как обрадуются товарищи! Сколько поручений надают. Почти у каждого същутся друзья и родные, надо их навестить, подбодрить, успокоить... От всех поручений для него-то и останется, дай бог, три часа... Все точно рассчитали полицейские мудрецы-сердцеведы.

Три часа... Всего три часа. Зато близко, рядом... Узнает ли она его?.. Два года прошло. Тюрьма не красит...

Устремился к окну. Оно, по счастью, открывается внутрь. Книгу в темном переплете к стене за стекло — вот и зеркало. Лицо знакомое, только в бороде прибавилось седых нитей. Но чьи это глаза?.. Не было таких глаз, затравленных, изверившихся, усталых. Все равно узнает. Узнает и поймет...

Дни и ночи, прошедшие с того дня, когда известили о разрешении на свидание с Катей и до того дня, когда свидание наконец состоялось,— остались в памяти как сплошные, не поделенные на минуты, часы и сутки предрассветные сумерки. С одним-единственным свойством: тянутся до рассвета, который должен быть, должен наступить рано или поздно. Но что такое рано или поздно, когда не было ни суток, ни часов, ни минут?.. Были сумерки и было ожидание рассвета. И было обещано, что он наступит.

А Катя совсем не изменилась.

Потом только. — когда сидели в канцелярии рядом на широком диване, обтянутом изрядно повитертой кожей,— разглядел, что и у нее потянулись от висков серебряные нити и морщинок возле глаз стало больше. Но это если очень приглядываться. А в остальном, в главном, совсем не изменилась. Все такая же стремительная и порывистая.

Он увидел ее, еще когда она стояла у наружного выхода, отделенная от него решеткой.

Ее долго пропускали, затеряли и никак не могли найти разрешение из департамента полиции. Катя энергично поторапливала потерянных полицейских служаек. Когда бумагу наконец отыскали и открыли проход в зарешеченной стене, Катя ринулась в канцелярию, едва не сбив с ног замешкавшегося на пути надзирателя.

Первый отрывистый поцелуй среди толпы полицейских — что-то их много оказалось в канцелярии: личные свидания — большая редкость, оттого и любопытство. Потом дежурный помощник всех выдворил и сам вышел, предупредив, что в их распоряжении час тридцать минут. И они остались одни в канцелярии, если не считать старенького чиновника, сидевшего в углу за своим столом и погруженного в свои дела.

Как-то сразу, даже и словом не обмолвись, и он и она поняли и примирились с тем, что это не настоящее свидание, — оно у них впереди, а просто они разыгрывают сцену свидания.

И сразу повели себя не как злою волей разлученные люди, а как добрые знакомые, встречающиеся едва ли не каждый день, и вот снова по какому-то совпадению оказавшиеся вместе в этой комнате. Оказалось, так куда легче...

Катя рассказывала, как переполошилась вся ссыльная братия, как ошарашен был всегда невозмутимый исправник, — тут он перебил ее и рассказал, как хохотал в камере, представив себе остолбеневшего хозяина уезда, — и еще Катя вспомнила, как собирали ее в дорогу. Очень смешно про шляпки. Когда по городку разнеслось, что она едет в Петербург, весь тундровый бомонд пришел в неистовое волнение. Вся местная знать: докторша, жена судьи, почтмейстерша, две или три

купчихи и даже попадаья, одна за другой перебивали у нее с одною и тою же просьбой — всем понадобились модные шляпки на столичный манер.

Одна исправничиха не решилась скомпрометировать сановного мужа, войдя в деловые сношения с политической преступницей и, наверно, по сию минуту льет неутешные слезы.

Теперь Кате хватает беготни с этими шляпками. Впрочем, времени у нее достаточно. Заботливое полицейское начальство решило их свиданиями не обременять. Но это еще как у них получится? Завтра она пойдет сама в этот департамент. И выколотит из них еще несколько свиданий. Не за шляпками же, в самом деле, она приехала!..

Нет, Катю ссылка не сломила и не согнула. Она осталась верна себе. И подтвердила это весьма убедительно на первом же свидании. У нее уже был намечен план действий. Ей дали некоторые адреса их старых друзей. И она уже придумала, как она сумеет повидать их и связать с ним. Надо же ему установить постоянные контакты с организацией.

— Нет, золото мое, в эти дела ты не ввязывайся,— сказал он ей полушутя, полусерьезно,— у меня есть для этих целей невеста Васса Михайловна, а жене, хоть она тоже Михайловна, тут делать нечего.

Полтора часа пролетели незаметно. И только в камере подступила щемящая печаль. Когда же, когда встретятся не как арестанты?..

Катя «выколотила» из департаментских чиновников еще два свидания. Прошли все свидания так же, как и первое, оживленно, для стороннего глаза даже радостно,— были веселые лица, улыбки, порою даже смех. Кроме пустяков, успели переговорить и о серьезном, о сборах к предстоящей нелегкой дороге в уму непостижимую даль Восточной Сибири.

А на последнем свидании, когда оно уже близилось к концу, Катя вдруг сказала:

— А ты знаешь, ко мне приезжал Олтаржевский.

«Не вовремя... О таких вещах надо было или сразу же на первом свидании, или уж совсем промолчать...» Но сказал другое:

— Странно, а ко мне не приходил.

— Наверно, не разрешили.

— А в Вологду разрешили?

— Наверно, без разрешения...

Не время, не время! Если будет нужда для такого разговора, то найдется и время.

Время нашлось значительно раньше, нежели ему тогда представлялось. Он знал, что ему определено увидеться снова с Катей только на исходе зимы: «Конец наказания 24 января 1899 года».

Но случилось что-то странное, непонятное и необъяснимое. Принял свершившееся как неожиданный подарок судьбы.

Осенью, когда по его счету оставалось ему еще пятнадцать недель отсидки в Крестах, внезапно вызвали из камеры, привели в канцелярию и сказали, что поступил приказ из департамента полиции: немедленно отправить в Восточную Сибирь.

Когда радостная оторопь слегка схлынула, полюбопытствовал: почему столь внезапно?

Ответили, что на основании «высочайшего повеления 12 апреля 1890 года».

И никаких больше пояснений. Наверно, и само тюремное начальство было в недоумении. А он тем более. Когда опаматовался, то прежде всего упрекнул себя в том, что столько времени промечтав о дальнем путешествии в неведомую и страшноватую Восточную Сибирь, по сути дела, еще и пальцем о палец не ударил, чтобы приготовиться к этому путешествию.

Следующая мысль была еще тревожней. Не о себе должна быть забота. Он мужчина, в конце концов, что ему? Голому собраться, только подпоясаться. А Катя?.. Она-то как сможет собраться с такой сумасшедшей стремительностью?..

А следом за этой мыслью еще тревожнее. Захочет ли она в эту треклятую Восточную Сибирь?.. Судя по всему, хотя бы по той же «шляпной истории», она там принята в обществе, освоилась, жизнь, какою бы стесненной она ни была, вошла в колею. Ей осталось прожить в этом вологодском захолустье два года с небольшим... Стоит ли ей ехать в такую даль, в неизвестные условия жизни, в неизведанный климат, ехать куда Макар телят не гонял, да еще на целых пять лет!..

А если взглянуть с другой стороны? Хорошо ли оставлять ее здесь одну?.. Ведь это значит, взвалить все на нее, с тем, чтобы она терзалась мыслью о своем эгоизме?.. Да и к чему все эти размышления и терзания? Все обговорено, обо всем условились. Что изменилось? На три с половиной месяца раньше раскрылись тюремные ворота. Ну и отлично! Раньше уедут в эту самую Восточную Сибирь, значит, раньше и расстанутся с нею!..

Так же думала и Катя. И сказала ему о своем мнении почти этими же словами.

Первый, очень короткий разговор состоялся между ними в канцелярии московской пересыльной тюрьмы, куда их привели для «опознания» друг друга. Сюда, в печально знаменитую «Бутырку» доставили Катю из вологодской глуши. А он уже более двух недель пользовался прелестями «Бутырки», по сравнению с которой «Кресты» могли сойти за тихий семейный пансионат.

— Я сам себе кажусь тираном,— сказал он тогда Кате,— что принудил тебя ехать со мной.

— Ты наивен и самонадеян как всегда,— весело возразила Катя.— Еще не родился человек, который мог бы принудить меня сделать то, что я не хочу делать.

— Тебе там было лучше,— сказал он, не принимая шуток,— у тебя сложился круг знакомых...

— Вот тут ты абсолютно прав,— сказала Катя,— ты безвозвратно лишил меня общества попадьи, заменить которую тебе не по силам.

И когда он, замолчав, улыбнулся и махнул рукой, сказала уже совершенно серьезно:

— Когда мы будем вдвоем, время пойдет вдвое быстрее,— и снова с улыбкой: — К тому же, нам скостили почти четыре месяца. Выше бороду, Петр Петрович!

Об Олтаржевском Катя заговорила сама.

Было это, кажется, в этапе, следовавшем из Пензенской пересыльной в Самарскую, или из Самарской пересыльной в Челябинскую, а может быть, из Тульской в Пензенскую... Везли их в Восточную Сибирь как-то странно. Сперва повезли в Тулу. Оттуда в Пензу. Оттуда в Самару и так далее.

— Заботясь о расширении нашего политического кругозора, нас решили познакомить со всеми тюрьмами Российской империи,— сказала Катя.

Ехали в новеньком арестантском вагоне с решетками на окнах. Когда затопили железную печку, в вагоне нестерпимо и тошнотворно запахло масляной краской.

— Не могу спать, голова разболелась от этого угара,— пожаловалась Катя.

Отошли к небрежно застекленному окошку, от которого тянуло свежей прохладой.

— Олтаржевский еще раз приезжал,— сказала Катя.

Он промолчал.

— Что же ты не спросишь, зачем приезжал?  
— Зачем же?  
— Все допытывался, люблю ли я тебя..  
— И что ты ему сказала?  
— Ты не догадываешься?  
— Уши надо было ему надрать,— сказал он без злости, но и без улыбки.

— Зачем...— вздохнула Катя.— Он еще мальчик. Незабвенная пора, золотое детство.

Олтаржевский был на четыре года моложе Кати.

— В чем же это его детство проявилось? — спросил он с неласковой усмешкой.

— В чистоте...— сказала Катя.— Он потребовал, чтобы я призналась, люблю ли я тебя, сказав, что только после этого он откроет мне свои планы. Сказано это было достаточно торжественно. И, конечно, я не была бы женщиной, если бы у меня не выиграло любопытство. Планы были наполеоновские. Если сердце мое свободно, он увезет меня за границу, в Финляндию, а затем в Европу...

— Какую блистательную возможность тыпустила! — посочувствовал он.

— Нехорошо! — сказала Катя.— Мог бы и пожалеть бедного рыцаря. С тобою он был честен.

— Хорошенькая честности! — возмутился он.— Должен был у меня разрешения получить.

— Увы! Даже самые благородные мужья и те феодалы,— сказала Катя.

Добрую память по себе оставил город Омск: радостные неожиданности сыпались на них, как из рога изобилия.

Первая: в отступлении от общих правил их с Катей отделили от общего этапа и им было разрешено следовать до города Иркутска по железной дороге за свой счет.

Вторая: удовлетворили прошение, поданное на имя генерал-губернатора Западной Сибири и мотивированное заболеванием Кати — задержаться до выздоровления в городе Омске.

Третья: разрешено было проживание на вольных квартирах, а именно в доме брата Николая с обязательством лишь ежедневной явки на отметку.

Была и четвертая радостная неожиданность, но это уже особая статья и особый разговор.

— Ты не совсем еще забыл историю Рима? — спросила его Катя на второй или третий день их пребывания в гостеприимном доме Николая Степановича.

— По истории мне в аттестате выставили тройку,— ответил он.— Но все же кое-что помню. А что именно тебя интересует в истории Рима?

— Кто, вернее что погубило Антония?

— Как раз не что, а кто,— возразил он.— Это я тебе могу точно сказать. Антония погубила Клеопатра.

— Только бы свалить на бедную женщину,— сказала Катя.— Избитый и пошлый мужской прием. Изнеженность его погубила. А Клеопатра — это подробность.

— Ну, пусть будет так. Но к чему весь этот экскурс в древние века?

— Нетрудно догадаться,— сказала Катя.— Ты Антоний. И я с тобой тоже Антоний...

— А кто же Клеопатра?..

Но Катя зажала ему рот и продолжала:

— Еще несколько дней такой бесстыдно безмятежной жизни и мы превратимся в благонамереннейших верноподданных его самодержавного величества.

— А он, мятежный, ищет бури!..

— Да, мятежный, да, ищет! — сказала Катя непримиримо.

Тогда он улыбнулся и потрепал ее по голове:

— Будут и бури. Будет и летний зной, и осенняя непогода, и зимняя стужа. Будут и нескончаемо длинные зимние ночи в тайге или в тундре. А если угодим в Заполярье, то и месяцы без солнца... Все это нас не минует. И не кори себя за то, что тебе перепали какие-то крохи тепла и радости.

Николай и все его семейство с трогательной заботливостью ухаживали за своими родичами. Конечно, это им очень повезло, что посреди омерзительного этапного пути приготовила им судьба такой оазис. Беспокоило лишь, как бы это оказанное политическим гостеприимство не повредило брату по службе. Но Николай Степанович успокоил, сказав, что здесь, за Уралом, иные порядки. В здешнем обществе сочувственное отношение к политическим не считается предосудительным.

— Ссылные приняты здесь в лучших домах, — сказал он.

— И в твоём доме тоже?

— И в моём тоже, — ответил Николай. — Не далее как сегодня вечером ты сможешь в этом убедиться. Тебя ждет, надеюсь, приятная встреча.

Ждал чего угодно, но только не этого...

Вечером пришел товарищ по «Группе народовольцев» и бывший его начальник Лев Карлович Чермак.

Потом, уже значительно позднее, уже став убежденным марксистом, одним из ближайших и вернейших сподвижников Ленина, вспоминая о том, как сменил кафтан народовольца на рабочую куртку социал-демократа, сам поражался, как относительно легко и безболезненно это произошло.

Но легким и безболезненным это представлялось потом, значительно позднее. А на самом деле не сразу и вовсе не стихийно пришел он к принятию марксизма. Жизнь терпеливо переучивала его и позаботилась о том, чтобы все время у него не было нехватки в заслуживающих доверия учителях.

Когда арест оборвал его связи с рабочими, он тужил не только об утраченной личной свободе. Утратилась, казалось, всякая возможность двигаться дальше вперед в своем политическом развитии. К счастью, он ошибся. И в тюрьме можно было учиться. В тюрьме у него были книги. Больше всего он взял у своего любимого Щедрина. Именно Щедрин окончательно развенчал в его глазах «спасительную» крестьянскую общину, на которую молились народовольцы и в которой видели они прибежище и спасение для русского народа. Щедрин помог ему осмыслить те уже известные факты, до глубинной сути которых ему самому как-то не удавалось добраться.

Словно озарение испытал он тогда, записывая в тюремном дневнике: «Сделал открытие: в России нет крестьянства! Из статистических работ по Воронежской губернии помню, что каждый крестьянин (юридический, конечно) или нанимает батраков, или сам нанимается, то есть добывает средства из источника, постороннего хозяйству».

Тогда он не знал, что уже за два года до этого Ленин, создавая свою работу «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?», изучил те же самые исходные материалы и установил непреложный факт расслоения крестьянства, «верхние группы которого переходят в буржуазию, низшие — в пролетариат».

Дорогой его сердцу и глубоко им чтимый Щедрин помог развеять

иллюзии о революционной сущности общины, а сухая и скучная «Торгово-промышленная газета» снабдила полезным, толкающим на размышления материалом: количество промышленных предприятий и число фабрично-заводских рабочих в России увеличивалось из года в год.

И если смотреть правде в глаза (а он никогда не страшился этого), нельзя было не прийти к выводу, что решающей силой грядущей революции предстоит стать именно рабочему классу.

Это утверждали его идейные противники — социал-демократы. Ожесточенно оспаривали — его друзья народовольцы. И он вместе со своими друзьями. А теперь... что же теперь, отречься от своих друзей?.. Ему казалось, он стоит на распутье.

Позже, вспоминая эти очень для него важные дни, видел себя уже вполне созревшим для решения, вполне внутренне подготовленным. Нужен был лишь внешний толчок. Этим решающим толчком суждено было стать омской встрече со старым товарищем по «Группе народовольцев» Львом Карловичем Чермаком.

Сам Лев Карлович как был правоверным народником, так им и остался. Он никогда не слыл человеком крайних убеждений, — это даже Катя понимала и ни разу не предложила привлечь его к «аничковской» операции, — а за последние годы в полном согласии с общей тенденцией эволюции народничества заметно подвинулся в сторону буржуазного реформаторства.

Это сразу бросалось в глаза, но встреча от этого не стала менее сердечной. Она была неожиданной для обеих сторон. Как оказалось, хозяин дома всем устроил сюрприз.

Лев Карлович от природы склонен был к сентиментальности и, увидев Александровых, особенно Катю, к которой всегда относился как к любимой сестре, расчувствовался до слез.

— Сюда?.. К нам?.. — закричал от радости Лев Карлович, едва увидев их с Катей.

— Нет, Левушка, нам гораздо дальше, — огорчила Катя старого друга.

— Куда же?

— Не ближе Иркутска, не дальше Охотска.

— Да, велика матушка Восточная Сибирь, — поник головой Лев Карлович.

— И наша Западная Сибирь тоже не ближний край, от Омска до Петербурга без малого три тысячи верст. Да ведь живем, не помираем, — попытался утешить Николай Степанович.

Особенно хотелось ему подбодрить золовку, впервые попавшую в столь далекие края.

Но Катя меньше всех нуждалась в утешении.

— Вполне согласна с вами, Николай Степанович. Живы будем, не умрем!

— А все-таки хотелось бы узнать, куда вас отправят? — продолжал Лев Карлович. — Не из пустого любопытства, Михаил Степанович. Дал бы вам письма, чтобы встретили, помогли обосноваться. А то нелегко будет, на первых порах...

И взял с него твердое слово, по прибытии в Иркутск, как только определится место ссылки, сразу сообщить в Омск, а Лев Карлович немедленно напишет и пошлет нужные письма.

За обильным сибирским столом завязался нескончаемый разговор. Катя нет-нет да и сводила разговор на политику, но он, оберегая репутацию брата, старательно вводил разговор с опасной колеи. Однако даже и в беседе с оглядкой вскоре выяснилось, что Лев Карлович изрядно присмирел. И все же именно от почти угасшего Чермака получал он тогда решающий толчок.



Когда после обеда ли, ужина ли,— он еще не успел разобраться в сибирских обычаях,— женщины ушли на свою половину, а Николай Степанович отлучился сделать распоряжения по дому и они остались в гостиной одни, Чермак подошел к нему и сказал, что сегодня им получен весьма интересный документ.

— Я, конечно, не разделяю изложенных в нем взглядов, но документ любопытный...

И передал ему Манифест Российской социал-демократической рабочей партии.

Он хорошо помнит огромное впечатление, оставленное в нем Манифестом. словно вышел на вольный простор, на берег могучей реки и полной грудью вдохнул свежий бодрящий воздух...

Возникла и отныне существует политическая партия русского рабочего класса, которая на весь мир заявляет о своих целях: «Русский пролетариат сбросит с себя ярмо самодержавия, чтобы с тем большей энергией продолжать борьбу с капитализмом и буржуазией до полной победы социализма».

— С чем ты не согласен в этом Манифесте? — спросил он тогда Чермака.

— Это все те же марксистские бредни,— с некоторой даже досадой ответил Чермак.— Это все попытки жить чужим умом. Может быть, в Англии или в Германии есть рабочий класс, готовый к борьбе за власть. Но у нас в России... где он?..

— Ты ошибаешься, Лев. Вспомни, уже в те годы, когда мы еще были на свободе и занимались мирной статистикой, эта самая статистика обнаружила в Питере десятки тысяч рабочих...

— Ну что такое десятки тысяч рабочих в многомиллионной крестьянской стране. Да хоть бы и сотни тысяч!.. Прости, Михаил, ты больше меня отдал святому делу нашей борьбы и не мне тебя укорять, но все же не могу промолчать, ты изменяешь идеалам «Народной воли»...

Всегда трудно разочаровываться в человеке. Особенно, если человек был твоим другом. И трижды труднее разочаровываться в бывшем соратнике. Что случилось с Львом Карловичем?..

— Ты сам-то прочел Манифест?

— Странный вопрос.

— Совсем не странный. Какая измена?.. В Манифесте социал-демократов сказано: социал-демократия идет к цели, ясно намеченной еще славными деятелями старой «Народной воли»... Где же тут измена?

— Слова... — сказал Чермак. Помолчал и еще раз повторил: — Слова и слова... И, знаешь, не надо нам сейчас спорить. Ты отстал от жизни, живешь старыми иллюзиями, а жизнь ушла вперед. Оглядишься вокруг себя, присмотришься к сегодняшней жизни, тогда и сам все поймешь...

Но он и сейчас все понял. Человек устал. Устал, потому что изверился, или изверился, потому что устал? Да не все ли это равно. Одним борцом стало меньше. Мог ли он осуждать бывшего товарища по борьбе? Не каждому отпущено мужества и сил одной мерой.

Пришла сестра, как всегда в пальтишке, накинутом поверх больничного халата и принесла письмо от старого друга.

Письмо Марии Эссен было коротким — стремительность натуры не позволяла ей изливаться в длинных посланиях.

Зато Мария умела писать короткие письма. На одной страничке, исписанной твердым, совсем не женским почерком, уместились боль и тревога за друга, перенесшего тяжелый удар судьбы, уверенность, что самое опасное уже позади, слова доброго привета и надежда в самом скором времени увидеть его и убедиться, что он здоров и жизнерадостен.

Милая, славная душа!.. Как она узнала о постигшей его беде? Она ведь где-то очень далеко. Где-то за линией Деникинского фронта... Почтового штемпеля нет на конверте, письмо доставлено в Москву с оказией. Мария Эссен, как и в юности, всегда на передовой...

Не выдержал, взмолился:

— Скоро ли отпустите на волю, сестрица?

— Про то врачи знают.

— Пора бы уж отпустить.

— Уход да догляд за вами нужен. Жена-то есть?

— Нет жены...

— А детки?

— И деток нет...

— Бобыль, стало быть... Куда уж вас отпускать. Здесь будем до-  
лечивать.

Бобыль... слово-то какое сыскала. Да ведь не в слове суть, а в том, что за словом...

Еще раз перечитал коротенькое письмо и словно вернулись давно прошедшие годы — тысяча девятьсот первый год, словно перенесся в края отдаленные — далекую Якутию, словно увидел себя самого в жаркий августовский день на берегу сказочно могучей реки...

Солнце палит нещадно. На густо-голубом небе ни единого облачка. Ни малейшего дуновения ветерка, ни один лист не шелохнется на кустах прибрежного тальника. Зной, накопившийся на пологих склонах, стекает к реке, отгесняя от берега свежесть речной прохлады. Трудно поверить, что ты в Якутской области, в краю вечной мерзлоты, где-то рядом с полюсом холода...

Вся Олекминская колония политических на берегу Лены.

И он с ними. Он еще не успел свыкнуться с одиночеством, — Катя уехала всего две недели назад, срок ее высылки закончился и они как-то внезапно, но вполне согласно решили, что место революционера в гуще событий. Сам не замечая того, он сторонился остальных, вышедших на берег семьями.

Взгляды всех устремлены на реку, точнее сказать, на дальний край ее плеса, туда, где, вывернув из-за горы, она привольно разлилась по долине и пошла мимо городка Олекминска, прилепившегося на террасе высокого берега, могучим потоком трехверстовой ширины. Там, у самого окоема, едва уловимо глазу на голубой до синевы глади реки, словно щербинка, едва наметилась темная черточка.

В толпе раздались голоса:

— Плывут! Плывут!

Точно известно, что с этой связкой карбазов прибывает новая партия политических.

И всех волнует: кого-то пошлет судьба в товарищи? Далеко не праздный вопрос. Вопрос жизни, а иногда — если вспоминать верхоленскую трагедию с Николаем Евграфовичем Федосеевым — и смерти.

Подумал и усмехнулся грустно. Сколь же сильны бациллы эгоизма в каждом. Разве не они заставляют желать, чтобы плыли на этих карбазах люди хорошие, а не дурные. Если хоть немного возвыситься над личными интересами, то куда логичнее было бы желать обратного...

Черточка на густо-синей глади реки заметно приблизилась и расчленилась.

— Четыре карбаза в связке! — закричал мальчишка, очевидно, самый глазастый.

А еще через несколько минут уже всем ожидающим хорошо стала видна связка карбазов с грудами грузов, накрытых брезентовыми полами, и небольшими кучками людей в корме каждого карбаза. Рулевые на носовом и хвостовом карбазе энергично работали махо-

выми веслами, и связка, медленно сплывая по течению, одновременно приближалась к берегу. Когда до берега осталось шагов двести, от хвостового карбаза отделилась ветка-долбленка с двумя гребцами.

Мальчишки наперегонки ринулись встречать лодку и принимать чалку. Потом они всей гурьбой помогут матросам вытягивать причальный канат и получают за эту помощь по горсти леденцов каждый. Таков обычай.

Едва карбаза ткнулись смолеными боками в прибрежный песок, словно из-под земли вырос полицейский пристав, тучный и потный в огнедышащем мундире и картузе с кокардой, встречать пополнение своей паствы.

Политических выпускали на берег по одному.

«Бог ты мой!..— подумалось ему.— И тут предосторожности. Куда здесь убежать средь бела дня?..»

По узкой плахе, переброшенной с борта карбаза на прибрежный песок, ссыльный выбирался на берег и подходил к приставу.

— Фамилие? — вопрошал пристав сирым пропитым басом, оглядывая подошедшего с головы до ног.

Политический отвечал, пристав сверялся со списком, делал в нем пометку и отпускал ссыльного:

— Проходи!..

Большеглазая светлорусая девушка, отойдя от пристава, с любопытством оглядела группу ссыльных и задержалась взглядом на нем. Может быть, потому, что он стоял несколько в стороне от остальных.

Так он подумал тогда, заметив ее взгляд, но позднее, когда они стали близкими друзьями, она рассказала ему, чем он привлек ее внимание.

— Почти у всех встречающих было на лицах какое-то, не подберу точного слова, ну почти алчное выражение. Чувствовалось, им не терпится поскорее наброситься на нас со своими расспросами. Понимаешь, они обрадовались, увидев нас. У одного тебя глаза были ласковые, но грустные. Поэтому и выделила тебя сразу. А когда пригляделась, поразила, какое у тебя красивое лицо. Хотя грузная комплекция и твоя почти седая борода очень тебя старили. Но зато глаза были совсем, совсем молодые...

И он тоже выделил ее. Она была маленькая и худенькая и показалась ему похожей на усталую, замученную преследованием коосулю. Такие же потухшие были у нее глаза. Он понял, что она больше других тоскует по оставшему позади большому миру борьбы и тревог. И нашел какие-то ласковые слова, чтобы ободрить ее.

— Вы устали от этого многодневного, уныло однообразного плаванья. Отдохнете, отоспитесь и божий свет покажется вам милее,— сказал он ей.

— Вряд ли,— возразила она.— Пока везли, еще была какая-то надежда, какой-то проблеск надежды, если не убежать, то хоть утонуть, а теперь...— Она исподлобья покосилась на пристава,— у такого не убежишь...

И с такой болью отчаяния произнесла она это, что и ему стало не по себе, заготовленные слова утешения словно прилипли к горлу. И вместо ободряющих слов сам не заметил, как пробормотал мрачно:

— Утонуть и здесь можно...

Но она уже взяла себя в руки.

— А убежать?

— Убежать труднее... На моей памяти никто еще отсюда не убежал.

— Что же делать? — с тихой яростью спросила она.

— И здесь люди живут,— сказал он.

Она пылко посмотрела ему в глаза.

— Вы думаете, живут?.. — Покачала головой и сказала не ему, а как бы самой себе: — Пять лет, пять лет!.. Нет, это невозможно.

— Меня тоже на пять лет, — сказал он.

— А сколько уже прошло? — с живостью спросила она.

— Почти три года.

— Значит, вам-то всего два осталось. Три уже прошло! — воскликнула она едва ли не с обидой.

Ночью плохо спалось. Растревожила яростная неукротимость этой светлоголовой. Они с Катей, приехав сюда, вроде бы смирились, приняли как неизбежное... Правда, Катя, едва закончила срок, уехала в большую жизнь, а он... терпеливо ждет. И будет ждать еще два года. А вот эта светловолосая и дня ждать не хочет... Еще когда ехала, искала, как убежать, а если не убежать, хоть утопиться. Он не так ехал...

В памяти ожило, как добирался сюда три года назад...

После счастливого омского «оазиса» путевые беды и лишения вроде бы закончились, — до Иркутска ехали в классном вагоне. В Иркутске определилось место ссылки — Олекминск на Лене — уездный городок Якутской области. Все новые их иркутские знакомые в один голос утверждали, что повезло: хоть и Якутия, но самый ближний ее конец. А ведь есть еще Вилюйск, Верхоянск, Оймякон...

И в самом деле повезло. Навигация уже закончилась и зиму предстояло прожить в верховьях реки, в Верхоленске. А там в ссылке сестра с мужем и мама с ними.

Встреча с родными взволновала, даже потрясла. Особенно встреча с матерью. Может быть, впервые по-настоящему понял, как без вины, но все же виноват перед нею. Мать давно поняла все. Еще с той ночи, когда допытывалась у сына гимназиста, зачем он хранил револьвер... Ни слова упрека от матери он не услышал. Она молча обняла его, уткнулась лицом в его бороду и заплакала.

А сестра Людмила бранила ее за неуместные слезы.

— Радоваться надо, — говорила она, — что тюрьма позади. После тюрьмы ссылка это почти воля!.. Да еще обоих в одно место. Радоваться надо, что так повезло!

И с мужем сестры они сразу сошлись.

Андрей Матвеевич Лежава прошел тот же путь душевных смятений и исканий в своем движении от народничества к марксизму. И, по-видимому, несколько даже опередил его. Когда в разговоре коснулись вопроса о партийной принадлежности, Андрей Матвеевич сразу, не задумываясь, назвался социал-демократом.

— А ты, Михаил? — спросил его деверь.

Он ответил, что после Манифеста социал-демократической рабочей партии, который он прочел в Омске, последние его сомнения рассеялись и лишь где-то, в глубине души, шевелится тревога, не будет ли все же переход к социал-демократам изменой светлой памяти героев «Народной воли» — Андрея Желябова и Александра Ульянова, — дело которых он поклялся продолжать.

— Понимаешь, Андрей, — сказал он деверю, — умом я создаю, что только рабочий класс сметет самодержавие и что все силы надо положить на то, чтобы поднять рабочих на сознательную борьбу. Но это — умом. А где-то вот тут, — он коснулся груди, — какой-то червь точит: не потому ли отрекаешься от террора, что так безопаснее. Агитаторов ссылают, а террористов вешают. Это мне, между прочим, Катя как-то сказала.

— Не права твоя Катя, — спокойно возразил Андрей. — Агитация только первый этап. Потом рабочий класс выйдет на баррикады. А смерть на баррикаде не менее почетна, чем смерть на виселице. И куда полезнее для дела революции.

И возразить было ничего: ни умом, ни сердцем...

Пришла весна и с нею конец передышке.

Первым отправлялись в путь связки карбазов, которым предстоял самый дальний путь: до Якутска или и того дальше — к устью Алдана и к устью Вилюя, а некоторым и совсем в низовья Лены до Жиганска и Булуна, а это без малого четыре тысячи верст.

А до Олекминска рукой подать — и полутора тысяч не наберется. Но и эти полторы тысячи верст плыли они больше четырех недель. Казино терпения хватило с горем пополам только на первую половину пути.

— Когда же конец-то будет! — возмущалась она. — Вот уж поистине первобытный способ путешествия!

Пока плыли по верхнему течению Лены, мимо Жигалова, Осетрова, Маркова, и река еще не перестала быть рекой, и даже с середины ее хорошо можно было разглядеть играющих на песке ребятишек и бегающих по улицам собак, — заметно было, что карбаза плывут и берега уходят назад достаточно быстро.

Лоцманы проворно работали длинными рулевыми веслами, прилаженными на головном и на замыкающем карбазе, вся связка послушно следовала извивам фарватера и все новые картины величавой сибирской природы открывались взорам путешественников.

Даже Кате, родившейся и выросшей на Кавказе, было чему подивиться. А ему — жителю равнинной России — и подавно все было в диковинку. Крутые, почти отвесные скалы теснили реку с обеих сторон. Невозможно было понять, как удерживаются на этой круче деревья: почти от самой воды и до гребня, упирающегося в облака, густо росли ели и сосны, словно бархатным темно-зеленым пологом застилали откосы берегов. Местами зелень полога вспарывалась выпирающими ржаво-бурыми и сизо-фиолетовыми обломками скал, а вщизу, вдоль кромки берега, протянулась широкая полоса разноцветной каменной осыпи.

Река металась из стороны в сторону, прорываясь между каменными кручами и только поколениями освоенное искусство ленских лоцманов помогало им проводить неуклюжие связки карбазов по круто рыскающему фарватеру.

На пятый или шестой день плавания связка карбазов приблизилась к Пьяному быку.

Один из лоцманов подошел к нему и предостерег:

— Скоро Пьяный бык. Слыхаа, поди?

— Не слыхал... — И, словно оправдываясь, пояснил: — Первый раз в этих краях.

— Коли не слыхал, то запоминай. Будь настороже. Опасное место. Смотри в оба. В случае чего, доглядывай за молодухой.

Он не сразу понял, чего следует опасаться. И уразумел, только когда связка вышла на поворот и Пьяный бык стал хорошо виден. Вспарывая темную гладь реки, в русло ее вдвинулась острым углом колоссальная, черная, совершенно отвесная глыба. Стрежень реки бил прямо в каменный нож. Вода бурлила у скалы, словно под форштевнем идущего полным ходом корабля, пенилась и свивалась в водовороты.

Все мужики, и он тоже, кинулись к веслам на помощь лоцманам. Казалось, катастрофа неминуема. Связку тащило прямо на каменный нож... И когда он уже покорился мысли, что все кончено, крутая струя отвела головной карбаз в сторону и вся связка проскочила мимо скалы.

— Пронесло, царица небесная! — сказал лоцман и истово, широко перекрестился. Вслед за ним перекрестились все, кто плыл на карбазе.

И тут же где-то в вышине грянул выстрел и оттуда же, сверху, донесся пронзительный, даже **визгливый в своем надрыве голос**.

— Хозяин Камня провожает,— сказал лоцман.

— Смотри, смотри! — закричала Катя.

На вершине скалы, у самого ее края, топтался, припрыгивая и приплясывая крохотный с такого расстояния человек, одетый не то в белый балахон, не то в длинную рубаху. Он размахивал руками, в одной из которых зажато было ружье, и что-то распевал во весь голос. Но ветром звук относилось в сторону и ни мелодии песни, ни слов ее нельзя было разобрать.

— Кто это? — спросил он лоцмана.

— Сторож. От казны на должность поставлен, и от казны ему жалованье идет.

— Что сторожит? — не понял он.

— По ночам или в туман костер зажигает.

— Вроде как бы смотритель маяка?

— И так можно сказать,— согласился лоцман.

— А пляски и прочее?

— Давно он тут. Лет, может, с полста... Ишо отец мой карбаза по Лене спускал, он уж тута был. Говорят, одичал, умом тронулся. А может, и зря говорят? Прошли мы, целы остались, рад человек...

— А бывает?..

— Всяко бывает. Название такое не зря дадено. Почему Пьяный бык? Это уже на моей памяти было. Однако в тот самый год, как турецкая война началась... Везли на Витим, на золотые прииски хлебного вина целую связку. Известно, на приисках вино всегда первый товар. Ну, и значит, или лоцмана к вину приложились, или так уж тому быть положено, а только ударило о камень, разбило все карбаза и всем конец. Вот с тех пор и Пьяный бык...

А как миновали Киренск — занятный городок на островке при впадении Киренги в Лену, — так вскоре вырвалась река на простор. Долина раздвинулась, стерегущие ее горы отступили вспять, и сама река разлилась широкими и привольными плесами, так что с середины ее до берега едва глазом достать. Теперь уж вовсе неприметно стало, то ли плывут карбаза, то ли вовсе застыли на месте.

Вот тут, не осилив и недели такого плаванья, Катя заскучала и стала томиться.

— Хоть бы лодку дали. Села бы и уплыла в этот запропастившийся Олекминск!..

— До Олекмы еще плыть да плыть, молодуха, — урезонивал ее лоцман. — На лодке в такую даль не добежишь. А ну как еще ветер колыхнет. На таком плесе волна, что на море.

А его нисколько не угнетало неторопливое движение карбазов. И если бы сказали ему, что осталось плыть не две недели, а два месяца, или дважды два, он бы нимало не огорчился. Хоть до самых заморозков...

Такого простора, такого приволья никогда не доводилось ему ощущать. Никогда еще не чувствовал он себя так близко к природе. Разве в далеком детстве, когда отправлялись ребячьей командой на рыбалку, проплывая загадочную и немного страшную Собачью щель, или на дядиной мельнице, поставленной на степной речушке с ласковым названием Тихая Сосна, в непостижимо далеком отсюда Бирюченском уезде.

Особенно полюбились ему светлые лунные ночи, когда стихало все и на реке, и на берегах и карбаза бесшумно скользили по воде, подминая под себя опрокинутые в реку звезды.

В эти часы хорошо и успешно думалось.

Именно там, на ночной реке, под шатром звездного неба, покончил он со всеми своими сомнениями, покончил не просто беспешально отбросив их, а ведя неспешный и обстоятельный спор с самим собой;

с пристрастием разбирал каждое выставленное самому себе возражение и, только найдя ему вполне доказательное опровержение, отодвигал его в сторону, убирая со своего пути.

Труднее всего было поступиться памятью дорогих ему людей, озарявших с юности его путь. Андрей Желябов, Софья Перовская, Александр Ульянов... Но вспоминая свой спор с оставшимся в Верхотенске Андреем Лежавой и мудрые его слова о том, что смерть на баррикаде не менее почетна, чем смерть на плахе или виселице,— он уже не сомневался, что доживи эти люди до наших дней, были бы в одном с ним строю!..

И когда утвердился в понимании этой открывшейся ему истины, то на душе стало светло и спокойно.

Решение уехать, как только закончится срок ее ссылки, сложилось у Кати внезапно и для него неожиданно. Они, правда, никогда не говорили об этом, но как-то само собою подразумевалось, что приехали вместе, также вместе и уедут.

Первое время вынашивали мысль о побеге — но и бежать тоже вместе — и даже накопили какую-то толику денег, без них в дальнюю дорогу не тронешься.

Может быть, и удалось бы. Готовились серьезно. Завели знакомство с местными рыбаками, охотниками, ямщиками, гоняющими почту. И, что особенно важно было, завязали дружеские отношения со ссыльными скопцами, поселение которых располагалось неподалеку от Олекминска.

Как-то так получилось, что из всех политических скопцы выделили его и относились к нему с особым уважением и доверием. Может быть, потому, что относился он к ним сочувственно, но без обидной снисходительности, а также и без той неоправданной и обидной брезгливости, которую проявляли многие из его товарищей по ссылке.

Скопцы сами предлагали, что если надо будет, выведут из города и спрячут в тайге так, что никакой пристав со всеми своими урядниками не сыщет. И выведут горными тропами через перевалы к рекам, текущим в Байкал. А там уже место жилое, от Байкала рукой подать до Иркутска, до железной дороги. Может быть, и удалось бы...

Но судьба распорядилась иначе. Нет, не судьба — сами, а точнее сказать, так подсказало понимание своего долга.

В конце лета 1899 года прибыло еще пополнение в колонию ссыльных. В числе прочих — Станислав Трусевич — один из руководителей социал-демократической организации Рабочего союза Литвы.

Он быстро сошелся с Трусевичем. Ему тогда очень нужен был такой человек, чтобы утвердиться в новых своих политических воззрениях. А Трусевич был не только убежденным марксистом, но и партийным вожаком, человеком дела, истинным профессиональным революционером.

Трусевич тоже проникся к нему доверием и симпатией. И вскоре признался ему, что к зиме должен быть в России. Рабочий союз готовил забастовку на виленских и ковенских заводах, а теперь стачечный комитет оказался обезглавленным. Словом, этого требовали интересы партии.

Дело прошлое и перед собою душой кривить нечего, — он колебался всего несколько минут. Отдал Трусевичу скопленные деньги и свел его со скопцами. Побег прошел удачно, но собственное освобождение отодвинулось на неопределенно долгий срок.

Катя не приняла его резонов.

— У тебя мания самоуничтожения, — сказала она ему в ответ на его доводы.

И как он ни пытался убедить ее в совершенно очевидной для него истине, что польза, которую могут они принести делу партии, несоизмерима с пользой, которую принесет такой опытный и закаленный боец, как Станислав Трусевич, Катя жестко стояла на своем.

— Все мы бойцы одной рати и, стало быть, все равны!

Только один раз он видел ее такою разгневанной— это еще в Питере до их ареста, когда она собиралась подорвать Аничков дворец, а он отнесся к этому скептически и она в яростной запальчивости обвинила его в трусости. Но тогда они быстро помирились, а на этот раз он не стал, как обычно, уступать, и хотя через несколько дней восстановились достаточно ровные взаимоотношения, все же трещина осталась, и трещина достаточно глубокая.

Может быть, не будь этой трещины, Катя бы и не уехала. Кто знает?..

Она вернулась от пристава возбужденной и сразу же, видно, обдумала все по дороге, сказала, что через две недели уезжает.

Он хотел ей сказать, что хотя бы из простой вежливости, если уж не говорить о товарищеской солидарности, могла спросить его совета, или хотя бы просто поинтересоваться его мнением, но вовремя понял: слова его повиснут в воздухе. Потом подумал, что если разобраться в сути дела, то какой ей смысл оставаться здесь еще на два года? Он не больной, не увечный, и если смог прожить пять лет в одиночном заключении, то тут, среди людей, и людей близких по духу и сердечно к нему расположенных, прожить два года и вовсе не трудно. И то, что она рвется к делу,— а уж он-то как никто другой знает, что сложа руки она и дня не просидит,— вполне можно было понять. И он сказал ей:

— Я думаю, ты решила правильно.

Сказал вполне искренне, но когда Катя уехала, почувствовал незнакомую ему дотеле неуютную тоскливую пустоту. Даже сидя в тюремной одиночке, такой не испытывал.

Но что такое два года?.. Не длиннее же они тех пяти... И если бы сыскался такой провидец и сказал ему тогда, что всего еще один раз в жизни суждено ему встретиться с Катей,— не поверил бы. А если еще услышал бы, что встреча эта будет встречей не близких людей, не единомышленников, не друзей, а скорее противников, даже врагов,— то оскорбился бы до глубины души...

Но вот ведь почувствовал пустоту... Назови это предчувствием или еще как иначе, суть дела от этого не изменится. Потому так и потянулись они с Марией друг к другу, что обоим в ту пору было тоскливо и неуютно. Хотя и он и она скрывали это тщательно и умело. Надо было почувствовать, а такая душевная пронизательность не каждому дана, да одной пронизательности и недостаточно, тут надо душой понять друг друга.

Сколько еще политических прибыли в Олекминск вместе с Марией, ему теперь и не вспомнить. Кажется, четверо: во всяком случае, четверых он хорошо помнит. «Муж с женой и будущие муж с женой»,— сказала про них Мария.

На следующий день он повел «новоселов» на прогулку знакомить с окрестностями. У него было доброе намерение показать им настоящую сибирскую тайгу, благо она подступала к городку почти вплотную. Но большинство из вновь прибывших были люди городского склада, привыкшие ходить по тротуарам или хотя бы по прибранным дорожкам городских парков. Продираться сквозь бурелом, подниматься в гору по замшелым камням и переходить ручьи по вертким ненадежным мосткам из наспех брошенных поперек жердей им было нелегко. И едва углубившись в тайгу, все в один голос запросили пощады.



Только Мария высказалась за то, чтобы двигаться дальше. Но на нее замахали руками. Вопрос был поставлен на голосование и решен в полном соответствии с принципами демократии.

— А я не хочу возвращаться, не хочу, не хочу, не хочу!.. — протестовала Мария.

— Не плачь, милая девочка, — сказал он и, как маленькую, погладил по голове. — Утри слезы. Завтра я снова пойду в дремучий лес и, если захочешь, возьму тебя с собой.

— Ура! — закричала Мария и хлопала в ладоши.

Такая вот непринужденность установилась в их отношениях с первых дней. Ему это казалось вполне естественным, с высоты своих почти сорока лет он взирал на нее как на капризного ребенка.

Увидев ее в первый раз, когда она осторожно сходила с карбаза по узкой плахе на песчаный берег, он подумал с горечью, что уже детей начали ссылать, этой светловолосой наверняка не больше восемнадцати...

И когда недели через две она рассказала ему один эпизод своей нелегальной работы в Одессе, когда только счастливая случайность спасла ее от неминуемого ареста, и добавила, смеясь, что была тогда молода и неопытна, ведь было это не то в девяносто втором, не то в девяносто третьем году, — ему показалось, он ослышался.

— В каком вы сказали году?

— В девяносто втором или девяносто третьем... наверно, все-таки в девяносто втором.

— Но позвольте... — изумился он. — Вы же были ребенком!

Она как-то смешно помотала головой.

— Не совсем...

— Не мистифицируйте меня! — взмолился он. — И извините дерзость вопроса. Сколько же вам лет?

— Увы! — сказала она. — Скоро двадцать девять.

— Не может быть!..

Наверно, вид у него был достаточно обескураженный, потому что она расхохоталась:

— Почему не может быть? По-вашему, мне не суждено прожить еще три месяца!

Нет, лучше бы ему и не заводить этого разговора...

— Вот видите, Михаил Степанович, — сказала она. — Вы меня за ребенка приняли, а я вас едва ли не за почтенного старца, а как выяснилось, мы с вами почти ровесники.

— Ну, это уж вы чересчур... — пробормотал он, окончательно смутясь.

— Что чересчур? Нимало!.. Я ведь про вас все знаю, Михаил Степанович, — продолжала она, — вам всего-навсего тридцать семь, возраст вовсе не солидный, так что не очень-то заноситесь...

Никогда ему не забыть этих прогулок по осенней тайге. Неизменно зеленели сосны, ели и пихты, но уже оделись в бронзовый убор могучие лиственницы. На опушках багровыми пятнами выделялись осинники и радовало глаз звонкое золото берез.

Он пристрастил ее к грибной охоте и домой возвращались с полными лукошками красноглавых подосиновиков, ломких разноцветных сыроежек и мохнатых груздей. А как-то набрали в молодых сосняках на заросли сизовато-оранжевых рыжиков. Наполнили лукошки с верхом, развели костер, и он угощал ее присоленными и пропечеными на горячих углях хрусткими грибами.

Возвращались из своих странствий по лесным просторам усталые и счастливые, набродившись вволю по перелескам и опушкам, посидев у дымного костра на лесной поляне, поделившись и своими воспоминаниями и своими замыслами на будущее, — и с каждым днем становились все ближе и нужнее друг другу.

Мария любила петь. Песен она знала великое множество. Особенно волжских: она родилась и провела детские годы на Волге, в Самаре. У нее был высокий и чистый, от природы поставленный голос. Напевала она всегда как бы про себя, и ему казалось, что голос у нее приятный, но небольшой.

Но вот однажды, когда внезапно налетевший порыв ветра разметал пламя костра и прошумел по вершинам окрестных сосен, она встряхнула светлыми кудрями и в полный голос запела:

Ревела буря, дождь шумел,  
Во мраке молнии блистали...

И он поразился силе голоса, непонятно каким образом вместившегося в хрупком ее теле.

— У вас голос! — сказал он тогда ей с почтительным восхищением. — Вам в концертах петь...

— А вы знаете, — сказала она оживленно, — я один раз в жизни давала концерт. Не одна, правда, с братом, он у меня профессиональный певец. И знаете где?.. Ни за что не догадаетесь. В тюрьме. В Александровском центре...

Даже суровая якутская зима не отвадила их от таежных походов. Конечно, теперь ходили уже не изо дня в день, а от случая к случаю, и не вдвоем, а большой компанией: зимняя тайга не место для одиночных прогулок.

Как-то под рождество или под Новый год выбрались в тайгу ночью, разожгли на поляне костер, пели, плясали и дурачились, как расшалившиеся дети.

— Ты в этой мохнатой дохе и высокой шапке точь-в-точь Дед Мороз, — сказала она ему. Они давно уже были на «ты».

— Тебя назначаю Снегурочкой, — ответил он, взял ее в охапку и закурил вокруг костра.

Они стали очень дружны. Особенно скрепляло их дружбу полное и ни разу не нарушенное согласие в мыслях. В длинные зимние вечера часто собирались группами и в тусклом свете свечи, а то и плашки с чадающим рыбьим жиром часами спорили на всевозможные темы. Естественно, чаще всего о путях русской революции.

Он решительно отстаивал позиции Манифеста социал-демократической рабочей партии. Народники — а они среди олекминских политических были в заметном большинстве — яростно нападали на него. Запомнилось, как один из его рьяных оппонентов попытался высмеять его:

— Незадачливый вы человек, Михаил Степанович! Вечно опаздываете: во время расцвета марксизма держались за ветхое знамя «Народной воли» и признали марксизм, когда он отжил свой век.

— Революционный марксизм отжил свой век только в головах буржуазно-либеральных интеллигентов, подобных вам, — ответил он тогда своему оппоненту. — Но в этом нет беды. Революционный марксизм всегда возлагал свои надежды на передовых рабочих, а не на отсталых интеллигентов.

Мария во всех этих спорах горячо поддерживала его. У нее было огромное преимущество перед большинством ссыльных: она на протяжении многих лет вела работу в кружках одесских моряков, екатеринославских металлистов, киевских железнодорожников. Она знала жизнь рабочих, располагала свежими живыми фактами и умела рассказать о них достаточно убедительно.

Она же первая поддержала его, когда он предложил заняться изучением философии. Почему-то решили начать с «Критики практического разума» Канта. Но, по-видимому, не с той книги начали. Добраться до кантовских глубин многим из них оказалось не под силу.

Читать было трудно и скучно. Путали «трансцендентальный» с «трансцендентным»; спотыкались о «предикат», «субстрат» и «объект».

Когда у всех зарябило в глазах, он сказал, что для пользы дела напишет стихотворение, в котором все эти хитрые слова найдут себе достойное место.

— Какое стихотворение? — спросила она.

— Оду — тебе, — ответил он.

— Почему мне, а не всем страдальцам, захлебнувшимся философской премудростью? — возразила она.

— Вот именно, почему же ей одной?.. Не по совести, — возмутились остальные «философы».

Но он не принял их возражений:

— Ода посвящается единственной женщине, осмелившейся погрузиться в философские глубины.

Можно только подивиться, каким образом уцелело это стихотворение в его бумагах во все эти годы его скитаний и странствий по белу свету, и всего несколько дней назад, едва ли не накануне взрыва, он на него наткнулся, разбирая какие-то давние записи.

«Как объект», «эстетична», «прекрасна»,  
 Несомненнейший твой «предикат»,  
 Даже в день «акциденций» ненастный  
 Посетить тебя буду я рад.  
 Чтоб о вечных вопросах серьезно,  
 Дискусируя, точно Сократ,  
 Думать: платье твое грациозно,  
 Но еще грациозней «субстрат».  
 Пусть душа твоя «не трансцендентна»,  
 Что подумаешь — знаем тотчас,  
 Так скажи — отчего незаметно  
 Ты с ума посводила всех нас?  
 Оттого ли, что «аподиктично»  
 Увлекаться тобой без ума,  
 Оттого ли, что «проблематична»  
 Мысль, что можешь увлечься сама?  
 Оттого ли, что, всех увлекая,  
 Ты чаруешь, сама не любя,  
 Или просто уж «трансцендентальна»  
 Эта форма познания тебя?

Он хорошо помнит, как весело она смеялась, когда он читал эту «философскую оду».

Он не удивился, когда она завела речь о побеге. Не могла же она с её неиссякаемой энергией, неуемной жизнерадостностью, неуспяной жадой деятельности замуровать себя здесь на бесконечно долгие пять лет.

Своей энергией Мария напоминала Катю. Но была между ними и разница. Энергию Кати можно было уподобить стремительному горному ручью, яростно бросающемуся из стороны в сторону, расшвыривая камни, преграждающие ему путь. Энергия Марии представлялась стрелой в полете, стрелой, пущенной сильной рукой и точно летящей в цель.

Он понимал, что ей надо бежать. Понимал, что она не в силах вырвать себя на пять лет из большой жизни, отзвуки которой долетали даже сюда, за тридевять земель. Она не может жить без живого дела!.. У нее в десять тысяч раз больше энергии, чем у него, но у нее нет той приспособляемости, может быть живучести, которая оказалась в нем. Он и здесь сумел найти себе дело по сердцу и по силам. Первую корреспонденцию в иркутскую газету «Восточное обозрение» послал, можно сказать, наудачу. Напечатали. После этого он уже «не вылезал» из «Восточного обозрения» все пять лет олекминской ссылки. Писал корреспонденции, статьи публицистические и литературно-критические, даже стихи.

По поводу стихов товарищи подшучивали. Кто-то даже эпиграмму сочинил:

Вот олекминский политик...  
Публицист, поэт и критик,  
В «Водосточном» он строчит...

Подписывал свои сочинения, естественно, псевдонимами: Степаныч, Дятлов и другими; потом все чаще — Ольминский — слегка измененное «Олекминский».

Тогда и не подозревал, что этому псевдониму суждено стать второй его фамилией...

Она предложила бежать вместе. Но сразу же, не дав ему ответить, возразила самой себе:

— Не разумно. Более того, бессмысленно. Тебе осталось несколько месяцев. Нет смысла рисковать. — И закончила, как о решенном: — Ты сможешь бежать мне. А встретимся уже там, — она простерла вперед руки и зажмурилась. — Когда ты выйдешь на волю.

Он сделал все, что мог. Не он один. Почти вся колония включилась в подготовку к ее побегу. Марию все любили и искренне, без тени зависти, желали ей успеха.

Это был самый, может быть, умело организованный побег за все время якутской ссылки.

К тому же старались не только ее товарищи. И сама судьба благоволила Марии. Самым сложным делом было раздобыть подходящий паспорт. И вот Марии удивительно повезло. В Олекминске появилась молодая монахиня, ходившая из селения в селение и собиравшая добротные подаяния на построение храма божьего. Монахиня была одних примерно лет с Марией и очень похожа на нее и лицом и фигурой. Он помнит, как поразило его это сходство, когда он впервые увидел молодую черницу с монастырской кружкой поверх монашеской рясы.

Старательная монахиня давно уже обошла все дома и домишки небольшого городка, но что-то зажилась в Олекминске. Как оказалось, не без причины. Она влюбилась в одного из политических. И ему пришло по душе. И он убедил ее оставить монашество для более радостной мирской жизни. Так она и поступила. А свой паспорт и монашескую рясу передала Марии.

За два дня до побега Мария заболела горячкой и металась в бреду, о чем доложено было приставу.

Ямщику, гонявшему почту на перекладных от Олекминска до Нахтуйска, хорошо заплатили за то, чтобы он не заметил подмену саней. Сани и впрямь ничем не отличались. Вся и разница, что у подменных саней было двойное дно.

Он сам укладывал ее в этот импровизированный гроб. Закутал ее в загодя приобретенную у скопцов огромную оленью доху, попрощался и собрался уже прикрыть верхним днищем и застлать соломой, но заметил, что на голове у нее легонький полушалок. Сорвал с себя малахай, приладил ей на голову под ворот дохи, еще раз заглянул ей в глаза, и тут силы оставили его... и слеза, может быть, не одна, упала ей на щеку.

— Если бы ты знал, как мне дорога эта твоя слеза... — сказала она ему.

А если бы она знала, как ему были дороги эти последние, сказанные ею слова...

Сани с двойным дном выехали с ямской станции города Олекминска спозаранку, еще до света — путь до Нахтуйска не близкий, — и одним политическим ссыльным в мирно спящем городке стало меньше.

Ночью, уже под утро, к исправнику прибежали две взволнованные до крайности женщины, проживающие в одном доме с Марией, и

сообщили, что больная, видно в горячечном бреде, выскочила из дома и, судя по следам, убежала в лес.

Как назло, разыгралась злая февральская пурга. Исправник, сочно чертыхнувшись, приказал женщинам отправляться по домам, сказав, что утром разберется.

— Замерзнет! Спасать надо! — настаивали женщины.

И подняли такой крик, что исправник послал за урядником и приказал тому пойти за беглянкой по следу.

Далеко ли ходил урядник, осталось неизвестным, но найти никого не нашел. Политическая ссыльная Мария Эссен, двадцати девяти лет, исчезла бесследно...

Встретился он с ней нежданно-негаданно в родном городе Воронеже, куда приехал, чтобы оглядеться, отдышаться и набраться сил перед новым поворотом жизни. В Воронеже теперь служил брат Николай, с ним же жила семья вернувшихся из верхоленской ссылки сестры Людмилы.

Еще в пути он узнал о состоявшемся Втором съезде Российской социал-демократической рабочей партии и о расколе партии на два крыла. Он помнит, как огорчило его известие о расколе. Не зная сути дела и не признавая за собой права определять, кто прав, кто виноват, он осуждал и тех и других, — по его тогдашнему мнению, нельзя было перед лицом могущественного врага расплыть свои силы...

От сестры узнал, что в городе на нелегальном положении находятся два члена большевистского ЦК РСДРП. Сестра назвала и фамилию одного из них: Землячка Розалия Самойловна. Сумел быстро связаться с ней и, заручившись согласием на встречу, отправился по указанному адресу.

Прошло с тех пор больше пятнадцати лет. И каких лет!.. Но никогда не забыть ему этой встречи.

Когда его провели в комнату, где сидели две женщины, и когда он увидел, что одна из них Мария Эссен, то просто остолбенел. Мария кинулась обнимать его. А вторая женщина, похожая на учительницу гимназии, — это была Розалия Самойловна Землячка, — смотрела с явным неодобрением на чрезмерно экспансивную выходку своего товарища по ЦК.

Он, конечно, уверен был, что теперь у него найдется время для того, чтобы встретиться с ней, и у нее найдется время, чтобы встретиться с ним, — и этот первый вечер он отдал встрече с двумя членами ЦК.

С пристрастием допрашивал он их обеих о причинах раскола, поистине дотошно допытываясь, неужели никак уж нельзя было его избежать. И в конце концов, заявил им что пришел к твердому решению немедленно ехать за границу, чтобы самому на месте окончательно разобраться в разногласиях между большевиками и меньшевиками.

Беседа затянулась за полночь. Так много было у него вопросов и так неохотно принимал он лаконичные ответы.

Когда беседа наконец завершилась, он попросил у Марии разрешения проводить ее до дому.

— Правил конспирации я не забыл, — добавил он, улыбаясь. — Так что можешь довериться мне.

— Охотно, — сказала она и почему-то засмеялась. — Охотно, — повторила она, — тем более что идти нам, если я не ошибаюсь, в один и тот же дом.

— В один и тот же дом?..

— Я остановилась в доме твоего брата Николая.

У него машинально вырвался совсем уж глупый вопрос:

— Почему?

— Потому что у него в доме живет Андрей Матвеевич Лежава. А с ним я связана по работе.

— А Людмила?

— Что Людмила?

— Почему она не сказала мне? Она знала, что я ишу встречи с членами Цека?

— Людмила не знает, что я член Цека.

Считанные минуты удалось им тогда провести вместе.

В ту же ночь Мария выезжала куда-то по срочному заданию ЦК, кажется в Саратов... Да, именно в Саратов, он же проводил ее до пересадки на станции Козлов.

Еще была встреча в Париже. И тоже накоротке. Такая же через год в Петербурге. Тогда еще чуть не арестовали на ее квартире.

И никогда не было времени, чтобы отвлечься от неотложных дел, от событий, которые все время захлестывали, и просто побыть вдвоем... побыть друг с другом...

И даже теперь, когда нелегальная жизнь позади, когда, казалось бы, хоть в малой степени можно распорядиться своим временем, все равно нет этого времени, нет того часа и нет такого места, чтобы встретиться со старым другом, вспомнить пережитое...

Он в Москве, она где-то на Кавказе. Хорошо, что хоть весточка дошла...

О многом вспомнилось Михаилу Степановичу в эти больничные дни и ночи. Только о звездных часах своей жизни, по присущей большевикам-ленинцам скромности, вспоминать избегал.

Но умолчать о них нельзя. Иначе не получится правдивого рассказа о жизни верного соратника Владимира Ильича, сохранившего неколебимую преданность ленинскому знамени в самый трудный период истории большевизма. И безоговорочно отдавшему партии свой недожизненный литературный талант, свое острое перо партийного публициста.

Поэтому, опираясь на свидетельства людей, хорошо знавших Михаила Степановича, и прежде всего на яркие страницы его собственной публицистики, расскажем о том, о чем сам он рассказывать избегал, о тех его звездных часах, которыми навсегда вписано его имя на страницы славной истории нашей великой Коммунистической партии.

**То, о чем Михаил Степанович не вспомнил по скромности, присущей старым большевикам..**

## І. Галерка

### 1

На обратный путь из Якутии в Россию ушло значительно меньше времени. По Лене Михаил Степанович плыл не на карбазах, а на пароходе, — и на всю дорогу от Олекминска до Иркутска ушло не полгода с лишком, а всего две недели.

В Иркутске тоже не стал особенно задерживаться. Забежал лишь в редакцию «Восточного обозрения». Забежал, как к своим, — хотя и в глаза никого из сотрудников газеты не видывал, но за годы, проведенные в Олекминске, со многими заочно сдружился, а с некоторыми и переписывался.

Встретили его душевно: пригрели и обласкали. А главное — просветили важными новостями.

— Я уехал на Север в девятнадцатом веке, — говорил своим собеседникам Михаил Степанович, — и пребывал там в девятнадцатом, а вот теперь, послушав вас, оказался в двадцатом.

Все понимали, что дело тут не в календаре, а в тех значительных общественных сдвигах, которые произошли за эти пять лет.

То, чего не удалось достигнуть на Первом съезде, достигнуто на Втором. Создана партия рабочего класса. Настоящая партия! С программой, уставом, выборными руководящими центрами!.. Вспоминал свою работу в кружках на Выборгской стороне, когда подбирался к главному — подъему революционного самосознания рабочего люда, — наугад, словно ощупью... Что ж, работа эта не пропала даром. В том значительном, огромном, грандиозном, что достигнуто, есть частица пусть самая крохотная, и его труда...

Но вот раскол?.. Не только принять, но и понять невозможно!.. Только что закончился съезд — и сразу раскол. Неужели на съезде не могли договориться?.. На единой программе сошлись, на уставе сошлись... Не сразу, правда, но все же dospорились до единого мнения... И выборы провели... И после всего этого раскол... И даже понять невозможно, кто виноват в этом расколе?.. Объясняют по-разному. Но все с чужих слов... Нет, надо ехать за границу поговорить с теми, кто был на съезде, притом и с теми, которые теперь б о л ь ш е в и к и, и с теми, которые теперь меньшевики. Выслушать доводы всех, разобратся самому и быстрее, как можно быстрее включиться в работу... И так почти десять лет вычеркнуто из жизни...

В Омске Михаил Степанович встретился со старыми товарищами, пять лет назад провожавшими его в ссылку. Проспорили весь вечер и половину ночи. То есть спорили они между собой, а он слушал, стараясь вникнуть в самую суть разногласий.

Сторонники большевиков обвиняли в расколе Мартова и его друзей. Это они не могли смириться с тем, что Ленину удалось наконец создать скрепленную сознательной дисциплиной партию рабочего класса. Партийной дисциплины они страшились, как черт лады.

Сторонники меньшевиков во всех послесъездовских бедах обвиняли Ленина. Он, именно он и наиболее ретивые его последователи своей чрезмерной ортодоксальностью, своими диктаторскими замашками и явной склонностью к бонапартизму разрушают с таким трудом созданное светлое здание российской марксистской партии.

Каждый из спорящих был убежден в своей правоте. Но и эти речи также все были с чужих слов. Ни один из пламенных ораторов в Лондоне на съезде ни в послесъездовской Женеве не бывал.

Окончательно решил ехать в Женеву после того, как в Воронеже в первый же вечер по приезде встретился с членами большевистского ЦК Розалией Самойловной Землячкой и Марией Эссен.

Розалия Самойловна присутствовала на съезде и была там в числе искровского большинства, получившего название «твердых» искровцев.

Она рассказала Михаилу Степановичу о всех подробностях и предсъездовской борьбы и внутрипартийной борьбы на съезде, о всех нюансах разногласий между разными группами делегатов.

Столь же подробно и обстоятельно рассказала она о том, как, уступив нажиму соратников по группе «Освобождение труда», Плеханов пошел на незаконную кооптацию старых друзей в состав редакции центрального органа...

О том, как Ленин в ы н у ж д е н был выйти из состава редакции и переключиться на работу в составе ЦК...

О том, как н о в а я «Искра» повела ожесточенную борьбу против тех организационных и идейных принципов, за которые боролась с т а р а я «Искра»...

— Но послушайте! — воскликнул Михаил Степанович. — Не подумайте только, ради бога, что я... вам не верю! Но если все обстоит так, то каждый мало-мальски разумный человек должен безоговорочно стать на позиции большевиков!

— Конечно,— ответила Розалия Самойловна.

— Почему же добрая половина женевских социал-демократов оказалась в меньшевиках?

— Сами удивляемся,— сказала Мария Эссен.

Но Михаил Степанович даже от нее не мог принять шутку.

Весть о создании марксистской рабочей партии была для него личной радостью. Известие о расколе, грозившем партии гибелью,— личным горем. А горе шуткой не вылечишь... и даже не облегчишь.

— А если серьезно,— сказала Мария,— то у меня сложилось твердое мнение: чем тот или иной партийный товарищ дальше от живого революционного дела, чем он дальше от рабочего люда, тем милее ему позиция меньшевиков. Не случайно в Заграничной лиге верховодят меньшевики. Это вполне понятно: много ли среди эмигрантов рабочих?... Единицы. И они все с нами. Та же картина и здесь, в России. Если в комитете нет рабочих, как, например, в киевском комитете, то комитет за Мартова. Если же в комитете представлены рабочие, как в Екатеринославе, Туле, то комитет за большевиков, за Ленина.

— Значит, и среди российских партийных комитетов нет единодушия?..

— Я за эту осень объехала по заданию Цека почти все крупные партийные комитеты и в центре России и в Сибири,— сказала Мария.— И вот итог. Из двадцати пяти комитетов двадцать за большевиков...

— Но опять же с чужих слов! — воскликнул Михаил Степанович.— В данном случае с твоих. А у тебя и дар убеждения и обаяние...

— На тебя, как я чувствую, ни то, ни другое не действует,— уже с оттенком раздражения возразила Мария.

— Ты не должна обижаться на меня,— очень мягко и в то же время убежденно произнес Михаил Степанович.— Для меня, как и для тебя, самое дорогое в жизни — дело партии. Для победы этого дела не жаль и самой жизни. Да ты и сама это знаешь... Так вправе я понять и разобраться в самой его сути?..

Мария не успела ответить. Розалия Самойловна взглянула поверх очков на Михаила Степановича и строгим тоном учительницы спросила:

— Екатерина Михайловна Александрова, она же Штейн, не в родстве с вами?

— Екатерина Михайловна моя жена...

— Она находится сейчас за границей... Она сможет ознакомить вас с доводами наших противников,— все тем же учительским тоном сообщила Розалия Самойловна и добавила еще суше: — Надеюсь, это поможет вам разобраться в самой сути.

— Она примкнула к меньшевикам?

— А вы этого не знали?

— Я не знал, что Штейн — это она...

## 2

В ту же ночь Мария Эссен уезжала в Саратов.

— Не обижайся на меня. Отложить отъезд нельзя,— сказала Мария.— Прежняя явка провалена. Меня будут встречать на вокзале.

— Я провожу тебя,— сказал Михаил Степанович.— Куда же ты одна с двумя такими чемоданами?

— Мне радостно побыть с тобой, но стоит ли рисковать из-за какого-то часа,— предостерегла Мария.

— Почему часа? — возразил Михаил Степанович.— До Козлова поезд идет не меньше шести часов!

— Ты хочешь проводить меня до Козлова?

— Я бы с великой радостью проводил тебя до Саратова, но понимаю, что там буду тебе помехой.



— Да,— с грустью подтвердила Мария.— Меня ждут одну. И после пересадки я должна ехать одна. Иначе могу спугнуть связанного.

Билеты взяли в третий класс, чтобы меньше привлекать к себе внимание. Чемоданы взяли с собой в вагон.

— Там меня встретят,— сказала Мария,— а в Козлове ты поможешь.

— Нам повезло,— сказал Михаил Степанович, когда они вошли в почти пустой, слабо освещенный тусклыми фонарями холодный вагон.

— В такую слякотную погоду, да еще в ночь, хороший хозяин собаку не выгонит,— сказала Мария и добавила с усмешкой: — Нет худа без добра. Меньше риска нарваться на филера. По моим наблюдениям филеры не любят сырости и холода.

Облюбовали пустую лавку в дальнем безлюдном углу вагона. Здесь можно было разговаривать, не опасаясь чужих ушей.

— Опять мне досталось провожать тебя,— сказал он Марии.— Странные времена настали в мире. Женщина — хранительница домашнего очага, скитается по белу свету, а мужчина ее провожает...

— Ты тоже у домашнего очага надолго не удержишься,— отшучивалась Мария.

— Где он, мой домашний очаг?.. — усмехнулся Михаил Степанович.— Только в детстве, а потом, сколько себя помню, очага не было. Да вряд ли когда и будет...

Тут же быстро встал с лавки и проворно один за другим закинул чемоданы на верхнюю полку.

— Багажа у тебя, как... у оперной примадонны,— сказал он Марии.

Мария засмеялась.

— Ты бы мог выразиться порезче,— сказала она.— И был бы недалеко от истины. Знаешь мою кличку?

— Подпольную? Вчера слышал от Розалии Самойловны. Все еще хотел спросить, почему Зверь.

— Нет, не партийную, а ту... — Мария махнула рукой куда-то в сторону.— В охранке у меня кличка — Шикарная. Понял? Впрочем, можешь и сам посмотреть, подходит ли мне.

Она развернула плечи, так что стала заметна ее высокая грудь, поправила шляпку, выпустив из-под нее пышный локон, слегка вскинула голову, улыбнулась чужой, никогда им не виданной картинно-обольстительной улыбкой и на глазах у него преобразилась.

— Ну, знаешь!.. — сказал Михаил Степанович и только руками развел.

— А как иначе? — сказала Мария.— Найди другую личину, под которой можно объехать двадцать городов — и ни одного провала. Я, милый мой, выбрала самую надежную из всех. Эта профессия в нашем отечестве под надзором, но вне подозрений.

— Значит, в этих чемоданах?..

— Наряды, соответствующие профессии. Я ведь не из дешевых, к которым каждый может прицепиться, а высшего полета. Словом, Шикарная. А в чемодане, который поменьше, два расхожих костюма: обычное старушечье одеяние — платок, кофта, юбка, стоптанные ботинки, и второй — монашеская ряса. Та самая, помнишь? С тех пор с собой вожу. Не раз выручала.

Он смотрел на нее широко раскрытыми глазами.

Она усмехнулась:

— В Саратове я сойду с поезда такую, какую ты меня только что видел...

— Ты же сказала, тебя будут встречать?

— Обязательно. Меня встретит молодой щеголь, в отличной тройке, сшитой по последней моде, и чтобы в галстукке булавка с кам-

нем, все как полагается. Возьмет мой большой чемодан и сам отнесет его в пролетку с поднятым верхом. А я с другим чемоданом пройду в дамскую комнату. Минут через десять пролетка умчится с вокзальной площади. А из дамской комнаты выйдет маленькая сутулая старушка с невзрачным узлом в руках.

— Почему старушка?

— У меня в чемодане театральный грим... Вот и все.

Михаил Степанович взял ее руку и молча поцеловал.

Какое-то время помолчали, потом разговор пошел о тех же делах, о которых не успели договорить вечером.

Мария горячо одобрила его намерение ехать в Женеву и советовала не тянуть с отъездом за границу.

— Да, там я быстрее разберусь во всем,— согласился Михаил Степанович.

— Разобраться и здесь можно,— сказала Мария,— но дело в том, что там ты сейчас нужнее. У тебя дар литератора. Не скромничай. Читала. А у нас литераторов не хватает. Нам сейчас каждое перо очень дорого.

Она говорила уверенно, у нее не было ни малейшего сомнения в том, кому будет служить его перо. Он подумал, что она уже разрешила за него все его тревоги. И — странное дело! — такой, пусть косвенно, но достаточно ясно высказанный нравственный диктат насколько не обидел его, не задел никак его самолюбия.

Уже потом, когда, переболев всеми сомнениями, и умом и сердцем принял правду Ленина и сам влился в число его соратников в качестве именно партийного литератора, не раз вспоминал он об этом разговоре в холодном промозглом вагоне темной ноябрьской ночью на перегоне Воронеж — Козлов.

Во время этого же разговора узнал он от Марии, что Катя (по делегатским спискам съезда Штейн) не просто примкнула к меньшевикам, а стала одним из самых ярых приверженцев Мартова.

— Странно, очень странно...— удивился Михаил Степанович.— Она всегда была сторонником крайних действий, и если и правы те, кто обвиняет большевиков и Ленина в излишней резкости, то уж ее-то резкостью не испугаешь...

— Если эта резкость обращена на другого,— заметила Мария.

— Не понимаю,— чистосердечно признался Михаил Степанович.

— Резкость Ленина ей пришлось испытать на себе,— пояснила Мария.— Розалия Самойловна рассказывала мне о совещании искровцев, на котором обсуждались кандидатуры в состав Цека. В мартовском списке была кандидатура Штейн. И Мартов на этой кандидатуре очень настаивал. А Ленин возражал. И очень резко.

«Тогда все понятно и удивляться нечему»,— подумал Михаил Степанович.

Катя не из той породы, что подставляют вторую щеку. Уж если против нее, да еще резко — то враг навеки!.. Неясно пока лишь одно: оправданна ли была, точнее сказать, вызывалась ли необходимость резкости по отношению к ней?.. Но разобраться во всем этом можно только в Женеве...

### 3

В Женеву Михаил Степанович добрался только в марте 1904 года. Узнал, что Катя в Париже и неизвестно, вернется ли в скором времени в Женеву. По счастью, был у него еще адрес студента Первухина, старого знакомого по олекминской ссылке. Первухин приютил его на первое время. К нему и обратился Михаил Степанович с вопросом: в чем причина раскола?

— А сами вы, Михаил Степанович, как полагаете? — ответил вопросом Первухин.

Михаил Степанович чистосердечно признался, что не сложилось еще у него своего твердого мнения и что для того он и приехал в Женеву, чтобы разобраться.

— Вот поищу знакомых. Поговорю, послушаю, что скажут...

Первухин улыбнулся и сказал:

— Рискованный вы избрали способ. Это ведь как повезет. На кого наткнетесь. Мой совет: никому не верьте. Добирайтесь сами до сути. Вот вам протоколы съезда, протоколы Заграничной лиги. Вот послесъездовские номера «Искры». Читайте!

— Мне бы еще и работу какую-нибудь,— попросил Михаил Степанович.

— За этим дело не станет. Была бы шея, хомут найдется,— сказал Первухин и отвел его к Владимиру Дмитриевичу Бонч-Бруевичу, который заведовал экспедицией «Искры». Бонч-Бруевич поручил Михаилу Степановичу вести учет распространения «Искры» среди заграничных организаций и партийных комитетов в России.

Работа была необременительной, свободного времени у Михаила Степановича оставалось много, и он с головой погрузился в материалы съезда и всей прочей партийной литературы.

И снова, как в минувшие годы, когда он мучительно терзался сомнениями, колеблясь между воззрениями народников и марксистов, так и теперь томился он, не будучи еще в силах сделать окончательный выбор между сторонниками Ленина и сторонниками Мартова.

Как-то в партийной столовой к Михаилу Степановичу подошел один из ленинских сподвижников — Пантелеймон Николаевич Лепешинский. Подошел с целью позондировать настроение новичка.

Разговор не удался. Результат его показался Пантелеймону Николаевичу вовсе неутешительным.

Вечером, рассказывая жене своей Ольге Борисовне о попытке установить контакт с новичком, Пантелеймон Николаевич вынужден был признаться, что контакта не получилось, новичок слишком осторожничает, подозрительно косит на собеседника глазом, что-то бормочет о своих антипатиях к бонапартистским замашкам партийных верхов, о своем доверии к демократическим инстинктам низов и так далее, и тому подобное...

— Кандидат в меньшевики,— сказал Пантелеймон Николаевич в заключение.

Но он ошибся. Новичок оказался куда умнее и проникательнее, нежели показалось с первого взгляда Пантелеймону Николаевичу.

Нигде не декларируя своей позиции, он продолжал пристально вглядываться в окружающую его эмигрантскую жизнь, усердно работал штемпелем в экспедиции, упаковывая газеты для рассылки по сотням адресов, не упускал ни единого случая сопоставить слова и дела борющихся сторон и терпеливо ждал часа, когда и разумом и сердцем сможет стать по ту или иную сторону барьера.

Вполне возможно, что многие, оказавшись в положении Михаила Степановича, давно уже определили бы свои симпатии и давно уже прибились бы к тому или иному берегу, но все дело было в том, что он выбирал товарищей для совместной борьбы не на день и не на год, а на всю жизнь.

Потому и не торопился. И каждую уделенную ему монетку внимания и сочувствия не клал поспешно в карман, а каждый раз пробовал на зуб, проверяя чистоту и прочность металла.

О том, как неотвратимо, хотя и очень осторожно приближался он к позиции большевиков, сам Михаил Степанович некоторое время спустя повествовал так:

«Передо мной совсем еще недавно (по особым обстоятельствам) стоял вопрос: куда примкнуть? Со сторонами я мог познакомиться

только по печатным источникам и проникся сильнейшим предубеждением против «большинства» за его бюрократизм, бонапартизм и практику осадного положения. Я готов был растерзать Ленина за его фразы об осадном положении и кулаке. Оставалось примкнуть к меньшинству. Но вот беда: я не мог найти в печати указания на такие общие принципы, которые по своей ясности, важности и неотложности оправдали бы революционный образ действий по отношению к съезду и его постановлениям... Оставалось выбрать одно из двух:

*Первое:* Подвергнуть себя тирании осадного положения, подчиниться требованию «слепого повиновения», узкому толкованию «партийной дисциплины», возведению принципа «не рассуждать» в руководящий принцип; признать за высшими учреждениями «власть проводить свою волю в исполнение чисто механическими средствами» и т. д.

*Второе:* Стать под знамя восстания, помочь разрывать уже организованную партию, и не в силу расхождения в основных принципах, а из-за недовольства деталями устава и способом его применения.

Ни туда, ни сюда. Положение трагическое...

...я решил поближе познакомиться с тем, как проводятся на практике принципы бюрократизма, бонапартизма и осадного положения. И то ли уж неудачи меня преследовали, только я узнал многое, а гильотины все-таки в работе у «большинства» не видал, робеспьеров не встречал, требования слепого повиновения не слышал. Осмеливался даже почтительно рассуждать,— и ничего, жив!

Скажу яснее. По личному опыту и по наблюдению я убедился, что страшные слова: бюрократизм и т. д.— по меньшей мере недоразумение».

То есть он уже решил, с кем правда. Но он положил сам себе непрременным условием до того, как во всеуслышание объявит, какую он принял веру, переговорить с Катей. И отступить от этого им самим установленного непрременного условия, конечно, не мог.

Выяснив, что Катя еще не скоро вернется в Женеву, Михаил Степанович в начале лета поехал в Париж. И перед отъездом из Женевы написал письмо Ленину, с которым еще не был знаком. Письмо предельно откровенное и предельно честное. И уже одно то, что он без утайки раскрыл душу перед Владимиром Ильичем, можно считать убедительнейшим доказательством того, что был он уже с Лениным.

«Дорогой товарищ! Мне очень жаль, что я не мог ближе познакомиться с вами в Женеве. Почему? Вы должны принять во внимание, что до 35 лет вся моя жизнь определялась одним мирозерцанием, коренная ломка в эти годы — вещь очень трудная, а еще труднее продумать и последовательно провести для себя новое мировоззрение во всех его разветвлениях, до предела практического применения к жизни. Вопросы для нынешней партийной работы застigli меня совершенно неподготовленным. Единственная практическая деятельность, на какую я считал себя годным без риска наглушить, состояла лишь в том, чтобы стукать штемпелями. При таких условиях вам не могло быть интересно знакомиться со мною, мне неинтересно слушать ваш синтаксис, пока не научусь складывать бе-а-ба. Теперь я кое в чем разбираюсь, но еще по тысяче вопросов сижу по горло в болоте. Все-таки попытаюсь написать статейку на тему предпоследнего абзаца программы партии. Чтобы не сделать при обсуждении такой щекотливой темы ложного шага, который был бы не в интересах ЦК, я пошлю прежде всего статью эту вам лично в надежде, что вы примете во внимание мое ученическое состояние в данный момент и что мы сообща обсудим этот мало разработанный вопрос.

Меня иногда спрашивают: в «большинстве» я или в «меньшин-

стве». Ехал я за границу нулем, но чем больше здесь знакомился с меньшинством... тем больше становился для него минусом и тем сильнее тяготел к «большинству». И все-таки я не могу сказать, что примыкаю к «большинству»...»

Да, он еще не мог сказать этого. Хотя и хотел сказать. Больше того, знал, что в скором времени скажет: «я с вами». И если не сказал этих слов в этом письме, то лишь потому, что присущая ему правдивость, правдивость, доходящая до щепетильности, не позволяла сказать до тех пор, пока не будет устранена даже тень сомнения.

Вот именно для того, чтобы не осталось и тени сомнения, и ехал он в Париж.

Так представлялось ему. Но вот написав: «...не могу сказать, что примыкаю к „большинству“», — он писал далее в своем письме Владимиру Ильичу: «Впрочем, и теперь, еще сидя в болоте, я нахожу излишним поделиться с вами некоторыми замечаниями. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что члены и сторонники ЦК, находящиеся за границей, слишком много значения придают непосредственно борьбе со сторонниками ЦО, то есть обсуждению спорных вопросов вместо того, чтобы отнимать почву из-под ног противника. Ведь в конечном счете возражения господ из ЦО сводятся к тому, что ЦК в настоящем составе и при нынешней тактике недееспособен... Я, напротив, убежден, что нынешний ЦК дееспособен и действует. Но он делает роковую ошибку, никогда не выступая публично с заявлениями об условиях и о содержании своей деятельности и об ее проявлениях. И благодаря этому для заграничной публики он миф, и поэтому-то здесь так много сторонников ЦО.

Конечно, условия тайной организации допускают очень мало публичности. Тем менее простительно непользование публичностью там, где она возможна. Главное публичное проявление деятельности — печать. Ну разве же простительно для ЦК целую зиму и весну молчать о том, что он выпускает в России массу печатного материала? Еще до опубликования курьезного отчета на задворках № 66 ЦО мне удавалось затыкать рот противникам ссылкой на мои частные сведения об изданиях, выпущенных в России. Необходимо немедленно публиковать о всякой прокламации, о всякой брошюре, выпущенной в России из типографии ЦК.

Далее, насколько позволят конспиративные условия, желательно опубликование того, каким местным комитетам и в какой мере ЦК оказывал поддержку людьми, средствами и т. п.

Нужно публиковать не только доходы экспедиции, но и ее расходы на типографию и прочее; иначе получается впечатление, будто эти доходы бесплодно поедаются ЦК.

Нужно публиковать количество изданий, взятых ЦО, платно и бесплатно, а также степень помощи от Заграничной лиги для ЦК (то есть в отчете показать нуль).

Необходимо делиться с публикой сведениями о всяких новых препятствиях в работе (например, усиление шпионства на границе, вмешательство германского правительства) и т. п., так же как и сведениями о всяком успехе ЦК. Вообще нужно делиться с широкой публикой как можно большим количеством сведений, чтобы устанавливалась и крепла моральная связь между ЦК и партией.

Литературные силы ЦК, и вы на первых местах, должны проявлять себя статьями в ЦО и брошюрами не полемическими только против ЦО, а имеющими целью непосредственную борьбу с буржуазией и самодержавием. Для этого, конечно, нужно прежде всего постараться побольше отвлечь собственную мысль от изнурительных вопросов о «большинстве и меньшинстве». Практичнее было бы чаще напоминать о себе хотя бы в аптекарских дозах. (Мне кажется, что никто лучше

вас не мог бы написать статью о проекте программы, опубликованной недавно в «Революционной России». Без ответа нельзя оставить эту программу и лучше не уступать этого дела членам ЦО.)

Лучшим ответом на безобразное письмо Плеханова в № 66 было бы скорейшее опубликование протоколов Совета...

*Таврионов».*

Почему-то этим, до того не употреблявшимся им псевдонимом, подписал он это очень для него важное письмо. Он, конечно, и не заметил тогда, что второй половиною письма он опровергает первую его половиною.

Конечно же, он уже не только «примкнул к «большинству», но уже встал в его ряды, жил его радостями и тревогами и уже боролся за его идеи, за торжество этих идей. Боролся искренне и убежденно, хотя — вторая половина письма это убедительно показывает, — сохранилась еще у него немалая доля политической наивности и недостаточно знаком он был с условиями конспиративной работы представителей ЦК и местных партийных комитетов в России и — самое главное — недоучитывал он тогда всей опасности меньшевизма как политической силы, противостоящей партии рабочего класса.

Словом, он уже решил для себя все до конца.

И ехал он в Париж не для того, чтобы устранить тень сомнения, а потому лишь, что дал себе слово не определять во всеуслышание своей политической позиции до того, как переговорит с Катей.

А слово свое — независимо от того, себе ли дал или кому другому, — он всегда держал крепко.

4

За радостью встречи, вполне понятной после столь долгой разлуки, угадывалась настороженность.

Михаил Степанович сразу почувствовал ее и даже не удивлялся тому, что заметил. Он слишком надолго задержался в Женеве. Это не могло не встревожить, не огорчить, наконец, не обидеть Катю.

Неясно было лишь, вызвана ли Катина настороженность тем, что он не особенно торопился к ней, или тем, что Кате стали известны его дружеские отношения со сторонниками «большинства»?

В заданном вопросе можно услышать и то и другое.

— От Женевы до Парижа несколько часов езды. У тебя ушло несколько недель. По-видимому, ты ехал на малороссийских волах? Или, может быть, Париж стал дальше от Женевы?

У него едва не вырвалось в ответ: «Дальше, чем я предполагал».

Но как всегда при недолгих размолвках с Катей не позволил выплеснуться первому своему раздражению. Для предстоящего нелегкого разговора нужны были ясная, не замутненная раздражением голова и душевное спокойствие. Ведь он приехал, чтобы обсудить с Катей вопрос, ж и з н е н н о важный для него. Да и для нее. Приехал в надежде убедить, точнее переубедить ее. И начинать разговор с мелкой пикировки было бы несерьезно и неразумно.

Он и начал с того, что постарался, чтобы она не только поняла, но и почувствовала, что для него наступила та самая минута жизни, когда необходимо во что бы то ни стало окончательно определиться. И что это очень для него важно потому, что это раз и навсегда.

— Разве ты еще не определился? — с некоторой долей иронии спросила Катя.

В самом тоне вопроса иронии не слышалось, но он очень хорошо знал этот взгляд с легким прищуром.

— Может быть, я уже и смог бы сказать, что определился... — сдержанно, и словно не замечая ее иронии, ответил Михаил Степанович. — Если бы не узнал, что ты придерживаешься иных взглядов.

— Раньше, мне помнится, ты сам определял свои взгляды,— заметила Катя.

— Раньше было проще,— возразил Михаил Степанович.— У нас были одни взгляды.

— Согласись,— сказала Катя,— что у меня гораздо больше оснований считать правильными не твои, а свои,— она подчеркнула это слово,— взгляды. Я приехала за границу три года назад, а не три недели, как ты. В Организационном комитете работала я, а не ты. На съезде была я, а не ты. И, наконец, диктаторские замашки новоявленного Бонапарта испытала на себе я, а не ты!

Катины глаза сверкали. И трепетали ноздри короткого прямого носа. Как все это ему знакомо!.. Уж ему-то ясно, что обиды (а свое избрание в состав ЦК Катя восприняла как личную обиду) она не забудет и не простит.

Он понимал, что надежды его переубедить Катю иллюзорны и беспочвенны. Но Катя в своем бурном ожесточении была похожа на ребенка, разгневавшегося на грозу, и негодовать по поводу ее ожесточения было все равно что сердиться на ребенка. Он долго и терпеливо, стараясь не обращать внимания на ее язвительные реплики, которыми она то и дело перебивала его речь, объяснял ей, в чем живая сила идей сторонников «большинства» и в чем книжная слабость взглядов и убеждений их противников. Но семена падали на каменистую почву и вряд ли можно было ждать добрых всходов.

Сильнее всего гневалась Катя на жестокую тиранию, процветающую, по ее словам, в женевской группе сторонников «большинства».

— Это даже не самодержавие,— горячилась она,— это какая-то восточная деспотия. Нет аллаха, кроме аллаха, а Владимир Ульянов — пророк его!..

— Это же все беллетристика, все эти вопли о тирании,— возражал он Кате.— Я здесь всего несколько недель и уже успел убедиться, что на самом деле все совершенно не так.

И он рассказал Кате, как, приехав в Женеву и наслышавшись о тирании и бонапартизме, сразу же пошел к большевикам с тем, чтобы напрямую добраться до истины, чтобы своими глазами увидеть и на себе испытать, как проводятся в жизнь принципы бюрократизма и бонапартизма. И ничего похожего не обнаружил.

— Ты всегда был простодушен и доверчив до наивности,— сказала Катя.— А сейчас еще к тому же начинаешь впадать в детство. Как ты не можешь понять: не станут же тебя отпугивать с первой минуты. Вот когда по-настоящему влезешь в хомут большевистской дисциплины, тогда поймешь...

Вот насчет хомута не стоило бы ей говорить. Подобных разговоров он не терпел. Уж ей-то, знавшей его, знавшей, как предан он делу партии, не следовало пугать его дисциплиной.

И он первый раз в течение всего разговора ответил ей резко. В том смысле, что дисциплина страшна только трусу или бездельнику. И повторил: только бездельнику или трусу.

Катя не удивилась его резкости. И сама ответила достаточно резко, сказав, что тому, кто не осмеливается сам принять решения, ссылка на дисциплину самое надежное прикрытие.

После этого можно было бы и закончить разговор. Но он принял еще одну — последнюю — попытку...

— Не затем я ехал к тебе, Катя...

Но она не приняла протянутой руки.

— Конечно,— сказала она, жестко усмехнувшись,— ты ехал в полной уверенности, что приедешь, возьмешь меня на веревочку и уведешь в свое бонапартистское логово. Напрасные надежды!..

Что оставалось делать?.. Признать свое поражение (ехал с целью ее переубедить) и уйти?.. Он так и поступил.

Но у него еще теплилась надежда и, уходя, он сказал Кате, что задержится еще на несколько дней в Париже и перед отъездом в Женеву обязательно зайдет к ней.

— Буду рада,— сказала Катя достаточно вежливо.

## 5

Отправляясь в Париж, Михаил Степанович и не собирался там задерживаться.

После того как решится главное дело, намеревался побродить несколько дней по великому городу, коснуться ногою камней, какие попирали своими стопами герои Стендаля, Гюго и Бальзака, окинуть хотя бы беглым взглядом Лувр, Нотр-Дам и Эйфелеву башню, побыть на площади Бастилии и кладбище Пер-Лашез — и побыстрее обратно в Женеву.

Он покинул Россию не для того, чтобы путешествовать по заграницам, а для того, чтобы работать и бороться. Больше всего пользы мог он принести сейчас, именно находясь в Женеве. Поэтому быстрее назад в Женеву. Парижу можно уделить всего несколько дней, от силы неделю-другую...

Так Михаил Степанович располагал, едучи в Париж. Однако же главное дело решилос не так, как он рассчитывал. И слабая надежда, а точнее сказать, тень слабой надежды на то, что Катя — теперь уж скорее Екатерина Михайловна Александрова, по мандату Второго съезда Штейн,— все же в конце концов о б р а з у м и т с я,— была, по сути дела, лишь подсознательной попыткой оттянуть на какое-то время признание в полном своем поражении.

К тому же вскоре появилась причина поторопиться с возвращением в Женеву. В Париж приехала Мария Эссен. Разыскала Михаила Степановича и поведала ему такое, что определило до конца дней всю его дальнейшую жизнь.

Мария приехала с заданием Владимира Ильича. Он поручил ей разыскать в Париже Богданова, Луначарского и... его, Михаила Степановича Ольминского, и выяснить, когда они смогут приехать в Женеву.

— Их обоих я сразу отыскала,— рассказывала Мария,— а вот с тобой пришлось помучиться. Ты, как видно, не привык еще к европейской жизни, продолжаешь конспирировать по расейской привычке. С большим трудом нашла на твой след.

— Это он сам сказал тебе, что я ему нужен? — спросил Михаил Степанович.

— Конечно, сам,— ответила Мария и улыбнулась.— У него нет адъютантов, он не генерал.

— А зачем? — пытаюсь скрыть охватившее его волнение, спросил Михаил Степанович.— Зачем я ему нужен?

Мария сказала, что Владимир Ильич давно уже вынашивает мысль о создании партийной большевистской газеты.

— Владимиру Ильичу нужны партийные литераторы,— продолжала Мария,— люди, умеющие держать перо в руках. Вот он и послал меня за вами.

— Мне понятно, что он послал за Богдановым и Луначарским,— как бы про себя произнес Михаил Степанович.— Это известные литераторы... Но за мной?..

— Ты что!..— Мария сдвинула к переносью густые темные брови.— Знаешь,— сказала она строго,— самоуничижение паче гордости!

— При чем тут самоуничижение?.. Но откуда он мог знать о моих литературных потугах?

— Во-первых, от Богданова, а потом,— Мария улыбнулась,— и мне кое-что известно. Я рассказывала Владимиру Ильичу о твоих олекминских статьях, он тогда сказал: «Так вот откуда Ольминский!»



Я даже читала ему твои стихи про некий «объект эстетично прекрасный»...

Михаил Степанович укоризненно покачал головой.

— Вот прекрасно! — сказал он с упреком. — Лучше ты ничего не смогла придумать?.. Представила меня ему как шута горохового...

— Что ты! — воскликнула Мария. — Владимиру Ильичу стихотворение очень понравилось. Он смеялся от души. И сказал, что люди, которые и в якутской ссылке сумели сохранить чувство юмора, — настоящие борцы. И еще добавил, что очень надеется на твой литературный талант. Ну а если говорить всерьез, то больше всего о тебе Ильич узнал от тебя самого.

— То есть?.. — не понял Михаил Степанович.

— На Владимира Ильича произвело большое впечатление твое письмо, — пояснила Мария. — Он рассказал мне подробно о письме и добавил: «Ваш друг, судя по всему, человек серьезный. Не торопыга, во всяком случае. Прежде чем отрезать, отмерит семь раз. И привык жить своим умом. Именно такие люди нам нужны».

Михаил Степанович тут же засобирался в Женеву. Но верный своему слову, сообщил Кате, что зайдет к ней, как было условлено между ними.

Явилась мысль свести Катю с Марией. Может быть, женщины скорее найдут общий язык. Конечно, суть дела не в этом. Просто у Марии больше аргументов, нежели у него, она отлично знает положение дел в России. Может быть, ей удастся переубедить Катю.

Мария выслушала его и сказала:

— Нет, мне эта задача не по силам. Екатерину Михайловну не смогли переубедить даже Владимир Ильич вдвоем с Надеждой Константиновной.

— Как?.. — удивился Михаил Степанович. — Катя встречалась с Владимиром Ильичем?.. Она что же, знакома с Лениным?

— Не просто знакома, а даже останавливалась в семье Ульяновых, когда после Олекминска приехала в Лондон.

— Тогда я ничего не понимаю, — честно признался Михаил Степанович.

— Но ты понимаешь, что мне ходить к ней незачем? — спросила Мария.

— Понимаю, — сказал он. — Пойду один...

Пришел точно в назначенное время, но Кати дома не застал. А открывшая дверь консьержка передала ему, что русская дама уехала за город к знакомым и вернется, вероятно, только через несколько дней.

В тот же вечер Михаил Степанович уехал из Парижа.

## 6

Вскоре обстоятельства так сложились, что Михаилу Степановичу посчастливилось прожить целый месяц в самом тесном соседстве с семейством Ульяновых.

Это было в августе 1904 года. А месяцем раньше, в июле, меньшевики, захватившие к тому времени и ЦО и Совет партии, руками большевиков-примиренцев нанесли большевикам-ленинцам тяжелый удар, от которого — так они надеялись — Ленину и его сторонникам не удастся оправиться.

Удар был и коварным и жестоким.

Три примиренчески настроенных члена ЦК (Глебов-Носков, Красин и Гальперин) за спиной Ленина опубликовали «Заявление Центрального комитета РСДРП», получившее позднее название «Июльской декларации».

В преамбуле «Декларации» было сказано:

«Центральный комитет в полном своем составе, — за исключением

одного члена,— обсуждал вопрос о современной борьбе групп внутри партии. После обмена мнений е д и н о г л а с н о принята следующая резолюция...»

Фальшью и криводушием «Декларация» была напитана, начиная с этих первых ее строк.

Начиная с утверждения о «полном составе». В ЦК, кроме упомянутой уже тройки примиренцев, состояли: Ленин, Курц (Ленгник), Зверь (Мария Эссен), Гусаров, Землячка, Травинский (Кржижановский). Ленгник был арестован в России, но все остальные были на свободе и наглым самоуправством было, собравшись в т р о е м, именовать себя «полным составом» и, игнорируя мнение остальных ч е т ы р е х членов ЦК, тайком принимать е д и н о г л а с н ы е решения.

Не говоря уже о том, что неуклюжая попытка завуалировать о т с т р а н е н и е Ленина (признанного вождя большевиков!) фальшивой и трусливой фразой «за исключением одного члена»,— была крайним проявлением бесстыдства и политического цинизма.

Тройка цекистов-примиренцев полностью солидаризировалась с позицией меньшевистской редакции «Искры», признав, что очередной съезд партии, агитацию за созыв которого вели большевики, «нуждами практической деятельности не вызывается» и «при данных обстоятельствах явился бы серьезной угрозой единству нашей партии». Поставив, таким образом, важнейший вопрос о съезде с ног на голову, тройка примиренцев решительно высказалась «против созыва в настоящее время экстренного съезда, и против агитации за этот съезд».

Для того чтобы лишить Ленина возможности бороться с примиренцами и с подтасованной «Июльской декларацией», тройка приняла специальный пункт:

«12. Установить за границей между товарищами Глебовым и Лениным следующие отношения:

а) тов. Глебову поручается заведование всеми делами ЦК за границей, как-то: сношения с ЦО, посылка людей в Россию, касса, экспедиция, типография, разрешение к печати в партийной типографии различных произведений и пр.

б) тов. Ленину поручается обслуживание литературных нужд ЦК; печатание его произведений наравне с произведениями остальных сотрудников ЦК происходит каждый раз с согласия коллегии Центрального комитета».

И после этого уже прямой издевкой звучал следующий пункт:

«13. Решено напомнить тов. Ленину об исполнении его прямых обязательств перед ЦК как литератора. Собрание констатирует печальный факт слабого участия его в литературной деятельности Центрального комитета».

Таким образом, Ленин был связан по рукам и ногам и, по существу, лишен не только прав члена ЦК, но и прав рядового члена партии.

Предательство тройки цекистов-примиренцев потрясло Ленина. «Это издевка над партией,— сказал он.— Это хуже измены Плеханова».

Необходимо было иметь ленинское мужество, чтобы не рухнуть под таким ударом. Ленин не рухнул, выстоял. Но непрерывная, затянущаяся на месяцы и годы ожесточенная внутривнутрипартийная борьба изнурила его. Сдало железное здоровье. Появилась томительная бессонница. Часами лежал он, не смыкая глаз.

Надежда Константиновна, не оставлявшая его ни на минуту, решительно настояла на том, чтобы отставить в сторону все дела и дать себе хотя бы короткий отдых.

Взвалили на спину рюкзаки и отправились вдвоем «бродяжить» в горы.

Надежда Константиновна в своих воспоминаниях так рассказывает об этих днях:

«Мы с Владимиром Ильичем взяли мешки и ушли на месяц в горы... Мы забирались в самую глушь, подальше от людей. Пробродяжничали мы месяц; сегодня не знали, где будем завтра, вечером, страшно усталые, бросались в постель и моментально засыпали.

Деньжат у нас было в обрез, и мы питались больше всухомятку — сыром и яйцами, запивая вином да водой из ключей, а обедали лишь изредка. В одном социал-демократическом трактирчике один рабочий посоветовал: «Вы обедайте не с туристами, а с кучерами, шоферами, чернорабочими; там вдвое дешевле и сытнее». Мы так и стали делать... Владимир Ильич с особенным удовольствием шел обедать в застольную, ел там с особым аппетитом и усердно похваливал дешевый и сытный обед. А потом мы надевали наши мешки и шли дальше. Мешки были тяжеловаты: в мешке Владимира Ильича уложен был тяжелый французский словарь, в моем — столь же тяжелая французская книга, которую я только что получила для перевода. Однако ни словарь, ни книга ни разу даже не открывались за время нашего путешествия; не в словарь смотрели мы, а на покрытые вечным снегом горы, синие озера, дикие водопады.

После месяца такого времяпрепровождения нервы у Владимира Ильича пришли в норму. Точно он умылся водой из горного ручья и смыл с себя всю паутину мелкой склоки. Август мы провели вместе с Богдановым, Ольминским, Первухиным в глухой деревушке около озера Lac de Gré».

Ольминского Надежда Константиновна пригласила присоединиться к их компании как старого знакомого. С Михаилом Степановичем и с Екатериной Михайловной она была знакома еще по Петербургу. Она даже бывала в их скромной квартирке на пятом этаже доходного дома по Поварскому переулку. И именно Екатерина Михайловна в свое время приобщила ее к пропагандистской деятельности в рабочих кружках на Выборгской стороне.

Михаил Степанович принял приглашение и с огромной радостью и в то же время с некоторым трепетом. Уважение его к Владимиру Ильичу было столь велико, что его правильнее было бы назвать преклонением. Первое время Михаил Степанович несколько дичился и как-то ступевывался в присутствии Ленина. Но Владимир Ильич держал себя очень просто — не было у него той барской осанки и покровительственной снисходительности по отношению к рядовым членам партии, которые всегда отличали Плеханова, — и очень скоро Михаил Степанович освоился и почувствовал себя легко и свободно в обществе Ильича.

Часто всей веселой компанией отправлялись на прогулки по живописным окрестностям. Каждый день ходили купаться на озеро. Владимир Ильич был душой общества; он много шутил, весело смеялся шуткам друзей, охотно заводил песню. Михаил Степанович не решался присоединиться к хору — его бог обделил музыкальным слухом — но зато он проявил себя как стихотворец: дописал куплет к популярной и часто исполнявшейся в их компании «Дубинушке», который понравился всем, и особенно Владимиру Ильичу:

Новых песен я жду для родной стороны,  
Но без горестных слов, без рыданий,  
Чтоб они, пролетарского гнева полны,  
Зазвучали призывом к восстанью.

Конечно, не одним безмятежным весельем наполнены были дни. Владимир Ильич обсуждал с товарищами и ближайшие планы и далекую перспективу. Все понимали, что сейчас как никогда важно, чтобы партийные комитеты в России были осведомлены о происходящих в партии событиях, чтобы им стала понятной вся подоплека внутрипартийной борьбы. Для этого необходимо было потоку меньшевист-

ских статей и брошюр противопоставить большевистское партийное слово.

После того, как партийная типография оказалась в руках цекистов-примиренцев, группа большевиков-ленинцев организовала «Издательство социал-демократической партийной литературы В. Бонч-Бруевича и Н. Ленина». И теперь надо было собирать и сплачивать собственные литературные силы и налаживать работу только что созданного издательства.

И когда Владимир Ильич как-то посетовал, что слабы еще большевистские литературные силы и трудно противопоставить что-либо равнозначное потоку статей таких опытных полемистов, как Плеханов, Мартов, Аксельрод, Засулич и таких мастеров словесной эквилибристики, как Троцкий,— то Богданов возразил в том смысле, что иногда мы не замечаем литераторов, которые рядом с нами. Когда же Владимир Ильич спросил, о ком речь, Богданов назвал Ольминского.

Ленин сказал, что он знает о литературных способностях Ольминского, но противники-то будут очень уж матерые...

— Я печатал его статьи,— сказал Богданов.— У него острое перо. К сожалению, есть у него и изъян: излишняя скромность, склонен недооценивать себя и свои способности. Его надо подбодрить и воодушевить.

С Ольминским поговорили. И ободрили, и воодушевили, и нацелили.

Михаил Степанович был горд доверием Ильича. Он понимал, что вести полемику с меньшевистскими лидерами дело нелегкое. На их стороне опыт литературный и политический, а кроме того, огромный личный авторитет.

Но было у него преимущество. И немалое. Он отстаивал правое дело. Он вступал в бескомпромиссную борьбу за партию. За партию нового типа, за партию рабочего класса. Уверенность в своей правоте множила силы и уже не страшили ни эрудиция его противников, ни их высокое положение в партийной иерархии.

Он был готов биться не на живот, а на смерть.

## 7

Самым опасным противником был, конечно, Плеханов. Это не значило, что Михаил Степанович склонен был сбросить со счетов Мартова, Аксельрода, Засулич, Потресова. Каждый из них, и даже шустрый мышонок Троцкий, мог укунить, и очень даже больно.

Но Плеханов и по марксистской эрудиции, и по широте мышления, и по авторитету как в эмигрантских кругах, так и среди профессиональных революционеров в России стоял на голову выше всех своих сподвижников по новой «Искре».

И когда Михаил Степанович сказал своим друзьям, что в обдумываемых им статьях основной удар наносится по Плеханову,— мнения разделились.

— Только так! — решительно подтвердил Мартын Николаевич Лядов и даже кулаком по столу пристукнул.— Бить по главной цели! Пантелеймон Николаевич Лепешинский не был столь категоричен. Прямо возражать Лядову он не стал, но осторожно заметил, что, может быть, для начала лучше бы выбрать противника «по зубам». Не замахиваться сразу на такого колосса, как Плеханов...

— Дело ведь не в персонах, а в идеях. А они сейчас одни что у Плеханова, что у Мартова, что у Троцкого.

Но Пантелеймона Николаевича никто не поддержал, и он остался в одиночестве.

— Идеи действительно одни,— согласился Александр Александрович

вич Богданов,— и с этой точки зрения удар по Плеханову ли, по Троцкому ли — удар по одной и той же идее. Только резонанс разный.— И, усмехнувшись, добавил: — Так уж лучше по митрополиту.

Если бы Михаил Степанович выбрал себе менее именитого противника, то, вероятно, статьи написались бы быстрее. Но вряд ли удалось в такой мере.

Хорошо зная литературный и полемический талант Плеханова, относясь с почтительным уважением к его тщательно выверенной логике и разящему сарказму, Михаил Степанович особое внимание обратил на то, чтобы в каждой своей строке быть предельно точным в доводах и предельно метким в ударе.

И ни на минуту не забывал любимого своего Салтыкова-Щедрина, понимая, что точно нацеленная сатира сработает надежнее самых убедительных, самых серьезных аргументов.

Первые три полемические статьи Михаила Степановича Ольминского «Наши недоразумения», «Недоразумения рассеялись» и «Орган без партии и партия без органа» были выпущены отдельной брошюрой вместе со статьями Рядового (псевдоним А. А. Богданова) в сентябре 1904 года.

Полные сатиры и бичующей иронии, статьи Михаила Степановича язвительно высмеивали меньшевистских «генералов», окопавшихся в незаконно захваченном бастионе центрального органа и взорвавшихся оттуда с барским высокомерием на рядовых революционеров, которые, не щадя жизни, беззаветно боролись в местных партийных организациях по всей огромной стране от Питера до Владивостока, от Архангельска и Вологды до Баку и Одессы, сплачивая рабочих вокруг идей марксизма и закладывая основы будущей пролетарской партии.

В работе над этими статьями и сам их автор как бы родился заново. Всего несколько недель назад он совершенно искренне (кокетство или самоуничтожение всегда были органически противны его натуре) писал Ленину: «Единственная практическая деятельность, на которую я считал себя годным без риска наглупить, состояла лишь в том, чтобы стукать штемпелями»...

И вот гадкий утенок обернулся лебедем. Он нашел свое место в общей борьбе. Он поверил в свои силы и в короткий срок стал ближайшим соратником Ленина.

Послушно и позорно капитулировавший перед меньшевиками ЦК в неимоверной натуге пытался поставить Ленина на колени.

Заграничным представителем ЦК вместо Ленина был назначен Глебов, он же Носков. Глебов-Носков начал с того, что отстранил от практических дел — руководства партийной типографией, экспедицией и партийной кассой — всех ленинцев (Лядова, Фотиеву и других) и поставил своих людей. Ленин, оставаясь формально членом ЦК, не имел даже права печатать свои работы в партийной типографии без разрешения Носкова. Тем более лишены были этого права все сторонники Ленина.

Казалось, меньшевики одержали наконец полную победу. В их руках были и редакция центрального органа, и Совет партии, и Центральный Комитет, и транспорт, и типография, и партийная касса. У большевиков, казалось, не осталось ничего.

Но так только казалось. У Ленина и его соратников осталось главное: убежденная вера в свою правоту, ясное понимание целей борьбы и мужественная готовность бороться до конца за осуществление этих целей. И они продолжали борьбу за партию.

Статьи Михаила Степановича были сданы в типографию еще до носковского «переворота». Но завершалось их печатание уже при ставленниках Носкова. И когда брошюра со статьями Галерки (псев-

доним Ольминского) и Рядового (псевдоним Богданова) была готова к выпуску, ее по указанию Носкова пытались задержать как отпечатанную без санкции ЦК.

Ленину пришлось обратиться к сотрудникам типографии с обстоятельным письмом:

«Заведующему партийной типографией т. Илье и партийным наборщикам.

Независимо от вопроса о законности притязаний т. Глебова (по этому вопросу все материалы переданы мной гг. Олину, Бонч-Бруевичу и Лядову) я считаю необходимым заявить, что брошюру Рядового и Галерки заведующий и наборщики во всяком случае обязаны выдать авторам ее по следующим основаниям:

1) брошюра эта печатается всецело на средства авторов, составляя их полную собственность.

2) распоряжение о наборе и печатании ее в партийной типографии отдано было агентами ЦК задолго до появления т. Глебова с его «реформами». Последующие решения хотя бы и законных собраний ЦК никоим образом не уничтожают сделанных уже законных распоряжений лиц, состоявших агентами ЦК.

3) авторы отнюдь не настаивают на том, чтобы на брошюре было обозначено, что она печаталась в партийной типографии.

Отказ в немедленной выдаче брошюры авторам я считал бы безусловно прямым захватом чужой собственности.

Член ЦК *Н. Ленин*».

Только после этого энергичного вмешательства Владимира Ильича брошюра была выдана ее авторам и разослана всем зарубежным группам и всем партийным комитетам в России.

### 8

Если бы меньшевистский лазутчик Глебов-Носков догадался, какая поистине взрывная сила заключена в маленькой брошюре двух неведомых ему литераторов, костыми бы лег, но не выпустил ее из стен типографии.

Не знал, не догадался, недосмотрел. Не хватило ни эрудиции, ни интуиции.

И брошюра сыграла свою историческую роль в борьбе за III съезд партии, за успешный выход из искусственно созданного тупика.

Поводом для написания статьи «Наши недоразумения» послужила статья Плеханова «Централизм или бонапартизм?» с выразительным подзаголовком «Новая попытка образумить лягушек, просящих себе царя». Статья была опубликована в новой «Искре» в № 65 1 мая 1904 года. Плехановская статья была ответом на письмо уральцев — представителей Уфимского, Среднеуральского и Пермского комитетов.

Уральские революционеры высказали в своем письме озабоченность и тревогу по поводу нового курса «Искры», утратившей истинную партийную принципиальность и сползающую на осужденные II съездом позиции «экономистов» и «рабочедельцев».

Свое письмо в редакцию центрального органа уральцы заканчивали решительным требованием:

«В революционной пролетарской партии должно быть полное единение между ЦО и ЦК, они должны составлять вполне солидарную, спешную коллегию. Довольно мы плыли на утлых ладьях по воле течений, мы строим большой корабль, последнее слово знания и искусства, для него нам нужен хороший командир, мы поплывем с ним по течению, против течения и вынесем бури... Неужели мало крови потерял рабочий класс, мало разве страдал он не только от ударов вра-

гов, но и от собственной слабости и неподготовленности, чтобы его вожди и организации не научились быть получше повивальных бабок, чтоб они не научились стать акушерами истории, вооруженными всем знанием, опытом и техникой?»

Отвечая на письмо уральцев в № 65 «Искры», Плеханов весьма искусно постарался обойти принципиальные вопросы, но зато с буквоедской педантичностью придирался к каждой недостаточно четкой формулировке и с барской снисходительной усмешкой поучал провинциалов правилам партийного этикета.

Барски пренебрежительное отношение к уральским большевикам достаточно выпукло выразилось в самом подзаголовке плехановской статьи: «Новая попытка образумить лягушек, просящих себе царя».

Интеллигент Плеханов позволил себе презрительно отнестись к рабочим, своим товарищам по партии.

Вождь Плеханов позволил себе зычный генеральский окрик по адресу нижних чинов, хотя и состоящих в одной с ним партии. А кроме того, в полемическом раже приписал уральцам такое, чего у них и в мыслях не было.

Вот за этот его огрех и ухватился прежде всего Михаил Степанович. Разобрав несколько абзацев плехановской статьи, сопоставив их с текстом письма уральцев и показав беспочвенность плехановских обвинений и заклинаний, Михаил Степанович не без яда продолжил:

«Но если кто-нибудь скажет, что, приписывая уральцам, чего они не говорили, сам Плеханов совершил подтасовку с полемическими целями, то я буду протестовать самым решительным образом. Подтасовка предполагает сознательность. Плеханов же в творческом экстазе незаметно для самого себя перешел от публицистики к беллетристике и принял свой вымысел за реальность. Это психическое явление хорошо известно художникам слова:

Порой опять гармонией упыюсь,  
Над вымыслом слезами обольюсь.

В нашей среде художественные таланты так редки, что я от всей души приветствую проявление таланта у Плеханова. Не нужно только принимать беллетристику за публицистику, против чего я счел своим долгом предостеречь лиц, которые будут перечитывать статью «Централизм или бонапартизм?» в № 65-м „Искры“».

Подробно разбирая плехановскую статью, Ольминский сумел показать, как оторваны Плеханов и его сподвижники от прямого революционного дела, которое вершат в России революционеры-подпольщики. Сумел показать, что у Плеханова и иже с ним — замкнувшихся в своем тесном эмигрантском мирке и оторвавшихся от боевой революционной работы — нет морального права командовать людьми, ежеминутно жертвующими своей свободой и самой жизнью.

И Михаил Степанович находит наиболее точные слова, чтобы четко охарактеризовать и противопоставить работу революционера в российских и зарубежных условиях:

«Не нужно забывать, что субъективно деятельность российского революционера определяется чисто идеалистическими мотивами. Спокойствие, безопасность, здоровье, свобода, самая жизнь приносятся в жертву идее. Много ли места остается злой воле?»

За границей возможны случаи, когда работа на партию является вопросом честолюбия, общественного влияния или насущного хлеба. Забывая об этом, мы будем иметь новый источник недоразумений».

Последний абзац бил зарубежных «генералов», что называется, не в бровь, а в глаз.

Свою блестяще написанную статью Михаил Степанович завершает столь же блестящей концовкой:

«Я окончил статью и задумался: каким псевдонимом подписаться?»

Мне вспомнился Мартов и его великолепное презрение к галерке, которая рукоплещет Ленину... Мартов презирает галерку. Для кого же он пишет? Неужели для генералов кресел и для купчих бельэтажа?

Я люблю театр, и почему-то так случается, что всегда попадаю на галерку. Публика галерки мне по душе, я чувствую себя здесь между своими. И к вам, товарищи,— по месту в театре и по работе в партии,— к вам, рабочие, студенты, курсистки и всякого рода поднадзорные, будет мое последнее слово. Я обращаюсь к вам с просьбой извинить меня за то, что свой единоличный труд осмеливаюсь подписать нашим общим собирательным именем.

Подпись: Г а л е р к а ».

Великолепна сатирическая концовка второй Галеркиной статьи «Недоразумения рассеялись». В ней Галерка разбирает с пристрастием (так и хочется сказать — препарирует) статью Мартова в № 69 «Искры», в которой второй по рангу меньшевистский корифей, ставя вопрос с ног на голову, пытается доказать, что только меньшевики заботятся о создании пролетарской партии, большевики же ведут дело к тому, чтобы кучка интеллигентов командовала бессловесными и несознательными пролетарскими массами.

Галерка притворно соглашается с Мартовым и даже рукоплещет ему:

«Браво! Нет теперь в партии ни большинства, ни меньшинства, все стали добродетельными! Единство восстановлено!

А что скажет микроскопический абсолютист, неукротимый дезорганизатор Ленин? О, его мы теперь не боимся! Он сражен насмерть одним храбрым тамбовским дворянином, над его могилой прочитано Мартовым надгробное слово!»

Засим логически следует завершающий статью «апофеоз: члены редакции и сотрудники новой «Искры» держат над головой Мартова лавровые венки, перевитые номером 69 «Искры»... На заднем плане, над могилой Ленина, блестит свежий осиновый кол. Шествие под марш из оперы «Кармен» вокруг могилы Ленина».

И наконец отрезвляющее Галеркино предупреждение:

«Однако не пора ли литераторам меньшинства перестать чаровать публику сладкими вымыслами, не пора ли сказать о товарищах из большинства хоть слово прозы? На одной поэзии далеко не уедешь».

С особым блеском была написана третья, завершающая брошюру статья «Орган без партии и партия без органа». И самый сильный удар «великому Плеханову» нанесен был именно этой статьей.

Галерка обстоятельно рассказывает о всех потугах редакции новой «Искры» объявить Ленина диктатором, отлучить его от марксизма и политически гильотинировать его. С убийственным сарказмом Галерка замечает, что «за миржем самодержавия Ленина редакция готова забыть о самодержавии Романова. Редакционные мыши решили, что сильнее кошки зверя нет».

Особенно распалился Плеханов, опубликовавший в двух номерах «Искры» свой ф е л ь е т о н - л е в и а ф а н «Рабочий класс и социал-демократическая интеллигенция». Нет такого смертного греха, в котором Плеханов не обвинил бы Ленина.

«Ленин не понял ни Каутского, ни Энгельса, ни Маркса, то есть вообще он не понял научного социализма...», «Ленин изменяет марксизму...», «Как же Ленину не стыдно?» и т. д. и т. п.

«Уф, даже рука устала выписывать,— комментирует Галерка этот список злодеяний Ленина.— Сколько муки должен был вынести бедный Плеханов в продолжение трехлетнего незаконного сожительства с этим исчадием ада. Странно, конечно, что Плеханов только после трехлетнего интересного положения благополучно разрешился своим левиафаном...»



Сперва даже невдомек читателю, к чему это Галерка столь усердно цитирует один за другим все укоры Плеханова, адресованные Ленину. Но вслед за этим Галерка приводит небольшую цитату из статьи того же Плеханова «Ортодоксальное буквоедство», опубликованной всего год назад, в июне 1903 года.

Возражая в этой статье меньшевику Рязанову, Плеханов тогда писал:

«Ему, изволите видеть, хочется доказать, что прародительница русской социал-демократии, Группа «Освобождение труда», стояла на правильной точке зрения до тех пор, пока не была введена в искушение змием-искусителем Лениным... Змий-искуситель вообще никогда ничего не навязывал нам, а всегда действовал в идейном согласии с нами, как товарищ-единомышленник, нисколько не хуже нас понимавший великое значение правильной теории в нашем деле и нимало не склонный приносить ее в жертву практике (курсив мой). И если проект программы, предлагаемый нами российской социал-демократии, имеет свои недостатки, то за эти недостатки мы,— П. Аксельрод, В. Засулич и я,— ответственны ничуть не меньше, чем Ленин... Легенда о змие-искусителе... должна быть окончательно оставлена».

Сопоставив две эти исключаящие одна другую статьи, Галерка спрашивает:

«Когда было больше фальши в словах Плеханова, летом ли 1903 года или летом 1904-го?»

И после этого Галерка бьет наотмашь!..

«Поет ли тенор о первом сладком трепете любви, о надежде, торжестве, разочаровании, ревности и ненависти,— он овладевает нашим настроением; он изменчив, как настроение, и вправе быть изменчивым. Но политический деятель — не певец; он не вправе менять определения истинного и ложного в зависимости от настроения, которое, в свою очередь, зависит от взгляда, предмета, сердца или погоды. Импрессионизм, в известной мере законный в искусстве, неуместен в политике и в науке.

Но даже и импрессионистское творчество имеет свои законы: соответствие между содержанием и формой, гармония частей обязательны и для импрессиониста. Левиафан Плеханова по отсутствию чувства меры, по своей крикливой, дисгармонической «сурьезности» напоминает не столько произведение опытного литератора, сколько беспорядочные выкрикивания разгневанной фельдфебельши.

Ах! Они любили друг друга так долго, так нежно! Он был для нее краше солнышка. Но он охладел, отошел — и обьявила она его аспидам. Мы ее понимаем, мы даже в известной мере сочувствуем ей. Но жалок и смешон политический деятель, когда он раздражается проклятиями против мнимого Дон-Жуана, являясь перед публикой в растрепанном капоте обольщенной девицы».

Так о Плеханове еще никто и никогда не писал.

И еще одно обстоятельство приковывает внимание к этой замечательной статье: высокая принципиальность и абсолютная искренность автора.

Не было в партии, да и в целом мире человека, которого Галерка — Михаил Степанович Ольминский — чтит бы, уважал и любил больше Ленина. Но уход Ленина, пусть и вынужденный, из редакции «Искры» Михаил Степанович считал ошибкой. И прямо сказал об этом в своей статье.

Вероятно, по соображениям тактическим не следовало упоминать об этом в статье, разящей меньшевиков. Но Михаил Степанович не был политиком, он был и всегда оставался человеком открытой души, в бой всегда и на любого врага шел с поднятым забралом. И мнение свое высказывал откровенно и недвусмысленно.

Заканчивая статью, Галерка писал:

«В нашем отношении к партийному органу сказался пережиток кружкового периода: ...мы забыли, что ЦО является в известной мере представителем партии: поскольку редакция компрометирует орган, она компрометирует, тормозит и убивает нашу положительную работу. Попытка отмолчаться, уйти от дразги в другую работу, покинув орган на произвол нынешней редакции, — эта попытка превращается в уклонение от исполнения трудной партийной обязанности сделать орган достойным партии.

Центральный орган должен объединять партию... Центральный орган должен быть для нас такой же святыней, как красное знамя во время демонстрации и в момент восстания.

По отношению к партийному большинству редакция превратила наше священное красное знамя в казацкую нагайку.

Что ж, это отчасти заслужено нами: уклонение от прямой, хотя и трудной партийной обязанности не проходит безнаказанно для партии».

Владимир Ильич высоко оценил боевое выступление Галерки против меньшевиков.

Когда в связи с «носковскими реформами» затруднилось печатание статей, Владимир Ильич писал Бонч-Бруевичу:

«Пожалуйста, примите все и всяческие меры для ускорения выхода

- 1) брошюры Рядового и Галерки,
- 2) Вашего заявления с документами,
- 3) брошюры Галерки, посланной сегодня»<sup>1</sup>.

Примечательно, что в редакционных замечаниях на статью «Орган без партии и партия без органа» Ленин особо отметил: «Конец статьи, по-моему, очень хорош...»

Первые три статьи, преодолевая препоны, установленные Глебовым-Носковым, еще только прорывались к выходу в свет, а Галерка уже написал следующую статью. На сей раз это был ответ непримиримого большевистского публициста на печально известную «Июльскую декларацию» цекистов-примиренцев.

Статья называлась «Долой бонапартизм!».

Среди меньшевистских «генералов» стало признаком хорошего тона бросать Ленину обвинения в бонапартизме. Этот хлесткий термин Галерка обратил в бумеранг. С большим к тому основанием. Переворот в ЦК, учиненный Носковым и К<sup>о</sup>, был поистине бонапартистским.

Троица не только захватила власть, но и приняла все меры, чтобы сохранить ее за собой как можно дольше. Для этого она решительно высказалась против III съезда и запретила даже агитацию за созыв съезда.

Галерка так прокомментировал это:

«Члены ЦК вообразили себя польскими королями, которые, будучи однажды избраны, получали пожизненное право проводить не политику избирателей, а свою собственную королевскую политику».

И дальше:

«Я несколько колеблюсь признать членов ЦК за помазанников божьей милостью. Я склонен думать, что ЦК, как и всякая избранная коллегия, ответствен перед избирателями. Высказываясь против съезда, ЦК оттягивает момент осуществления своей политической ответственности. Я думаю, что всякие вообще коллегии и всякие лица поступают неприлично и некрасиво, что они марают свою честь, когда противятся требованию доверителей дать отчет в своих действиях. Но ЦК идет дальше: он прямо объявляет вредными всякие устные и пе-

<sup>1</sup> Брошюра Галерки «Долой бонапартизм!».

чатные разговоры (агитацию) о созыве съезда, которому он должен дать отчет... Отношение помазанников ЦК к вопросу о созыве съезда является точной копией отношения помазанников Романовых к вопросу о созыве земского собора. Трогательное единомыслие!»

И дальше Галерка так характеризует положение в партии, создавшееся после капитуляции ЦК перед меньшевиками:

«Теперь ЦК подвел себя под один знаменатель с Центральным органом. Единство в высших учреждениях восстановлено. Прежнее деление исчезло, настало новое:

Первая часть: их превосходительства и иже с ними.

Вторая часть: шпана, галерка, эхо, быдло, плебс, чернь — вообще все те члены партии, которые осмеливаются не кричать ура в честь их превосходительств».

Галерка безжалостно высмеивает цекистов-примиренцев, которые, запугивая партию «угрозой единству», на самом деле низкопоклонствуют и раболепствуют перед партийной аристократией:

«Я думаю, что ЦК преувеличивает барски капризный характер нашей аристократии... Если она теперь дошла до невероятных пределов каприза, то виновата в том не ее природная испорченность, а наша мягкость. Вместо того чтобы осадить капризников и идти своей дорогой, мы отмалчивались, а кое-кто даже юлил:

— Пожалуйте на диванчик! Чего хотите: лимонаду? чаю? Центральный орган? или местечко в Центральный комитет? Не прикажете ли с бисквитом?..

Нечего удивляться, что предмет ухаживания стал походя швыряться тарелками и закапризничался до чертиков».

Заключая статью, Галерка писал:

«Комедия кончена. Бонапартизм раскрыл карты.

Мы, убежденные сторонники республиканской организации партии, принимаем вызов... Мы будем действительно непримиримы в своей борьбе против бонапартизма».

Владимир Ильич в своих статьях и письмах неоднократно ссылался на эту брошюру Михаила Степановича Ольминского, указывая, что Галерка в ней «выступает от имени большинства», что «он от имени всех нас объявил войну» бонапартизму.

«По мере того, как складывается у нас *настоящая* партия,— писал в то время Ленин,— сознательный рабочий должен научиться... *требовать* исполнения обязанностей члена партии не только от рядовых, но и от «людей верха»...»

Тревожные дни августа и сентября отчаянно трудного 1904 года, дни, заполненные напряженной и вдохновенной работой, остались в памяти Михаила Степановича счастливейшими днями его жизни.

Михаил Степанович всегда считал и говорил, что встречей с Лениным началась лучшая часть его жизни, «та часть, которую можно назвать ленинской».

## II. Редактор «Правды»

### 1

Секретарь редакции сказал еще с порога:

— Хочу вас обрадовать, Михаил Степанович.

Редактор оторвался от статьи, которую правил.

— Чем же, мой дорогой?

— Пришло письмо от Владимира Ильича. Очень хвалит вашу статью в номере девяносто восьмом. Вот, взгляните: «Пользуюсь случаем, чтобы поздравить товарища Витимского...»

— Нет, вы уж позвольте, голубчик,— вежливо перебил его Михаил Степанович,— я с самого начала, по порядку...

И когда секретарь редакции вышел, Михаил Степанович сделал пометку на полях статьи и обратился к ленинскому письму.

Быстро пробежал глазами первые строки, в которых Ильич вторично сообщал редакции адрес крайне нужного зарубежного корреспондента. Далее Ильич просил по возможности быстрее переслать ему в Краков не доставленные своевременно номера петербургских газет...

А вот и о его статье:

«Пользуюсь случаем, чтобы поздравить т. Витимского (надеюсь, вас не затруднит передать это письмо ему)», — Владимир Ильич, как всегда, точен в соблюдении правил конспирации: прочитав эту фразу, кто может подумать, что Витимский работает здесь же, в редакции «Правды»? — «с замечательно удачной статьей в полученной мной сегодня «Правде» (№ 98). Чрезвычайно кстати взята тема и разработана в краткой, но ясной форме превосходно».

Впору и голове вкруг пойти!.. Получить такую оценку от Ильича, у которого не в обычае разбрасываться похвалами, дело незаурядное.

«Хорошо бы вообще от времени до времени вспоминать, цитировать и растолковывать в «Правде» Щедрина и других писателей «старой» народнической демократии. Для читателей «Правды» — для 25 000 — это было бы уместно, интересно, да и получилось бы освещение теперешних вопросов рабочей демократии с иной стороны, иным голосом».

А тут Ильич словно подслушал самые заветные его мысли... Из всех могучих русских писателей выделял он Щедрина, преклоняясь перед его выстраданной любовью к народу, воодушевляясь его ненавистью и презрением к кровососам всех рангов и восхищаясь его разящей сатирой.

Дочитал письмо до конца. Ильич был озабочен:

«Какой тираж «Правды»? Не думаете ли, что была бы полезна ежемесячная статистика, хотя бы краткая (тираж, название города и района). Какие могут быть соображения за то, чтобы не печатать ее. Если нет особых соображений, то следовало бы, мне кажется, печатать.

Чуть не забыл. Мы получили ряд жалоб из разных мест заграницы, что ни при подписке, ни при посылке денег за особые номера «Правда» не приходит. Я не получаю правильно теперь. Значит, несомненно, в экспедиции не все в порядке. Пожалуйста, примите меры познергичнее. Посмотрите сами письма из-за границы о подписке и добейтесь толку...»

В любом партийном деле для Ленина не было мелочей. А уж тем более во всем, что было связано с «Правдой».

«Правда» была любимым детищем Ленина. Мечту о ней — о политически зрелой и авторитетной ежедневной рабочей газете — Ильич вынашивал долгие годы. К осуществлению этой мечты он шел, создавая старую «Искру», затем создавая большевистские органы «Вперед» и «Пролетарий», и, наконец, последним шагом на этом пути было превращение еженедельной «Звезды» в ежедневную «Правду».

На всем этом долгом и многотрудном пути Михаил Степанович Ольминский был ближайшим соратником Ленина, не покидавшим его ни на минуту. Когда Владимир Ильич поставил как главную из очередных задачу создания большевистской газеты, сразу же встал вопрос: где взять денег хотя бы на выпуск первых номеров? Вопрос казался неразрешимым: партийная касса была в руках Носкова и компании.

Михаил Степанович достал из жилетного кармана золотые часы — единственную ценную вещь, каким-то чудом сохранившуюся после трудных месяцев эмигрантских скитаний, — и молча положил на стол. Его порыв захватил всех. Воровский накануне получил гонорар из какого-то парижского журнала. Он также подошел к столу и тоже молча выложил деньги. Вывернули карманы и остальные. Общими

усилиями собрали около тысячи франков. Прикинули: хватит на два с половиной номера.

С тем и начали.

Михаил Степанович по настоянию Ленина вошел в состав редакции большевистской газеты «Вперед» и сразу же стал там доверенным его лицом: когда Ленину случалось отлучаться из Женевы, например, в Лондон на III съезд партии, весь редакционный воз оставался на плечах Михаила Степановича.

III съезд партии в специальной резолюции одобрил деятельность газеты «Вперед» и выразил благодарность ее редакции. На базе газеты «Вперед» съезд создал центральный орган партии, назвав его «Пролетарий». Редакция осталась в том же составе: Ленин, Ольминский, Воровский, Луначарский. И порядки в редакции сохранились те же: Ленин с утра работал в библиотеке, оттуда он приносил статьи и заметки, написанные в синих ученических тетрадях. Все подготовленные материалы обязательно прочитывались всеми редакторами и обсуждались. Каждый высказывал свое мнение, и к мнению каждого ответственный редактор внимательно прислушивался.

Михаил Степанович был признанным авторитетом по части стилистики. И его замечания безропотно принимались всеми сотрудниками редакции; Владимир Ильич подавал тут пример всем остальным. И так как именно у Михаила Степановича был самый строгий редакторский карандаш, на него была возложена обязанность править все корреспонденции с мест.

К этой своей обязанности Михаил Степанович относился предельно добросовестно. Правда, кто-то из друзей, кажется, Лепешинский, наблюдая за беспощадным редакторским карандашом Ольминского, сказал однажды, что после его правки от статьи остается только закрывающая статью точка.

Но Михаил Степанович запротестовал и тут же опроверг его «гнусную клевету». И показал на примере. В корреспонденции описывалась демонстрация в Твери. Заканчивалась она такой фразой: «Явившаяся на место происшествия местная полиция арестовала восемь человек демонстрантов».

— Что скажете по поводу этой фразы? — спросил Михаил Степанович Лепешинского.

— Что же я могу сказать? Очень толково написано. Коротко и ясно, — ответил Пантелеймон Николаевич.

— Очень толково!.. Пустословие! Перевод бумаги! — резко возразил Михаил Степанович и пояснил: — Зачем писать «местная», разве в Твери может явиться полиция не местная, а, например, казанская? Дальше: «явившаяся на место происшествия» — да разве могла она арестовать, не явившись? А «полиция» — кто же арестует, кроме полиции? Наконец, «человек демонстрантов» — конечно, не коров и не прохожих. Вместо десяти слов, составляющих фразу, достаточно двух: «Арестовано восемь...» Так-то вот, батенька мой...

## 2

Михаил Степанович знал цену похвале Ильича. С уважением относился и к его укору, хотя переживал его всякий раз трудно, с болью. Но Михаил Степанович был человек мужественный, умел смотреть правде в глаза и каждый раз по зрелом, хотя подчас и трудном, размышлении добирался до истины.

Время было трудное и сложное. Мутная пена ликвидаторства пыталась захлестнуть отдельные партийные организации. И далеко не все сознавали в полной мере, сколь опасна эта мутная пена.

Вот и ему — верному соратнику Ленина — временами казалось,

что слишком уж Ильич гневен в своем отношении к ликвидаторам. И получив месяца два назад статью Ленина, он устрасился беспощадной резкости ее тона и написал письмо Ильичу, пытаясь убедить его, что надо смягчить тон статьи.

Ленин немедленно ответил взволнованным письмом в редакцию газеты:

«Уважаемый коллега!

Получил Ваше письмо и письмо Витимского. Очень рад был получить от него весть. Но содержание его письма меня очень встревожило.

Вы пишете, и в качестве секретаря, очевидно, от имени редакции, — что «редакция принципиально считает вполне приемлемой мою статью *вплоть до отношения к ликвидаторам*». Если так, отчего же «Правда» упорно, систематически вычеркивает из моих статей и из статей других коллег упоминания о ликвидаторах?? Неужели Вы не знаете, что они *имеют* уже своих кандидатов? Мы знаем это *точно*. Мы получили об этом официальные сообщения из одного южного города, где есть депутат от рабочей курии. Несомненно, так же обстоит дело в других местах.

Молчание «Правды» более чем странно. Вы пишете: «редакция считает *явным* недоразумением» «заподозривание ее в стремлении к легализации требований платформы». Но согласитесь же, что вопрос это коренной, определяющий весь дух издания, и притом вопрос, неразрывно связанный с вопросом о ликвидаторах. Не имею ни малейшей склонности к «заподозриваниям»; Вы знаете по опыту, что и к цензурным Вашим правкам отношусь я с громадным терпением. Но коренной вопрос требует *прямого* ответа. Нельзя оставлять сотрудника без осведомления, намерена ли редакция вести выборный отдел газеты *против* ликвидаторов, называя их ясно и точно, или *не против*. Середины нет и быть не может».

Эти серьезные упреки относились ко всей редакции (то есть и к нему тоже!), а вот следующий абзац уже целиком адресован ему:

«Если статью «необходимо так или иначе напечатать» (как пишет секретарь редакции), то как понять Витимского «вредит гневный тон»? С которых пор *гневный* тон против того, что дурно, вредно, неверно (а ведь редакция «принципиально согласна!), вредит ежедневной газете?? Наоборот, коллеги, ей-богу наоборот. Без «гнева» писать о вредном — значит, скучно писать. А Вы сами указываете — и справедливо — на однотонность!»

Удивительное дело!.. Все, высказанное в этом кратком абзаце, и раньше было хорошо ему известно. И спроси его кто, сам так бы сказал, а вот поди ж ты... Смелости не хватило обидеть — и кого? — тех, которые замахнулись на самое святое, на единство партии, на самое ее бытие... И считал ведь себя правым... А вот теперь, после нескольких строк Ильича, словно пелена спала с глаз и все встало на свои места.

Очень он, очень верил Ленину.

Кто-то из товарищей спросил однажды:

— А почему Витимский?

— Витим — приток Лены, — ответил ему Михаил Степанович.

Михаил Степанович отправил в набор выправленную им статью, потом снова взял оставленное ему секретарем редакции письмо и снова перечел воодушевившие его ленинские строки.

Статью свою в № 98, которая так понравилась Ильичу, он помнил, можно сказать, наизусть. Но не полагаясь на память, достал из шкафа подшивку «Правды» за прошлый месяц.

Вот эта статья: «Культурные люди и нечистая совесть».

Надо перечитать, отыскать место, которое Ленин заметил и одобрил... Чтобы понять, что удалось, что нет.

«В последнее время много говорят о культурности и культурных людях.

Культурность или культурное состояние — это противоположность дикости и полудикости; это высшая форма жизни, и потому сама по себе вещь очень хорошая, к которой нужно стремиться.

Но всякую хорошую вещь можно запакостить, исказить.

И сейчас у нас слово «культурность» начинает пониматься в искаженном виде. То же, что лет 40—50 назад.

Пятьдесят лет назад, около 1861 года, было время, которое многими считается эпохой пробуждения совести среди высших классов России. Но скоро совесть оказалась не ко двору и заменилась проповедью «культурности»: явились «культурные люди».

Чуткий писатель того времени Щедрин тотчас отметил это. Он писал:

«Каким это образом культурный человек вдруг словно из земли вырос?.. И даже заслуги особенные выдумали, которые об культурности несомненно свидетельствуют: «Я, мол, из тарелки ем, а Иван мой из плошки». Глуп-глуп, а культурность свою очень тонко понимает. У меня, говорит, в деревне и зальце в домике есть, и палисадничек, и посуда, и серебрецо, и сплю я на матраце, а не на войлоке — сейчас видно, что культурный человек живет! А мужик что! Намеднись у нас на селе у крестьян мальчику тараканы нос выели, а у меня, брат, тараканы только на кухне живут!»

Вот это и понравилось Ильичу, что к месту приведено...

«В эпоху общественного подъема, как известно, ценятся в человеке такие качества, как ум, способности, знания, умение, честность, солидарность, человечность, самоотверженность — вообще все то, что возвышает человека. Это и есть культурность в лучшем смысле слова.

Но теперь, при упадке, на место истинной культурности буржуазная интеллигенция подставляет буржуазную сытость. Возвышающие человека качества оказываются не нужны ей. И на теперешней «культурности» объединяются глупый и умный, честный и негодяй, бывший борец и предатель, бывшие левые и черносотенцы: были бы только деньги на сытую жизнь, — а чтобы есть вкусно, спать мягко, а вечер проводить в «культурных» увеселительных местах, — как и на то,

Чтобы рожать детей —  
Кому ума недоставало?»

А ведь это хорошо написано!.. Хорошо, потому что верно! Это место он, конечно, заметил...

«Цепляясь за такую культурность, интеллигент быстро лезет в гору по части приобретения денег и в то же время по части продажи своего времени, своей интеллигентности, своей совести. Про таких «культурных людей» Щедрин писал:

«Сегодня приятель, а завтра разрешил ему Солитер (генерал) за каблук сапога своего подержаться — он уж от вчерашних друзей рыло воротит...»

Вот почему в настоящее время если слышишь, как интеллигент кичится культурой или фыркает на некультурность рабочих и крестьян, то знайте: этот человек или уже совершил измену, или замыслил ее в сердце своем и готов продаться за сытую жизнь».

Конечно, эти вот строки заметил он... Именно за эти строки и похвалил статью...

«А рабочим совсем не к лицу повторять эти лицемерные речи о культуре людей с нечистой совестью; их дело — думать о сознательности и солидарности. Тогда придет к ним сама собой истинная культурность.

А. Витимский».

Михаил Степанович вспомнил, как опасался он, когда ему стало известно, что его прочтут в редакторы новой, да еще ежедневной газеты. Он и гордился и сомневался, по плечу ли ему. Но Владимир Ильич сказал, что Галерка должен быть в составе редакции обязательно. Доверие Ильича обязывало. Михаил Степанович работал не покладая рук, не чураясь никакой, даже самой черной работы. И много успевал писать сам. И вот, как оказывается, иногда и неплохо писал.

А работы было очень много. Штат редакции был поистине мизерный, и каждому из сотрудников, включая редакторов, приходилось работать за троих. И все же работалось легко.

## 3

В этот солнечный майский день Михаил Степанович пришел в редакцию позже обычного. Накануне засиделся далеко за полночь, готовя в набор присланную из Перми статью о забастовке на казенном заводе. Статья была очень ко времени и к месту, но на тему весьма «опасную» и пришлось немало потрудиться над ней, пока она приобрела вид достаточно благопристойный, чтоб протиснуться сквозь цензурные рогатки.

В редакции круглолицая Машенька — привратница, курьер, связанная, а в случае спешной надобности и корректор — сказала Михаилу Степановичу, что его дожидается какой-то человек, по-видимому, приезжий.

— Сейчас, вот только отправлю в набор, — сказал Михаил Степанович.

Машенька подошла поближе и шепнула на ухо:

— По-моему, из Кракова.

— Машенька, голубушка, отнесите в наборную, — Михаил Степанович передал ей статью и сам поспешно устремился в кабинет.

Там, сидя на кургузом диванчике, его дожидался человек лет двадцати восьми — тридцати, в новенькой, хорошо сшитой тройке, чернявый, с темными, слегка навывкате глазами.

— Черномазов, — представился чернявый Михаилу Степановичу, — а по партийной кличке Мирон... Может быть, слышали? — добавил он, учтиво улыбаясь.

Михаил Степанович вспомнил, что о Мироне упоминалось в одном из писем Каменева.

— Из Парижа изволили прибыть? — спросил Михаил Степанович, и сам подивился чопорности своего обращения; вероятно повлияло голгольское обличье приезжего.

— Сейчас из Кракова, — уточнил Черномазов. — А в Краков действительно из Парижа. Да вы, наверное, получили уже письмо от Каменева. Он должен был предварить о моем приезде.

— Такого письма я не получал.

— Значит, получите, — бойко возразил Черномазов и, порывшись в карманах, извлек какую-то бумажку. — Захватил, на всякий случай. Мало ли что. Почерк его знаете?

В записке сообщалось, что товарищ Мирон направляется в распоряжение редакции, о чем известно в Кракове.

— Неосторожная записка, — сказал Михаил Степанович. — Попадись в руки полиции, нам лишние неприятности.

— Не извольте беспокоиться, — усмехнулся Черномазов. — С полицией приходилось дело иметь. На заводе Лесснера секретарем больничной кассы изрядное время состоял. Сами понимаете, должность такая, что все время на глазах у полиции. А теперь какие могут быть претензии к потомственному почетному гражданину? Вид на жительство у меня отмененный.



В редакции нового сотрудника приняли хорошо. И веселый его взгляд, и задорная бойкость, и речистость пришлись по душе. Озабоченных лиц в редакции и без него хватало. Импонировало и то, что безопасному существованию в Париже предпочел избыточную хлопотами и тревогами жизнь партийного литератора, жизнь беспокойную, под неусыпным надзором царской охраны.

## 4

В записке Каменева было сказано достаточно ясно — «в Кракове известно». Это значило, что Черномазов направлен на работу в редакцию «Правды» по указанию Ленина, ее главного редактора.

Михаил Степанович немедленно сообщил о прибытии нового работника депутату Государственной думы Григорию Ивановичу Петровскому, который официально числился издателем газеты.

Григорий Иванович приехал в редакцию.

— Фамилия у меня на слуху, — сказал он Михаилу Степановичу. — Был один Черномазов, помнится, на заводе Лесснера.

— Он упоминал этот завод вчера в разговоре.

— Значит, он самый, — заключил Григорий Иванович. — И помнится мне, о нем хорошо там отзывались наши товарищи.

Михаил Степанович представил издателю газеты нового сотрудника редакции и оставил их в редакторском кабинете.

— Это тот самый Черномазов, — сказал Петровский Михаилу Степановичу после разговора с новым сотрудником редакции. — Судя по всему, сотрудник будет полезный. Немного горяч, на первых порах присматривайте, чтобы не испортил борозды.

— Присмотрим, не беспокойтесь, — улыбнулся в бороду Михаил Степанович.

Уже с первых дней стало ясно, что чем-чем, а леностью нового сотрудника не попрекнешь. Новичок охотно брался за любую работу. И не только за литературную или редакторскую. А вплоть до того, что бегал за гранками в типографию, помогал экспедитору рассылать по адресам газету и тому подобное. И как-то очень быстро, можно сказать, с ходу, перезнакомился со всеми. Сразу запомнил, как кого зовут. Своих ровесников и всех, кто моложе его, называл ласково: Маша, Петя, Ваня; всех, кто постарше его, только по имени-отчеству. Себя просил называть Мироном, а после одной бойко написанной заметки о грубом обращении мастера с молодыми ткачихами, утвердился за ним кличка Свой. Так была подписана заметка.

Михаил Степанович не мог не заметить усердия новичка, и это сказалось на отношении к нему. Он помогал молодому сотруднику постигать всю премудрость редакционной работы. Обучал трудному искусству редактирования. Особенно трудному потому, что надо было маскироваться эзоповскими оборотами.

Однажды между ними разгорелся жаркий спор.

— У этого самого Эзопа не было другого выхода. Скажи что-нибудь не так, сразу башку оттяпают. Но мы-то легальная, дозволенная правительством газета. Должны писать все как есть! — горячился Черномазов.

Михаил Степанович объяснял терпеливо и обстоятельно:

— Легальная — да. Дозволенная правительством — безусловно. Но газета, правительству нежелательная. Недремлющее око цензуры нацелено на нас особенно пристально. И то, что даже в меньшевистском «Луче» пройдет, нам того не пропустят. Сразу штраф или конфискация номера. Вот и крутимся, дорогой Мирон Егорович. Вот и сидим и пропальваем статьи, чтобы не дать поживы господину цензуре.

— Но позвольте, Михаил Степанович,— возразил Черномазов.— Стало быть, вы загоняете истинный смысл статей так глубоко, чтобы никакой цензор не догадался? Так?..

— Приходится...— со вздохом подтвердил Михаил Степанович. Черномазов засмеялся как-то слишком уж весело. Потом резко оборвал смех, нахмурился и заговорил уже с откровенной злостью в голосе:

— Но если так, то что же получается? Подумайте сами, Михаил Степанович! Цензор умный и образованный, наторелый в своем деле — не догадается, не поймет, а рабочий темный и малограмотный — должен догадаться и понять?.. Какой смысл выпускать такую газету? Кому она нужна?..

Шевельнулась мысль: не слишком ли много гнева в голосе, не наигрыш ли?.. Если бы тот самый рабочий, темный и малограмотный, а то профессиональный революционер, прошедший выучку подполья и эмиграции?..

— Вы погорячились, Мирон Егорович... Ну что ж, и я в ваши годы, случалось, выходил из себя... Но вы, дорогой мой, через край хватили... Какой смысл в нашей газете? Огромный смысл. Легальная газета не отменяет нелегальной борьбы и вовсе не мешает подпольной работе. Напротив, легальная газета помогает нам распространять свое влияние на широкие массы рабочих, не готовых еще к нелегальной подпольной борьбе.

Он остановился и поверх очков окинул строгим взглядом нахмурившегося Черномазова. Помолчал минуту, словно ожидая возражений или оправданий, и продолжил свое назидание:

— И легальная и подпольная деятельность — две формы партийной работы. Все равно, что у человека две руки и обе нужны. Вам не по душе легальность нашей газеты. Стало быть, оторвать одну руку. А вот ликвидаторы возражают категорически против всех форм нелегальной борьбы. Другую руку норовят оторвать... Совсе без рук оставите партию и рабочий класс?..

## 5

Черномазов успешно справлялся с недавно возложенными на него весьма хлопотными обязанностями секретаря редакции. У Михаила Степановича не было случая остаться недовольным его работой. Новый секретарь редакции был исполнителен и аккуратен, и сверх того ухитрялся выкраивать время для чисто литературной работы.

И все же после памятного обоим разговора осталась у Михаила Степановича какая-то настороженность. Он не мог (да и не хотел) забыть со злостью выкрикнутых фраз: «Какой смысл выпускать такую газету. Кому она нужна?..» и пусть Черномазов тут же повинился и взял свои слова обратно, пусть ежедневно и ежечасно доказывал на деле, что газетой дорожит, все равно настороженность оставалась. И за каждым шагом Черномазова Михаил Степанович следил крайне внимательно и с особой дотошностью вычитывал каждую написанную Черномазовым статью или заметку.

Впрочем, особой дотошности и не требовалось. Бойкость и хлесткость выпирала из каждой черномазовской строки. Видать, много горечи и злости накопилось у человека за годы подполья и эмигрантских скитаний. Может быть, и не замечал, как выплескивались они на бумагу. Все это Михаил Степанович мог понять. По себе знал, как зудит рука, когда приходится удерживать ее.

Но газета, ежедневная рабочая газета, с такими превеликими трудами созданная и столь необходимая партийному делу — слишком дорогой, поистине бесценный инструмент и жертвовать ею ради

хлесткой и бойкой фразы не просто грубая ошибка, но преступление. И Михаил Степанович беспощадно выбрасывал все бойкости и хлесткости, которые при желании можно было истолковать как оскорбление властей, что должно было повлечь за собой цензурные преследования.

Черномазов прибежал взволнованный и огорченный, пытался отстаивать, упрашивал и умолял, как-то раз пригрозил даже апеллировать к Кракову, но Михаил Степанович вежливо и вместе с тем твердо отвергал все его домогательства и никогда не восстанавливал ни единой буквы из вычеркнутого.

— Уж зачеркнули бы все сразу крест-накрест! — вырвалось как-то у Черномазова.

— Нет, отчего же, — спокойно возразил Михаил Степанович, — в заметке приводятся ценные факты и есть даже дельные мысли. Это все оставлено, я только пену снял.

И все же как ни оберегались, бдительное цензурное око сыскало крамолу и последовало распоряжение конфисковать номер.

Михаила Степановича в тот день не было в редакции. Он лежал на квартире у Бонч-Бруевича, терзаемый приступом вывезенного из якутской ссылки ишиаса. Ему позвонили, и он тут же приехал. Схватил возвращенный из цензуры оттиск и на второй полосе обнаружил абзац, жирно заштрихованный красным карандашом...

В статье Черномазова. Тот самый абзац, который он вычеркнул, редактируя статью.

— Почему? — спросил он Черномазова.

Сбивчивые объяснения Черномазова сводились к тому, что без этого абзаца статья получалась очень уж беззубой и постной.

— Почему без моего ведома?..

— Вас не было...

— Выслушайте меня внимательно, — сказал ему Михаил Степанович. — Еще одно подобное самоуправство, и я добьюсь, чтобы вас... убрали из редакции.

Черномазов вышел, а Михаил Степанович сидел за столом, уставившись невидящими глазами в красное пятно на второй полосе и думал, не слишком ли мягкотело поступил, может быть, следовало удалить строптивного сотрудника уже сейчас, не дожидаясь второго случая...

В приоткрытую дверь кабинета из приемной доносились голоса. По-видимому, явилась полиция. Черномазов возмущенно спорил с кем-то.

— Па-апрошу выразаться осторожнее!..

Это, конечно, полицейский офицер.

— Не запугаете! — кричал на него Черномазов.

Пришлось выйти в приемную и утихомирить его. Нет, все-таки он не робкого десятка... этого у него не отнимешь... Но слишком уж нервный, набросился на полицейского чуть не с кулаками. Хорошо еще, что попался сверхфлегматичный полицейский начальник: отмахнулся от него, как от назойливой мухи, только и всего. А преотличный номер газеты пропал. Да и убытки какие — больше полтысячи — нам не по карману. И так еле сводим концы с концами.

Приехал Петровский, расстроенный и раздосадованный.

— Как же это у вас вышло так негладко? — спросил он у Ольминского.

— Мой недогляд, — ответил Михаил Степанович. — Конечно, надо было распорядиться, чтобы сверстанные полосы принесли ко мне на подпись. А я доверился неопытному еще работнику.

И рассказал, как было дело.

Григорий Иванович вспылал:

— При чем тут неопытность?.. Грубейшее самоуправство! Позовите его сюда, Михаил Степанович, и оставьте меня с ним. Я с ним как издатель потолкую. Он небось решил, что если из Парижа, так ему и черт не брат!

— Очень-то круто не надо бы,— заступился Михаил Степанович.— Я уже отчитывал его. Он понял свою оплошность. И основательно почувствовал. Кстати, когда полиция пришла, держался без робости, даже наоборот.

— Это как же наоборот? — заинтересовался Григорий Иванович. Михаил Степанович рассказал о стычке Черномазова с полицейским офицером.

— А это гусарство нам совсем ни к чему,— сказал, нахмурясь, Григорий Иванович.— Власть пока не в наших руках. Приходится быть тихонькими. А злость свою в работу перегоняй. Ну, это я ему тоже объясню.

Беседа затянулась не менее как на полчаса. Из редакторского кабинета Черномазов вышел насупившись. Впрочем, с желчною улыбкой на губах.

Григорий Иванович, уходя, так отозвался о секретаре редакции:

— Из молодых, да ранних. Сперва на дыбы поднялся. Но с ним есть смысл повозиться. С характером, стало быть, может получиться дельный работник. Но пока глаз с него не спускайте.

А Черномазов после ухода Петровского подошел к Михаилу Степановичу и сказал:

— Я сперва обиделся на Григория Ивановича и даже надерзил ему. Но теперь понимаю, что был не прав. При случае скажите ему об этом.

По мнению Михаила Степановича, это было мужественное и честное признание, и он уже от всего сердца простил Черномазова за его служебный проступок и подумал даже, что, по-видимому, был в своих мыслях несправедлив к нему.

## 6

Но вскоре, недели через две или три, произошло незначительное само по себе событие, которое, однако же, заставило Михаила Степановича серьезно призадуматься.

В середине дня он вышел в приемную за какою-то справкой к секретарю редакции. Черномазов не сидел за своим столом, а находился в дальнем углу комнаты и, стоя на раздвижной лесенке, отыскивал что-то на самой верхней полке огромного редакционного книжного шкафа.

Михаил Степанович не стал отвлекать его и, остановившись посреди приемной, заговорил о чем-то с Машенькой.

В это время входная дверь в приемную как-то бесшумно открылась и вошли двое: полицейский офицер в чине поручика, высокий, сухощавый, с перетянутой ремнем осиной талией и с запоминающимся лицом кавказского типа, и следом за ним некто в штатском, пониже и поплотнее, с круглой, совершенно невыразительной физиономией.

Окинув опытным взглядом приемную и безошибочно определив кто есть кто, штатский подошел к Михаилу Степановичу, показал ему свой документ и сказал, что он вместе с господином поручиком должен осмотреть все помещения редакции.

— Позвольте узнать, какова причина обыска? — осведомился Михаил Степанович.

— Не обыска, осмотра,— исправил его филер.

— Ну, допустим, осмотра?

— Получены сведения, что в вашей редакции находятся лица, не

имеющие вида на жительство в Санкт-Петербурге,— строго и почти торжественно произнес филер.

— Свидетельствую, что таких лиц в редакции нет,— сказал Михаил Степанович и подал филеру свой паспорт.

— С вами мы побеседуем, когда закончим осмотр,— сказал полицейский офицер каким-то странным, резко гортанным голосом.

Черномазов оглянулся на этот резкий возглас. Михаил Степанович стоял лицом к нему и хорошо видел, как насторожился секретарь редакции при виде полицейского офицера, точнее сказать, при виде полицейского мундира, так как и офицер и филер стояли к нему спиной. Михаил Степанович подумал еще, как бы Черномазов не ввязался опять в какое-нибудь препирательство с полицией, но ему и в голову не могло прийти, сколь странно поведет себя секретарь редакции.

Все дальнейшее произошло столь стремительно, что никто из присутствующих не успел и слова произнести.

Полицейский офицер, заметив взгляд Михаила Степановича, направленный поверх его головы куда-то в глубь комнаты, оглянулся, и тогда Черномазов увидел поручика в лицо.

Михаил Степанович успел хорошо разглядеть, как исказилось лицо секретаря редакции и покрылось мертвенной бледностью. И тут же Черномазов вскинул руки, как бы пытаясь закрыться ими, но от резкого движения потерял равновесие и свалился с лешенки. По-видимому, сильно ушибся, но тут же проворно вскочил на ноги и быстро скрылся за дверью, ведущей во внутренний коридор, соединяющий редакцию с типографией.

— Вот этот господин, вероятно, без надлежащего вида на жительство,— сказал филер, глянув довольно-таки ехидно на Михаила Степановича.

— Не тревожьтесь,— спокойно возразил Михаил Степанович,— это Мирон Егорович Черномазов, секретарь нашей редакции. Паспорт его у меня, и я готов предъявить его вам.

— Он у вас всегда такой... нервный? — с усмешкою спросил полицейский офицер.

И Михаил Степанович с великим трудом удержал себя от того, чтобы не ответить резкостью на насмешку полицейского. «Да,— сказал бы он ему,— в этом государстве, где за каждым порядочным человеком охотятся, как за зайцем, нетрудно стать нервным». И еще бы он хотел сказать господину офицеру, что недалеко время, когда нервничать придется ему и ему подобным. Многие можно было бы сказать господину полицейскому офицеру, но... лучше все же было не говорить ничего.

— У них, ваше благородие, работа тоже очень беспокойная,— как бы сочувствуя и Михаилу Степановичу и этому упавшему с лестницы и внезапно исчезнувшему человеку, заметил филер.

И от этого притворного сочувствия Михаилу Степановичу стало совсем тошно.

Незваные гости проверили паспорта у всех сотрудников редакции. Филер столь тщательно, даже дотошно исследовал паспорт Черномазова, что поручик, тронув своего подручного под локоть, сказал:

— В порядке.

И Михаилу Степановичу показалось, что при этих словах господин поручик усмехнулся в жесткие усы. Впрочем, может быть, только показалось.

— Все ли в полном порядке? — спросил Михаил Степанович, получая паспорта из рук филера.

— И вы, стало быть, заботу имеете? — не преминул подкусить полицейский служащий.

— Я должен поставить в известность о вашем визите издателя газеты господина Петровского, и он, конечно, прежде всего задаст мне этот же вопрос.

— Можете сказать господину Петровскому, чтобы не беспокоился, — сказал полицейский офицер и, откозыряв, вышел. Филер — за ним.

## 7

Падение Черномазова с раздвижной лесенки отозвалось Михаилу Степановичу бессонной ночью.

Было о чем поразмыслить. Черномазов испугался, узнав полицейского офицера. Именно узнав. О том, что пришла полиция, он понял из первых же слов филера. Но само по себе посещение полиции его не встревожило. Насторожился и, по-видимому, встревожился Черномазов, только когда услышал голос офицера. Но он еще не был уверен, тот ли это офицер, которого следует опасаться. Потому и вглядывался в его фигуру. Когда же полицейский офицер повернулся к нему лицом, Черномазов его узнал. И испугался, панически испугался, как бы тот в свою очередь не узнал его. Испугался до такой степени, что полностью утратил самообладание.

Как иначе объяснить этот нелепый жест, когда пытался прикрыть лицо руками... И это нелепое падение и почти мгновенное исчезновение...

Почему он испугался?.. Паспорт у него свой. Из-за границы приехал легально. Уезжал за границу тоже легально... Впрочем, если бы дефект в паспорте или нелегальный переход границы, то опасался бы любого полицейского. Но Черномазову-то был страшен только именно этот полицейский.

И полицейский офицер его узнал. Теперь Михаил Степанович был в этом уверен. И мало того что узнал, полицейский этот отнесся к Черномазову презрительно. Именно с такую усмешкой он бросил реплику вслед выскочившему из комнаты секретарю редакции. И такая же усмешечка промелькнула у него, когда филер изучал паспорт Черномазова.

Значит, полицейский чин не только узнал Черномазова, но и узнал за ним что-то такое, чего даже по полицейским критериям следовало бы стыдиться...

Чего же должен был стыдиться Черномазов?.. И не просто стыдиться, а страшиться, чтобы тайное не стало явным... Тут было над чем поломать голову...

Нельзя было упускать из виду и такое обстоятельство: полицейский офицер и виду не подал, что узнал Черномазова, и только по косвенным, так сказать, уликам — по усмешечке — можно было предположить, что Черномазов ему знаком. То есть получалось так: Черномазов страшился того, что полицейский офицер узнает его. И, как оказалось, не без основания страшился, офицер действительно его узнал, но... постарался, чтобы никто этого не заметил.

Черт знает что!.. Так можно додуматься до самых зловещих предположений...

И Михаил Степанович решил завтра же созвониться с Петровским и поделиться с ним своими тревогами.

Григорий Иванович не заставил себя долго ждать — приехал в тот же день.

— Любопытно... — сказал он, выслушав Михаила Степановича. — Говорили мне, была у него на Лесснере какая-то неприятность с полицией... Так тому уже лет десять прошло. Теперь-то к чему бы пугаться?.. Скорее всего, нелепость какая-нибудь... Но, как говорится, береженого бог бережет. Скажу, чтобы наблюдали за ним. Я-то понимаю ведь, Михаил Степанович, какое вам на ум сомнение запало...

— Сомнений у меня нет,— запротестовал было Михаил Степанович.

— Вижу, вижу,— остановил его Петровский,— на вашем лице, как в книге, без ошибок прочесть можно... К вам одна просьба. Ему виду не подайте. Не спугните раньше времени.

## 8

Статьи и заметки Черномазова день ото дня становились все более бойкими и хлесткими. Но и редактор был настороже. И строгий его карандаш правил черномазовские статьи и заметки бестрепетно и беспощадно.

Но Черномазов не сдавался без боя. Отстаивал упорно каждый абзац, каждую фразу. И вел себя подчас весьма вызывающе. Не добившись уступок у Ольминского, сказал, что обратится за помощью к другим редакторам и потребует коллегиального обсуждения.

— Не поможет,— сказал Михаил Степанович.

— А я уверен, что вы со своей сверхосторожностью останетесь при своем мнении против всех один-одинешенек,— заявил Черномазов.

— И того достаточно,— спокойно заметил Михаил Степанович.

И пояснил, что ему — Ольминскому — предоставлено л и ч н о право приостанавливать публикацию любой статьи.

— Тогда я буду писать в Краков! — пригрозил Черномазов.

— А мне это право из Кракова и дадено,— с обезоруживающей добродушной усмешкой заметил Михаил Степанович.

Он все еще продолжал относиться к молодому и, по-видимому, по молодости задиристому Черномазову снисходительно, даже сочувственно. И свои редакторские требования старался предъявлять в форме как можно менее унижающей достоинство и ущемляющей самолюбие автора.

Но Черномазов или не умел, или не хотел этого понять. Уходил из редакторского кабинета раздосадованный и злой, в следующий раз приносил еще более задиристую статью, и Михаилу Степановичу снова приходилось часами корпеть над ней, чтобы сделать ее менее уязвимой.

Михаил Степанович пытался побеседовать с ним. Но доверительного разговора не получалось. Черномазов не желал принимать никаких резонов и упрямо стоял на своем.

— Какую бы я вам статью ни принес,— говорил он,— вы все равно будете править. Все равно станете смягчать. Мне и приходится писать злее. Если я напишу беззубо да еще вы карандашом пройдетесь, тогда это уж не в «Правду» получится статья, а разве что в «Задушевное слово».

— Зачем же мне смягчать, если вы напишете добротную статью, без всяких этих вывертов, выхлестов и завихрений?— спрашивал его Михаил Степанович.

— У вас одна забота: как бы чего не вышло да как бы цензора не обидеть. Вы скоро собственной тени бояться станете,— дерзко отвечал Черномазов.

И уходил, чтобы последнее слово осталось за ним.

У Михаила Степановича стало складываться убеждение, что Черномазов ведет какую-то двойную игру. Сперва Михаил Степанович склонялся к мысли, что все дело в карьеристских поползновениях Черномазова, который хочет подмять под себя остальных работников редакции и стать в ней первым лицом. И, усмехаясь, говорил сам себе, что это еще полбеды. Но, видно, дело было не только в личной амбиции Черномазова.

Особенно утвердился в этой мысли Михаил Степанович после того, как Черномазов, воспользовавшись его отсутствием, 12 октября

опубликовал свою статью «Совещание марксистов», грубо нарушив при этом все правила партийной конспирации. В статье подробно рассказывалось о состоявшемся в Поронине под руководством Ленина совещании Центрального Комитета РСДРП с партийными работниками, нелегально приехавшими из России.

Владимир Ильич, получив номер газеты с этой статьей, немедленно написал:

«В редакцию газеты «За Правду».

Уважаемые коллеги!

Только что прочел № 8 и не могу удержаться, чтобы не выразить своего удивления по поводу помещения вами *такой* статьи, как «Совещание марксистов» и т. д.!! По-моему, это было верхом неразумия, и если автор «увлекся» по понятным причинам, то вам-то на месте нельзя не видеть невозможности этой статьи. Ради бога, не допускайте таких неосторожностей: вы *дьявольски* помогаете этим **всем** нашим врагам».

Михаил Степанович встретился с Петровским и прямо, без обиняков, сказал ему:

— Поверьте мне, я уже давно работаю в газетах и журналистике и по статье вижу, кто как пишет,— наш ли это человек или не наш. Черномазов именно такой человек, о котором нельзя сказать, что он наш.

— Что это вы так круто изменили свое мнение о нем? — спросил Григорий Иванович.

— Не очень круто,— возразил Михаил Степанович.— Сомнения, как вы знаете, много раз одолевали меня. Но я ведь тяжкодум. Да и опасаться всегда, как бы ненароком напраслину на человека не возвести. А теперь уже не в сомнениях дело. Сложилось убеждение: не наш человек. И поскольку убежден, так прямо и говорю.

А еще через несколько дней пришла от Ленина записка по поводу очередной черномазовской статьи.

Ленин писал в этой записке:

«Редактору: Плоха статья «Своего» в № 25. Хлестко и только. Ради бога, поменьше хлесткости. Спокойнее разбирать доводы и повторять *правду* обстоятельнее, проще. Так и только так обеспечивается победа безусловная».

Михаил Степанович показал ленинскую записку Черномазову. Тот сперва вроде бы несколько стушевался, но ненадолго, и с наигранной невозмутимостью, особенно поразившей Михаила Степановича, заявил, что из Кракова некоторые вещи трудно разглядеть, тогда как здесь, в Петербурге, они виднее.

Михаил Степанович с трудом удержался от того, чтобы попросту не выгнать его из кабинета. Но все же сдержался и сказал только, что указания Ленина обязательны для всех работников редакции.

«Или он ничего не понимает, или не желает ничего понимать»,— сказал сам себе Михаил Степанович.

И на следующий день, встретясь с Петровским, решительно потребовал убрать Черномазова из редакции.

— Настаиваете? — спросил Григорий Иванович.

— Категорически настаиваю! — подтвердил Михаил Степанович.

— Будь по-вашему,— согласился Григорий Иванович.— Сегодня же напишу в Краков и сразу, как получу ответ...

— Нет, немедленно, сегодня же! — потребовал Михаил Степанович.

Петровский попытался переубедить его:

— Терпели год, неделю потерпите...

И тогда мягкий и уступчивый, всегда корректный Михаил Степанович взорвался:

— Тогда я уйду! Оставайтесь со своим Черномазовым!..



— Полно вам!..— сказал с упреком Григорий Иванович.

И после этого своей властью назначил нового секретаря редакции, а по поводу дальнейшей деятельности Черномазова снесся с Краковым.

Дни Черномазова в редакции были сочтены, но он успел нанести газете еще один, на этот раз очень сильный удар, сумев опубликовать за подписью М. Ф. статью «Для того она существует».

Удар был точно рассчитан. Царское правительство несколько раз закрывало рабочую газету «Правда». Но она тут же возрождалась под иным, слегка измененным названием. Последовательно газета именовалась: «Рабочая Правда», «Северная Правда», «Правда Труда», «За Правду», «Пролетарская Правда», «Путь Правды»... М. Ф. (то есть Черноматов) в своей статье подтвердил преемственность различных названий газеты и этим дал основание полицейским властям привлечь к ответственности издателя Григория Ивановича Петровского и возбудить вопрос об окончательном закрытии газеты.

Владимир Ильич, получив сообщение о всех этих тревожных событиях, в своем письме в редакцию назвал сочинение Черномазова «печальной статьей».

И Черноматов наконец-то был выдворен из редакции партийной газеты.

Михаил Степанович, сказавший о Черноматове «не наш человек», оказался полностью прав.

Документальное подтверждение этому сыскалось в архивах жандармского управления. В 1917 году, после того как архивы эти выдали свои тайны, стало известно, что Черноматов был платным агентом царской охраны.

Михаил Степанович Ольминский проработал на ответственной-шем посту редактора первой ежедневной рабочей газеты от первого номера «Правды», вышедшего 5 мая<sup>2</sup> 1912 года, до последнего номера «Трудовой Правды», закрытой царским правительством 21 июля 1914 года.

Работу в «Правде» Михаил Степанович всегда считал звездным часом своей жизни.

Уже много лет спустя Ольминский как-то сказал Анатолию Васильевичу Луначарскому: «...если хотите знать, то я с наибольшей гордостью, хотя и без тщеславия, вспоминаю те годы, когда руководил «Правдой» в Петербурге. Конечно, руководил ею Ленин из-за границы, но я был его легатом на месте. И это не было простой профформой. Приходилось страшно много работать...»

Уже почти две недели находился он в больнице...

Вчера первый раз разрешили выйти погулять. Врач, до этого не выпускавший даже в коридор, наконец-то внял его мольбам. Может быть, и не внял бы, но после слякотной и холодной сентябрьской непогоды с начала октября в Москву вернулась золотая осень и на улице было теплее, нежели в выстуженных и отсыревших палатах.

Но не в чем было выйти. От пиджака, бывшего на нем, остались одни лохмотья.

— Да, тебе досталось больше, чем твоему хозяину,— сказал Михаил Степанович, когда палатная нянечка принесла ему останки пиджака.

Пришлось звонить в комендатуру Кремля и просить, чтобы открыли его комнату и достали старый его пиджак, купленный еще, кажется, в Женеве и заношенный до блеска на локтях и дыр на подкладке.

Ноги еще плохо слушались его, но какое это имело значение, если

<sup>2</sup> По старому стилю 22 апреля.

на улице было так чудесно. Возвращался он в свою дежурку с большою неохотой.

А встав сегодня утром, пройдясь раза три из конца в конец дежурки и проверив крепость ног, сказал себе решительно, что хватит с него этой больницы.

Правильно говорится: в гостях хорошо, а дома лучше.

Он вышел вроде бы на прогулку и отправился прямехонько к себе на квартиру.

Но и в квартире не усидел. Наскоро напился чаю и поплелся в свой служебный кабинет.

И тут ему сообщили страшную весть.

За время его отсутствия из дворцовых палат вывезли два воза уникальной мебели.

Он сперва не поверил. Как могло совершиться такое кощунство? Позвонил на пост в грузовых воротах. Там проверили корешки пропусков, подтвердили: да, действительно вывезли два воза мебели еще вчера утром.

Не менее часа провел Михаил Степанович за телефоном. Обзвонил десяток учреждений, но так и не смог выяснить до конца.

Несколько ответственных товарищей оказались причастны к выдаче разрешения, но при этом одна инстанция ссылалась на другую и получался заколдованный круг.

Но зато ему удалось установить, куда увезли стулья и диваны. Оказалось, на квартиру к одному ответственному работнику весьма важной хозяйственной организации.

Михаил Степанович тут же позвонил высокопоставленному деятелю и очень вежливо сказал, что произошла ошибка, мебель музейная и как таковая находится в ведении Комиссариата имущества Республики и должна быть немедленно возвращена в Кремль.

Высокопоставленный деятель прежде всего сослался на то, что у него в доме бывают иностранцы — и не просто иностранцы, а магнаты капитала, — и посему в его доме должна быть соответствующая обстановка, ибо от обстановки этой в немалой степени зависит результат переговоров, имеющих важнейшее государственное значение.

Михаил Степанович терпеливо выслушал его длинную тираду и сказал, что мебель надо возвращать.

На это повторное требование возмущенный деятель возразил, уже изрядно повысив тон, что вопрос согласован во всех инстанциях и возвращать мебель он не намерен.

Тогда Михаил Степанович сказал ему:

— Если к концу дня мебель не будет возвращена, я доложу Владимиру Ильичу.

И положил трубку.

Откинулся на спинку стула и подумал, что никак нельзя ему болеть, решительно нельзя.



---

---

ЮРИЙ ЧЕРНЯКОВ



## ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ МАНЕВРА

*Повесть*

Не думаю, что это нужно — предварять сочинение нового, еще незнакомого автора какими-то напутственными словами, потому что даже в самом коротком при словье есть как бы просьба к читателю быть снисходительным, есть желание, чтобы читатель взглянул на прочитанное твоими глазами.

И, однако, я пишу эти несколько слов именно потому, что небольшая повесть инженера Ю. Чернякова, на мой взгляд, не нуждается в скидке, она дает некоторое пространство для размышления над существенными проблемами нашей повседневной жизни. Эта повесть — первая большая публикация Ю. Чернякова, хотя, впрочем, года два назад мне довелось на страницах журнала «Литературная учеба» разбирать его рассказ, в котором были намечены интересные людские судьбы, но который был еще пробой пера.

Читатель несомненно отметит жизненность ситуаций и характеров, нарисованных писателем в этой своей жизнерадостной, оптимистичной и очень вдумчивой повести. Герои повести — люди хорошие, талантливые, любящие свое дело, добры, отзывчивы, но порой их разводит в разные стороны, и, встревоженные этим, они начинают искать общий язык. И тогда начинаешь думать, что, может быть, этим хорошим, порядочным, добрым, талантливым людям не хватает злости в борьбе за утверждение своей правоты. В чем тут дело? Как преодолеть ту разность потенциалов, которая, по утверждению автора, «служит одним из скрытых источников напряжения между людьми», даже если эти люди единомышленники? И в чем этот потенциал состоит? В таланте? В способности схватывать дух времени и этой способностью оперировать? Или, как у Егорова, главного положительного героя повести, в способности чувствовать, чем одарен каждый из его подчиненных, видеть в этой одаренности главную производительную силу и, предоставляя ей инициативу, обращать ее на пользу общему делу? А дело это — передовой край современной техники, развитие которой непрестанно порождает новые, быстро меняющиеся коллизии между людьми. Чуткость и глубина, с какими писатель улавливает эту изменчивость, порождены и талантом его и знанием современного производства, из которого он пришел в литературу.

Повесть не даст ответа на вопросы, которые ставит. Впрочем, задача ли художественного произведения непременно давать ответы? Их находит сама жизнь. Зато автор умеет передать вам свое щедрое, светлое и активное отношение к миру, с которым и заканчиваешь читать эту повесть.

Николай ЕВДОКИМОВ.

### День как день

**В**тром он едва не проспал на работу. Все же несколько минут лежал с открытыми глазами. После развода почему-то появилась эта привычка тянуть до последней минуты. Потом буквально взлетел. Схватил, засунул, открыл, включил, застегнул, взглянул, выключил, закрыл, отмахнулся, выскочил...

Свой автобус увидел на том расстоянии, когда еще неразличим номер, но интуиция уже может подсказать маршрут. Он не полез в толпу, а остался в стороне, где было малоллюдно. И угадал. Все кинулись к дверям, когда стало казаться, что автобус уже остановился, но промахнулись, он проехал чуть дальше, толпа развалилась в стороны, Игорь нырнул в этот развал и, прежде чем она снова сомкнулась, схватился за поручни.

В салоне он не бросился, как другие, к свободным местам, а приник к заднему окну. Он рассчитал, что имеет шанс успеть, если их догонит полуэкспресс. Полуэкспресс делал еще три остановки в этом районе, а дальше шел не останавливаясь. Почти до самой работы. Ему везло. Полуэкспресс обошел их перед последней остановкой, после которой следовал затяжной спурт. Он выскочил из автобуса, догнал полуэкспресс, когда тот уже тронулся, и вцепился в поручень внутри салона, просунув руку в уже закрывающиеся двери. Он бежал рядом с автобусом. Он видел в зеркальце кабины: шофер выжидает — сам ли отпустит или придется все же открыть двери. Но он не убрал руку. Бежал рядом с автобусом и прицеливался в несколько сантиметров грязной ступеньки, готовый прыгнуть туда, зацепиться носком ноги.

И шофер прижнал в нем профессионала. Который не сорвется, не будет возмущаться или строчить жалобы в парк. Которому достаточно зацепиться тремя пальцами за поручень и достаточно трех сантиметров площади на ступеньке. Автобус не сбавил хода, но двери приоткрылись и снова закрылись, втиснув его в салон. Он перевел дух. И расслабился. Здесь были все профессионалы. Они молча стояли друг у друга на ногах, молча ставили друг другу портфели и сумки на плечи. Прижимали чужих жен и невест, не заглядывая в лица. Охала и жаловалась только какая-то случайная бабка, скорее напуганная этим всеобщим стоицизмом, нежели возмущенная дискомфортом. Но на нее не обращали внимания. Все были сосредоточены, отрешены и расслаблены.

И все равно опоздал... Вахтер кисло взглянул на него, на часы махнул рукой, протянул пропуск.

На сколько-то секунд. В это время полагалось уже быть на месте. Он вбежал по лестнице в отдел. Он находился еще в сумеречном состоянии бега наперегонки со временем и лишь краем сознания отметил еще на лестнице запах нашатыря, донесшийся из светоконницы, вместе с сырым запахом вымытой лестницы. Отметил повернутые в его сторону две-три головы в конце полутемного коридора со светящимися точками сигарет. Потом блеснувшие — уже в отделе — очки Начальника. Чисто интуитивно почувствовал, как Начальник покачал головой, перевел взгляд в сторону Петра Афанасьевича и снова углубился в бумаги.

О Петре Афанасьевиче следует рассказать особо. Как о главной достопримечательности отдела, сплошь состоявшего из молодых специалистов (если исключить еще Раису Кирилловну и Колю Григоренко). Достаточно сказать, что из-за Петра Афанасьевича уволился Алик. Но всему свое время. Тем более что, конечно же, отдельного разговора заслуживал прежде всего начальник отдела, которого между собой все звали просто — Начальник.

А пока что Игорь сел за рабочий стол, откинулся на спинку, прикрыл глаза.

— Смотрел вчера? — толкнул его в спину Жека Алексеев.

Если собрать в один котел всех молодых специалистов отдела (да и Раису Кирилловну) и как следует перемешать, а потом вылепить из образовавшейся массы кого-нибудь одного, то именно Жека и получится. Он был среднестатистическим отдела. Как, скажем, Алик когда-то лидером, а Нина Коленкина — совестью.

— Он-то не смотрел,— хмыкнула Леночка Белозерова, считавшаяся девушкой Игоря. Она оторвалась от зеркала, приставленно к торцу объемистого технического описания в синем ледериновом переплете. — Он там был. И могу даже сказать, с кем,— продолжала она.

— С кем это? — поинтересовался Жека.

— С Аликом, с кем же еще. Они ни одной игры не пропускают.

— Беляков! Долго тебя звать?

Игорь вздохнул, откинулся, оглянулся.

— Ну что еще?

— Ну ты подумай, а? — возмутилась Раиса Кирилловна, сухая, моложавая, энергичная, лет сорока дама. — Его к телефону зовут, и он еще недоволен! Потревожили, видите ли.

— Раиса Кирилловна,— постучал Начальник карандашом,— прошу вас потише.

— А что вы все время его защищаете, Александр Константинович? — не сбавляла тона Раиса Кирилловна. — Нет, в самом деле, ничего ему не скажи, не дай бог какое-нибудь замечание сделать.

Игорь поднял трубку.

— Я с удовольствием бы защищал вас, уважаемая Раиса Кирилловна, но, к счастью, вы в этом до сих пор не нуждались. Это во-первых. А во-вторых, я просто просил вас делать свои замечания потише. И только.

Звонили из отдела.

— Игорь, твое письмо уже готово. Ты же сам просил, чтобы его сделали срочно. Или опять забыл?

— Сейчас, Анна Аркадьевна, одну минуту... Простите, ради бога, сейчас я буду.

Он быстро шел по коридору.

Не заметил, как вошел в комнату отдела. Остановился, огляделся, пожал плечами. Подошел к окошку машбюро, постучал.

— Игорек,— позвала Анна Аркадьевна, выглядывая в окошко. — Наконец-то! Ведь сам просил побыстрее. Забыл опять, да? Но учти, если ему опять что-нибудь не понравится, я этого так не оставлю! Я пойду к директору. Я пойду на прием к секретарю райкома. Я старый член партии, мы с ним вместе вступали. Что это такое? Четвертый раз перепечатаваю! А он, видите ли, не может с самого начала посмотреть текст в черновике. Ему готовый подавай! Гоняет исполнителей, нас перегружает. До восьми вечера приходится сидеть! А ведь тоже могу, как другие, бросить заявление на стол — и все! Кто здесь согласится работать? Я же не могу доверить такие документы этим девочкам!

За ее плечами, укутанными в теплую шаль, виднелись две свежие, улыбающиеся мордашки ее учениц. Опытные здесь не задерживались.

— Ну как так можно... Ты, Игорек, вот что. Проверь все как следует, до запятой. И пусть только попробует! — Она погрозила сухим, утолщенным на конце пальцем куда-то вверх и вправо, где предположительно находился кабинет Главного конструктора.

Игорь взял письмо и сел за стол. Глаза скользили по строчкам, он не мог заставить себя вчитаться. Он знал уже текст наизусть. Главный почему-то придавал письму большое значение и придирался к нюансам. Сам конкретного текста он никогда не давал — приучал подчиненных самостоятельно схватывать и развивать суть его сообщений.

Анна Аркадьевна успокоилась. Смотрела на него через окошко и качала седой головой.

— Ты очень изменился, Игорек. Очень... Тебе надо жениться.

Девчонки прыснули за ее спиной, и она, мельком обернувшись, понизила голос.

— Я не говорю жениться на ком-нибудь из наших. Упаси боже. Но так себя изводить тоже не дело. Ты хоть сына видишь? Тебе разрешают его видеть?

— Да ладно, Анна Аркадьевна, что об этом говорить...

— А ты имеешь полное право! И зря от меня скрываешь. Я ведь все вижу. И мама твоя мне сама говорила. Я из-за Алика ночей не спала. Вот не поверишь. Я ведь часто вижу его маму. Она бывает на нашем рынке. И всем делится. Ведь он пьет! — Голос Анны Аркадьевны дрогнул. — Ты бы знал, как он пьет... Она плачет, бедная. А ведь какой парень!

Игорь встал и протянул ей отпечатанные листы.

— Здесь и здесь нужны кавычки...

В комнату заглянул Петр Афанасьевич.

— Мой материал готов?

— Я же вам сказала: не раньше среды. У меня очень много работы. Очень много...

— Но ведь вам Владимир Алексеевич лично приказал!

— Во-первых, мне никто не может приказывать. Во-вторых, у меня все работы срочные. В-третьих, если будете разговаривать подобным тоном...

— Анна Аркадьевна... — перебил Игорь предостерегающе.

— Вот-вот. И можете на меня жаловаться! На ближайшем же партсобрании ставьте вопрос о моей предвзятости и нечутком к вам отношении. Но потом я вам отвечу. При всех отвечу!

Петр Афанасьевич тяжело вздохнул, махнул рукой, медленно повернулся и вышел.

— Зря вы на него так, Анна Аркадьевна, — покачал головой Игорь. — Честное слово, зря.

— И вы его жалеете? Вы его жалеете? Да он, пень старый, всех вас уже заел там, а вы его...

— Все это не так... Ну, не совсем так. Я просто не могу вам пока всего сказать... И притом, у него действительно очень срочная работа. Его бюллетень на полигоне со дня на день ждут.

Она внимательно смотрела в его глаза.

— Да? Ну раз уж ты так говоришь... Мне его тоже жалко. Я всех наших мужчин жалею, ты не думай. А женщин — нисколько. Чего их жалеть? Целыми днями сплетничают тут у меня. Как будто у меня другой работы нет, что должна собирать и выслушивать всю грязь... Кстати, ты хотел бы узнать, что говорят они о тебе?

— А что? — рассеянно спросил Игорь. Ему уже хотелось уйти, но она его не отпускала.

— Тимошин! — вдруг громко крикнула Анна Аркадьевна и высунула голову в окошко, заметив заглянувшего в отдел Тимошина — длинного нескладного очкарика, недавно по распределению принятого в теоретический отдел. — Заходите, заходите! Не стесняйтесь, молодой человек, будьте как дома... Давно я вас высматриваю. Все глаза проглядела. А как ни позвоню, все куда-то вышел. То ли весь вышел, то ли на минутку.

Ученицы за ее спиной опять прыснули. Тимошин покраснел.

— Что это вы нас так избегаете? Или вам не передали, что я приглашаю вас на свидание?

— Передали. — Тимошин еще больше покраснел.

— Я тут чуть не иссохла вся, вас дожидаясь. Любочка, передай-ка мне блокнот товарища Тимошина.

Одна из девочек принесла блокнот, стрельнула глазами в мужчин и снова прыснула.

— Вот что, Володя, вас Володя зовут, я не ошиблась? Ну вот,— ее тон стал примирительным,— если вы считаете хорошим тоном такой вот небрежный почерк, то вынуждена вас разочаровать. Это только в кино теоретики рассеянны и небрежны. И пишут на салфетках. Да-да. Когда я работала на заводе — а там теоретики не чета нашим, будьте уверены,— так у них считалось хорошим тоном сдавать блокноты без единой пометки. Начальник сектора не гнушался сам проверять черновики и заставлял переписывать. Вы, может быть, его знаете? — обратилась она к Игорю. — Дубинин Николай Алексеевич, Володя вряд ли о нем слышал... Да-да, тот самый. Есть небрежность почерка, а есть пренебрежительное отношение к людям — так он, помнится, говорил. Сотрудник вы у нас новый, молодой, поэтому я на первый раз просто возвращаю вам блокнот, но в следующий раз будьте, пожалуйста, аккуратнее. Договорились? Ну вот. — Она смотрела ему вслед. — Славный мальчик. Я хорошо знала его тетку. Она в нашем филиале работала. Марья Павловна. Все беспокоилась, поступит он в институт или не поступит. У самой мужа не было, без детей, так все внимание племянникам. А какая интересная женщина, если бы вы ее видели! Даже в пятьдесят лет. Какая-то там у нее история во время войны приключилась. Ох, я заболталась, я не задерживаю тебя, нет? Так вот,— снова понизила она голос,— на твоём месте я бы поменьше доверялась таким фифочкам, как ваша Леночка. Она тут всех уверяла, что ты тайно пишешь стихи. Хотя в этом, конечно, ничего дурного нет. Она уверяла, что ты посвящаешь ей эти стихи, хочешь стать известным поэтом, и просила никому не рассказывать об этом.

Игорь почувствовал, как горят его уши и пересох язык. Анна Аркадьевна внимательно смотрела на него.

— Вот видишь... Не стоило мне, наверно, рассказывать... Куда же ты, Игорь? Игорь, вернись! А расписаться? А письмо ты кому оставил?

Он подошел к окошку. Не поднимая глаз, расписался в инвентаризационной книге. Буркнул «спасибо».

В коридоре его остановила Леночка.

— Ты куда так несешься? Чуть не сшиб. Ты что?

Ее глаза лучились в полумраке наивно, невинно и по-кошачьи округло. Игорь молча смотрел на нее.

— Ты ведь хотел о чем-то спросить? Что уставился-то?

— Да... Ты, значит, ходила вчера на хоккей...

— Да что ты! — засмеялась она. — Уже ревновать! Никуда я не ходила! Так просто сказала. Хотела посмотреть, как ты отреагируешь. Ты давно меня никуда не приглашаешь, вот и сказала. Ну? Чего молчишь?

— И как я отреагировал?

— Как всегда. Нет в тебе этой, знаешь, мужской невозмутимости. Что в душе, то и на лице. Все можно прочитать.

— А сейчас что написано на моем лице?

Она пожала плечами, глядя в глаза.

— Ладно, я пойду.

— Да что с тобой?

Она взяла его за локоть.

— Ничего... — Он отдернул руку и направился в отдел.

Дело тут вот в чем. Он влюбился сразу же в нее, как только она появилась в отделе и он увидел ее чуть капризное, округлое детское личико с редкими веснушками. Инфернальные изгибы, как сказал бы Митя Карамазов. Кажется, никогда так не влюблялся. Горел и сжигал. Писал стихи. Посвящал и рвал. Вот, например: «Сгораю я, сгораю, сжигаю сам себя. То пламенем взлетаю, то корчусь от огня.

Друзья, враги, не бойтесь последних этих слов. Сложитесь и подбросьте сухой венок из дров. Любимая, ты плачешь и в стороне стоишь? Ах, понял я, иначе ресницы опалишь. Сейчас же вытри слезы, всегда будь весела. Но как в огне я мерзну без твоего тепла!» Ну и так далее. Чепуха, он сам понимал, но насчет ресниц в точку. Ни за что бы не опалила.

Потом случилось «это». Она произносила «это» весьма многозначительно. В лесу, ночью, во время похода, когда все разбрелись от костра кто куда. Она тоже, шепнув, предложила прогуляться.

В ночи гулко трещали сучья. Где-то смеялись и перекликались. Звезды кололи сквозь иглы елей, а под головой, под прелой, слежавшейся хвоей что-то шевелилось и шебаршило. Она чуть всплакнула, и безмерная нежность овладела им. Но тут же успокоилась и предложила вернуться к костру. И до утра вела себя как ни в чем не бывало. Ничем и ничуть не выделяя его среди прочих.

А тут еще имел глупость рассказать ей о желании стать писателем. «Да-а-а?» В ее глазах именно с этой ночи, равно как и в обращении с ним, появилась эта многозначительность. Сколько раз он потом замечал, как она переставала шептаться с девочками при его появлении. Они отводили глаза, чуть прыскали, и он чувствовал, как горят уши.

Он не решался сказать ей что-нибудь на этот счет.

Все это так, но каждое утро он просыпался с томительной, тяжелой тоской по ней и только на работе, заметив, как она перешептывается с подругами, постепенно отходил.

...Он прошел к своему столу, остановился, подумал, потом вспомнил. Направился к столу начальника отдела. Положил перед ним письмо.

— А... готово? — Начальник рассеянно пробежал письмо, махнул рукой и подписал. — Сейчас к нему не ходи. Сейчас у него там совещание. Представители от смежников... Да, кстати, тебя это тоже касается. Филимонов только что звонил из цеха. Что-то там с «БИ47». Заказчик остановил приемку. Не проходит команда «ПП», что ли... Ну, в общем, возьми схемы, сходи и посмотри. Наверно, там разберутся и без тебя, там и смежники и разработчики, но присутствие наше, хотя бы символическое, необходимо. Раз уж Филимонов взялся... сам понимаешь.

Дорогой в цех он шел, не замечая встречных.

Он вошел в светлый, просторный цех. Надел в гардеробе белый халат.

— А, подкрепление науке пришло, — встретил его Филимонов, зам Главного, коренастый энергичный пятидесятилетний крепыш с круглым, полигонного цвета лицом. — Наконец-то. А то мы тут без тебя, понимаешь, совсем зашились. Начальник твой больно занят. Я, говорит, лучше Белякова вам пришлю. Он вас враз всех там вразумит. Вот и стоим здесь с самого утра, ждем, когда нас, бестолковых, кто-нибудь научит.

Консилиум — все сплошь в белых халатах, разработчики, заказчики, испытатели, цеховое начальство — заулыбался. Они стояли перед испытательными стендами, окружив изделие.

Филимонов давно уже разыгрывал роль этакого рубахи-парня, пришедшего в науку с рыбным обозом. Мол, сам, собственным лбом пробил дорогу к высотам науки и карьеры. Без чьей бы то ни было помощи и связей. И если подчиненным это импонировало, то вышестоящему начальству не очень. Наверно, именно поэтому он уже восемь лет не мог подняться выше зама, пересидев уже трех Главных, причем двое последних были моложе его и ушли в министерство.

— Понимаешь, тут какая штука, — посерьезнел Филимонов, раз-



ворачивая принципиальную схему. — Не проходит «ПП». Все команды отрабатываются как положено. А лампочка «ПП» мигнет, и точка. Хотя она должна мигать непрерывно, верно? Ладно. Подгоняем изделие к другому стенду — все нормально. Мигает, как на елке. Так, может, сам стенд барахлит? Нет. Подгоняем к нему уже проверенное изделие — все нормально. Хотя убей — не пойдем. Вот ты как ведущий можешь нам подсказать, в чем тут дело?

Игорь пожал плечами.

— Нет, Иван Петрович, так сразу... Я просто не готов ответить на этот вопрос.

— Да это ясно... А так тебе твоя инженерная интуиция — никакую версию не подсказывает?

Игорь отрицательно покачал головой.

— Понимаете, — вмешался один из разработчиков, — тут у нас возникла мысль о том, что изделие-то нормальное, но из-за неблагоприятного сочетания допусков параметров возможно подобное явление.

— Теоретики — они скажут... — ухмыльнулся Филимонов. — У них на все ответ найдется... Ну, в общем, ладно. Пусть твои ребята этот вопрос обсосут. Допуска просчитают там и все как положено. И потом в виде отчета представят. Я правильно говорю? Товарищ заказчик со мной согласен? Ну вот, так бы всегда. А то шум, гром, приемку остановим. Изделия-то идут нормальные? И пусть идут. И это пройдет. Отчет подпишем и пропустим. И ты тоже, — навел палец на Игоря, — слышишь? Они пусть там мудрят, а ты просто как технарш с практической стороны подумай. Недели хватит?

### Новая метла

Так вот о Начальнике. Он появился в отделе около года назад, жарким летом. Невысокий, сутулый, с сухим птичьим личиком и темными, зачесанными назад волосами. Ходит быстро и энергично, как на пружинах. Выяснилось: заядлый турист. Пока Главный представлял его, он стоял, наморщив лоб и прислушиваясь к тому, что о нем говорили.

Главный был верен себе. Говорил гладко, четко, много общих мест и ничего конкретного. Будто характеристику продиктовал... Наконец оставил их один на один — отдел и его нового начальника.

— Ладно, — задумчиво произнес Начальник, выдержав глубоко-мысленную паузу. — Завтра у нас пятница...

— Верно, — сказал Алик, — а послезавтра суббота.

— А у меня трехкомнатная квартира, — продолжал размышления вслух Начальник, недоуменно подняв очки на Алика, — сорок пять метров...

— У меня комната в коммуналке, — отозвался Алик, — пятнадцать метров. Подыскиваете вариант обмена?

— А в отделе восемнадцать душ, — пригорюнился Начальник и вздохнул. — М-да... Ну ладно. Двенадцать человек куда ни шло, приму. Значит, завтра жду двенадцать человек к себе сразу после работы. Ну, в гости... Милости просим, словом.

Отдел с минуту разглядывал невесть откуда свалившееся на него гостеприимное начальство. За последние два года это был уже третий. Двое предыдущих с отделом не справились, и их отправили на повышение. Новая метла мела куда-то не туда. Прежние с ходу демонстрировали, какие они из себя суровые, решительные, принципиальные и неприступные. А этот чего-то темнил.

— Договорились, да? — спросил Начальник. — А остальных прошу на следующей неделе. там условимся.

— Договорились,— раньше других среагировал Алик.— Значит, так: с мужчин по пятерке, с женщин по тройку?

Он смотрел с радостным ожиданием в рот Начальнику.

— Можно,— кивнул тот.— И супруга моя что-нибудь приготовит.

— Состав мы сегодня же определим,— потирал руки Алик.

— Только чтобы это был боевой, сыгранный состав,— улыбнулся Начальник.

— Эт... Это само собой,— отмахнулся Алик,— коллектив у нас проверенный, спаянный, вот... Значит, Беляков, Коленкина, Белозерова, Рыбарь...

— А я не смогу,— первой опомнилась Нина Коленкина, низенькая, полненькая замужняя девочка, полгода как вернувшаяся из декрета.— Мне за город надо на выходные.

— И я,— вспомнила Эллочка Рыбарь с черными кудряшками, худенькая, в очках, похожая на мальчишку,— меня на день рождения пригласили.

— Что значит не можете?.. Что за разговоры? — грозно нахмурился Алик.— Для вас что, личное выше общественного?

— Стоп, стоп,— остановил его Начальник.— Так тоже не годится. Все-таки действительно пятница, вечером, у каждого свои планы... Ладно. Идем ко мне с обеда. Я договорюсь.

— Ну не знаю,— послышался наконец благоразумный голос. Раиса Кирилловна качала головой.— Вы только-только приступили к должности, Александр Константинович, и так сразу срывать отдел с середины рабочего дня... Не знаю, как еще на это посмотрит руководство.

— Так вы ведь тоже с нами идете, Раиса Кирилловна! — воскликнул Алик.— Неужели вы думали, что я про вас забыл? Как, неужели вы не хотите узнать, чем дышит наш новый начальник в быту? Упустить такой случай? Я вас не узнаю.

— Уж позволь мне самой решать, куда мне идти и кому я чем обязана,— резко ответила Раиса Кирилловна.

— Не понял,— покачал головой Алик,— ничего не понял! В рабочее время вы обязаны идти туда, куда вас обяжет идти руководство. Это после работы можно идти куда вздумается. Даже странно и как-то неловко напоминать вам...

Их полушутливая перепалка была столь же привычна и повседневна, как оперативки у Главного, и потому отдел не обращал на них внимания. Отдел во все глаза смотрел на Начальника, ожидая, что тот еще выкинет.

— Минуточку,— прервал хамоватую тираду Алика Начальник.— Минуточку. В конечном счете приглашаю я к себе домой и на мое приглашение не следует смотреть как на служебную обязанность. Но вас... э-э... Перова Раиса Кирилловна, если я не ошибся, верно, я не ошибся? Так вот я хотел бы вас пригласить персонально. Я слышал уже о вас от руководства как о наиболее влиятельном и авторитетном специалисте отдела. И потому мне кажется, что наше знакомство без вас будет попросту неполным, что ли... Вы понимаете?

— Скажите, Александр Константинович, в чем вы видите смысл подобного знакомства? Тем более за бутылкой. Вы уж простите меня, но все это как-то...

— Смысл?.. Ну как вам сказать... Видите ли, я хотел, чтобы вы с самого начала узнали меня, так сказать, в обычной обстановке, со стороны, где я проявляю уже не столько руководящие качества, сколько человеческие. И вы тогда сможете решить для себя, насколько я совместим в смысле качеств моего характера с вашим уже сложившимся коллективом. Вы меня правильно поняли? Ну вот.

— Годится,— сказал Алик.— Прописаться, значит, у нас решили?

— В этом, мне кажется, была беда ваших прежних руководителей.

Да и не только ваших. Я знаю и слышал о них как о прекрасных специалистах и организаторах. Но, по-видимому, этого оказалось недостаточно, чтобы столь же прекрасно работал под их началом ваш коллектив. Мне не хотелось бы повторять их ошибки. Начальство и родителей себе не выбирают. И если в отношении родителей дело совершенно безнадежное, то в отношении начальства стоило бы попробовать.

Он улыбнулся.

— И если выяснится, что мы не сошлись характерами?..— спросил Игорь.

— То всему отделу придется уволиться,— засмеялся Начальник.

— Годи-ится,— протянул Жека, глядя на Алика.

— Осталось пять вакансий,— сказал Алик.— Четыре... Три... Кто еще? Только не все сразу... Знаете, лучше бросьте жребий. Ну вас. А то потом будут обиды, всякие упреки, намеки...

Никто, правда, не устраивал толкучки, но легкий ажиотаж проглядывал.

На другой день Начальник сконфуженно признался, что ему здорово попало от жены. «Никогда не думала, что ты такой мелочной» — так и сказала. Короче: приглашаются все. И как только наступил обеденный перерыв, отдел во главе с Начальником гурьбой потянулся в гости.

День был душный. Солнце пекло в самое темечко. Все кругом были сморщенные, сощуренные или в темных очках. Пахло плавленным асфальтом, потом, трехкопеечным сиропом и выхлопными газами.

Идти было неблизко. Но для Начальника общественного транспорта, казалось, не существовало. Отдел растянулся, едва поспевая за ним, на полквартила. И наверх, уже в подъезде, почему-то поднимались пешком. Откуда-то с верхних этажей доносились детские вопли.

— Ох, черт,— опомнился Начальник где-то между третьим и четвертым этажами.— Вы уж простите... Я привык подниматься пешком. Девушкам, конечно же, следовало бы сесть в лифт.

— А далеко еще? — спросила Леночка, запыхавшись.

— Шестой этаж,— сказал Начальник,— подождите, я сейчас вызову.

— Ничего, ничего,— сказал Алик,— привыкли, понимаешь, чтоб их на руках носили.

Он выглядел свежее других.

На пятом этаже вопли усилились до рези в ушах.

— Ну чего они орут,— захныкала Эллочка, заткнув уши.— Одни дома, что ли? Прямо мороз по коже... Не могу! Убивала бы таких родителей.

— Это мои,— сказал Начальник.— Машка их там школит.

— Ой,— покраснела, а потом, прикрыв лицо руками, приснула Эллочка.— Вы уж простите. А эта Машка, извините, конечно, это ваша супруга?

— Нет. Старшая дочь. Скоро девять исполнится. Осенью в третий класс пойдет.

Они подошли к приоткрытой двери, из-за которой все еще раздавался визг.

Начальник открыл дверь, и они увидели на полу в коридоре кучу малу из пяти полуголых ребятишек, двое из которых ревели от восторга, а остальные от обиды.

Около них стояла очень худая невысокая женщина с бесцветным изможденным лицом, в застиранном халате и переднике. Она курила, равнодушно глядя на возящихся ребятишек. Около нее стояла девочка лет восьми и, склонившись, что-то выговаривала крепкому карапузу, покрасневшему от натуги и с пугающимися соплями. Он-то и создавал основной, вибрирующий тон.

— Проходите, проходите,— кивнула им женщина как старым знакомым,— не обращайтесь внимания. Маша, уведи Сашку куда-нибудь.

— Ой, да сколько же их у вас! — всплеснула руками Раиса Кирилловна.

— Когда утром я уходил, было четверо,— сказал Начальник. — Но тут не только наши. Тут еще пришлые.

— Скажи лучше, почти все не твои,— сказала женщина.— Гошка и Мишка гуляют у Володиных.

— Жена моя, Шура,— сказал Начальник подчиненным, разинувшим рот на это буйство демографии.— А это уж, мать, твое дело вести им учет — кто и где. Лишь бы утром их было не меньше четырех,— добавил он.

— Современный отец,— кивнула Шура на мужа.— Все, что он дома успевает, это досчитать до четырех. Да вы чего стоите? Вы проходите, проходите... Он даже не догадается у девушек сумки взять. Проходите. Знакомиться будем на ходу... Вот только что: взяла квас, хотела окрошку сделать. Огурцы есть, лук, редиска, мясо и яички отварила...

— У нас тоже все есть,— сказала Нина Коленкина,— ничего не надо, мы сейчас все сами организуем.

— Так квасу мало. Я думала, вас поменьше будет. У него разве поймешь... Я сейчас Машку пошлю. Маша!

— Нет-нет, что вы! Алик, будь добр, сходи за квасом.

— Это сейчас,— встрепнулся Алик, несколько ошалевший от увиденного.— Бидончик найдется? Сколько надо?

— Два литра. Не больше. Ты подожди, не спеши. Даже идти куда не знаешь... Иди вот сюда.— Шура подошла на кухне к окну.— Вон, видишь, во дворе бочка? А народу сколько, тоже видишь? И все пенсионеры. Так что вот так. Я и думаю, стоит ли?..

— Это уж дело наше,— сказал Алик,— вы бидончик давайте... Жека, Игорь, Коля со мной, а остальным редиску резать. Чтoб к моему возвращению все готово было.

Они вчетвером снова нырнули из дверей подъезда в душное и густое, как скисшее пойло, асфальтовое марево, настоящее на отработанных газах. Очередь за квасом, накрытая панамками, соломенными шляпами и белыми кепочками, представляла собой сплавленный жарой и жаждой монолит, околo которого безуспешно терлись несколько небритых, неряшливого вида мужиков.

— Жека, ты бидончик припрятать пока, стань в сторонку, ладно? Остальные за мной... Через одного, товарищи, только через одного отпускать в кружки! — кинулся Алик туда, где бабки, размахивая бидонами, отгоняли страждущих мужиков.— Мамаша, отпускайте через одного... Вот так. А вы отойдите, гражданин... Бабуля, не сепети, не сепети. Ставь лучше бидончик. А теперь следующий. Товарищ, товарищ, потом объяснитесь. Давайте вашу банку. Во-от. Видите, как дело пошло.

— Какой молодец,— загомонили старушки,— враз управу нашел. А то все спешат. Некогда им, понимаешь.

— Это они только делают вид,— разъяснял очереди Алик.— Ага. Деловые теперь все больно. А спроси их, куда они спешат?

— Да. Куда?

— Вот то-то и оно...— многозначительно заключил Алик.

— Да-к, да-к,— закудахтали старушки,— и не скажи им, главное. Только б водку глушить, а потом квас им подавай. А работать никто не любит. Никто!

Алик сунул мелочь продавщице.

— Четыре пол-литровых. А то пить хотим — умираем,— сказал вполголоса.

Он улыбался очереди, пока она наливала.

— Ап! — щелкнул пальцами, и из-за спины Жеки возник бидон.— Ап! — Четыре кружки одновременно сливались в него при общем оторопелом молчании.— Благодарю за внимание,— раскланялся Алик,— до следующих встреч!

Очередь наконец выдохнула.

— От циркач! — крикнули мужчины и завистливо закрутили головами.

Кто засмеялся, кто возмутился, а их спины уже исчезли в темном проеме подъезда. Алик, не удержавшись, еще сделал ручкой.

— Да-а, с такими кадрами не пропадешь,— сказала Шура мужу, забирая бидон,— как он с бабулями нашими разобрался... Лихо, ничего не скажешь.

В кухне дробно стучали ножи.

— Разве я для себя? — остановился Алик.

— Ладно, ладно... Для общества, конечно... Проходите в комнаты, ребята. Там у нас, как в зоопарке, фауна сплошная, так что не пугайтесь.

В комнате примолкший Сашка, лежа голым животом на линолеуме, старательно облизывал рыжему щенку острое, дергающееся от удовольствия ухо. Под потолком в клетке находился попугай, изучающе моргая одним глазом на вошедших. Черная кошка внимательно следила за другим голым карапузом, тискавшим ее черно-белых котят. В углу маленькая черепаха, привстав, монотонно царапала когтями и без того ободранные и разрисованные обои. Сам Начальник дергался посреди комнаты, навалившись животом на круглый, когда-то полированный стол, пытаясь его раздвинуть.

— Господи!..— ахнула Раиса Кирилловна, заглянув в комнату.— Александр Константинович, да оставьте вы стол! Его ребята раздвинут. Лучше смотрите, что ваши сорванцы делают! Они ж заразу какую-нибудь подцепят. И как вы не боитесь...

— Не подцепят,— дергался Начальник.— Они у нас стерильные. Каждый день купаем. В одной ванне... А стол... Стол с секретом. Тут знать надо. Нужно только дернуть его чуть вбок... Как следует... Вот так!..— Он выпрямился.— А вы пройдите лучше в ту комнату, телевизор посмотрите.

В следующей комнате, кроме старой, потертой софы и огромного цветного телевизора, стоящего на высокой тумбе, ничего не было. Правда, еще выше, на самом телевизоре, стоял телефон. Телевизор орал на всю громкость, и по экрану бежала картинка. Вслед за ними быстро вошла Шура. Ее руки были в прилипших колечках зеленого лука. Она выключила громкость, не взглянув на экран.

— Садитесь, садитесь... Я сейчас только позвоню.— Она положила рядом с телефоном нож.— Сам-то разве догадается... Вера? Ага. Слушай, зайди сейчас, заведи к себе всю живность. Тут и наши и кишиневские... Ну да. Ну конечно, Сашка тебе поможет. И вот что: тарелок прихвати глубоких и вилок... Не знаю я сколько! Сколько принесешь, столько будет. А потом, слышишь, как уложите, с Колей к нам приходи... Ничего, все свои... Машка с ними управится. Ну пока.

Потом пришла Вера, чем-то похожая на Шуру, только без очков. Принесла тарелки и вилки.

— Володина Вера,— протянула она узкую ладошку.

— Это у вас наши гуляют? — спросил, строго сдвинув брови, Алик.— Как они, не безобразят?

— Кто это ваши? — не поняла Вера.

— А Гошка с Мишкой.

— А-а...— она мило рассмеялась,— ничего, сейчас им еще веселее будет.

Потом они с Машей сортировали живность. Потом детей и зверей перетаскивали этажом выше. Привычные к подобным перемещениям,

они не брыкались, а очутившись на месте и встреченные восторженным воем, сразу принялись возиться.

— Ты им тут большой воли не давай,— сказал Начальник Маше.— Помоги тете Вере уложить. Кирюшинских тоже. Накормить знаете чем? А потом, если хочешь, к нам приходи с тетей Верой.

Он потрепал ее по щеке. Маша — озабоченная, серьезная — замотала головой.

— Нет, папа, я лучше здесь лягу. Устала знаешь как...

— Пусть, конечно, пусть у нас спит,— обняла ее за плечи Вера.

— Ну смотри. А завтра отдохнешь. Не забыла, вечером в цирк идем?

В квартире, несмотря на большое количество народа, установилась гулкая, нежная тишина. И все разом смолкли, прислушиваясь к ней. Что еще больше усугубило кажущуюся пустоту.

— Ты смотри,— вздохнул Начальник,— что значит детей нет, а...

— Ладно тебе... Тоже мне. Сам-то из дому рад сбежать, лишь бы повод был. А теперь тоска ему... Ну ладно, детей на Машку сплавил, теперь можно веселиться... Давайте, давайте! Чего в самом деле? Ну как тебя, Алик, ну-ка достань нам из холодильника,— распорядилась Шура,— вспомним, что мы тоже детьми были. Девочки, крошку не сите. Стол-то раздвинул наконец?

— Да выключите кто-нибудь телевизор!

— Игорек, там еще есть тарелки и вилки. Передай сюда.

— А мне селедки положи.

— У всех все есть?

— Кто просил хрена?.. Да подожди ты. Хрен кому, спрашиваю?

— Сметану, сметану забыли. Как же крошка без сметаны...

— Потом, потом сметану. Давайте сначала выпьем.

— А, проголодались!

— У всех все есть? В последний раз спрашиваю.

— У все-ех!

— Давай, отец, давай. Сорвал людей с обеда, так не тяни. Видишь, какие голодные.

Начальник встал, поправил очки.

— Я-то, признаться, хотел произнести тронную речь, но, как видно, вверенный мне парламент пока не готов ее выслушать. Так что выпьем просто за наше общее знакомство.

— Оппозиция просит слова,— поднял руку Игорь, когда выпили.

— Ладно тебе... Дай закусить сначала.

— Ну-ну,— сказал Начальник, пережевывая селедку.— Это интересно. Мы, признаться, с удивлением узнаем о существовании во вверенном нам парламенте оппозиции.

— Может, сначала все-таки закусим, а? А уж потом перейдем к прениям?

— Да пусть... Что они тебе, мешают?

— Значит, так,— постучал вилкой по тарелке Алик,— никаких дебатов. Все дебаты после крошки.

— Вот именно.

— А вы, простите, кто будете в нашем парламенте? Спикер?

— Лидер оппозиции,— сказал Алик.

— Премьер теневого кабинета,— добавил Игорь.

— Ого! — Начальник даже отложил вилку.— Мы с растущей тревогой узнаем о существовании во вверенном нам парламенте теневого кабинета. Мы начинаем догадываться, почему наши предшественники так рано подали в отставку.

— А как же,— сказал Алик,— чуть что не так, сразу ставим на это... голосование, что ли? — обратился он к Игорю.

— Вотум доверия.

— Вот-вот. И все дела. У нас только так.

— Ого! — повторил Начальник, у него действительно был встревоженный вид. — А скажите... — Он запнулся.

— Ну-ну, — подбодрила его Шура. — Что, испугался и сказать нечего? Ладно, девочки, несите крошку. А то наши остряки уже выдохлись.

Игорь сидел напротив Леночки. Не смотрел на нее, когда она смотрела на него. Видел, как она, чувствуя его взгляд, старается в ответ не смотреть на него. Чувствовал какую-то подавленность, которая возрастала, по мере того как ширилось общее веселье, в котором Леночка принимала участие. «Чертов эгоизм. Тебе обязательно надо, чтобы она сидела с такой же постной физиономией, никому не улыбалась и ни на кого не смотрела». И мрачнел еще больше.

— А вы что такой насупленный, молодой человек? — обратилась к нему Шура. — Может, вам сметаны не досталось?

«Так бывает всегда. Думаешь, что все заняты собой, как и ты, а на самом деле все видят твою насупленность, ничего удивительного, если выпадаешь из ряда».

— Ой, да он всегда такой, — сказала Леночка, — всегда о чем-то думает, всегда чем-то недоволен. Вы внимания не обращайте. А то он еще хуже насупится.

— Ничего себе, — сказал Жека, — характеристика! Это Игоряха-то? Молчала бы.

— Нет, ну почему же, — сказала Нина Коленкина. — Игорь просто такой, ну, не знаю, как сказать.

— И молчи, раз не знаешь.

— А что ты всем рот затыкаешь? Как коснутся его самого или его друзей, всем рот затыкает. Я просто хотела сказать, что Игорь не умеет управлять своим настроением. Что у него всегда на лице написано то, что он переживает.

— Ой, ну слово в слово. Правда, Игорь, я тебе то же самое всегда говорила, правда?

— Вот. И это совсем неплохо. Но в данном случае, в гостях...

— Давайте поговорим о чем-нибудь другом, а? И перестанем обращать внимание на Игоря, — сказала заметно захмелевшая, с пятнами на лице Раиса Кирилловна. — Как будто говорим об отсутствующем.

Начальник с улыбкой на лице смотрел на подчиненных. Он был явно доволен. Переглядывался с Шурой, улыбаясь все шире.

— Пусть лучше наши хозяева расскажут, как это они решились на такой подвиг. Четырех детей иметь в наши дни — это, знаете ли... Или пять у вас, я не ошиблась?

— Пятого ждем, — сказала Шура, — в будущем году, что-нибудь в феврале.

Кто-то присвистнул, кто-то прыснул, кто-то пробормотал «ничего себе». И все переглянулись.

— Мы с Сашкой вместе учились, — сказала Шура, — в одной группе. Это ничего, что я вашего начальника буду называть Сашкой? Не обидитесь за него? Так вот в нашей группе, как нарочно, подобралась сплошь одни красавчики. Кроме нас с ним. Нет, серьезно. Вот вроде него. — Она указала на Алика. — И... — она обвела глазами девушек, — вот хотя бы вроде вас. — Она указала глазами на Леночку. — Точно! Знаешь, кого она мне напоминает? — спросила она мужа. — Ленку Селезневу, твою любовь. Скажешь, нет?

— А я ведь тоже Лена, — засияла Леночка.

Все засмеялись, а Начальник покраснел.

— Видите, видите? — указала на него Шура. — До сих пор краснеет.

— Да ладно, ладно, ты рассказывай, — сказал Начальник.

— За авторитет переживаешь? А сам что насчет авторитета говорил? Ну вот. Сиди и молчи. Так вот мы с ним одни всю картину

портили. Хоть в другую группу переводи или вообще исключай. Он по этой самой Ленке обмирал, — она снова взглянула на Леночку, и все рассмеялись, — а мне смотреть на него противно. Честное слово. Учили мы с ним лучше всех. Другим-то все некогда было. Сами собой слишком заняты были. Меня старостой выбрали и его куда только не выбирали... Так эта Ленка Селезнева десяток уже поменяла, а Сашка все сохнет, ночей не спит. И успеваемость снизил. Ну, тут я взялась за него. Куда ты, Егоров, лезешь, говорю. Да она на тебя — ноль внимания! А на самой уже пробы ставить негде, — подняла голос Шура и спохватилась: — Ох, извините... Сейчас, конечно, уже не та обстановка, но именно так тогда и сказала. А на него смотреть тошно. Мямлит чего-то. Они-то, говорю, не пропадут. Со своими тройками. Для них родители самые лучшие местечки уже приготовили, будь спокоен. А нам с тобой, периферийным, на что рассчитывать? Раз уж мордой не вышли, говорю, давай лучше вместе наляжем на занятия. Ты ж самый способный. Тебе, а не им здесь, в Москве, наукой заниматься. Задумался, смотрю. А я гляжу на него, гляжу, чувствую — пропадет ведь без меня. И еще, говорю, давай Егоров поженимся. Первый и последний раз предлагаю. Сейчас откажешься — лучше не подходи потом! Лучше старой девой останусь, а тебя близко не подпущу!

— Да не тогда это было, — сказал в тишине Начальник.

— Тогда! Именно тогда. Я-то помню, что перенесла, пока тебе вдалбливала... Все красивой любви, говорю, ждешь? Любовь не с неба ждать надо. А строить ее в поте лица. Когда поймешь, что без меня ты ничто и никуда, вот тогда и узнаешь, что такое любовь. Я-то, думаешь, люблю сейчас тебя? Жалею только. Голову твою умную... Пока жалею. Потому и предлагаю. Не набиваюсь к тебе, а руку протягиваю, понял? Совсем, смотрю, жалкий стал... Самые первые с ним на курсе поженились. Наши красавчики ухмылялись поначалу. А потом спохватились. Одна Селезнева его диплом еще не защитила, а уж мужа поменяла. Студента на доцента.

— Мы не о ней говорим, — сказал Начальник.

— О тебе я говорю! — снова повысила она голос. — Что, не нравится? Тогда молчать буду.

— Ну уж раз начала, — вздохнул Начальник, — так чего молчать... Понимаете, мне кажется, что мы преодолели с ней одно из главных современных заблуждений, что ли... Я имею в виду эту путаницу целей и средств их достижений. То есть существует какая-то жизненная цель, то, чего ради мы живем, и существуют условия жизни, которые должны нам помочь эту цель достигнуть. Я понятно говорю? Может, это доморощенное философствование сейчас не совсем уместно...

— Что вы! Наоборот, интересно.

— Ничего, ничего.

— Это что, уже тронная речь, да?

— Давайте еще по одной и послушаем!

— Ну давайте, — сказал Начальник, — только за что?

— За ваших детишек, — неестественно громко произнесла Раиса Кирилловна. Ее лицо было в красных пятнах. — Жаль, что мы не всех их видели. Шурочка, я хочу с вами чокнуться. Растить столько детей и воспитать себе такого мужа — это, знаете ли...

Выпили.

— Так вот я хочу сказать, что вместо того, чтобы идти к цели, мы только тем и занимаемся, что создаем жизненные условия. Ничего нового я не открыл, все это понимают, но если я напомину, что любовь является всего лишь средством, самым сильным и острым, но все-таки средством для достижения главной цели нашего существования — я имею в виду продолжение рода, — то многие наверняка возмутятся. Как так, как это можно?..



— Да нет, все нормально,— сказал Алик.

— Ой, девчонки, я тоже хочу побольше ребятишек,— зажмурилась, потянувшись, Нина.— Чтоб вот так же возились, визжали, рисовали на обоях.

— Все так говорят,— сказал Игорь.— А потом спохватываются.

— Ну, ты обо всех не суди,— возмутилась Нина.— Если твоя жена такая фифа, то это еще ничего не значит. Я целый год из постирушек не вылезая. А как заболит, так вообще...

— Вот видишь — когда заболит... Ведь в стольком приходится себе отказывать, когда они болеют. Столько сразу неприятностей! И по работе и в личной жизни... Никуда не вырвешься, с работы без конца звонят, скоро ли... А о чем другом можно переживать, когда заболит ребенок!

Все затихли.

— У вас, простите, кто? — спросила Шура.

— Сын,— ответил Игорь,— только я с ними не живу.

— Вы его видите? Часто?

— Да... по возможности.

— Вот никто не верит, чтоб мужик брал бюллетень по уходу за ребенком, а Игорь брал! — сказала Нина.

— Часто болеет?

— Да нет. Не чаще других.

— Вы, видно, здорово переживаете за него. Может, что другое?

— Нет. Все в порядке. Упитанный, ухоженный. Даже слишком.

С четырех лет пишет и читает.

— Что значит слишком?

— Слишком — это когда ставит свои тапочки под галошницу и следит, чтобы их носки были вровень с другими. Когда моет стакан в автомате с газировкой не менее трех минут, так его учили. Знает, в какой институт поступать и сколько набрать баллов, хотя в первый класс пойдет только в этом году. Когда редко плачет и редко смеется.

— По-моему, это в тебе говорит твой отцовский эгоизм, Игорь,— покачала головой Раиса Кирилловна.— Я сама еще молодая теща, но уже насмотрелась... Проще всего воспитывать, глядя со стороны, а на деле вы все до того беспомощны, что...— Она махнула рукой.— Не хочу говорить.

— Кажется, я понимаю Игоря,— сказал Начальник.— Понимаю, ибо мы тоже сталкивались с подобной проблемой. В сущности, все родители стоят перед этим выбором. Чего я хочу? Вырастить его таким, каким я себе его представляю, или помочь ему стать таким, каким задумала его природа? Мы приняли второе. Родительский эгоизм стоит как раз в другом. Когда ребенка ломают под себя, под свои представления и прихоти и называют это воспитанием. А воспитание должно кончаться там, где начинается самовоспитание.

— Интересно... А вот как вы понимаете самовоспитание? — спросила Нина. Она подалась вперед, не сводя округлившись глаз с Начальника.

— Ну как... Если попытаться сформулировать,— он развел руками,— ну, как непрерывный ряд открытий и откровений, которые каждый делает сам для себя от рождения до самой смерти. Что-нибудь так...

— Вы хотите сказать...

— Да, я хочу сказать, что хочу изобрести велосипед сам для себя. Даже если на нем нельзя будет кататься. Только в том, что он никуда не годится, я тоже хочу убедиться сам! Иначе нельзя. Иначе я никогда ничего не изобрету. Понимаете? Я должен пройти весь этот ряд открытий для себя, чтобы открыть что-то новое уже для всех. Ведь что такое современное образование и воспитание? Кто-то писал, что если хищника насильно кормить, когда он не голоден, и мясом, которое он

добыл не сам, то он скоро потеряет аппетит и страсть к охоте. Похоже? По-моему, очень. Вы замечали, что сейчас почти невозможно встретить самоучку? Это говорит о том же самом. Что у каждого из нас когда-то прервался ряд наших открытий на каком-то этапе и мы стали бояться ошибок и утратили любознательность. И застыли на месте... В принципе каждый из нас мог бы сказать, когда это случилось с ним и почему. И определить, таким образом, свой потолок.

Все молчали.

— Вот вы говорили: от рождения до самой смерти. Вы не делаете никакого различия между детьми и взрослыми? — спросил Игорь.

— Разница, конечно, есть... Нужно для тех и других создать все условия для самовоспитания и развития. А наш личный пример должен дать детям ориентир, к которому опять-таки они будут двигаться сами. Ну а взрослые пусть сами намечают для себя ориентиры. В виде, скажем, задач, которые кажутся непосильными.

— Например, воспитание пяти детей, — громко сказал Алик.

Присутствующие дружно и облегченно рассмеялись.

— Да, — вздохнул Начальник, — что да, то да...

— Еще вы говорили о выборе, — снова вступил Игорь, — говорили совершенно правильно. Только на самом деле такого выбора не существует. То есть он должен быть, но его нет. Лепим себе детишек по своему образу и подобию и хорошо себя чувствуем.

— Ну, тут надо поосторожнее, — покачал головой Начальник. — Вы же не станете отрицать, что ваши бывшие жена и теща искренне любят вашего сына и желают ему только добра? Я понимаю, что вы хотите сказать. Что это мешанское понимание добра или что-то в этом роде. Вот тут и надо быть очень осторожным... Сейчас, кстати, мешан обличают все кому не лень. Так принято. Хотя эти люди, как правило, ничем не хуже, а в чем-то и лучше своих обличителей. Они просто другие. Стоят в силу каких-то обстоятельств на другом, пусть более отсталом, этапе эволюции, ну и что? А вдруг им через это надо пройти, как через крепостное право или святую инквизицию...

— Вы судите обо всем так уверенно, — усмехнулась Раиса Кирилловна, — просто позавидуешь...

— Я просто высказываю свое мнение, отвечая на вопросы, — поклонился в ее сторону Начальник. — Ведь сейчас все только ставят вопросы. Острые, злободневные, животрепещущие, всякие... Так вот, по-моему, прошло время собирания камней, и пора их разбрасывать... Ну, давайте выпьем. А то, я вижу, все заскучали. Давайте!

— Давайте лучше споем, — сказала Шура.

— С-сначала выпьем.

— Не можешь пить — не пей, — засмеялась Шура и потрепала его по волосам. — С тебя хватит. Посиди.

Алик уже взял гитару.

— О чем споем? — спросил он, сдвинув брови. И взял аккорд.

— А что ты знаешь?

— Что угодно.

— О-о... Ну тогда спой нам что-нибудь о несчастной любви. Только современное что-нибудь.

— Можно, — кивнул Алик.

— Позвольте, — поднял голову Начальник, — а моя тронная речь?

— Потом, — сказал Алик, перебирая струны. — Когда парламент вернется с каникул.

Он запел. Изломив бровь, с сигаретой во рту.

А мы сошлись,  
Как три рубля на водку.  
А разошлись,  
Как водка на троих...

— Ну вот...

— Ладно тебе, действительно, приבלатненного из себя строить.

— Давай лучше нашу. Которую в походе пели.

— Слушайте, а в самом деле,— Шура постучала вилкой по тарелке, привлекая внимание,— а что вы все пришли сюда? Егоров, слышишь, ты чего их привел? — Она пьяно растягивала слова.

Все притихли, переглянулись. Алик сорвал палец со струны.

— В такую жару сидим в этом бетонном гробу. Лучше поехали бы, действительно, на природу. Тоже мне, сообразил. Давайте в следующий раз двинем на Истру. Или под Звенигород. Мы там такие места знаем!

— Ой, товарищи!

— Давайте!

— Шурочка, вы золото. В следующий же выходной давайте.

Отдел постепенно распадался на фракции; у каждой были свои разговоры и свои развлечения. Около Шуры собрались почти все женщины. Шура рассказывала:

— Тяжело, конечно... Но, знаете, тяжелее было решиться. Ведь как головой в омут. Решили с ним на пяти остановиться. Чтобы разница в годах была небольшая и хотя бы на одежке экономить. Он тогда кандидатскую писал. На одной каше и чае жили. И сейчас — каша да овощи. Мясо редко. Для гостей больше. Но я не жалею. Ничуть. Наоборот, что вы!.. Это ж столько радости. Егоров правильно сказал: удовлетворение полное, ни с чем не сравнить. Вы уж там приглядите за ним. Ничего, ничего... Покуксится и привыкнет. Начальник, тоже мне... Дите малое, вот кто... Потом Машенька подросла и стала мне помогать. Он говорит: давай, мать, теперь твоя очередь диссертацию писать. И писала, что вы думаете. Больше он, конечно, за меня сделал. А уж как защищалась, лучше не спрашивайте! Горе одно. Работаю, да... Дома больше. Сижу и жду, когда Машенька из школы придет. Иной раз, знаете, самой не по себе делается. Лишили ребенка детства, ведь так и говорят... А в лагерь к ней ездила этим летом, так чуть не разревелась там. Вожатые не нахвалятся. Такая, говорят, она у вас заводила, и озорница, и помощница. Такая самостоятельная... Там у них в отряде девочка была, одна у родителей, дома полное обеспечение, домработница. Моей говорит: у тебя нет ни одной приличной вещи. Ага, представляете, сопля какая. К ней мамочка на «Жигулях», сама видела, подъезжала. Икру банками везла. Ананасы там, гранаты. Как больной. А та ни с кем не делилась. Мамаша ей говорит: потерпи, мол, скоро тебя заберем отсюда, в Югославию с нами поедешь. Представляете? А знаете, что моя этой девочке ответила? Ну, насчет вещей? У тебя, говорит, они приличные, да грязные. И не утерпела ведь, взяла и постирала ей. Тогда та ей говорит: а мне папа японский калькулятор купил. За триста рублей. Я как к доске выхожу решать или контрольную пишу, всегда пятерки получаю, вот. Моя говорит: а у меня тоже по математике пятерки.— Шура всхлипнула.— Да что ты завел какую-то тягомотину! Давай что-нибудь повеселей.

— Можно,— кивнул Алик. И заорал:

А мне так нравится —

Сходить всегда с ума!

Ведь все счастливые немного сумасшедшие...

— ...Ведь как болела! Как болела... Мальчики потом один здоровее другого пошли. Сашка, к примеру, вообще ни разу, тьфу-тьфу, а она за всех отболелась... Бабки? Его мать вообще нас прокляла. Поначалу. За Машу особенно. Вздумали, мол, эксперименты над детьми ставить. В суд на нас подавать собиралась, честное слово. Соседей в свидетели звала. Сейчас-то ничего. Навещает. Ворчит, удивляется, все

старается, знаете ли, наставлять, но я ей четко рамки поставила: сами, мол, до сих пор тянули, а дальше уж как-нибудь. А моя как ни придет, бывало, так в слезы. Она у меня такая. Сама четверых вырастила, а тебе, говорит, зачем столько, доченька? Хоть для себя-то поживите. И Машу тоже особенно жалеет. А когда Маша в позапрошлом году переболела очень тяжело скарлатиной, так ей раз самой плохо стало, пришлось «скорую» вызывать. Приехала к нам купать Машу. А Маша после болезни исхудала и ослабла донельзя. Купает, причитает и вдруг увидела. Она душем ее уже ополоснула, вытирать принялась и увидела, как здесь вот у нее, за ключицами, во впадинках, вода еще стоит. Как два озерца. Представляете? Что с мамой было — передать не могу. А Маша не поймет, в чем дело, успокаивает, а у самой эти два озерца плещутся... Мать пуще... Ну ладно, что теперь вспоминать. Ушел он к вам из института, здесь у вас зарплатой его приманили. Денег-то все не хватает. Хотел было уже за докторскую приняться, да где там... Ты, мать, говорит, после Гришки — это он уже пятого заранее окрестил — садись писать. Материалом я тебе помогу, вместе состряпаем. Вот, к примеру, новый аквариум хотим купить, да все никак не соберем. Старый-то разбили, Гошка туда котенка сунул к рыбкам, а Мишка отнимать стал... Вот. А потом соседи наши, Володины и Кирюшины, глядя на нас, примеру последовали...

— Тише! — вдруг сказал Начальник.— Всеобщее ша! Я скажу вам тронную речь.

Говорил он сначала медленно, часто останавливаясь, подбирая слова. Потом оживленно, громко, жестикулируя.

— Я хочу... чтобы в нашем отделе были те же порядки, что и в нашей семье... Поясню. И попрошу не перебивать! Вопросы, то есть запросы, потом. Вы видели, что своих пацанов я стараюсь как можно больше предоставлять самим себе. В чем смысл моей, прошу прощения, Александра Егоровна, нашей системы? — Начальник сделал поклон в сторону супруги.— Мы не стараемся предупредить... или уберечь их от ошибок, от ушибов, от царапин... Пусть в них заложатся рефлексы, выработанные не путем запрета, а с помощью собственного опыта. Пусть в них заложится способность к саморегулированию... самообучению и, самое главное, к реагированию на ошибки, удары, царапины... Люди не делятся на умных и дураков. Это заблуждение. Люди делятся на тех, кого жизнь чему-то учит, и тех, кого она ни черта не учит, и они только тем и занимаются, что без конца повторяют собственные ошибки. Известно, что в возрасте до пяти лет такие приобретенные способности самые устойчивые. Кроме того, очень важно, что старшие опекают младших. В этом главный секрет того, что мы с ними справляемся. Гошка уже, глядя на Машку, опекает Мишку, а Мишка уже возится с Сашкой.

Отдел рассмеялся. Начальник нетерпеливо поднял палец.

— Вот и у нас в отделе так должно быть. Я представляю себе, как работали ваши прежние начальники. Мой, кстати, работал точно так же. Все очень боятся ошибок. И связанных с этим выговоров, разносов и лишения премий. Пекутся о чести мундира и репутации. За нас ищут ошибки и сами их исправляют. За нас бегают по важным, с их точки зрения, вопросам, которые мы будто бы не в состоянии решить сами. А когда нам на ошибки указывают, вместо того чтобы мы сами на них натыкались, мы их повторяем. Так вот как будет выглядеть наш с вами рабочий день после того, как все утрясем и устроим. На работу я прихожу позже всех. Сажусь за стол, разворачиваю газету и решаю кроссворды. Да-да. И первого, первого... кто сунется ко мне с глупым вопросом, не относящимся к компетенции начальника отдела, лишь премии за месяц! Будьте добры — решайте их сами. Ваши документы я буду подписывать не глядя. Но не дай бог, если за моей подписью проскочит ошибка! Ваша ошибка, уважаемые коллеги. Ко-

роче: в моем отделе должно быть девятнадцать начальников отдела. Самостоятельных, ответственных, не ждущих подталкивания и подсказок. Я беру на себя роль верховного арбитра. И так, больше доверия к самим себе! Я-то рискую больше, доверяя вам, верно? Помните: вы ничем не хуже своего начальства. Просто вам пока не повезло. Впрочем, многие из вас догадывались об этом и раньше. Далее. Я не собираюсь вас без конца, как это теперь заведено, призывать к творческому подходу. Для этого надо не разглагольствовать, а создавать определенную обстановку. Наша работа, к сожалению, во многом чисто чиновничья. Я прекрасно знаю, как она отупляет и вырабатывает равнодушие к делу. Поэтому я не буду обращать внимания, если вы будете отвлекаться, переключаться на что-то другое... Вот тут важный момент. Мое условие одно: чтобы это правильно все понимали и помнили, во имя чего это делается. Мое требование тоже одно: сроки. И качество и точность, само собой. Тем, кто будет укладываться в сроки, я буду позволять больше, чем прочим. И чтобы не было обид. Я сказал все. Вопросы, может, какие-нибудь пожелания.

— Вы правда будете всех отпускать? — не веря своему счастью, спросила Лена. — Как здорово...

— Я уже объяснил, что это будет зависеть от вашей исполнительности. Сначала все будут на равных основаниях, а потом кто как себя покажет... Кстати, кстати... Чуть не забыл. У вас, ребята, очень шумно. Все говорят на повышенных тонах. Особенно вы, Лена, отличаетесь. Я уже успел заметить.

— Это точно, — сказал Алик.

— А почему я? Что я, одна виновата? Все так разговаривают, что ничего не слышно, вот и приходится...

— Все правильно, — кивнул Начальник. — Когда говорят одни, то, чтобы тебя услышали, приходится говорить громче их и так далее. Как видите, приходится начинать с азов. С того, что нужно подойти поближе и говорить вполголоса. Или хотя бы подождать, когда кончат другие. Так вот я всегда буду требовать тишины и...

— Конечно, — сказал Алик, — когда кругом галдят, разве тут решишь кроссворд.

— И хорошо бы, чтобы у нас больше не было блатных, — мечтательно сказала Леночка. — Так плохо быть блатной! Я ведь сама блатная, меня сюда устроили. Думаете, я не видела, как ко мне относятся и как на меня смотрят. Ведь я же в этой работе ни бум-бум!

— Ну что ты, Ленка, — обняла ее за плечи Нина. — Ты что!

— Нет, ну, сейчас, конечно, не так, сейчас я втянулась и ко мне все хорошо относятся, но все равно.

— Обещаю, — серьезно сказал Начальник, — никаких блатных, пока я у вас начальник, в отделе не будет.

— Ой, что это? — вдруг взвизгнула Эллочка. — Ой, уберите, уберите, вон там, под ногами!

Начальник нырнул под стол и вытащил оттуда ежика.

— Антошку забыли, надо же, — сонно пробурчала успевшая задремать во время тронной речи Шура. — Действительно кондрашка хватит, когда по ногам кто-то бегаёт...

Все разом оживились и забыли про Начальника.

— Дай сюда!

— Какая прелесть...

— Наверно, проголодался, беденький.

— А что он ест? Сайру ест?

— Давай сюда, говорят!

— Ах, какой ты колючий, ну куда ты свою мордочку спрятал?

— Тебя увидел и спрятал. Давай сюда, говорят!

Начальник постоял еще немного и, махнув рукой, сел. С Антош-

кой возились долго. Уже пришли Володины, Вера с мужем. Они долго вполголоса переговаривались с хозяевами насчет детишек. А отдел, забыв всякие приличия, все тискал и тормозил Антошку, стараясь его накормить и развлечь.

### Черная суббота

(Игорь Беляков)

Она в полном смысле оказалась черной. Чернее некуда. Начать с того, что стояла погода, какая бывает только в Москве в середине апреля, когда весна властно напоминает человеку, откуда он взялся и для чего он по большому счету предназначен. Тут не то что работать, тут... Но это еще куда ни шло, если есть отгул. А если нет? И я прямо с утра договорился обо всем с Начальником. Ленка смотрела во все глаза, у нее был бледный вид, но я на такие вещи не обращаю внимания. С некоторых пор. Я уже совсем собрался, но тут позвонил Алик. Передал всем привет и сказал, что у них там тоже черная суббота. И его не отпускают. Так что торчать он там будет до упора, а мне придется болтаться неизвестно где часа четыре. Это вместо того, чтобы сидеть в пивном баре, куда без него не попадешь, не спеша смаковать «Праздрой» и предстоящий хоккейный матч. Можно было, конечно, все переиграть, но Ленка смотрела во все глаза и вид у нее был несчастный, чего я терпеть не мог, и потому я решил все оставить как есть. Не все ли равно, где слоняться эти четыре часа? Тем более что погода шепчет. А тут еще позвонил Филимонов и спросил, не придумал ли я чего по поводу этой истории с «5И47». Хотел ему сказать... Что мне, больше других надо? Мне размер оклада не позволяет быть умнее руководства. Сказал-то я, конечно, по-другому. Но он меня понял. Зло буркнул и бросил трубку. Начальник выразительно посмотрел на меня. Тоже что-то понял. И вообще, мол, отпустили, так и мотай отсюда, не разлагай мне микроклимат. Я не заставил его повторять это вслух. Зато вечером хоккей посмотрим. Ради такого матча можно и потерпеть. Отдал пропуск и вышел через проходную. И через несколько минут почувствовал себя человеком. Отмякшим, неторопливым, размышляющим. Слепило апрельское солнышко. Расквашенный снег расплзлся и чмокал под ногами. Женщины, много женщин. Оживленные, куда-то спешат. Зимой они медлительней, и потому кажется, что их меньше... Может, приударить за кем-нибудь? Пойти за ней по лужам, по блестям солнца на черном влажном асфальте, наблюдая за полутемным прерывающимся профилем во встречающих витринах... Да просто так. Надо убить хотя бы три часа. Но это нам только кажется, что так легко убить время.

Только все куда-то спешат. Все торопятся. Все такие деловые. А очень важно, чтобы совпали и темп и ритм. Тогда наверняка совпадут настроения. И даже желания. Хотя... Хотя вот одна. Идет медленно, чуть откинув голову с запяленной, плотно уложенной в узел косой, в сером, шинельного сукна распахнутом пальто, с длинным белым шарфом, один конец которого закинута за спину. Все мчатся в магазины, химчистки, прачечные, домоуправления, а ей хоть бы что. Или по таким делам бегают ее муж? Женщины с такой осанкой сумки не таскают. Этим заняты их мужья — низенькие, толстенькие, лысенькие, энергичненькие... У нее наверняка такой же. Пробивной, палец в рот не кладет, с хорошим окладом, в ношеной короткой дубленке, делающей его похожим на жизнерадостного колобка, который от всех ушел, но от которого она уже никуда не денется. Настолько он ее утомил своей неутомимостью. Он везде свой. Везде создает необходимый шумовой фон, хрипло поет под гитару, безумно любит дочку, зорко следит за потенциальными поклонниками жены...

Интересно, о чем она сейчас думает? Не знаю, чем это объяснить, но почему-то уверен, что она что-то почувствовала. Произошло какое-то сцепление наших биополей. И даже успела разглядеть краем глаза. Но шагу не прибавила. Тоже, наверно, идет себе и представляет: «Подойдет, или не подойдет?.. Да просто так, ничего серьезного. Поболтать — и только. Интересно, что он предложит. Наверно, к себе пригласит. Выпить чашечку кофе. Так это теперь называется. Еще говорят «на рюмку чая». И только. И больше ни-ни. Я скажу ему: что вы... Мне надо домой, к мужу, надо в ателье, к подруге. Впрочем, найдется часа три, и мы могли бы... Нет, за это время можно надеть слишком много глупостей. Только пусть наконец поравняется и что-нибудь скажет. Я и так не прибавляю шагу...»

Ну и пошла ты, оказывается. Идет себе женщина. Уставшая от этой тотальной гонки. Но не настолько еще замороченная, чтобы не наслаждаться весенним солнышком. А ты уже бог знает что надумал. Вообще зря все это. И просто лень. Тем более что она уже скрылась в толпе... Натянулись и лопнули паутинные нити, соединившие было нас. Вообще в подобных делах все чудесно, пока есть свобода для воображения.

Когда что-то узнаешь, пространство сужается. И уже не мечтаешь, а прогнозируешь. Совсем гиблое дело, когда все знаешь наперед.

А на самом деле — что там стряслось с «5И47»?

Похоже на самоблокировку. Или... Да ну. Вот уж действительно — на работе о футболе, на футболе о работе.

...Алик появился, как всегда, с опозданием. Улыбается, этаким любимец публики, как всегда заметный еще издали. Машет рукой... Да ладно тебе, дед, не сепети. В другой раз тудаходим. За мной не заржавеет, сам знаешь. Ну! Да я сам забыл про нее, эту черную субботу, чуть не прогулял. Лучше расскажи, что у вас новенького. Ленка твоя как? Ну не твоя, не твоя... Слушай, не гони волну. Такая игра сегодня... Сопротивляться ему было бесполезно.

Об игре лучше не рассказывать. Во-первых, наверняка все ее види. Ну, пусть не все... Но, в общем, наши проиграли. И кому!.. Лучше рассказать, что случилось уже потом, после матча.

...Толпа упругими струями растекалась из Дворца спорта. И он тускнел, угасал, терял признаки жизни... И когда я — мы выходили в числе последних, так как Алик встретил в вестибюле знакомых парней, — оглянулся, то увидел будто осевшую, едва освещенную громаду.

Мощное течение влекло через круговерти и стремнины у ворот стадиона и моста к метро. Хрустел под множеством ног апрельский ледок, и звезды загорались в черных лужицах.

...Итак, Неизвестность, Невозможность прогноза. Не в этом ли преимущество спортивных зрелищ, особенно хоккея, перед всеми прочими? В театре, к примеру, заранее всем все известно. На какой минуте какого действия Отелло с подачи Яго задумит Дездемону. И о чем ее перед этим спросит. В хоккее, этой квинтэссенции жизни, все набело, все с листа. Ничего нельзя переделать, заранее согласовать, отрепетировать или утрясти. Можно предвидеть в общем, но нельзя сказать, что произойдет в каждую последующую минуту. Драматургия высшей пробы, что и говорить...

И всего этого лишен один лишь господь бог — самое несчастное создание на свете. Все знать, все провидеть заранее... Не представляю. Ужас какой-то, если вдуматься.

— Ну чего? — подтолкнул локтем Алик.

Риторический вопрос. И всегда предшествует одному и тому же. В каком бы мероприятии Алик ни участвовал и чему бы это мероприятие ни было посвящено, оно у него всегда заканчивается одним и

тем же. Это как последний удар кисти, после которого картина оживает. Я говорю о выпивке. Лучше где-нибудь в подъезде, под грибком, в полутемном дворе. Желательно из горла. Со стаканом не то. Совсем не то. Так бывало и раньше, но в последнее время особенно. Когда он ушел от нас. Так было, например, после его свадьбы, когда изрядно хмельной, но неизменно элегантный жених вывел потихоньку меня и еще пару друзей во двор и мы пили там «Дербентский» и хлопали его по плечу. Похоже, только тогда он осознал всю неотвратимость происшедшего. Так было и после развода. Тот же «Дербентский». В скверике за зданием суда...

— Ну чего? Берем? Тут в гастрономе один малый работает. Ты его видел...

Я пожал плечами.

Алик вывел меня из людского потока в сторону Новодевичьего монастыря, потом мы долго петляли полутемными переулками. Он оставил меня возле угла магазина, чья неоновая вывеска из-за погасшей заглавной буквы напоминала скорее о звездном небе, чем о земных радостях.

Алик с ходу врубился в толпу осипших мужиков, по инерции все еще барабанивших в стеклянные двери штучного отдела. Вот он уже у самых дверей, что-то крикнул, кому-то помахал внутри отдела, нетерпеливо потряс за скобу. Почувствовав шанс, мужики притихли. Пристроились было сзади. А когда дверь открылась, загалдели, пошли на приступ, но Алик локтями, корпусом, помогая какой-то крашеной, патлатой и охрипшей даме, оттер страждущих и закрыл за собой дверь. Мужики пессимистически матерились. Потихоньку стали расходиться.

Через несколько минут Алик вышел. Бока японской куртки оттопыривались. Обеими руками он придерживал тускло поблескивающие черные длиннорылые бутылки. Дался ему этот «Дербентский»!

— Поговори, поговори мне еще,— сказал Алик в ответ на чей-то унылый упрек.— Быстро схлопочешь. Попросил бы как человек... Ага... В следующий раз.

— Почему две? — спросил я.

Он вздохнул... Беда с этой интеллигенцией. Все ей не так. Во всем она сомневается.

— Мало? Еще возьмем! Держи. — Он сунул мне плавленный сырок и конфету. Тремя ударами вышиб пробку. — Ну вот. Или тебе чего? Стакан найти?

Я неопределенно пожал плечами. Послушно запрокинул голову. Тянул, давясь, холодную, приторно-терпкую жидкость. Таращился в небо.

Рядом дробно забулькал Алик. Он быстро прикончил свою, а я все еще глотал с усилием, и конца ей не было.

— Ладно, не мучайся... — Он отнял у меня бутылку. — Жуй, жуй... чего смотришь? — Он сунул бутылку в урну.

Мягко хрустела фольга. Хмель вкрадчивой теплой волной сминал и деформировал сознание, пространство и время. Звезды перестраивались в диковинные безымянные созвездия и моргали, как в планетарии. Или как лампочка «ПП» на стенде.

Я во все глаза смотрел на приятеля. Узнавал и не узнавал. Лицо отяжелело, покраснело — даже при свете фонаря было заметно — глаза... Алик спивался. Анна Аркадьевна ничуть не преувеличила. Боже, тот самый Алик, кумир нашего факультета, курса, институтских болельщиков и младшекурсниц! Которого тянули в разные общества — «Спартак» ради футбола, «Динамо» в легкую атлетику и «Крылья» в хоккей. А друзья на вечеринки, на проводы, на встречи, на свадьбы, на поминки. И он никому не отказывал, везде появлялся,



езде играл, был дирижером атак и тамадой застолий, шафером, бомбардиром, крестным отцом, прыгуном и спринтером. Он приносил больше всех очков и больше других выпивал. И, так же благодушно улыбаясь, исчезал из обществ, загов, банкетных залов, ибо его ждали в других командах, кафе или на междусобойчиках. Он никому не отказывал, но оставался верен лишь самому себе. И была в нем, всегда уверенном, остроумном, блестящем денди, втором Боброве, такая показная демократичность. Распить бутылку с поклонниками, с какими-нибудь алкашами в пахнущем кошками подъезде, под матерный фольклор, хотя его ждали в это время где-нибудь в «Софии», было его пунктиком. А потом шататься с ними, целоваться, до хрипоты спорить о шансах «Спартака»... На него потом негодовали, но он только безмятежно улыбался. Учился он плохо, но профессора не могли устоять перед его обаянием, и специалист из него вышел никому не известный. К спорту он несколько остыл. Притупилось остроумие. Хотя он, как и прежде, охотно брал на себя роль души общества. И, как прежде, готов был для всех на все понемножку.

— Ты...

— Чего?.. Еще взять?

Я отрицательно замотал головой. Звезды разбежались и снова перестроились.

— Ты... Тебе Валерка сегодня понравился? — Я хотел ему сказать другое, но пока не нашел слов.

— Нормально... В четверг с «Динамо» играют. Пойдем?

— К-конечно. — Язык заплетался все больше. — А как ты... билеты достаешь, а?

— В обществе, — туманно ответил Алик, — один малый там... Раньше играли вместе. Сейчас он тренером. Достает.

Я восторженно смотрел на него. И, как всегда, с ним рядом чувствовал себя размазней и дистрофиком.

— Слушай, ну почему ты такой?

— Какой такой?

— Ну вот такой? Везде ты свой. А? Бабы на тебя вешаются.

Он остановился.

— Ты чего это сегодня?

— Нет, объясни! Я вот не такой. Друзей у меня... Вот ты и еще... Ну, ты знаешь. И они все какие-то... вроде меня. И жена ушла с сыном. К такому же, как ты. А ты сам уходишь, а они на тебя вешаются. Ты уходишь, а они...

Я поскользнулся и едва не ткнулся носом. Но он подхватил меня.

— Слушай, ты б лучше под ноги смотрел. Ты уж держись. Еще в метро не пустят.

— Пустят. Куда они денутся. А ты... Вот почему ты со мной дружишь? Почему? Что во мне такого интересного?

Он нахмурился.

— Ладно... Как десятиклассница. Отношения выясняешь. Пошли, ну.

— Я знаю, в чем дело, — сказал я через минуту, — только сейчас тебе не скажу.

— Можешь не говорить.

— Нет, как-нибудь скажу обязательно, только не сейчас.

Мы спустились в метро. Всю дорогу до «Белорусской» ехали молча.

На эскалаторе поднялись в полукруглый зал «Белорусской-кольцевой». Наступал час свиданий. У выхода в две шеренги стояли, переминались щеголеватые парни и молодежавые представительные мужчины с тепличными тюльпанами и гвоздиками, родившимися в частных оранжереях юга и умиравших здесь, в стылom московском метро. И мы прошли сквозь этот строй запахов мужских духов и горьковатых

запахов цветочной смерти. И мне тоже захотелось присоединиться к этому строю. Захотелось, и все тут.

— Смотри. — Уже на улице я ткнул пальцем в афишу, провел по бугристой от неравномерно растекшегося клея бумаге. Наискосок коричневым карандашом — впрочем, возможно, и красным, в сумраке могло показаться, — был написан номер телефона и имя Рита. — Давай позвоним, а? — загорелся я. — Давай! Ну! Неужели неинтересно?

— Брось, — отмахнулся Алик. — Кому звонить?

— Но почему? Мы назначим ей время, она придет, увидит тебя и... упадет.

Алик тянул меня за рукав.

— Кончай... Кто придет? Делать нечего?

— Подожди, — я упирался, — а вдруг? Представляешь, блондинка такая вот, знаешь... Ну, дед, ты ли это?

— Да откуда ты знаешь, какая она?

— В том-то и дело, что мы ее не знаем! Сначала представить, а потом увидеть. Ну, Алик?

Он нерешительно топтался.

— Я сам ей позвоню! Сам договорюсь. Твое дело потом выступить, когда она появится. Давай, короче, двушку или по копейке.

Я опустил монету в автомат и набрал номер. В трубке щелкнуло.

— Позовите, пожалуйста, Риту. — Я зачем-то изменил голос.

— Одну минуту... — будто в раздумье ответил пожилой женский голос. — Вы знаете, уже все-таки поздноато, так что вы...

— Конечно, конечно, не беспокойтесь...

— Да-да, — послышался нетерпеливый девичий голос.

— Рита, это ты?

— Я... А кто звонит?

— Не узнаешь уже?

— Кто?... Ваня, ты?

— Ну. А ты кого-то еще ждала?

— Ой, Ванечка! Ты уже приехал? Ну как там, дома?

— Нормально... — неопределенно ответил я и взглянул на Алика.

Тот, ухмыляясь, крутил головой.

— Ты где сейчас?

— У метро «Белорусской». Слушай, может, приедешь?

— Ой, я не знаю... Поздно, да и гости у меня. Свету помнишь?

— Вот и хорошо. Я тоже не один. С приятелем.

— Вань... а это правда ты?

— Господи... совсем, что ли?... Кто ж еще?

Я уже чувствовал, с кем имею дело. И, наверно, мне удалось вычислить образ этого самого Вани и даже войти в него, ибо она больше подобных вопросов не задавала. Впрочем — даже скорее всего, — ей просто хотелось, очень хотелось его увидеть.

— Ну, приедут? — спросил Алик.

— Куда они денутся... — Теперь я был на высоте, и потому вид у меня был деловой и нахмуренный.

Через пятнадцать минут уже на законных основаниях мы вошли в зал «Белорусской-кольцевой». Там уже наступил час опозданий. Девушки соскакивали с эскалатора словно с конвейера. Одна лучше другой. И постепенно мной овладевал азарт нетерпения. Я был уже Ваней. Никакого другого Вани на свете не существовало. Я ждал двушку по имени Рита.

Наконец я не выдержал. Уж больно одна из них показалась привлекательной.

Сияющая, в тугих джинсах на длинных прямых ногах, в черном распахнутом кожаном пальто, с непокрытой головой и распущенными платиновыми волосами, она сразу же оказалась в центре внимания. Впрочем, центр внимания всегда был при ней. В метро ли, в трамвае, в самолете, в лифте. Словом, там, где находился хотя бы один мужчина. Ее открытый и ясный взгляд говорил любому мужчине любого возраста и положения, что она и есть та самая, кого он ждал всю жизнь. И я не устоял.

— Извините, пожалуйста, девушка... вы не Рита?

— Да-а,— ответила она громко и нараспев, смерив меня взглядом. — А вы откуда меня знаете?!

И она, конечно же, могла где угодно позволить себе это громогласие, ошарашивающее и оглушающее. К ней скользнул какой-то тип лет сорока в затемненных очках, в очень простом и очень дорогом сером пальто. Он поцеловал ей руку и сунул какие-то невиданные для местных толкучек розы. Что-то вполголоса произнес и потянул за локоть.

— Да подожди ты... — отдернула она руку, даже не взглянув в его сторону. — Нет, откуда он меня знает?! Как тебе это нравится?

Она разглядывала меня в упор своими блестящими выпуклыми глазами, как будто я был неподходящим предметом мебельного гарнитура, из-за которого ставится под сомнение покупка в целом. Впрочем, она вся состояла из выпуклостей. Такими выпуклостями мужиков загоняют в угол. Даже ее голос был осязаем, как ударная волна, и наваливался сверху, подавляя всякую волю к сопротивлению. Вокруг нас собирались любопытные. Я вспотел, бормоча извинения. И настолько был раздавлен, что даже не сразу заметил Алика. Он стоял перед ней, раздвинув ноги и подрагивая коленом. Глаза его сузились.

— А ктэ тэбе не знает? — спросил он лейб-гвардейским голосом во время паузы, пока она набирала воздух для нового залпа.— Ты, анчута, забывать уже стала! — Он перешел на блатной жаргон.— Как этого кота подцепила, так все — память отшибло?

Она так и осталась стоять с разинутым ртом.

— Смотри,— угрожающе заключил Алик,— напомним... А сейчас забирай своего и катись отсюда...

— Как... какого кота...

Она так и не смогла закрыть рот. Смотрела на него, бледнея, и не двигалась с места. Ее кавалер вдруг сделался ниже ростом, сморщился и действительно стал похож на кота. Он повлек ее за собой, бормоча что-то о диспропорции хулиганов и милиции в общественных местах. Она дала себя увести, еще раз затравленно оглянувшись на Алика.

Я смотрел на него с восхищением. А у него было выражение, будто он собирался сплунуть им вслед.

— Ты ее правда знаешь?

— Как ты свою Риту. — Его настроение было явно испорчено. — Долго еще ждать будем? Час стоим...

— Может, я еще позвоню,— засуетился я.

— А вон они,— вдруг сказал он, указав на выход. — Вон твои телки. Тебя высматривают.

Я оглянулся и увидел...

Увидел двух похожих друг на друга девчонок — румяных, круглолицых и коренастых. Они были в одинаковых ядовито-зеленых длинных капроновых куртках, коротких зимних сапогах и цветных платочках. Только одна была светло-русой, а другая потемнее. Конечно же, одна из них была Рита, с которой я разговаривал по телефону.

Обыкновенные девчонки-лимитчицы, словно мотыльки слетевшиеся из подмосковных и более отдаленных деревень на огни проспекта Калинина. И сколько бы им ни обжигало здесь крылышки, слеталось их все больше и больше. Они вошли в метро почему-то со стороны выхода и потерянно оглядывались.

— Да ну... — Я избегал смотреть в сторону Алика. — Это кошелки. Ты что...

— А почему, — вдруг повеселел он, — так даже интересней.

Он приблизился к ним вплотную и открыто, с добродушной улыбкой стал их разглядывать. Светленькая хихикнула и отвернулась.

— Ну чего, — сказал он, — Рита и Света... Ваню ждете?

— Да-а, — обернулась та, что потемней.

Ее подруга шмыгнула носом и вытерлась варежкой.

— А вот он, — указал на меня Алик. — Ждет не дождется.

— Как... — Та, что потемней, побледнела и нахмурилась. — Так это вы звонили?

Ее подруга приоткрыла рот.

— Да. — Я подошел поближе. Я был уязвлен донельзя. — А что?

Вас что-нибудь не устраивает? Вам обязательно нужен Ваня?

Рита перевела взгляд с бутылок, торчавших из карманов Алика, на меня.

— Ну и пошел отсюда! — вдруг выкрикнула она так, что на нас оглянулись.

— Чего-чего?.. — протянул я и оглянулся на Алика.

Но он был ошеломлен не меньше меня.

— Что?.. Не ясно сказала, да? — Она двинулась на меня, глядя в упор. — Может, повторить? Ты, окурок!

— Рит, да ладно тебе, Рит, — уцепилась за ее плечо подруга. — Они ж шутят.

Она переводила жалобный взгляд с нее на нас.

— Отцепись... — оттолкнула ее Рита, — шутят... за такие шутки, знаешь... А нравится, шутить с ними дальше! А я пошла.

— Ладно, девочки, — сказал Алик примирительно. Ему стало не по себе. — Ну не получился у нас розыгрыш, что ж тут поделаешь...

Они шли на выход, и Света, семеня рядом, что-то шептала Рите, оглядываясь на нас.

— Ты смотри, а... к-кошелки. Как разговаривают!

За метро, за какими-то стеклянными павильончиками и дощатыми будками я швырнул бутылку в урну. Звезды равнодушно мерцали каждая в своей точке неба. На ближайшем фонаре мигала лампа. И там мигает и там... На одном только стенде не мигает.

Потом сели в наш автобус. Он был полупустой, и почти все дремали.

— Постой! — вдруг подхватился я через пару остановок. — Я ей сейчас же позвоню.

Алик с трудом разлепил глаза.

— Не дури, дед. В автобусе нет телефона. Завтра ей позвонишь, завтра... А сейчас пора баиньки.

— Выйду и позвоню! — Меня ничто не могло удержать. — А ты давай... Не забудь почистить на ночь з-зубки и пожелать всем спокойной ночи.

— Анекдот про двух котов помнишь? — спросил Алик.

Анекдот я помнил. Хороший анекдот. Примерно та же с котами приключилась история. Но повторяю: ничто не могло меня остановить. Я выскочил на ближайшей остановке. Телефонная будка оказалась рядом. Но сначала не повезло. Автомат проглотил монету и непрерывно загудел, требуя еще. Еле нашел. Сунул в прорезь. На этот раз автомат сжалился.

...Тот же голос пожилой женщины.

— Слушайте,— сказала она,— вы вообще имеете совесть? Время уже — двенадцатый час! Вы что себе думаете? Это ведь общежитие, а не частная квартира.

Еще повезло, что дежурная такая интеллигентная. Какая-нибудь бывшая учительница на пенсии. Другая бы так обложила...

— Только не бросайте трубку! — закричал я. — Она разве вас не предупредила, что я должен звонить? Это очень важно. Только одну минуту! От этого будет зависеть наша судьба.

Я был сам себе противен, но уже не мог остановиться. Я был настойчив и убедителен. У меня был взволнованный и срывающийся голос. Я прижал руку к сердцу, как будто она могла это видеть.

Дежурная сдалась. С кем-то переговаривалась, кого-то посылала... Я еще раз повторил про себя эту свою отточенную фразу, после которой сразу бы повесил трубку... И которую лучше здесь не приводить.

Но когда услышал ее голос, охрипший, как это бывает от плача, растерялся и начал что-то мямлить. Мол, я тот самый, что в метро... вы не так поняли... Потом стоял и слушал. Как у нее вырывали трубку, а она выкрикивала, плача, страшные в своей неумелости ругательства... Вздрогнул, когда щелкнуло и посылались гудки.

Я вышел из будки. Я был полностью трезв и дрожал от холода. Я узнал о себе, быть может, самое важное — до чего могу опуститься.

Дул сильный сырой ветер. Я шел навстречу, подставив лицо, и ветер дул все сильнее, покачивалась луна, и отдельные облака, словно передовые отряды, напоздали на звезды, а за ними из-за горизоннта, слившегося с полем в цельную, мутную пелену, сплошной лавой наступали основные силы.

За что боролись, на то и напоролись... Схлопотал? В понедельник еще Филимонов добавит. За «5И47»... Слушай, а кто сказал, что стенды идентичны? Ведь ленинградцы совсем недавно доработали свой стенд под ускоренные блоки... Ах, черт. Они что, забыли? Я за всех помнить должен?.. Ну и что?.. Этот блок неускоренный, так его и проверяли на обычном стенде... Ну его к черту! Спать пора!

### Докладная записка

(Игорь Беляков)

К понедельнику, конечно, ничего не прояснилось. Ни в этой истории с «ПП», ни в голове. Все воскресенье до самого вечера она просто разламывалась, и утром я все еще был далек от формы.

Когда до оперативки оставалось минут пятнадцать, я собрал свои схемы и поплелся к столу Коли Григоренко. Это была последняя надежда.

Коля большую часть своей сорокалетней жизни провел в командировках. В Москве он только и успел что окончить заочный, даже не женился. Как специалист пользуется заслуженным авторитетом у той же самой по работе и руководства — сам читал в характеристике. Но особенно Колю уважают заказчики. За знания, за умение, за пунктуальность. До сих пор, звоня или пиша из далекой эксплуатации, они упорно называют нашего главного Григоренкой Николаем Андреевичем. Скорее от нетерпения, чем от незнания, полагая, что Колю, конечно же, все знают.

Его перевели к нам из отдела эксплуатации, когда врачи наложили запрет на его кочевой образ жизни. А так бы и до сих пор мотался по командировкам, неустроенный и неухоженный, до самой пенсии.

В нашем отделе он первое время маялся от безделья, являя пример, к чему может привести неистовая добросовестность. Дело в том, что он продолжал вести свои прежние инструкции по эксплуатации, которые сам составлял, сам отработывал, никого к ним не подпуская, пока не довел их до такого совершенства, что впору было сдать их в музей.

Начальник это вовремя отметил. И понял, что за Колю следует держаться руками и ногами при любых перетрясках и сокращениях штатов. Ибо Коля знал истории всех вопросов. Кто когда подписал. Номера решений, извещений, приказов и бюллетеней. Ибо ему не надо было заглядывать в схемы, чтобы ответить, почему пляшут токи модулятора или не срабатывает декодирующее устройство. Не знал он только то, чего никогда не было. По всему по этому ему стали поручать исследования самых темных и запутанных вопросов, которые он решал с присущей ему дотошностью и методичностью.

— Слушай,— сказал я, придав голосу смирение безысходности,— никак не размотаю эту историю с командой «ПП». Ну ты слышал... Посмотри, а? А то сегодня Начальнику докладывать на оперативке, а Филимонов и так зол на нас, как черт...

Коля оторвался от своих бумаг, откинулся на спинку стула. Снял очки и, болезненно щурясь, протер стекла. Потом потер на переносице белый вдавленный шрамик от дужки очков. Снова надел. Пропахал пятерней от лба к затылку жидкие рассыпчатые волосы, но они снова развалились надвое, завесив уши и восстановив неистребимый прямой пробор. До оперативки оставалось каких-нибудь десять минут, а ему хоть бы что. Он вообще не признавал сроков, устанавливаемых начальством. Самые строгие указания на этот счет — к концу месяца, к празднику, к приезду комиссии или министра — он пропускал мимо ушей. Срок определяет сам вопрос и в какой-то мере тот, кто его решает, считал он, и никто его до сих пор не опроверг.

— Ну давай... Только Начальник сейчас опять потребует отчет по антенне визирования — помнишь, на «двадцатке»? Такие же чудеса были.

«Такие же чудеса»... Я молчал и польщенно посапывал. Конечно же, то, что случилось с «двадцаткой», ни в какое сравнение с моим случаем не идет. С помощью подобных чудес поздних язычников толпами обращали в ранних христиан. О чем тут говорить.

Я, признаться, иногда поражаюсь любителям детективов. Что там читать? Ведь совершеннейший же примитив. Если сравнить с нашими расследованиями.

Электроны в отличие от преступников отпечатков пальцев не оставляют. В нутро им никаким перекрестным допросом или задушевной беседой не влезешь. А те законы, что мы им по простоте своей предписываем, они обходят порой до того легко и непринужденно, что диву даешься. Как это было с Колиной «двадцаткой»? Сгорело все к чертовой матери, следов не найдешь, а ты научно обоснуй почему. И немедленно. А то мало ли. Начнут они гореть одна за другой... И попробуй ошибись. Коля, правда, ошибался редко. Точнее, он никогда не брался за вопрос, в котором мог бы ошибиться. И это исследование Филимонов ему прямо-таки навязал. Тут нужно комплексное исследование, доказывал Коля, тут работа для целого института. Три института этим уже занимаются, наседали Филимонов, а у тебя что, своей головы нет?

— Ну давай посмотрим, давай.

Он не спеша разворачивал схемы. Он по-прежнему был невозмутим и не суетился. И правильно! Пропади оно все пропадом на самом деле, чтобы из-за этих железок еще нервы свои трепать! Он снова откинулся, снова потер очки под дужкой. Прикрыл глаза.

— Чувствительность замеряли?

— Да. Снизилась на двадцать децибел. Как раз в номинале.

Он чуть поморщился. Будучи высокого мнения о собственной памяти, он не любил, когда ему напоминали или подсказывали.

— Количество импульсов, уровень, длительность, скважность?

— В допуске.

Я осторожно вздохнул, стараясь не мешать ходу его мысли. Пока что он задавал тривиальные вопросы, лишь отдаленно связанные между собой. словно опытный артиллерист, он брал цель в вилку, постепенно сокращая расстояние между разрывами.

— А источник? — спросил Коля. — Косинус «фи» измерял кто-нибудь?

Это прозвучало как «вот где вы попались!».

— Конечно измеряли,— сказал я,— да все нормально, все параметры в допуске.

— Ну, не знаю...

Он встал. На него стремительно набегал Начальник, и ему уже было не до меня.

— Отчет, Коля, давай отчет по «двадцатке»!

— Нет отчета,— сказал Коля и сел.

— Как?.. — Начальник тоже сел на чужой стул напротив.

— А так. Не знаю! — Коля развел руками. — А выдумывать не собираюсь.

— Постой. Ты поспокойней. Как так нет? У тебя же были какие-то идеи, ты уже что-то написал...

— И выбросил. Идеи есть, а ответа нет. Не сходится, понимаете? И вообще говорил я вам: нечего нам совать свой нос в эту историю!

— Ты только поспокойней,— кротко повторил Начальник. — Нет так нет. Так и объясню. Ладно... А ты, Игорь? Что-нибудь прояснилось?

— Не знаю...

— М-да... Ну и отдел. Другие бы тысячу причин уже нашли. Каких-нибудь обугленных мышей подыскали бы, на худой конец...

Здесь следует сразу пояснить, что он имел в виду. Для нас, как для каких-нибудь вороватых кладовщиков или завскладами, нет животных полезнее, чем мыши. Или тараканы и всякие там сверчки. С их помощью удивительно просто и изящно решаются самые невероятные загадки и проблемы современной практической электроники. Перегрызла, скажем, мышь кабель — вот вам, пожалуйста, объяснение, почему было короткое замыкание. Забралась какая-нибудь сороконожка в устройство, замкнула контакты лапками — вот почему оно не сработало. Самой сороконожки и след простыл, а лучшие умы гадают, спорят, пишут диссертации о самоустраняющихся дефектах...

— Ладно! — бодро сказал Начальник и встал. — Продолжайте в том же духе. Думайте, думайте! А я пошел. Фитиля получать.

Он сделал несколько шагов, но, взглянув на часы, остановился. Потоптался и, махнув рукой, снова сел против Коли.

— Все равно опоздал. И идти не с чем... Все-таки давайте еще раз вместе подумаем, а? Без спешки. Хотя бы в общих чертах. Давайте.

— А что тут думать,— пожал плечами Коля,— я уже говорил Филимонову: необходимо комплексное исследование. На более высоком уровне. Озарения или догадки на пустом месте не возникают. Я не Веня Голод, чтобы держать в голове всю систему разом. А вот по его вопросу,— он кивнул в мою сторону,— было бы, кстати, полезно с ним проконсультироваться.

— Ну, Веня... Лезть к нему с такой ерундой,— покачал головой Начальник. — Неловко даже... И потом, я слышал, он опять там у себя заперся, никого не пускает и что-то переделывает. И его стерегут, как юную звезду гарема, дено и ночью. Причем директор института в роли старшего внука.

Мы с Колей рассмеялись.

— И потом, как не совестно, братцы, обращаться за помощью к конкурентам? Они ведь тоже проводят свои исследования по этому вопросу. Правда, на мой взгляд, уж слишком всерьез они его воспринимают.

— Они стреляют по воробью из крупного калибра,— сказал Коля. — Хотя в него проще попасть из рогатки.

— Именно! — подхватил Начальник. — Именно,— повторил он свое любимое слово. — Ты, Игорь, понял? Не надо только лезть в научные дебри. Это пусть они лезут. Они свои силы не знают куда девать. Им мероприятия по помощи производству выполнять надо. Так что Филимонов здесь прав: мы тоже должны искать, даже без надежды на успех. А вдруг? И это как раз тот случай, когда можно утереть им нос. Ведь наверняка причина лежит где-то рядом, на поверхности, и она, заметьте, присуща только этому вполне кондиционному изделию. Вот тут и надо копать.

— Где тут? — спросил Коля.

— Где... я не знаю где! Надо самому браться, чтобы иметь моральное право выдвигать какие-то предположения. Понимаешь, эти готовые версии предложить куда проще, чем исследовать. Они только лишат мысль свободы и сузят пространство поиска. Игорь постоянно будет кружить вокруг них и все время на них наткнется как на столбы...

— О чем это они тут, интересно, секретничают?

Раиса Кирилловна подошла незаметно и быстро оглядела нас пытливым взглядом.

— Ох, простите,— вскочил Начальник,— я, кажется, сел на ваш стул.

— Нет, что вы, сидите, сидите... Я просто подумала, какое такое таинственное и важное дело вы обсуждаете, что забыли про оперативку у Главного конструктора. И даже прервались при моем появлении. Я вам помешала?

Она по-прежнему изучающе оглядывала нас.

Начальник нахмурился и забарабанил пальцами по Колиному столу.

— Уважаемая Раиса Кирилловна,— сказал он негромко, но с той расстановкой, которая привлекает к себе общее внимание,— кто вам дал право так разговаривать с вашими товарищами по работе? Кто? Почему вам с некоторых пор всегда кажется или вы этого боитесь, что в отделе стараются вас обойти при решении каких-то важных вопросов? Нет уж позвольте! Это ведь уже не первый случай... Я понимаю, что при прежнем начальнике отдела без вашего участия ничего не решалось, но не понимаю, почему это должно продолжаться и сейчас... Кстати, я уже имел с вами беседу по этому вопросу с глазу на глаз, но теперь вижу, что об этом следует говорить открыто. Вы сами своим поведением меня к этому вынуждаете. И я считаю своим долгом сказать вам все начистоту хотя бы для того, чтобы прекратить шушуканье за вашей же спиной, чего я совершенно не одобряю!.. Мы должны научиться говорить правду друг другу в глаза, иначе нам грош цена как коллективу!

Отдел притих, все повернули головы в нашу сторону. Коля со страдальческим видом смотрел в окно. Он терпеть не мог подобных выяснений отношений в коллективе и старался думать о своей треклятой «двадцатке». Ленка раскрыла рот, затаив дыхание. Еще бы. Самой Раисе Кирилловне! И такое выслушивать! Сейчас она ему даст...

Лицо Раисы Кирилловны пошло, что называется, красными пятнами. Она привычно откинула назад голову, что придавало ей обыч-



но уничтожающую надменность, но чувствуя, что краснеет все больше, удержалась, так и не завершив до конца свой коронный жест.

— Да, да. Я все знаю. Знаю в том числе, почему ушли мои предшественники. Например, Климов. И почему вы отказались занять его место, я тоже знаю... Сказать? — продолжал Начальник.

— Не думала, Александр Константинович, что вы способны на это... — словно в раздумье покачала она головой. — Пользоваться своим положением, чтобы публично разглашать сплетни? Вы здесь совсем мало работаете и беретесь судить о том, чему не были свидетелем? — Она пожала плечами. — Знаете, можно подумать, что вы очень не уверены в себе и чего-то боитесь. — Она говорила негромко и как бы сожалея. — Да, это скорее всего... И эти ваши нововведения, это потакание некоторым... Если уж начистоту, Александр Константинович, так это от слабости. От неспособности взять в свои руки управление отделом и навести наконец порядок... Что бы вы там ни говорили. Вы уж не обижайтесь. Вы сами вызвали меня на этот открытый разговор, сами этого хотели.

Начальник поперхнулся и покраснел. Она все с той же сожалеющей улыбкой смотрела на него.

— Так все же, Александр Константинович, почему, по вашему мнению, ушел от нас Климов?

— Из-за вас, — просто сказал Начальник. — Вы его выжили. Как и пришедшего после него Шалевича. — Он принял ее тон, стал говорить спокойнее и тише. — Вы отказались занять место Климова, чтобы избежать обвинений в подсиживании. Так?

Раиса Кирилловна побледнела.

— Такие обвинения, знаете ли, не могут быть голословными. За них придется отвечать. — Ее голос задрожал.

— Знаю, знаю... Вы сочли, что для вас удобнее позиция и репутация делательницы начальников отдела... Только не делайте, пожалуйста, вид, что вы это впервые слышите. Все это секреты полишинеля. И повторяю: я предпочитаю открытый разговор перешептываниям за спиной и закулисным интригам.

Они смотрели друг другу в глаза.

— Ну, Александр Константинович, — ее голос дрогнул, — не знаю, смогу ли я это вам простить.

— Только не это... Не надо! Вы такая сильная и властная женщина, что у вас наверняка должны найтись более сильные аргументы. Подсказать? Ну, скажем, что Климов так или иначе должен был уйти, ибо он оказался слабым педагогом, постоянно демонстрируя свой сильный характер. Что Шалевич, наоборот, боялся попасть в вашу немилость и потому не имел никакого авторитета. Но пока я здесь начальник...

«Именно что пока» — все так и услышали эту фразу Раисы Кирилловны, и она, усмехнувшись, уже приоткрыла рот, но что-то снова ее удержало.

— ...пока я здесь начальник, я не позволю в угоду вашему тщеславию создавать в отделе ненормальную обстановку, подрывая авторитет руководства! Я ценю вас как опытного специалиста, но консультироваться с вами я буду только в тех случаях, когда сочту это необходимым, и только по тем вопросам, которыми вы занимаетесь... Иду, иду! — крикнул Начальник Люсе, секретарше Главного, показавшейся в дверях.

Та качала головой:

— Ох, Александр Константинович, попадет же вам.

— А ты думай! — На бегу он вдруг обернулся и ткнул в меня пальцем. — Думай... Или что? Уже нашел? — Остановившись в дверях, он даже качнулся.

До меня действительно что-то дошло, и он понял это по моему виду.

— Тогда пиши. В виде докладной. Быстренько. И неси на оперативку. Успеешь? Если нет, то лучше не спеши, проверь еще раз все как следует.

Я кивнул, и он убежал.

Что-то такое мелькнуло, когда Коля говорил насчет воробья и рогатки. Потом перепалка с Раисой Кирилловной оттеснила на второй план...

Все смотрели, как Раиса Кирилловна подошла к своему столу, стоя перебрала бумаги. Взяла какие-то из них, застыла на месте, будто припоминая, и, ни на кого не глядя, вышла из отдела. Как ни в чем не бывало. Все разом заговорили, заспорили, но меня это уже не касалось. До меня действительно наконец дошло. Ведь совсем недавно эти стенды проходили регламентную проверку. Свободно могли поменять кабели. Как это было уже не раз. Всего несколько десятых ом разницы. Откуда им помнить, что ленинградцы свой кабель доработали? Вот-вот. Значит, так...

Я вытащил чистый лист бумаги. Может, успею? Ведь что произойдет, если подстыковать этот доработанный кабель?.. Неужели нашел? Это раньше, если что-то случалось, запросто брали кабель с соседнего стенда. А сейчас-то нельзя. А им-то откуда знать? Кто-нибудь им сказал? Я должен был сказать, я. То есть ишу приключение на свою шею... Пусть даже моя ответственность чисто платоническая... Так и напишем.

Достал ручку, и вдруг вспомнились тещины причитания: «И хоть бы платили ему за это, ну. Ведь цельными днями сидит и бумагу черкает и рвет. Другие-то мужики на трех работах...». Жена молча лила слезу, укачивая сына. «Я, конечно, все понимаю, но знаешь... Это все когда еще будет. И будет ли. У других мужа действия действительно на трех работах, все в дом, все только для семьи. А о тебе что скажешь? Что мой муж — графоман?». Ладно... Все-таки лучше еще раз сходить в цех и взглянуть лишний раз. Хотя и чувствую, что попал в точку.

#### «Докладная записка

Главному конструктору тов. Ремизову В. А.  
от инженера КБ Белякова И. М.

По поводу несрабатывания блока «5И47» № 05106811 по команде «ПП», выявленного при автономной проверке в цехе 41.

При анализе схемы указанного блока мной выявлено следующее: наиболее вероятной причиной такого несрабатывания, когда лампочка «ПП» загорается только один раз, является самоподхват реле Р-14. Причиной же самоподхвата может служить следующее обстоятельство.

Как известно, блоки «5И47» выпускаются двумя заводами — в Новосибирске и Ленинграде. Там же изготовлены соответствующие стенды для их проверки. С февраля месяца с. г. ленинградский завод приступил к выпуску блоков «5И47» с ускоренным выходом на режим. Доработка коснулась, в частности, кабеля № 4 ленинградского стенда, где был проложен дополнительный провод, подающий +27 вольт на ножку 10 разъема ЗШ-11.

Указанный блок, изготовленный новосибирским заводом, проверялся на стенде новосибирского завода недоработанным для проверки ускоренного выхода на режим. Стенд стоит рядом со стендом ленинградского завода, и это могло привести к тому, что кабели могли перепутать, то есть использовать доработанный кабель ленинградского завода вместо штатного новосибирского. До недавнего времени, т. е. до появления блоков с ускоренным выходом на режим, подобные перемены кабелей в силу их прежней идентичности не могли

привести к указанному явлению, и у испытателей не было повода соблюдать правильное комплектование стендов. В настоящий же момент такая смена кабелей, что нетрудно видеть по принципиальной схеме, приводит к подаче +27 вольт от ножки 10 на реле Р-8 и далее на контакты реле Р-14, что вызывает самоподхват. Когда я сказал об этом начальнику цеха № 41 тов. Елисееву и предложил проверить, не перепутаны ли кабели у стендов, он ответил отказом, ссылаясь на загруженность в конце месяца и на то, что вопрос о причине дефекта решен разработчиком.

Прошу Вашего указания произвести проверку версии о нарушении комплектации кабелей № 4 указанных стендов.

(Подпись)».

**Главный и его зам**  
(Игорь Беляков)

Анна Аркадьевна вошла в отдел и остановилась в дверях, кого-то высматривая.

— Вы не ко мне? — поднялся с места Начальник.

— Нет-нет,— замотала она головой и, увидев меня, поманила пальцем.

— Пора бы уже знать, Александр Константинович, кого больше всех у нас любит Анна Аркадьевна,— улыбаясь, громко сказала Раиса Кирилловна. — Если вам понадобится сделать или переделать срочный документ, то лучше будет, если его отнесет за своей подписью сам Игорь. Я правильно говорю, Анна Аркадьевна?

— Уж вас-то, Раиса Кирилловна, я, кажется, никогда ни в чем не обижала,— сказала Анна Аркадьевна,— а Игорьку я действительно симпатизирую. А что? Скажете, нельзя? Или я не женщина?

Она взяла меня под руку и вывела в коридор.

— Знаешь, Игорек, я только что была у Главного, там у него разгорелся целый сыр-бор с Филимоновым. По-моему, из-за тебя. Я-то сама ничего не поняла. Кажется, из-за... нет, не знаю. Но по-моему, они тебя вызовут. Прямо сейчас. Ты что-нибудь натворил, а? Может, из-за того письма? Если что-нибудь не так, приноси, я тут же его переделаю, при тебе. Хорошо?

— Да нет... Письмо я уже отправил. Сам не знаю.

— Ну смотри. В случае чего приходи. Ладно? И расскажешь, в чем там дело.

Едва я вернулся в отдел, как меня тут же позвали к телефону. Местному. Звонила секретарша Люся. Действительно вызывали к Главному.

В кабинете Главного были двое — сам Главный и его первый зам Филимонов.

Трудно представить людей более несхожих. Так же трудно представить себе других двух людей, которые так дополняли бы друг друга. Главный конструктор строен, всегда подтянут и элегантен. Он моложе Филимонова на семь лет. Он всегда, во всем и со всеми ровен и безупречен. Со всеми на «вы», от всех отделен определенной, им же самим установленной дистанцией. Его никто и никогда не видел, как Филимонова, за общим столом в столовой, в общей курилке. Его видели только в его кабинете, на подходе к нему или на выходе из него.

Филимонов, напротив, на «ты» со всеми без разбора. Даже с женщинами. Но попробуйте ответить ему тем же... В своих симпатиях и антипатиях он откровенен и прям, кого бы это ни касалось.

Кстати, о Главном... Как-то в понедельник рано утром я возвращался из-за города одной из первых электричек. На какой-то остановке в вагон вошел Главный. Я едва узнал его. В каком-то мятом плаще, нечесаный, небритый. Лицо землистое, отекшее. Кроме меня,

никто из малочисленных пассажиров не обратил на него внимания. Вообще говоря, он ничем особенно и не выделялся из окружающих. Это мне было с кем его сравнить — с тем Главным, которого я знаю уже два года. Видел ли он меня? По-моему, да. Не мог не видеть, слишком мало было пассажиров в вагоне. Но виду не подал. Сел к окну лицом ко мне, через ряд, все так же не замечая. Я невольно восхитился. Если бы он сел спиной ко мне, то было бы окончательно ясно, что он видел, но делает вид, будто не заметил меня. А так — не видел, и все. Поэтому и сел как захотелось. Я даже усомнился было в своем предположении. Но интуиция упрямо подсказывала, что это даже не игра. Игра начальника, не желающего замечать подчиненного, заставшего его в не совсем удобный момент. Просто человек везде и во всем привык стоять выше обстоятельств. Еще больше я восхитился потом, часа через три, встретив его на работе, куда я примчался из дому, едва не опоздав и не успев привести себя в порядок. Я столкнулся с ним в коридоре и остолбенел. Он был, как всегда, безупречно выбрит, свеж, подтянут. Он холодно взглянул на меня, замершего на месте, и чуть склонил голову — так он обычно здоровался. Я смотрел ему вслед. В ту минуту я подумал, что вот, мол, человек, которому следовало бы подражать. Пусть не во всем, по крайней мере не в его чопорности, например...

— Садись, Беляков,— сказал Филимонов. — Хотели вызвать и твоего начальника, но уж больно он у тебя занятый. Интересно вот, чем он всегда так занят, а, Владимир Алексеевич? Всегда кого-нибудь из своих подчиненных вместо себя подставляет. Вы заметили?

— Во-первых, не всегда, Иван Петрович. Далеко не всегда. И только тех, кто непосредственно отвечает за данный участок или занимался конкретным вопросом.

— Все так, но разве это не похоже на то, что он избегает ответственности? И это, заметьте, говорю не я, а наиболее опытные и авторитетные специалисты, проработавшие в отделе со дня основания.

— Не будем отвлекаться не по существу дела,— слегка поморщился Главный,— и не будем задерживать товарища... Скажите,— он взглянул косо на бумажку, лежавшую сбоку от раскладного календаря,— скажите... Игорь Матвеевич, я не ошибся? Вы сами видели эти кабели стоек «И — сто четырнадцать»?

— Просто «И-четырнадцать»,— вздохнул Филимонов и взглянул на потолок.

— Да, совершенно верно,— ничуть не смутившись, кивнул Главный,— «И-четырнадцать». Вы сами видели, что они переставлены?

Ах вот оно что. Прошло уже три дня после моей докладной, и я уже почти забыл о ней.

— Нет,— пожал я плечами. — Я просто предположил. Ведь это вполне возможно. Во время регламентных проверок стоек кабели отстыковывают. Их вполне могли спутать.

— Я уже говорил вам, Владимир Алексеевич,— забарабанил пальцами по столу Филимонов,— что кабели теперь можно отличить лишь прозвонкой. Что это вина разработчиков. Дорабатывая кабель, они должны были его соответственно замаркировать.

— Подождите, Иван Петрович, подождите... Речь идет совсем не об этом. С этим мне все совершенно ясно... Но вот вы, товарищ Беляков, как ведущий изделия «5И47», почему вы в свое время не поставили вопрос о маркировке доработанного кабеля? Из-за этого была остановлена приемка почти на сутки. Вы знаете, во что это обошлось заводу?

Я опешил. Наверно, имел глупый вид — приоткрыл рот и не знал, что сказать.

— Вот видите... Ваш начальник отдела правильно настраивает вас на то, чтобы вы стали настоящим хозяином своего изделия и полно-

стью, со всей ответственностью отвечали бы за него... Я знаю, что вы хотите сказать — не мое, мол, это дело, это дело цеха и разработчиков. Но вы должны были хотя бы поинтересоваться, подсказать товарищам, к чему это может привести. А если бы сожгли изделие? Вы знаете, во что оно обходится государству? Плохо, что не знаете. И это вам, да-да, тоже не мешало бы знать.

— Я хотел бы сказать пару слов в защиту Белякова, Владимир Алексеевич. Каждый должен знать свое дело. Когда все будут совать нос в чужие дела, от этого они только пострадают. Начнется анархия. Не поймешь, кто за что отвечает. Совсем как в ихнем отделе.

— Не надо, Иван Петрович, не надо... — снова поморщился Главный. — Это устаревшие и совершенно неподходящие нам взгляды. И я прекрасно знаю, кто именно из авторитетных, как вы говорите, специалистов выражает свое недовольство... Жаль только, что вы до сих пор не составили на этот счет своего мнения... Как можно жесткими и произвольно зафиксированными границами ответственности дробить нашу общую работу, если она сама этих разграничений не имеет? Не потому ли все нерешенные и спорные проблемы возникают именно на стыках, на межах? Здесь я полностью согласен с Егоровым и поддерживаю его. То есть, отвечая за свой участок работы, инженер обязан активно интересоваться и участвовать во всем, что непосредственно или косвенно связано с его участком. То есть мы должны перекрывать друг друга.

— Я думаю, что Белякову необязательно слушать наш с вами спор на эту тему... — побагровел Филимонов. — Выйди, Игорь. И пожди меня в приемной.

— Нет-нет. Ничего в этом страшного нет, если он будет знать и правильно поймет мои к нему претензии. А вот наш спор мы действительно пока оставим. Дело вот в чем, Игорь... — он снова взглянул на бумажку, — Матвеевич. Вы должны знать, какой ход мы дадим вашей докладной. И выслушать наше мнение. В цехе уже была произведена проверка кабелей, и ваше предположение подтвердилось. Отбракованное изделие было перепроверено на том же стенде и признано полностью соответствующим техническим условиям. Но дело в том, что уже выпущен отчет разработчиков о возможной причине дефекта изделия. Отчет нами уже подписан. О нем знают в министерстве и заказчик. Когда подпишет заказчик, изделие будет пропущено как годное и вопрос будет закрыт. Теперь стало ясно, что отчет никакого отношения к этому изделию не имеет. И тем не менее он имеет свою самостоятельную, чисто теоретическую ценность. Что произойдет, если мы признаем, что были просто-напросто перепутаны кабели? Отчет утратит свой моральный вес. Он будет выглядеть липой, отпиской. Но вместе с водой будет выплеснут и ребенок. Научная ценность, которую он представляет, будет, таким образом, вольно или невольно подвергнута сомнению. Вы понимаете? Тут момент чисто психологический. Я уж не говорю о том, как мы подведем разработчиков. Они уж тут вовсе ни при чем. Они не могут отвечать за наших работников, которые запутались в двух кабелях. И я не говорю о том, что будет подмочена репутация нашего завода у заказчика. Словом, принимая все это во внимание, я решил не опровергать версию разработчиков, чтобы оставить в силе их отчет. Хотя бы ради того случая, который действительно может когда-нибудь произойти при неудачном сочетании допусков параметров.

— А я против, — резко сказал Филимонов, — нечего людям наукообразием мозги пудрить! Эта версия высосана из пальца! Все прекрасно знают, что подбираются элементы по допускам.

— Во-первых, насколько это возможно, — заметил Главный, — а во-вторых, надо еще учитывать допуски параметров стенда.

— Скажите, Владимир Алексеевич, кто-нибудь считал вероят-

ность такого случая? А я считал! В отчете они очень хитро все обошли и прилизали. А я не поленился и подсчитал. Да наши схемы совпадения, уж на что считаются надежными, давно уже должны все полететь, если сравнить. Сколько лет их делаем, и ничего, ни разу не отказали... Мое мнение такое: опростоволосились — так надо и иметь мужество признаться, и нечего тут...

— Ваше мнение я уже знаю,— сухо сказал Главный,— но для меня сейчас более ценно мнение института.

— Институт... Институт — это никто. Вот если бы Веня Голод от имени института сказал, тогда да. Тогда бы я поверил.

— Насколько мне известно, Голод тоже участвовал в этой работе... А вы что думаете?

Я пожал плечами.

— Понимаю. Ваше мнение могло и не составиться. Впрочем, оно меня интересует не для решения вопроса, который я уже решил, а для выяснения того, как понимаете и оцениваете проблему. Ну и вы должны быть в курсе всего, что вас касается.— Главный взглянул на часы.— Вы свободны, товарищ Беляков.

— Подожди меня, Игорь, в приемной,— снова сказал Филимонов.

Ждал я недолго. Не знаю, уж какой у меня был вид, но Люся и все, кто был в приемной, вдруг уставились на меня. Даже через тамбур был слышен бубнящий возмущенный голос Филимонова.

Он вышел из кабинета Главного весь красный, что-то бормоча быстро, ни на кого не глядя, прошел к себе, хлопнув дверью. Я стоял, не решаясь идти следом.

— Беляков! — загремело из его кабинета.— Особого приглашения дожидаться?

Я вошел.

— Сядь! — указал он на кресло.

Сам ходил по кабинету, дрожащими пальцами чиркая спичку о коробок. Наконец закурил. Жадно, взасос, сопя.

— Видал? — остановился он передо мной.— Вот так! Учись!.. Учись, как...— Он не закончил. Махнул рукой. Наконец сел.— Вот вам главный конструктор новой формации. Администратор. Технократ. Дипломат. Кто угодно, но только не конструктор... Продюсер, вот. Главное, чтоб все довольны были друг другом. Чтоб отношения и репутацию не портить. Наукообразно чтоб. А другой бы главный конструктор — настоящий! — такой бы... такой бы тарарам учинил. Они б не то что кабели — они б каждый винтик, каждую гаечку в особый цвет выкрасили, чтоб — не дай бог! — в будущем спутать не пришлось. А тут что? Ну спутали, с кем не бывает. Ну изделие сожжем. Еще сделаем... Меня нет! — загремело он появившейся в дверях Люсе.

— Я извиняюсь, Иван Петрович, Игоря к местному телефону.

— Его тоже нет!

Люся пожала плечами и вышла.

— Вот так. Я его спросил сейчас... Слушай, Беляков... — вдруг пергнулся он ко мне через стол. Его глаза сузились и хищно заблестели.— Если я тебе рассказываю эти тайны нашего мадридского двора, то это не значит, что весь этот наш разговор должен стать предметом обсуждения в курилке. Ты понял меня?

— Так не рассказывайте,— сказал я.

— Да? — Он сел, уставившись на меня.— Ну нет! Раз уж влез ты в эту нашу свару, так уж до конца теперь выслушай. Чтоб не было потом никаких недомолвок или перевертываний. Когда-нибудь это все равно всплывет, я знаю, только не я это начал и не я за это отвечаю. Ты парень умный, поймешь все как надо... Так вот я у него сейчас спрашиваю: «Владимир Алексеевич, а вот как ты на меня смотришь? Кто я есть при тебе? Может, как в старину говорили, ученый еврей при губернаторе? Ты ж без меня ни одного технического вопроса ре-

шить не можешь, а к дипломатии этой своей близко не подпускаешь». А он смеется. Чем больше я злюсь, тем больше смеется. «Что вы, говорит, Иван Петрович, я не потерпел бы первого заместителя, который был бы моим подобием, вторым я. Мне всегда потребуется ваше противоположное мнение, чтобы увидеть со стороны и правильное оценить свое собственное. Если я вам, говорит, полностью доверяю решение технических проблем, а это основная наша работа, то решение всяких там второстепенных, чисто административных вопросов доверьте уж мне». Вот так выкрутился. И сказать на это вроде ничего уж не скажешь... Ну ладно, я тебя вызывал совсем не для этого. Так уж, к слову пришлось... Хочу перевести тебя в теоретический отдел. Там как раз нужны такие вот ребята, отвлеченно мыслящие, грамотные. А то в последнее время от них одна только заумь плавает и ничего по делу. У Егорова многому не научишься. У него там есть Григоренко и хватит с него. А тебе расти надо. Насчет оклада подумаем. Может, на первое время прежний оставим.

— Да нет,— смутился я.— Спасибо, но я лучше останусь на своем месте.

— Знаешь, я давно к тебе приглядываюсь, а вот раскусить тебя не могу. Какой-то ты всегда себе на уме. Вижу, способный, грамотный. Только, правда, решения твои какие-то не технические. Вот как было с этими кабелями. Как будто с улицы посторонний совсем пришел и нас всех на смех поднял. Чего, мол, мужики, с цифирью всякой мучаетесь, да вы гляньте: лошадь-то у вас совсем не с той стороны запряжена.— Он засмеялся.— Вот что ценно, понимаешь... Я ведь открыто говорю, как есть. Ну и ты будь, понимаешь, пооткровенней. Может, случилось у тебя что? Жена, знаю, с сыном ушла. Так уж давно, год прошел. Пора бы новую завести, а? — Он подмигнул, неожиданно громко рассмеявшись.— А чего? Вот у вас в отделе Белозерова Леночка, в самом соку девка, вроде даже, слух был, дружишь с ней, а? Верно? Так ты смелей давай, настойчивей! Мужики это вот как надо... Тем более молодому такому. Ну с нею — это раз, согласен. А еще что? Не может быть, чтобы еще чего-то не было. Ты уж не стесняйся, скажи, все между нами, мертво будет.

Зазвенел звонок.

— К городскому, Иван Петрович,— послышался голос Люси.

— Нет меня. Сказал — нет, значит, нет... Ну чего молчишь?

Я пожал плечами.

— Да что ты, как красна девица, все плечами пожимаешь? Я ведь не как наш Главный, без дипломатии, открыто все говорю... Ну ладно, не хочешь, как хочешь. Одно скажу: классный игрок должен играть в классной команде, иначе... Ты пока, конечно, не классный, так что особенно не выпендривайся. Знаешь, наверно, как это бывает в футболе. В низшей лиге какой-нибудь. Кому там больше всего перепадает? Талантливым игрокам. Разгадать-то его не могут. И рубят в кость. А чего там! Любоваться на его финты, что ли... Ну свистнет судья раз, другой. Зато в следующий раз этот-то, которого все хвалят, звезда эта восходящая, тысячу раз подумает, прежде чем дергаться. И бьют и толкают. А потому что не похож! Не как все. Да и от товарищей достаётся. Уж больно много из себя строит. На публику играет. Пасует с какими-то вывертами, не как все... — Он повысил голос и говорил с напряжением, покраснев.— Вот у нас случай был. Ну, где я раньше жил. В Архангельске. Был там один футболист, Комолый его звали. Я пацаном, помню, в соплях весь был от восхищения, на него глядя. Раз ногу сломали. Потом ключицу. Потом вроде опять ногу. Все, сошел Комолый. Не видно и не слышно. А потом как-то, через год, приехал к нам из Москвы сам «Спартак». И с нашим «Водником» сразился. В первом тайме вообще тоска была. Наши до мяча только дотрагивались, когда с центра начинали. И вдруг слышу: «Комолый, кричат,

эй, Комолоый, пойдй покажи, как играть надо!» И ржут. Смотрю, точно, Комолоый идет. Пьяненький чуть, неряшливый, уже с животиком, лысенький. К тренеру подходит и вроде вправду на поле просится. Тренер только отмахивается. А публика свистит, орет, гогочет: «Комолого на поле! Тренера на мыло!» Знаешь, как это бывает... Бутылки стали в него бросать. И что ты думаешь? Выпустили его во втором тайме. Выскочил в трусиках, с животиком, лысенький. Публика опять смеется. И забегал. Все никак мяч получить не может. Наши-то всем скопом за мячом бегают. Посмотрел он на это дело и встал на месте. И сразу мяч к нему отскочил. Уж что он с ним вытворял! Одного, другого, третьего обведет. Мастера-то поначалу не ожидали от него такой прыти. Стали за ним присматривать. А он все равно нет-нет да и убежит от них. И сразу игра поменялась. А он уже красный весь, мокрый, майка темная стала. Все орут, как бывало: «Комолоый, Комолоый, банку!» Да-а...— вздохнул Иван Петрович.— Так и не забил. Сбили его в конце концов мастера. Срубили прямо, как, бывало, срубали его у нас. Он и не встал. Вся игра остановилась. Игроки сбежались. Спартак-овцы извиняются, его поднимают. Свист такой стоял, хоть уши зажимай. Милиция с поля болельщиков гонит. А его унесли. Потом я видел: в парке, рядом со стадионом его болельщики отпаивали. По плечам хлопали. Неделю потом только и разговоров было что о Комолоом. Да, вот так... Так и в жизни. Надо вовремя в классную команду попасть. Жизнь так устроена, не люди, заметь. Вот я и хочу вразумить тебя, бестолкового... Теоретики — ребята все умные, грамотные. Работа у них интересная, сам знаешь, не то что ваши письма всякие, записки, инструкции, извещения... Ваш исходящий нам не подходящий,— поддразнил он и снова громко хохотнул.— Так или нет?

— Нет, Иван Петрович, я не могу с вами согласиться. Классная команда определяется не тем, во что она играет, а тем, как играет. В этом смысле наша команда лучше, чем у теоретиков.

Он сузил глаза.

— Ты смотри... Те-те-те... Как заговорил, а? А что ж ты, милый, у Главного-то молчал? Когда он деликатно так, дипломатично твою работу — фу-у, как мыльный пузырь, сдунул?

— А это уж не мое дело,— сказал я.— Я причину нашел, а уж дальше не мне решать. Вам виднее.

Он даже привстал.

— А ты ж негодяй, Беляков! Я-то думал: малый чуть живой сидит, боится рот при начальстве раскрыть, а он смотри что оказывается: руки умывает! Я, мол, указал вам, как дальше жить и работать, блеснул, можно сказать, пока вы тут, как слепые, тыкались, так что давайте дальше сами решайте, что с ней, идеей моей, делать. Отвергнете — так в позу презрительную встану, не доросли, мол, а примете — так сами ее и доводите. Так?

В дверь снова заглянула Люся.

— Ну, Иван Петрович, там референт из министерства. У него срочное дело. Владимир Алексеевич к вам направил.

— Подождет!.. Сам вызову. Слышала, что сказал?.. Так ты, милый, лучше сразу это брось! Такими вещами не кокетничают. Талант — штука комплексная. Без упорства да злости это нуль без палочки.

— Да что вы, Иван Петрович. При чем здесь талант? — Я вдруг почувствовал крайнюю неловкость. Не дай бог еще услышит кто-нибудь. Подумают бог знает что.— Что я, открытие сделал, что ли? Говорить не о чем...

— При том! Я тебе все как есть говорю! На тебя свое и чужое время только зря трачу! Я ведь давно за тобой слежу. С той поры, как ты причину появления токов в кристаллических детекторах нашел. В «ДКС-7М», помнишь? Я-то помню. Еще бы не помнить... Сутками из цеха не вылезали, понять ничего не могли. Забыли, понимаешь, как



звукосниматель в радиоле работает. А потом — ах, действительно! Ведь корпус, как полый резонатор, все вибрации передает. Не так кристалл закрепили, и все вибрировать начинает. А все причитали: откуда токи взялись, откуда токи?.. Я-то помню... И Егоров намекает постоянно. Я тебе, знаешь, не дядя родной, чтоб твою карьеру обеспечивать. Плевать мне на нее. А вот загубишь таким образом свой дар — я с тебя знаешь как спрошу? Сам, лично! Подумаешь, причину нашел. Любуйтесь на него теперь. Ты это брось! Лучше сразу обруби, как дезертир, пальцы! Иначе самым несчастным на свете останешься. Одни воспоминания. Вот мог бы, мол, да не захотел... Иди, — сказал он, задохшись, и кровь прихлынула к его лицу. Лицо отяжелело и будто осело.

Я встал. Что-то хотел сказать, да не смог.

— Небось думаешь, сколько этот парень в молодости глупостей наделал, коль под старость таким умным стал? Так? — подмигнул он.

### Петр Афанасьевич

Крупный, представительный, с седым ежиком, сквозь который зыбко просвечивает розовая кожа, с оплывающим розовым лицом, он появился через полгода после Начальника...

Его привел и представил сам Главный. Уже в этом было нечто необычное — Главный представлял до сих пор лишь начальство. Конечно же, Главный предвидел ту враждебность, с которой столкнется новый сотрудник, но почему-то именно в отдел, именно к Егорову привел он Петра Афанасьевича, хотя с тем же успехом его можно было устроить в любое другое подразделение КБ. Ибо уровень Петра Афанасьевича как специалиста по любой шкале оценок находился бы где-то около нуля. Но это уже выяснилось потом. А сейчас Главный проявлял твердость. Говорил с нажимом, погладывая на Начальника, который и не думал скрывать своего недовольства. Главный меньше всего беспокоился сейчас о том, что раньше его особенно занимало: насколько это выглядит демократично. Он намекнул на возможные неблагоприятные последствия для отдела, если гостеприимство будет им сочтено недостаточно горячим. Петр Афанасьевич должен придать солидность коллективу отдела и как-то уравновесить присутствующую ему легкомысленность. А отдел все ждал, когда Начальник наконец скажет, что он думает о блатных, швырнет, на худой конец, карандаш, хлопнет дверью, подаст заявление.

Но он только сидел, ни на кого не глядя, уткнув подбородок в кулаки...

Новому сотруднику был выделен огромный, словно для пинг-понга, двухтумбовый стол. Куда более солидный, чем у Начальника. Мало того. Одновременно со столом появилось распоряжение Главного о том, что новый сотрудник будет вести инструкции по эксплуатации, которые тогда еще вел Коля Григоренко. Дальше уж было некуда. Начальник сломал-таки карандаш об стол и, демонстративно достав пачку сигарет, направился в курилку.

Отдел переглянулся. Действительно из ряда вон...

А Колю куда же? А о Коле забыли. Он молча достал «Беломор» и направился в курилку. К обеду концентрация отдела в районе курилки достигла размеров, позволяющих руководству делать выводы о начинающемся сопротивлении.

Начальник бросил окурки и направился на свое место. Дело прежде всего. Отдел потянулся за ним, а Коля остался. На другой день он подал заявление по собственному желанию. Начальник бросил все и с заявлением пошел к Главному. Они заперлись в кабинете. Через час кабинет открылся, чтобы впустить Надежду Яковлевну, старшего экономиста, и снова закрылся. Надежда Яковлевна пила валокордин и

звонила в министерство знакомым дамам, ведающим штатным расписанием. Условно, временно, под большим вопросом до апреля, но новая штатная (Главный назвал ее персональной) единица в великих муках была рождена. Главный вызвал Колю. Извиняться и не подумал. Сухо и высокомерно сказал о назначении ведущим конструктором и соответствующей прибавке к окладу. Коля смущенно мялся. Прибавка показалась ему устрашающей. Куда девать такие деньги? Еще, чего доброго, придется жениться. Раиса Кирилловна и так не давала покоя. Анна Аркадьевна подобрала целых две кандидатуры. Теперь с живого не слезут. Тогда-то он стал заниматься разными «двадцатками»...

С того дня началась эта холодная война отдела против Петра Афанасьевича. Прерывавшаяся только по праздникам. Вернее, по предпраздничным дням, когда Петр Афанасьевич усаживался в президиумы торжественных собраний, слепя зрительный зал блеском своих бесчисленных наград. И отдел начинал почтительно посапывать, стыдясь своей прежней непочтительности. Но наступали будни — и все начиналось сначала.

Никто не знал, когда Петр Афанасьевич приходит на работу, ибо он приходил неизменно раньше всех. (Жека уверял, что как-то специально встал в полшестого, ехал на работу как последний дурак в еще полупустом транспорте, приехал — еще семи не было, а Петр Афанасьевич был уже на месте.)

Он клал перед собой огромную луковицу карманных часов — чуть не Павла Буре — и скашивал на них глаза, когда в отделе появлялся кто-либо из опоздавших. Не исключая Начальника, как правило приходившего позже других. Мало того, Петр Афанасьевич постоянно делал какие-то пометки в записной книжке, поглядывая все на те же часы. И как бы ни старались подсмотреть, что же он там пишет, Петр Афанасьевич был постоянно начеку. Никто не знал, когда он уходит, ибо он уходил всегда позже других. Он сидел неизменно прямой, как олицетворение вызова разгильдяйству и расхлябанности. И только. Ибо непогрешимость Колиных инструкций не оставляла ему шансов заняться чем-нибудь, что оправдывало бы его зарплату и премии.

И девочки, искренне полагавшие, что они честно соблюдают правила игры, если прибегают на работу секунда в секунду и потому имеют полное право тут же скрыться в своей дамской комнате, чтобы уже не торопясь поправить прическу, подкраситься, примерить, досыта накуриться и наговориться, теперь нервничали и старались незаметно прошмыгнуть на свое место.

При Петре Афанасьевиче затухали извечные споры сторонников ЦСКА и «Спартака» и вылетало из головы название реки Франции из четырех букв, первая из которых «с», вторая «е», четвертая «а».

Передышка обычно наступала после обеда. В это время Петр Афанасьевич за небольшими исключениями, как правило, начинал дремать. Старался сидеть все так же прямо, но веки слипались, нос клевал, он вздрагивал, задира голову, но через минуту все начиналось сначала.

— Цербер-цербер, — шепотом проверял его в эти минуты Алик.

Петр Афанасьевич в ответ только всхрапывал. Раиса Кирилловна и Начальник ниже опускали головы, делая вид, что не слышат, и стараясь не встречаться взглядом.

Коля Григоренко, выбившись в начальство, ничуть не испортился и потому не вступал, продолжая молча и невозмутимо копаться в схемах, очевидно заучивая их наизусть, ибо слишком уж всерьез воспринимал свое новое назначение.

Отдел оживлялся. Глаза у девочек блестели. Ребята острили и

рассказывали анекдоты. Работалось легко и споро. Как будто спешили наверстать дообеденную застойную тягомину.

И так буквально каждый день. До обеда Петр Афанасьевич, посапивая, делал свои пометки, а после обеда утрачивал бдительность, и все пускалось на самотек.

И наконец настал день, когда в часы бодрствования, то есть до обеда, подбив собранную статистику в форме докладной записки, Петр Афанасьевич отправился с ней, минуя Начальника, к Главному.

Главный с удивлением и интересом пробежал глазами записку. Покачал головой. Потом задумался. Встал и почтительно взял Петра Афанасьевича за локоть. И так на глазах всего КБ проводил его в отдел.

— Я попросил бы вас всех прерваться,— сказал Главный.— Дело в том, что ваш новый сотрудник, всеми нами уважаемый Петр Афанасьевич, только что ознакомил меня с весьма любопытным документом. Читая его, я, признаться, испытал некоторую неловкость, ибо мне пришлось ознакомиться с информацией, не во всем меня касающейся непосредственно и не выходящей, как правило, за пределы компетенции вашего руководства. Я считаю, что было бы полезно, если бы ваш коллектив ознакомился с этим документом, правильно и творчески все осмыслил, с пониманием и тактом отнесся к мотивам, побудившим автора создать этот документ, и сделал бы соответствующие самокритичные выводы, которые до сих пор делали вам честь. Даю вам на это час времени, который я Петра Афанасьевича лично прошу в порядке исключения не учитывать.

Главный демократично улыбнулся и, чуть склонив голову, вышел.

Все смотрели на Петра Афанасьевича. Тот подумал, потом сурово насупил брови и сел в позе прокурора сбоку от стола Начальника, растерянно перебиравшего листки докладной.

Начальник принялся читать вслух. Сначала шла довольно затянутая преамбула. Потом следовала таблица со множеством граф. Слева был столбец фамилий сотрудников, а правее в каждой соответствующей графе были проставлены потери рабочего времени в минутах. Сами графы носили наименования: «опоздания», «преждевременные уходы», «лишние перекуры» и «посторонние разговоры». Графа «посторонние разговоры» подразделялась на подграфы: «телеф. разг.», «анекдоты», «обсужд. хоккея», «обсужд. кино и моды», «проч. разг.».

Лучше всех выглядел, судя по таблице, Коля Григоренко. Кроме разговоров о любимом «Спартаке», он ни в чем таком замечен не был. Раиса Кирилловна, если бы не длительные переговоры по телефону с дочерью, тоже бы выглядела вполне сносно. И уж совсем никуда обстояли дела у Лены Белозеровой и Эллы Рыбарь.

Начальник кончил читать при гробовом молчании. Потом сел и начал рыться в ящиках своего стола. Было тихо, и слышен был лишь шелест бумаг. Наконец нашел что-то.

— Я хотел бы единственно спросить у вас, почему в вашей таблице нет данных о потерях моего рабочего времени?

— Не мое это дело,— недовольно ответил Петр Афанасьевич.

— Вот как...— удивленно качнул головой Начальник.— Может, у кого-нибудь еще есть вопросы к Петру Афанасьевичу?

— Почему в этой таблице нет данных о ваших потерях? — спросил Игорь.— Ведь если все время следить за всеми, то на работу и минуты не останется.

— Потому Петр Афанасьевич раньше всех и приходит, что не хватает рабочего дня, как ты не поймешь,— подхватил Алик.

— Стоп, стоп,— постукал карандашом Начальник.— Вы начинаете переходить на личности. Давайте по существу.

— А по существу то, что Петру Афанасьевичу не повезло с работой,— сказал Игорь.— Мы должны войти в его положение. Попро-

буйте посадите любого из нас на его место. Тут не то что докладные писать начнешь, тут...

— Все сказал? — перебил Начальник.

— Игорь правильно говорит, — вступился Алик. — Чем ему у нас заниматься? Колины инструкции переписывать? С тем же успехом можно сидеть дома и получать пособие по безработице.

— Все сказали? — резко повторил Начальник, поднимаясь с места.

Алик усмехнулся, пожал плечами. Остальные ошарашенно переглядывались.

— Теперь я скажу. — Начальник даже потемнел от злости. — Надо всегда с уважением относиться к чужой позиции, даже если считаешь ее неправильной! Важен мотив. А мотив тот, что Петр Афанасьевич, видя то, что у нас творится, не мог молчать!.. Не мог! И наше дело разъяснить ему его заблуждение. Разъяснить доказательно, а не оскорбительно... Могут спросить, почему Петр Афанасьевич не сделал этого открыто, обратившись непосредственно ко мне как к начальнику отдела, но, по-моему, тут все ясно. Петр Афанасьевич считает меня таким же нарушителем дисциплины, как и всех прочих. А теперь я другое скажу! — распалился он вдруг. — С этого дня Петр Афанасьевич будет вести у нас в отделе учет потерь, только не рабочего времени каждого сотрудника, а потерь производства КБ и завода, вызванных нашей безответственностью и расхлябанностью! И я сам попрошу его об этом.

Отдел исподлобья смотрел на своего Начальника.

— Не буду я этим заниматься, — хмурясь, сказал Петр Афанасьевич, — раз так это понимают...

— Ничего. Поймут. Только сначала вам, Петр Афанасьевич, тоже следовало бы кое-что понять. — Начальник снова порывлся в своих бумагах и поднял одну из них, показывая всем присутствующим. — Вот справка о выполнении социалистических обязательств за прошедшее полугодие. Здесь сказано, что по всем показателям и пунктам обязательств отдел вышел на первое место, значительно опередив остальные отделы КБ. Кроме одного пункта, касающегося трудовой дисциплины, здесь мы последние... — Начальник снова порывлся и поднял следующую бумажку. — А вот справка табельщицы о потерях рабочего времени, связанных с опозданиями и административными отпусками. И здесь мы, как уже говорил, тоже значительно всех опередили. Теперь, Петр Афанасьевич, вы должны спросить меня, как одно увязать с другим. Как могло случиться, что при таких потерях рабочего времени отдел проделал столь большую работу? Кстати, чтобы не забыть, особо было отмечено руководством КБ высокое качество документации, выпускаемой отделом. То есть нам не приходилось, как другим, затрачивать время на переделку и перевыпуск, на дополнительные извещения об исправлениях, что, естественно, не могло быть учтено нашей табельной службой. Так за счет чего же, спросите вы, все это было нами достигнуто? Неужели за счет тех самых потерь рабочего времени, посторонних разговоров, кроссвордов, административных отпусков? Объясню. Дело в том, уважаемый Петр Афанасьевич, что результат нашей с вами работы далеко не во всем и не всегда зависит от затрачиваемого на нее времени. Это у станочника время — детали. У нас же совершенно необязательно. Больше того, чем чаще мозг отвлекается от решения вопросов и проблем, которые трудно решить с ходу, чем чаще он расслабляется, тем вернее и точнее наше подсознание выдает нам решение в самый неожиданный момент, в самом неожиданном месте. Спросите у ребят, когда им приходили в голову решения неразрешимых, казалось бы, вопросов? Ответу за них. Во время разгадывания кроссвордов, на футболе, в бассейне...

— В кино... — подсказала Нина.

— Вот видите, и в кино. И на пляже. Скажите, я утрирую? Ничуть.

Тут есть одна ускользающая от внимания деталь: при такой системе наш мозг работает, хотим мы того или нет, не положенные восемь часов, а все двадцать четыре. При условии, конечно, что работа не превратилась в принудилку, в тягость, то есть при условии увлеченности. И если что-то не ладится, не клеится, надоело, я говорю: отвлекитесь! Только не портите своим кислым видом общую атмосферу, только помните, что ваше остается за вами. Ведь в нашей работе так много еще нудного, чиновничьего... Короче, трудовая дисциплина есть средство, а не цель. И мы приходим сюда работать, а не соблюдать дисциплину! Скажу больше. Дисциплина ничто без самодисциплины. Если мы добьемся, что все будут увлечены делом, то есть будут сами сознательно регулировать свое время и занятость, то придет время, когда дисциплина как система ограничений и запретов отпадет сама собой. Вот откуда берутся высокие показатели, Петр Афанасьевич. Вот почему получается, что эти столь добросовестно регистрируемые вами потери в нашем отделе зачастую оборачиваются приобретениями, резервами времени. Вот что я называю работой, а не восьмичасовым отбыванием наказания. Когда ждут не дождутся звонка. Когда по звонку в голове образуется пустота, летят домой, чтобы поскорее все забыть до завтрашнего утра. Разумеется, что в коллективе при этом должна быть особая обстановка — взаимного полного доверия и высокой сознательности. Вспомните, как Раиса Кирилловна сутками не выходила из цеха, когда проверяли новое изделие «5Я31». А Нина? Она по воскресеньям не давала мне покоя звонками, пока решала глобальную проблему с магнитным усилителем. И теперь я как начальник знаю, что если Раиса Кирилловна или Нина опаздывают, то на это есть действительно веская причина, что это опоздание они компенсируют в любом случае. И они тоже знают или, во всяком случае, должны знать, что их не ждет здесь разное или нагоняй, что они могут не переживать, ибо мы здесь все понимаем, что значит женщины сесть в автобус в час пик в новом районе, что мы волнуемся за них, любим их и ждем!

Все рассмеялись.

— А что вы смеетесь? Давайте уж будем откровенны до конца... Вы что, до сих пор не знаете, что желаемый выход нельзя получить, не завязав его с входом обратной связью нужного знака? Да ни один из вас не задержится на час-другой для срочной работы, если я буду нудить по поводу минутного опоздания. Вас ведь надо ублажать. Какие вы сознательные. Ведь только вам это можно поручить, только вам это под силу. Скажете — нет? Теперь о другом. У нас производство. У нас не институт Академии наук. У нас нет возможности, и нам ее никто не даст, годами решать вопросы производства. От нас ждут решений, извещений, служебных записок в считанные часы. Оперативность, — Начальник вскочил и забегал по проходу, — это одно из главных требований нашей работы. Итак, увлеченность, сознательность и оперативность. Все! Да, и еще ответственность... Белозерова, встаньте! Где вы были позавчера после трех?

— Как... Александр Константинович... вы же сами отпустили нас с Эллою на просмотр, — растерянно протянула покрасневшая Леночка, — ну, на фестиваль французских фильмов.

Петр Афанасьевич крикнул, потом шумно вздохнул.

— Знаю. Помню. Но что потом произошло с вашей служебной запиской, знаете?

— Я же ее составила и у всех подписала. Вы сами ее подписали...

— И?

— Ну, у нас же билеты пропадали!..

— Стоп, стоп! — замахал Начальник руками. — Нас интересует суть дела. А фактом остается то, что служебная записка в цех запоз-

дала на сутки и это вызвало определенные задержки... Какой фильм вы, кстати, видели?

— Да ну... — отмахнулась Лена, — ерунда. «Колено Клер». Вот завтра мы идем на «Страх над городом».

— Этот, с Бельмондо?

— Да, кажется.

— Завтра вы никуда не пойдете. Я вас не отпускаю. А билет отдадите мне.

— Как? — Губы Леночки дрогнули.

— А вот так. В следующий раз будете знать. Кстати, могли бы мне и раньше предложить. Вы же Бельмондо терпеть не можете, вам Алан Делон нравится. Помните, мы спорили? И вы прекрасно знаете, что Бельмондо — мой любимый актер.

— И мой тоже, — сказал Алик.

— И его тоже, — сказал Начальник.

— Она никуда не пойдет, а мы с вами кинем жребий, — предложил Алик.

— Эх, молодежь, молодежь, — вдруг заговорил Петр Афанасьевич, — гляжу я на вас, и... — Он снова махнул рукой и крикнул.

— И что? — спросил Начальник.

— Ничего, — ответил Петр Афанасьевич, сожалеюще глядя на Начальника. — Может, вы все-таки скажете, Александр Константинович, чем я должен буду заниматься?

— Да-да... Конечно. Мы опять отвлеклись. Вернемся к поступку Белозеровой... Петр Афанасьевич, куда вы?

Петр Афанасьевич тяжело встал и направился к своему огромному столу.

— Да ладно, — сказал он не оглядываясь, — я у себя посижу. Вы говорите, я слушаю.

— Итак, Белозерова составила записку и ушла. Составила, надо сказать, оперативно и грамотно. Но не обеспечила ее доведение до цеха. Но это еще не самое худшее. Меня сейчас беспокоит другое: если бы в коллективе действительно существовал дух товарищества, которого я все это время добивался, вряд ли Петр Афанасьевич написал бы эту докладную.

Начальник потряс бумагой и для убедительности постучал по ней ладонью прямо на весу, пока она не смялась.

— Значит, ему со стороны было видно, что кое-кто еще воспользовался доверием товарищей! Значит... — он вдруг запнулся, воочию себе представив эти злоупотребления, прошедшие мимо его внимания, — значит... все, — он растерянно оглядел отдел, — все насмарку? — спросил он дрогнувшим высоким голосом.

— Да понимаю я, все понимаю, — заплакала Лена, — только чего он на меня... — Она кивнула на Алика, потом вскочила и выбежала из отдела. Следом выскочила Нина.

— Вот смотрю на вас... — громко повторил Петр Афанасьевич.

— И вспоминаю, — закончил Алик. — Только никак вспомнить не могу...

— Вспоминаю, да! — поднялся Петр Афанасьевич. — И не тебе, сопляку, мне указывать!.. Тут поневоле вспомнишь... Как с маршевым батальоном на фронт в сорок первом под Оршу попал. Климовичи станция называлась. Молодежь всех вас был! А нас, необстрелянных, прямо из эшелона навстречу танкам кинули. Комбат только успел нас, командиров, собрать, как всех прямым попаданием накрыло. Я за ротным своим стоял, только потому и уцелел... Вылез из-под него в крови весь, бойцы, вижу, над нами сгрудились, от страха побелели. А танки полным ходом прут... И один вот такой же умник заорал... Что, мол, командиров побило, а у самих голова не работает? Разбегайтесь, ребята! Вон лес, разбегайтесь, пока целы. Я наган выхватил.

«Назад!» — ору. Он на меня: ты что, мол, ребят погубить хочешь? Сам спасайся, дурной... Убил я его... Вот этой самой рукой... И не жалею!.. Там на станции вагоны с беженцами, с детишками. От танков убежать можно, а от них куда бежать? Сто двадцать человек нас осталось от батальона. А танков-то всего пять-шесть было. И мотоциклистов, ну, десятка два от силы. Взводу делать нечего... А говорите... Кино им, понимаешь, доверие!

Махнув рукой, весь малиновый, с трясущимися щеками сел на место. С минуту стояла тишина.

— Вы почему-то никогда нам об этом не рассказывали,— покачал головой Начальник,— я помню ваши выступления ко Дню Победы и Советской Армии, но ничего подобного... Прекрасно понимаю, что вы хотите сказать, но не смею вам возражать после всего услышанного... А ваша таблица нам очень нужна... Во всю стену. И графы нужно назвать по-другому. Безынициативность, безответственность, нетворческий подход,— загибал он пальцы.— Еще что?.. Ну, мы подумаем. Я верю в вашу объективность, дорогой Петр Афанасьевич, вижу, с какой болью вы отзываетесь на нарушения дисциплины.. Что с вами?

Лицо Петра Афанасьевича серело на глазах, пальцы судорожно цеплялись за ворот сорочки и узел галстука...

Ему дали воды, вызвали фельдшера. Отправили домой. Игорь наблюдал за Аликом. Алик был неузнаваем. Его всеильная, непобедимая уверенность в себе впервые так жестоко и унижительно была сокрушена... Вышел вслед за ним в курилку. Там сидели молча, пока не остались одни.

— Слышал, как он на меня? — спросил Алик.

— Слышал, слышал...

— Попался бы я ему там... когда он наганом размахивал. Но я ж не трус! Если он герой, так что ж теперь? Кого хочет может трусом назвать? — совсем по-детски спросил он. Он ломался, крошился буквально на глазах.

— Да что особенного,— сказал Игорь,— ну сказал, ну и подумаешь.

— Нет, он именно на меня сказал,— чуть не плакал Алик.— Мне такого никто не посмел бы... Пусть он хоть трижды герой... Чего он вообще к нам пришел? У него пенсия больше моего оклада. Колю с места согнал, житья никому не дает...

— Прекрати! — крикнул Игорь.— Сейчас же замолчи!

Потом они сидели молча. Игорь оцепенел, боясь, что Алик начнет говорить в том же духе. Но тот молчал...

Игорь вспомнил, как был свидетелем выступления Алика в прыжках с шестом на межвузовских соревнованиях. Алик днем раньше успел уже забрать свои первые призы по спринту, прыжкам в высоту и длину, когда его стали умолять выступить еще и с шестом. Хотя бы для зачета. Интересы команды, мол, престиж и все такое. Знали, что Алик не откажет. Он и не отказался, такой уж характер, но о том, что в жизни не прыгал с шестом, почему-то не сказал.

Он подошел к сектору. Его вызвали, но он высокомерно отказался. Сказал, что пропускает высоту. К тому времени уже образовалась целая группа пропустивших, в основном перворазрядники и даже, кажется, один мастер. Они начинали прыгать где-то после четырех метров. Эти ребята уже не раз и не два встречались на соревнованиях, прекрасно знали возможности друг друга и сейчас терпеливо и со скупающим видом ждали, когда всякая шелупонь отпрыгается для зачета. У Алика же были свои мотивы: он хотел сначала приглядеться, как это делается, как хоть за него братья, за этот шест. Следующую высоту пропускать было уже рискованно. Алик помчался с шестом наперевес, как в штыковую атаку. Оттолкнулся и... пролетел под планкой на целый метр ниже.

Взрыв смеха среди публики. Алика все, конечно же, знали. Но в качестве шута горохового он выступал впервые.

Засмеялись и профессионалы. С некоторым облегчением, надо сказать. Все они были наслышаны, конечно же, о его подвигах. Алик оглянулся на них. Кое-кого про себя отметил. Еще внимательнее стал приглядываться к технике прыгавших. Стал повторять, имитировать их разбег и движения без шеста. Потом, стиснув зубы, снова бросился в атаку. Взлетел метра на полтора выше планки и... обрушился на нее сверху. Встал, отряхнулся — как еще не переломал ребра, — понурясь пошел на место, но его вернули. Заставили выпрямлять согнутую планку. Снова смех. Последняя попытка. Взлетел, отчаянно болтая ногами и извиваясь корпусом. Едва перевалил. Почти без помощи шеста перепрыгнул трехметровую планку.

Потом это повторялось. То он обрушивался с высоты на планку, то пролетал под ней, а уж потом едва-едва, впритирку переваливал. На высоте три семьдесят остался один. Шелупонь сошла, профессионалы еще не начинали, и Алик в одиночестве порхал в темнеющем небе. А темнело уже всерьез. Профессионалы и судьи начинали прояслять нетерпение. Но он методично прибавлял высоту на пять сантиметров, затрачивал аккуратно по три попытки, отдыхая между попытками, как заправский мастер. Он шлифовал технику. И было видно, как с каждым новым прыжком она делалась все более сносной. Он собирался дать бой профессионалам. И чем больше они нервничали, тем уверенней он себя чувствовал. Но он завоевал всего лишь третий приз. Он взял одинаковую высоту со вторым призером, но слишком уж много было попыток... Победители ошалело смотрели друг на друга: они никогда еще не показывали таких низких результатов. Но самым недовольным был Алик...

— Его надо понять, — сказал Игорь. — Для него все измеряется тем, пережитым в сорок первом. Так бывает при сильных потрясениях. Кто бы из нас и как бы пережил то, что пережил он?

Алик непреклонно молчал. Игорь думал, что людей, помимо всего прочего, разделяет время, в котором живет каждый в отдельности. Каждый в своем веке, годе, дне, часе. Вот Алик, к примеру. Чтобы узнать время, в котором он живет, достаточно взглянуть на часы. Ибо он не просто современен. Он сочасен, соминутен. Изменчивость внешнего мира он отрабатывает синхронно, без запаздывания...

«Наверно, все мы так плывем в ладье своей индивидуальности по реке жизни, и ветры перемен наполняют паруса нашего разума, и мы обгоняем других или отстаем, ибо у всех у нас разные ладьи и разные паруса... Не эта ли временная разность, словно разность потенциалов, служит одним из скрытых источников напряжения между людьми?»

...На другой день позвонила жена Петра Афанасьевича. Охая, сказала, что у него сердечный приступ, что врач запретил ему вставать. Что у вас там случилось? Сам ничего не говорит, только твердит, что подаст на увольнение, как только выпишется. Разговаривала Раиса Кирилловна. Положила трубку и взглянула на притихший отдел.

Алик сам подал голос. Сказал, что сегодня же отправится к Петру Афанасьевичу домой. Оглянулся на Игоря. Игорь кивнул. Да, они вместе поедут. Они принесут извинения от имени отдела. Что еще? Все слышали? Вопросы есть? За работу, товарищи.

Они взяли у Люси адрес и долго колесили по Химкам—Ховрину, пока на Флотской не разыскали его дом. На звонок никто не отвечал. Из соседней квартиры выглянула соседка.

— Вы к Петру Афанасьевичу? А, с работы... Он лежит, ему нельзя вставать. Я думала, медсестра пришла укол делать. Жена просила открыть ей, а сама за внуками пошла в детсад. Ну да, двое их у него, а вы разве не знали? Смотри-ка... Дочку, единственную, паралич раз-



бил, и зять к другой ушел. Вообще из Москвы уехал, вроде на Север, подработать. А от самого ни слуху...

— Ясно, — перебил Алик, — все ясно.

Она, не поняв, удивленно взглянула на него.

— Так и живут с внуками. Дочка безвылазно на грязях, все лечится, самой помогать надо...

— Все ясно! — грубо повторил Алик. — Что вы заладили одно и то же? У вас ключи? Так открывайте, мы к нему приехали, а не к вам.

Соседка наотрез отказалась. Смотрела подозрительно, поджав губы. Захлопнула дверь. Пришлось ждать...

Потом внизу на лестничной площадке остановилась пожилая хрупкая женщина с темными полукружьями под глазами. Стояла, тяжело дыша и держась рукой за перила. Внизу верещали на разные голоса Алеша и Светочка, которых она безуспешно окликала, пока Игорь с Аликом не сбежали вниз, не взяли их под микитки...

Петр Афанасьевич только повел в их сторону глазами.

— А, ребята... Садитесь, садитесь... Видите, какой стал.

Жена помогла ему повернуться в их сторону на бок.

— Не увольняйтесь, — сказал Алик, — я сам увольняюсь, честное слово.

Толкнул ногой Игоря. Тот подтвердил.

Петр Афанасьевич усмехнулся, прикрыл глаза.

— Да нет, ребята... Все уж, отработался.

— А вам и работать не надо, — сказал Игорь, — только приезжайте иногда. Чего вам там делать, в самом деле? Таблицу мы и сами составим, а инструкции Колины подождут.

Петр Афанасьевич помолчал.

— Нет, ребята, мешаюсь я только. Что я, не вижу? Вы молодые, воевать, слава богу, не пришлось, так уж живите по-своему, чтоб хорошо вам было.

— Да кто сказал, что мешааете? — возмутился Игорь. — Да попробуй я завтра сказать, что вы у нас работать не хотите, весь отдел сюда примчится. Без вас мы вообще распустимся, Александр Константинович так и сказал...

— Он славный, — вздохнул Петр Афанасьевич, — только не подводите вы его... Хорошо еще Владимир Алексеевич его поддерживает, а то совсем трудно бы ему пришлось.

— Он очень деликатный, Владимир Алексеевич, правда? — подхватила жена. — Очень! Такой чуткий. Редкий человек! Мы его родителей хорошо знали. Очень культурная семья.

— Нет, вы не подумайте, — снова сказал Алик, — я действительно увольняюсь. Уже заявление написал.

— Зачем? — покачал головой больной. — Что за прихоть! Это я себе лишнее позволил, вы уж меня извините...

— И не надо вам увольняться, — взглянув на мужа, поддержала жена, — такой молодой, а работой бросааетесь...

В комнату заглянул внук, и бабушка вышла к нему.

— Это я должен уволиться, — сказал Алик, — иначе никогда себе не прощу. А вы должны у нас работать. Думайте не о своих обидах, а о них, — кивнул в сторону двери.

— Главный конструктор правильно решил: где вы найдете такое внимание, как у нас? — сказал Игорь.

### **Начальник**

(Игорь Беляков)

Когда это кончится? Такой была первая мысль, когда Филимонов через полгода опять напомнил о перепутанных кабелях. Он вызвал к себе меня и Начальника, чтобы рассказать продолжение истории.

Оказывается, отчет смежного института оказался в достаточной степени диссертабельным и из него успели выдоить кандидатскую.

— Что за чушь... — поморщился Начальник.

Но Филимонов сохранял озабоченный вид:

— Главный приказал тебе, Саша, взять на себя функции оппонента на защите от нашего завода, а Игорек будет изображать там восторженную публику.

— Но это же чепуха, — развел руками Начальник.

— Выеденного яйца не стоит, — поддержал я.

Филимонов вздохнул:

— Да знаю... Тут в другом загвоздка.

— О какой загвоздке тут вообще можно говорить! — вышел из себя Начальник.

— Говори, говори, — кивнул Филимонов, — выговорись как следует. У меня можно. Но там... — Он погрозил ему пальцем. — Смотри, а то знаю я тебя... Загвоздка в том, кто защищаться будет.

— Да хоть сам министр! — горячился Начальник.

— Министр... если бы министр, — вздохнул Филимонов, — а то Веня Голод.

— Кто? — У Начальника отвалилась челюсть. — Веня?

Тут надо наконец рассказать о Вене Голоде. Личности среди специалистов прямо-таки легендарной. Во всяком случае, не берусь судить, где кончается легенда и где начинается анекдот, когда рассказывают о нем.

Филимонов как-то сказал, что когда Веня уходит в отпуск, их институт можно на это время закрыть с целью экономии фонда заработной платы. Впрочем, бывал ли он в отпуске? Как-то года два назад он поехал в Трускавец по путевке, которую ему лично вручил директор института. У Вени обнаружилась какая-то застарелая болячка. Но сам же директор через две недели слезной телеграммой отозвал Веню назад в Москву, что-то там не шло по новой тематике. Веня приехал и все уладил. За неделю перебрал у себя в лаборатории все блоки. Система заработала как надо, но все безукоризненные расчеты и схемы полетели к чертям собачьим. Подведя под кошмарную Венину эмпирику солидную научную базу, кое-кто защитил кандидатскую. Веня, как всегда, остался в стороне со своим незаконченным высшим. Зато уложились в сроки. И даже выдвинули систему на Государственную премию. Но не тут-то было. Веня только-только входил во вкус. Не в силах справиться с охватившим его зудом он снова сбегал с вод, обуреваемый новыми идеями. Приехал, все переворошил, все перевернул, и никто не смел ему перечить. Система стала куда эффективнее и проще. Еще две кандидатские. И одна докторская. Правда, полетели сроки выдвижения на премию... Директор премировал Веню тремя окладами и собрал своих заместителей. Решали, как быть дальше. Директор приказал устроить Вене диплом о высшем образовании и организовать сдачу кандидатского минимума. Срок — год. При этом он выразительно посмотрел на своего заместителя по хозяйству, личность в известном смысле легендарную. А что было делать? Сколько еще Веня своей необразованностью будет терроризировать совесть целого научного коллектива? И так уже идут всякие разговоры и слухи вне института, пороча репутацию...

Веня на это равнодушно пожал плечами. Он уже бросил два института и третий его не страшил. Его не занимала суета макротел. Его занимали эволюции электронов. Из их вибрирующего хаоса он извлекал гармонию, полагаясь больше на свою интуицию, чем на законы, которые приходилось учить в вузах. Казалось, что ему передалась наследственность бесчисленных предков, которые из поколения в поколение культивировали электроны, пасли их на лужайках и выводили новые породы.

Уже через полгода был защищен диплом. Еще через год был сдан кандидатский минимум.

И вот его отряхнули от табачного пепла, одели в темный строгий костюм, такой же галстук и впихнули в помещение, где было полно людей и не было электронных приборов. Первый раз в жизни я видел его в галстуке...

Он стоял перед аудиторией потерянный и неуклюжий. Разглядывал схемы и диаграммы, будто видел их впервые. Но это было не важно. Важно было то, что его здесь все знали и любили. И он мог молоть все что угодно. Даже молчать. Главное, оппоненты знали, о чем говорить.

— Да скажи ты ему, — наставлял Филимонов Начальника, — пусть, как защитится, придет к нам на завод. Я ему тут такие темы подберу — на три докторские хватит. От моего имени скажи!

К самой диссертации Веня имел косвенное отношение. Он разработал небольшую и изящную методику проверки несовместимости допусков параметров. Настоящее художественное произведение. Если бы только она хоть когда-нибудь понадобилась.

Вступительную часть он отбарабанил вполне сносно. Оживился, когда начал разъяснять свою методику. Оппоненты постанывали от восхищения и нетерпения. Начальник цокал языком и мотал головой. По сценарию он выступал последним. Как представитель производства, который должен млеть от счастья и трясти обеими руками руку диссертанта за тот вклад, который...

И вот прочие оппоненты уже спели свои арии, и Веня сидел весь малиновый, а узел его галстука съехал куда-то вправо.

Начальник начал прямо с Вени. Что он не нуждается в защите. Ни в смысле научной репутации, ни в смысле знаний. Ибо дело не в полноте общепринятых знаний, а в умении их использовать. Что Эдисон не был кандидатом технических наук. Что Ньютон и Декарт тоже не были. И слава богу. Здесь все переглянулись. Что если так уж необходимо остепенить Веню, то следовало бы воспользоваться одной из его прежних разработок, а не этой, высосанной из чьего-то указательного вышестоящего пальца. Или они кем-то уже использованы?

Здесь все снова переглянулись. Отчаянный парень этот Егоров. Каскадер. Ничего не боится!

Начальник дальше сказал: кандидатов много, а Веня Голод один и если значение специалиста определяется степенью, то ему, Начальнику, стыдно, что он кандидат! Неужели, повторил он, когда все угомонились, в институте не нашлось темы, достойной научного потенциала соискателя? Ведь он столько дал нам идей. А теперь что же, решили в знак благодарности подтянуть его до нашего уровня? На Веню старались не смотреть. Плюс ко всему кто-то без понятия крикнул: а доказательства?

Тут все завздохали, махнули рукой. Ну, теперь все. Вы что, Егорова не знаете? Что вы, не видите — он удила закусил? Теперь все. Теперь он камня на камне... Так и есть: пожал плечами, взял мел. Надо же, надо же понимать правила игры, соблюдать приличия, товарищи!

Минут через десять все было кончено. Аудитория гудела, кряхтела, вздыхала. Легче всего защиту провалить. А в нашем деле особенно. Если всякий раз подсчитывать вероятность, то, знаете ли, процентов сорок диссертаций до ВАКа не дойдет. А он прав: степень степенью, а диссертация должна быть диссертацией. Ну, будут дела... Веня вдруг подскочил и пожал Начальнику руку. Он явно испытывал облегчение и не скрывал этого. И пригласил всех на банкет в «Минск». Я влюбленно смотрел на эту пару.

Условность, размышлял я, — ветряная мельница, разжиревшая на крови донкихотов.

В понедельник вернулся из командировки Главный и предложил

Начальнику написать заявление об уходе по собственному желанию. В тот же день вечером я приехал к нему домой.

Дверь открыла Шура. Руки в рыбьей чешуе, из ванны натужно гудит стиральная машина, Сашка орет, по телевизору садят из пушек, все как всегда. Нормальная у людей семейная обстановка.

— А, Игорек, давно тебя не видела. Он там. Ты только не очень, ладно? Да он особенно и не переживает. Его к нам назад с руками и ногами. Пусть докторскую готовит. Как там Леночка? Ладно, ладно, какая... Проходи так. Все равно полы мыть. Проходи, проходи...

Начальник сидел с Гошкой на коленях и что-то с ним рисовал.

— А, Игорек. Садись... Нет, лучше вон туда. Нет, пойдем в ту комнату.

В другой комнате ухал и взрывался телевизор. Начальник потоптался, посмотрел на разинутые рты ребятишек и пошел в следующую.

— Ну садись,— вздохнул Начальник,— рассказывай...

Рассказывал он в основном сам. Сначала о Главном.

— Ну, ты знаешь его... Взбешен, но корректен. Удивительная выдержка... «Во-первых, вы нарушили мое прямое указание. Неужели надо объяснять, что только между собой мы можем скандалить и дискутировать? А на выходе обязаны придерживаться единого мнения и продемонстрировать единую линию?» «Ваше мнение и вашу линию»,— уточняю я. «Вы обязаны были найти способ избежать скандала, а тем более не копаться в грязном белье смежников,— отчеканил Главный,— если действительно не видели возможности поддержать защиту. История уже получила неприятную для нас огласку, и мне придется давать объяснения». «Я не мог молчать,— говорю,— такая диссертация оскорбительна для настоящего ученого». «Просто вы не понимаете простых вещей,— сказал Главный, подумав.— Наше КБ всего лишь модуль в общей системе науки и производства. Мы должны подстраиваться под другие модули, чтобы система в целом функционировала нормально. Мы не можем себе позволить пороть отсебятину даже из лучших побуждений. Мы обязаны выдавать согласованные выходные данные. Тут целое сплетение связей, обстоятельств, компромиссов, интересов и личных контактов. Безответственно нарушать то, что сбалансировано годами. Личное доверие между руководителями организаций в том числе. К примеру, на этой неделе предстоит совещание у заказчика по вопросу распределения заказов на новейшие разработки. Вы прекрасно представляете, что это для нас значит. Мне будет необходима поддержка руководства этого института. Как по-вашему, смогу я в новых обстоятельствах на него рассчитывать?»

— Правильно сказал Филимонов,— не выдержал я.— Технократ, продюсер, но только не главный конструктор.

Начальник поморщился.

— Опять ты за свое... Как легко навешиваешь ярлыки: продюсер, технократ... Слушай дальше...

...«Все правильно,— продолжал Начальник,— только как быть теперь с Веней Голодом?» «Что поделаешь, если Голод не укладывается в стереотип. У него не было диплома, и он не знает английского...» «Эдисон тоже не укладывается в стереотип,— сказал Начальник,— правда, он неплохо владел английским. Ну при чем здесь это, если он совершенно неспособен к языкам и его талант совсем в другом!» «Каждый руководитель старается создать в своем учреждении такое соотношение предварительных условий и допусков, чтобы как-то скомпенсировать те или иные наши слабости и недостатки, чтобы использовать достоинства и целенаправить усилия. Поэтому я прекрасно понимаю руководство института... По крайней мере ради Голода были сделаны все возможные исключения и проявлена известная гибкость,— сказал Главный,— все постарались помочь ему в отличие от вас, кстати, хотя вы его упорно защищаете». «Я защищал ученого от фарса, недостой-

ного его таланта». «Видите ли,— задумавшись, сказал Главный,— жизнеспособность любого коллектива определяется тем, насколько в нем могут улучшаться и совершенствоваться структуры и отношения. Производственные в том числе. И я могу согласиться с вами в том, что мы, к сожалению, до сих пор не научились пользоваться нашими безграничными в этом смысле возможностями, но...» «Именно,— вскинулся Начальник,— именно! Мы без конца кричим о творческой инициативе и сознательности, а всегда ли верим в сознательность и творчество людей? Вот когда Голода остепеним, когда он заговорит по-английски — вот тогда мы сможем гарантированно доверять ему как ученому, так? А он талантлив. И его талант не нуждается ни в каких подпорках! Вместо того чтобы дать ему возможность развернуть и развить свое дарование, мы только отвлекаем его от настоящего дела и запикиваем в прокрустово ложе собственных представлений о современном ученом!»

Главный прохаживался, скрестив руки на груди.

«Если говорить откровенно, Александр Константинович, то ваша беда в том, что вы появились у нас несколько преждевременно. Как транзистор среди электронных ламп. Вы немного забегаете вперед, а вы всего лишь первый и едва ли не единственный транзистор и из-за вас еще рано переделывать схемы и менять технологию... Только вам тоже следует помнить, что когда-нибудь вам на смену придет какой-нибудь микромодуль, и вы должны быть к этому готовы. Вы вряд ли представляете себе, какие баталии мне пришлось выдержать из-за ваших экспериментов с моим первым замом Филимоновым. Филимонов оказался неспособным понять, что я пришел к нему на смену. Именно потому он мой заместитель, а не наоборот. Хотя по знаниям, авторитету и опыту его приоритет очевиден. Но сейчас, в наше время, этого уже явно недостаточно. Кстати, вы не задумывались, почему ваши методы руководства я не решился распространить на другие отделы? В порядке передового опыта, почина. Не задумывались? А было бы заманчиво, не так ли? В смысле рекламы, репутации. Сейчас это так престижно... Мне не хотелось губить идею в зародыше. В КБ восемь отделов, а где я возьму еще семь Егоровых? Тем более что сам я далеко не Егоров... Вот, кстати, когда вы уйдете, в вашем отделе все начнется по-старому». «Посмотрим,— протянул Начальник растерянно — а что, разве я должен...» «Посмотрим,— охотно кивнул Главный,— буду рад ошибиться». «В моем отделе восемнадцать готовых руководителей отдела»,— с вызовом сказал Начальник. «Ну, не восемнадцать,— впервые улыбнулся Главный.— Вы же не станете отрицать, что вашим доверием начали злоупотреблять? А вы их возносите...» Потом он задумался. «Ну хорошо. Я подумаю. Действительно было бы жаль... Может, Раиса Кирилловна?» «Ах вот оно что... А может, Беляков?» «Ну нет,— покачал головой Главный,— Беляков — это уж чересчур. Раиса Кирилловна вполне устроила бы меня и особенно Филимонова. В общем, посмотрим. Вы ведь вернетесь в свой институт?» Начальник не ответил. «Я уже звонил туда,— сказал Главный,— говорил о вас. Объяснил все как надо. Дал наилучшие рекомендации. Они будут вам очень рады. Наверняка дадут отдел или сектор. Вот и растите там новых руководителей, которые придут нам на смену»... Нахмурился, он посмотрел на часы. Прощание с Егоровым непозволительно затягивалось. «Заявление лучше напишите сразу, прямо сейчас, и я подпишу. Вы же понимаете, что до совещания у заказчика надо успеть заручиться поддержкой у института». Еще раз взглянул на часы. Все-таки цейтнот. Что значит позволить себе ненужные объяснения с подчиненными, когда и так все ясно...

Вошла Шура.

— Ну чего скисли? Сейчас будем ужинать. Как уснут, включим телевизор. А Игорек останется у нас ночевать. Хорошо?

Он все-таки сделал мне это предложение. Я как чувствовал. Мы оба испытывали при этом некоторую неловкость, и прозвучало оно вымученно.

— Я могу тебя взять с собой... Если хочешь.

Шура села, уставилась на него.

— Ничего себе! Если хочешь... А сам? Разве не хочешь? Боишься, Игорь откажет? Чего молчишь?

Я впервые видел его таким. Он избегал моего взгляда. Сидел, наморщив лоб, и крутил в пустом стакане чайную ложечку.

Почему он не решается сказать прямо? Многие, не я один, ушли бы с ним вместе...

Когда-то он прорубался к нам сквозь наше недоверие и непонимание. Он расчищал пространство для всех нас. Даже рискнул потревожить чужой заповедник, и его обвинили в браконьерстве. И сейчас он, не терпевший недомолвок, не решается сказать мне о своем желании прямо. Но я уже сам знаю: нельзя, чтобы он оставался один. И решаться надо мне.

— Я остаюсь,— сказал я.

— То есть? — подозрительно сощурилась Шура.

— Ну как же,— усмехнулся Начальник.— Ты только что сама предложила Игорю переночевать у нас. Вот он и согласился.

Как всегда, он чувствовал этот сквознячок зарождавшегося недоверия и старался его погасить.

— Я остаюсь в отделе,— сказал я,— всем нам надо остаться, чтобы ничего не изменилось. Это будет лучший ответ.

Он поморщился.

— Вот это уже лишнее... Прибереги свой пыл для чего-то более существенного.

— Ну да, баба она неглупая,— быстро заговорила Шура, оглядывая нас,— поймет, наверно, что в ее же интересах оставить все как есть.

— Через полгода они будут носить ее на руках...— задумчиво сказал Начальник. А после минутного замешательства добавил: — Вы заметили? Нет ничего привлекательнее человека, который занимает свое место и занимается своим делом. А она прирожденный руководитель. Да, она зачастую была невозможна. И только потому, что была не на месте...

Шура всплеснула руками.

— Да, но способы, которые она для этого использовала...

— ...чтобы отдел получил наконец стабильного руководителя? А что было делать? Конечно, она будет торжествовать и первое время бороться с моими порядками, не подозревая, что на самом деле она их только совершенствует... Например, она женит Колю. А уж это мне было явно не под силу.

В тишине за стенкой послышался сонный плач малыша... Шура встала и вышла из комнаты.



---

---

# ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

## ГИЙОМ АПОЛЛИНЕР

*С французского*

*Публикуемые стихи Г. Аполлинера ранее на русский язык не переводились.*

### **Ноктюрн**

Свет улиц озарил вечерний небосклон,  
И сердце любит вновь и бьется в унисон  
Со всеми жизнями, что, несмотря на тьму,  
Вдохнули в город жизнь и дали свет ему.

Свет улиц городских все небо озаряет...  
И лишь в материи дух вечный пребывает,  
И лишь в людских сердцах живет и гибнет вновь  
Неутоленная бессмертная любовь.

### **Город и сердце**

Серьезность города, застывший хаос крыш,  
Бессонных флюгеров порывы без ответа —  
Все это схоже с тем, что ты в себе таишь,  
О сердце безрассудное поэта!

И под моей рукой я чувствую равно  
Биенье города и то, как сердце бьется,  
И чудом жизни это сердце пленено,  
И неприступным город остается.

### **Кельнский собор**

Последний зодчий твой сошел с ума, и вот  
Вам доказательство, что добрый бог плюет  
На тех, кто трудится во имя божьей славы.  
Собор! Вознесся ты над городом, но, право,  
В честь бога созидать и строить не умно.

Твоей готической громаде суждено  
Стоять на площади кричаще современной,  
Где на закате дня струится неизменно  
Сквозь витражи твои кровь солнца и Христа  
И в Рейн вливается, сверкаяще чиста.

Пришла пора, собор, стать современным тоже:  
Пусть между башнями твоими в день погожий  
Натянут провода, пусть грозовой порыв  
Из них исторгнет вдруг причудливый мотив.

Среди земных чудес, и древних и вчерашних,  
Ты тоже чудом стал, как Эйфелева башня;  
И летом аисты, на шпиль усевшись твой,  
Берут за образец застывший твой покой.

Хранишь ты прах волхвов, что к яслям шли с дарами;  
Ты пахнешь ладаном, а дышишь облаками...  
Собор, не я один тебя увидать рад!

Зимою ангелы вокруг тебя парят,  
Роняя перышки, и кружит снег устало,  
Дни возвещая святотатца карнавала.

. . . . .  
Храм бога, созданного человеком, этот храм,  
Поскольку всех богов он, смертный, создал сам,  
Как было сказано Гермесом Трисмегистом...  
Смотря на статую, чей взор таким лучистым  
И нежным кажется, я говорю: о ты,  
Мать бога, сделай так, чтоб расцвели цветы  
Вдоль всех земных дорог! Кто их увидит в мае,  
Молитву вознесет, цветы твои срывая.

\* \* \*

На берегу морском я провожаю лето.  
Короче стали дни. Я вижу, как с рассвета  
Прибой старается оставить на песке  
Серебряных медуз; я вижу вдалеке  
Плывущий парусник; и, подбирая рифмы,  
Брожу под соснами, бросая взгляд на рифы.

Я думаю о том, что в ближнем городке  
Деревья и дома отражены в реке;  
Там церковь, кладбище, матросская харчевня  
И слышен женский смех за трапезой вечерней.

Нет! Боль моей души отрадней для меня...

Задумчив солнца свет здесь на исходе дня,  
И след разбитых волн на камнях остается.  
Вот так и кровь моя в печальном сердце бьется  
И оставляет в нем на отмелях беды  
Неумирающей любви моей следы.

Свой королевский плащ с себя срывает море  
И яростью кипит, когда, со штормом споря,  
Зовет его на бой, а шторм ему в ответ  
Поет и вновь поет, как истинный поэт.

\* \* \*

Не звезды в небесах — немецкие снаряды;  
Мотив на две восьмых выводит пулемет;  
Сегодня бал в лесу, но мы ему не рады,  
И что услышим мы, когда наш час пробьет?  
«На приступ! Марш вперед! И никакой пощады».

Сигнал тревоги дан, чтоб всюду свет погас;  
Свой просвистев романс, как бомба, сердце рвется;



Все божества мои исчезли в этот час;  
 Об одиночестве мечтать лишь остается...  
 Как мы вас любим, жизни! Как мы терзаем вас!

Снаряды о любви смертельной в исступленье  
 Мяукают... Вся кровь уйдет в земную твердь.  
 «Пастушка, дождь идет»... Услышь и наше пенье,  
 Пурпурная Любовь! Идущие на смерть  
 Тебя приветствуют в последнее мгновенье.

бся вымокла весна. О сердце, дождь идет!  
 То мертвые глаза кровоточат во мраке.  
 Я на солому лег... Но пусть среди невзгод,  
 Как ни длинна, Улисс, дорога до Итаки,  
 Пусть жар земной любви в душе моей живет.

### Бенодэ

Люблю вас, шхуны Бенодэ, в часы прилива,  
 Когда у берега шуришит волна лениво  
 И сети рыбаков вечернею порой  
 Почти сливаются с морскою синевою.  
 В вечерний этот час бледнеет голубая  
 Одэ, и свет горит на маяке, мигая.

Нигде на свете нет  
 Такой голубизны!

Вдали от ужасов и грохота войны  
 Не знает Бенодэ, что для него дороже:  
 Его морская даль, прибрежный плеск волны  
 Или река Одэ, чье имя с песней схоже.

Но дни бегут, и ты покинешь этот край —  
 Кемпер, и Бенодэ, и графство Корнуай.

\* \* \*

Альбом старинный, где немало  
 Портретов женщин молодых;  
 И старое вино в бокалах,  
 И тонкий аромат от них...

Отрадно слушать у камина  
 Напевы музыки старинной  
 И нечто новое порой  
 Извлечь из старины седой;

Иметь побольше старых книг,  
 С друзьями старыми встречаться,  
 Птиц перелетных слышать крик,  
 Осенним лесом любоваться —

Вот радости земные! Нет  
 Лишь той средь них, что всех превыше:  
 Любовью этот мир согрет,  
 Любовью он живет и дышит!

Жить, умереть... О мрак! О свет!

**Из стихотворения-предисловия***К книге стихов Пьера Альбер-Биро*

Предисловие он попросил написать,  
 Прорицание, значит.  
 Не решаюсь, однако, я прорицать,  
 И отсюда вот эти стихи,  
 Потому что люблю я поэтов,  
 Люблю прорицателей тоже,  
 Но поскольку реальность всего мне дороже,  
 Я мало забочусь о том,  
 Что в будущем скрыто..  
 А поэт Пьер Альбер-Биро  
 Вместе с вами,  
 Вместе со мной  
 Не в будущем, а в настоящем.

\* \* \*

Поскольку увядшей гирляндой цветов  
 Дни покидают нас,  
 Давайте поищем без лишних слов  
 Венец, чей свет не угас.

Венец этот будет как ореол  
 Преображенных дней,  
 Он символом будет, который обрел  
 Сверканье былых страстей,

Страстей, обжигавших сильнее огня  
 наших сердец гранит..  
 Так женщин кортеж проходит, храня  
 Победоносный вид.

\* \* \*

И, не жалея ни о чем, я в лес проник,  
 Где на мои слова деревья походили..  
 Не будет больше звезд, и вот в какой-то миг  
 Тоска о блеске их, о призрачной их силе  
 Войдет в твою судьбу. И влажный аромат  
 Тысячелетнего гниенья трав и листьев  
 Тебя наполнит вдруг, как неподвижный чад,  
 Который был тебе при жизни ненавистен.

*Перевел М. КУДИНОВ.*

# О ЧЕ Р К И    Ж А Ш И Х    Д Н Е Й

ГРИГОРИЙ РЕЗНИЧЕНКО



## ТРУДНЫЙ ВЫБОР

О том, что его вызывает к себе секретарь горкома партии, Тимаков узнал накануне. Вернувшись вечером из поездки в сельский район, Куркинский, над которым шефствует объединение, он нашел на своем столе листок бумаги со знакомым, размашистым почерком. «В. И.! Завтра в одиннадцать Вас ждет т. Пастухов», — сообщила Тамара Васильевна, секретарь приемной парткома. Виктор Иванович раскрыл свой еженедельник, вложил в него записку, пометив в уголке: «Уточнить — зачем», — и принялся за дневную почту, деловые бумаги.

Начавшийся день ничего особенного не сулил. Настроение у Тимакова было будничное, рабочее. В два часа дня предстояло подписание протокола с представителями итальянской фирмы «Даниели энд К°», которая закупила по лицензии проект и начала строить в Италии машины непрерывного горизонтального разлива стали; с самого утра, в девять, — партийная оперативка, в одиннадцать — к Пастухову, а от Пастухова на конференцию НТО, оттуда в объединение, на заседание комиссии «Рабочая честь»...

По утрам, и это многие знают, Тимаков редко пользуется машиной. На завод он идет пешком. В наш век три километра не расстояние, а полчаса невеликая потеря, считает Виктор Иванович, зато физической бодрости хватает на весь день. Зимой в парткоме он появляется с румянцем на щеках, летом — с бусинками пота на лбу. На работу приходит на час раньше. Наметит, что предстоит сделать за день, разберет, если вечером не удастся, бумаги. И еще одно удобство есть в его раннем приходе: к восьми, это тоже уже стало традицией, в объединении появляется генеральный директор Анатолий Иванович Манохин. С ним Тимаков может встретиться в любое время, но он старается решать проблемы текущей жизни коллектива с генеральным до девяти. Тимаков ведь как никто другой знает, как загружен Анатолий Иванович: он ведет большую научную работу, консультирует ряд серьезных проектов в черной металлургии (непрерывка — и его детище), член парткома объединения и член Тульского обкома КПСС, депутат областного Совета, председатель Комиссии ЦК профсоюза по повышению качества металлопродукции и председатель научно-технического Совета НТО черной металлургии. В общем, все его общественные и партийные нагрузки в одну графу не впишешь, потребуется целая страница. В последние три года он, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент, возглавил и Институт металлургии АН СССР. Поэтому-то Виктор Иванович не только сам старается не злоупотреблять рабочим временем Манохина, но и других к этому призывает. И уж так теперь повелось в объединении: по пустякам, как было раньше, специалисты к генеральному не идут, но информацией о решаемых вопросах, будь то производственные, общественные или личные, его обеспечивают ежедневно. Он до мелочей знает все, что происходит в объединении, и контролирует его работу по отклонениям. Доверие и самостоятельность в коллектив пришли вместе с новым директором. И требовательность с ответственностью тоже с ним.

Каждый день Тимаков пересекает железнодорожный переезд, чаще закрытый. С двух сторон вереница машин. И каждый день он думает об убытках, которые несут простой транспорта. Но денег на эстакаду пока ни горсовет, ни министерство и никто другой не выделяют. Проходит по мосту через Упу. Неширокая, но полноводная Ока, несмотря на близость к металлургическому комбинату, признана самой чистой в окру-

ге. Дальше по левую сторону идут строительные заводы, перерабатывающие отходы металлургии, по правую — автотранспортные предприятия, склады, базы. Длинная тополиная аллея выводит Тимакова к первой, нижней, проходной.

Виктор Иванович за семь лет партийной работы не раз убеждался, что и секретари горкома партии приходят на работу раньше обычного. Поэтому, распахнув двери и раскрыв настежь окна, чтобы воздух посвежее был, Тимаков набрал прямой номер секретаря. Ответа долго ждать не пришлось.

— Доброе утро, Виктор Александрович, это Тимаков. По каким вопросам надо быть готовым в одиннадцать?

Виктору Ивановичу показалось, что секретарь горкома замешкался, будто вопрос для него оказался неожиданным. Наступила небольшая пауза. С той стороны телефонного провода молчали. Тимаков в душе ругнул себя за этот звонок: тактично ли звонить и спрашивать секретаря горкома партии, по какому вопросу он вызывает подчиненного, секретаря первичной организации? Но Пастухов ответил:

— По текущим, Виктор Иванович. Ничего специально готовить не надо.

«Как-то не поверилось,— рассказывал позже Тимаков,— не припоминал я что-то, чтобы Пастухов просто так приглашал к себе людей. У него всегда и ко всем подчиненным есть конкретное дело, а тут...»

Но размышлять тогда долго не пришлось, потому что наступал час еженедельной партийной оперативки, и Виктор Иванович переключил внимание на те вопросы, которые предстояло обсудить.

Партийный комитет расположился на первом этаже трехэтажного светлого здания с высоким черным цоколем. Рядом с ним зал заседаний. В зале собралось человек 50. Секретари цеховых партийных организаций, некоторые партгруппорги, руководители общественных организаций, работники парткома, представители дирекции. Люди переговариваются, делятся впечатлениями, перебрасываются шутками, шуршат бумагами. Тимаков появился в девять. В сером костюме, гладко выбрит, рубашка в полоску, аккуратно повязан галстук, на щеках румянец. Остановился в проходе, пожал кому-то руку, поднялся на небольшое возвышение к столу, здесь оба его заместителя (Алгонов — по вопросам идеологии и Кузнецов — по организационным делам), поздоровался со всеми, повел глазами, все ли собрались, раскрыл коричневую папку, достал еженедельник, начал спокойным, будничным голосом:

— Положение с планом. Вчерашний день: чугуна — 6250 тонн, в рамках плана прокат, сталь, агломерат, порошки. Выше плана — феррованадий. Недельный ритм нормальный. Но прошу доменщиков обратить внимание на ремонт второй печи. Там наметилось отставание от графика.

— Вчера разобрались, причину нашли,— пробасил с места голос.

— Хорошо,— одобрительно сказал Тимаков и, повернувшись к своему заместителю Евгению Ивановичу Кузнецову, спросил: — Кадин здесь? Он готов докладывать по народной дружине?

— Готов,— откликнулся с места Иван Алексеевич, слесарь восьмого цеха, начальник заводской добровольной народной дружины, и направился к трибуне.

У металлургов в Криволучье все свое: кинотеатры, магазины, Дворец культуры, профилакторий, детские сады, ясли, школы, стадион, спортивные площадки. Живут в поселке люди огненной профессии. По одним лишь названиям улиц об этом можно догадаться: от Металлургов до Академика Бардина. Улица Металлургов, пожалуй, самая длинная в старинной Туле — почти на четыре километра протянулась.

— За прошедшую неделю по графику в поселке дежурили электроцех, восьмой, агломерации, феррованадиевый, ЦЗЛ, газовый и ТЭЦ,— сообщил Кадин собравшимся.— Меньше стало выходить людей от ТЭЦ и цеха феррованадия.

— Чем это объяснить? — спросил Тимаков.

Ему ответил Вандышев, секретарь партбюро цеха феррованадия:

— Проглядел, наверно. Разберусь.

— Надо разбираться вовремя,— заметил Виктор Иванович и, обращаясь к секретарю партбюро ТЭЦ Фролову, сказал: — Юрий Павлович, вы тоже это учтите. Что, в ТЭЦ людей нет? Ваша партийная организация одна из самых больших. Следующую оперативку начнем с вас обоих.

— Обстановка в поселке спокойная. Хулиганства почти нет,— закончил Кадин,— но пьяные на улицах появляются, бывает, и дебоширят, устраивают драки.

Председательствующий встал.

— Вопросы? — спросил он, глядя в зал.

— Нет, — ответил за всех кто-то.

— У меня есть, к Митрохиной. — Тимаков повернулся к Светлане Борисовне, секретарю партбюро центральной заводской лаборатории. — На прошлой оперативке Кадин упоминал фамилию коммуниста Полуэктова, задержанного дружинниками в нетрезвом состоянии почти три месяца назад. Почему так долго не реагировала партийная организация на сигнал штаба ДНД и что сделано сейчас?

Светлана Борисовна поднялась с места.

— Полуэктов работает у нас наладчиком. Он неделю как вернулся из совхоза «Самарский». На днях обсудили на партбюро, ему объявлен выговор.

...50—60 человек с красными повязками каждый вечер занимают посты у многих общественных зданий. Порядок в поселке металлургов почти полностью отдан в руки общественности. Партком работой народной дружины доволен.

— Следующий вопрос, — продолжил Тимаков, — завершение сельхозработ в подшефном районе. Посланцы объединения убрали свеклу на площади почти семьсот гектаров, работали на тракторах, комбайнах. Есть теперь среди наших металлургов немало механизаторов. Но в будущем году их потребуется еще больше. Вчера я был в Куркине и договорился, что семь свеклоуборочных комбайнов мы заберем к себе в цехи, отремонтируем, а следующей осенью, когда начнется уборка, выведем в поле. К будущему году мы должны подготовить шестьдесят комбайнеров и семьдесят трактористов. Разнарядку вам всем вчера разослали. Берите, товарищи, под свой контроль ремонт техники и подготовку механизаторских кадров.

Тимаков сообщил собравшимся и еще об одном решении, которое поддержали в Куркинском райкоме партии. Почти во всех колхозах и совхозах, где работают летом, весной и осенью люди из объединения Тулачермет, силами его же строителей построены хорошие двухэтажные общежития. Объем работы на селе в последующие годы увеличится, поэтому решено строить еще три общежития, но теперь в отделениях, бригадах совхозов и колхозов, ближе к полям.

Кто-то задал вопрос с места:

— Сколько человек осталось в районе на ремонте техники?

— Тридцать восемь.

Затем слово попросил пенсионер, коммунист Воронов Николай Павлович. Как общественник он по линии парткома координирует все, что связано с шефской работой на селе. Получив разрешение, Воронов энергично пошел к трибуне.

— Виктор Иванович, — начал он, — я один, понимаете, — хоть расстелись, а в «Самарском» общежитие без полов. Доски некому отобрать, и машины нужны. Стройка задерживается...

— Знаю, — остановил его Тимаков. — Вчера вечером договорились с Котенёвым послать туда три грузовика.

— Спасибо.

Николая Павловича на трибуне сменил Кусайло, секретарь комитета комсомола. Предстоял комсомольский субботник в фонд мира и солидарности, и вожак молодежи сообщил:

— Комсомольцы будут работать на реконструкции цеха номер восемь, на разгрузке металлолома, на уборке территории в поселке и строительстве там же хоккейных коробок и спортивных площадок.

— Неплохо было бы секретарям партийных организаций проконтролировать и эту работу, — подчеркнул Тимаков. — Слово Родиошкиной, — объявил он.

Любовь Александровна заведует сектором учета в парткоме и внимательно следит за состоянием и движением дел в партийной организации объединения. Заканчивается сверка партийных документов, и Родиошкина напоминает:

— Сверку четырнадцатого ноября проводит лаборатория КИП, запишите, пожалуйста, Владимир Иванович, пятнадцатого ноября — Иван Михайлович, аглоцех, и шестнадцатого — железнодорожный. Далее, в декабре истекает срок кандидатского стажа у Воронина — газовый цех, Карпова — цех восемь, Бакулина — доменный цех...

Это была не первая партийная оперативка, на которой мне довелось присутствовать. Вопросы на них обсуждаются, как правило, самые неожиданные, нередко и воз-

никшие спонтанно. Но не только отсюда вынес я некоторые свои суждения. И все же два-три таких оперативных совещания, на мой взгляд, могут дать постороннему человеку достаточно полное представление об организации, ее людях, заботах, проблемах. К тому же в партийном комитете считают, что всеобъемлющая, откровенная информированность поднимает роль в производственной и общественной жизни каждого человека — рабочего, специалиста, ученого — и делает его хозяином положения, соучастником, болельщиком, в конце концов, того процесса, который происходит в объединении. И в этом партийные работники вряд ли ошибаются.

Давно существуют в объединении определенные дни и часы, когда любой желающий может прийти к ответственному работнику с наболевшими вопросами. Было время, когда в такие дни собирались большие очереди у дверей в приемных: у одного дела квартирные, у другого рационализаторские, третий хочет поменять место работы, четвертому не удается совместить работы и вечерней учебы. Но вот заведены в объединении партийные оперативки — и почти наполовину уменьшился прием у начальства: сработала информированность.

В партийной работе, если она ведется творчески, идет непрерывный поиск новых форм, не угасает стремление к открытиям. И будь то заседания партийного комитета, оперативные совещания, дни приема рабочих и служащих, лекции, беседы, субботники, соревнование — все направлено парткомом, его работниками, самим Тимаковым на то, чтобы люди были морально и профессионально подготовлены к выполнению своих прямых и общественных заданий, чтобы они не хуже, чем, скажем, генеральный директор или секретарь парткома, знали, а главное — думали бы, беспокоились о тех многочисленных проблемах, которые есть и постоянно возникают в жизни многотысячного коллектива. Информированность дает человеку перспективу — к такому выводу люди пришли давно. И все же это не последнее, замыкающее звено в многогранной деятельности парткома. Важнейшая область партийной работы — контроль исполнения задания от производственной программы до общественного поручения, и это касается всех — от рядового рабочего до дирекции объединения...

Были на оперативке и другие, короткие, сообщения: о сдаче девятиэтажного жилого дома к Новому году, о повестке предстоящего заседания парткома (готовился отчет о работе строителей объединения), о строительстве собственными силами свинофермы на тысячу голов, бройлерной фабрики и большого овощепарникового хозяйства. Но сколько и каких бы вопросов ни выносилось на оперативку, Тимаков научился проводить ее ровно за час. И на сей раз как по звонку в десять распахнулись двери зала заседаний, и люди, обсуждая на ходу поднятые на совещании вопросы, высыпали в просторный длинный коридор.

Тимаков не задерживаясь направился в свой кабинет, находящийся рядом. Он решил все же заглянуть в кое-какие бумаги, припомнить дела года, обещания горкому, обязательства коллектива, чтобы быть во всеоружии у Пастухова. Закончив приготовления, позвонил Антонову:

— Юрий Сергеевич, ты пойдешь к одиннадцати на заводскую конференцию НТО, а я после горкома приеду туда.

Стрелки показывали четверть одиннадцатого, когда раздался звонок. Говорил секретарь партбюро сталелитейного цеха. Там с вечера еще заперли плавку в мартене, и Шаталов решил провести срочное заседание партийного бюро. Тимаков поблагодарил за приглашение и попросил Шаталова, чтобы тот к утру подготовил подробную информацию — ЧП на заводе нет-нет да и случались.

— Вместо меня, — сказал Тимаков, — к вам в цех придет Кузнецов.

Опаздывать Виктор Иванович не любил, поэтому минут за пять до назначенного времени вошел в приемную Пастухова.

Разговор с секретарем горкома партии, вспомнит впоследствии Тимаков, проходил деловито. Виктор Александрович не формы ради подробно и долго расспрашивал его о положении с планом (к концу ведь шел четвертый год пятилетки), со строительством цеха легированных порошков (в научно-производственном объединении Тулачермет десятая пятилетка ознаменовалась расширением работ в порошковой металлургии), с внедрением машины горизонтальной непрерывной разливки стали.

Тимаков уверенно и не спеша рассказывал секретарю горкома о жизни объединения, о наиболее важных, острых заседаниях парткома, о недавно прошедшем партийном активе, называл цехи, отделы, фамилии людей. Дела шли пока неплохо, значитель-

но лучше, чем до создания НПО Тулачермет, отмечавшего в тот год свое пятилетие. Виктор Иванович не заглушевывал слабые места, не умалял и достижения почти десятилетнего коллектива металлургов.

В Туле да и за ее пределами, в партийных органах тем более, знали, что в объединении впервые в мире создана и прошла промышленные испытания машина горизонтальной непрерывной разливки стали. Пастухов, хоть и не металлург, хорошо представлял значение нового метода разливки стали, знал, что с внедрением этой машины в народное хозяйство возвратятся (почти без лишних затрат!) каждые 12 тонн металла из 100 вылавляемых.

— Если бы хоть треть плавки перевести на эти да еще существующие вертикальные машины, — размышлял он вслух, — и получила бы страна более шести миллионов тонн металла дополнительно просто так, за здорово живешь.

— Уж об этом-то кто не знает, — вставил Виктор Иванович, — а результат почти нулевой.

— А в чем все-таки дело?

— Слабо пропагандируем новое, а может, совсем не так ведем дело пропаганды, как требует жизнь, — заметил Тимаков. — Сейчас, наверное, недостаточно только в газетах писать да по радио говорить, выжидая, что вдруг отыщется благодетель...

— Вы имеете в виду Госплан? — перебил Пастухов.

— Без Госплана не обойтись, конечно, без него, что без попа, молебен не состоит, но во главе всего должно идти министерство, — уточнил Виктор Иванович и продолжил начатую ранее мысль: — Не знаю, прав ли я, и все же объединение Тулачермет либо министерство должны иметь специализированную организацию, своеобразный трест по внедрению, который построил бы по стране, к примеру, десять — двадцать тех же горизонталок по разливке стали. Наши-то люди лучше знают, как это делается. Или возьмите тот же конвертор или хотя бы установки новой технологии по наплавке деталей порошками из твердых сплавов. Все это требует скорейшего внедрения. Или порошковая металлургия. Вы знаете, Виктор Александрович, что стоит за ней: иное качество и совсем другое количество металла. Но препятствий на пути нового еще много.

Виктор Александрович внимательно слушал.

— Пока идем, изобретаем, вроде бы хорошо все идет, у всех полно энергии, смелки, энтузиазма. Но вот изобрели, нашли то, что искали, «ура» кричим... И тут все начинается: того не знали, этого не предусмотрели, еще что-то там забыли и на поверку к тому же оказалось, что дальнейшая жизнь вновь созданной машины или еще чего-то там планом не закреплены.

Пастухов, как обычно, пытается докопаться до истины, засыпает вопросами секретаря парткома, дает советы, сам внимательно прислушивается к тому, о чем говорит Виктор Иванович. Вместе они размышляют о давно наболевшем вопросе, о внедрении достижений науки, прогресса, о делах порошковой металлургии в объединении, о том, что мешает скорейшему продвижению в народное хозяйство открытий. Но Тимаков все же чувствует — главная тема разговора, то, ради чего он здесь, еще впереди.

Интуиция не подвела его. Пастухов, разобрав детально строительство цеха порошковой металлургии и узнав о том, что финансирование его на последний год пятилетки значительно увеличено, сказал:

— Вот мы и разобрали почти все дела вашей организации, Виктор Иванович. Боевая она у вас, и настрой в коллективе, как видно, хороший.

Тимаков не знал, что делать в такой ситуации: благодарить за внимание к объединению, давать какие-то обещания вроде того, что и дальше будем стараться, или просто молчать? Но Пастухов не заставил себя ждать:

— У горкома есть мнение, Виктор Иванович, чтобы ты возглавил организационный отдел, а на предстоящем пленуме предложим ввести тебя в состав бюро.

Такого поворота беседы Виктор Иванович никак не ожидал и поэтому ничего, кроме как «спасибо за доверие», сказать секретарю горкома не смог. Предложение было неожиданным и вызвало у него сначала радость из-за чести, оказанной ему, парткому и организации, которую он возглавляет, а потом смятение... С одной стороны, его обрадовало, что городской комитет партии обратил на него внимание, оценил его как профессионального партийного работника, с другой — смущало. Сию минуту, так вот сразу, без подготовки уйти с завода, оставить объединение он, как казалось, не мог: слишком много живых крепких нитей связывало Тимакова с людьми объединения, с рабо-

чими, учеными, инженерами, двадцать лет на одном заводе, на одном месте — срок нешуточный. Он глубоко врос в этот большой, спаянный, рабочий до мозга костей коллектив. Вряд ли можно оставить то, чему отдано двадцать лет. Выручил Пастухов, увидев в глазах собеседника непонятную для себя растерянность:

— Я не требую сиюминутного ответа, Виктор Иванович, подумайте. Но имейте в виду, ваша кандидатура нас устраивает, вы эрудированный инженер, опытный партийный работник. Два дня достаточно?

— Достаточно, Виктор Александрович. Я подумаю. Вам позвонить или зайти? — уточнил Тимаков.

— Как вам удобно, но я жду одного — вашего согласия. В семье посоветуйтесь, а Манохину я сам позвоню, очень широко распространяться не следует, — напутствовал Пастухов.

На дворе стоял слякотный, хмурый октябрь. Осень еще не ушла, а зима не наступила. Тимаков вышел из горкома и направился к стоянке. Алексей, водитель парткомовской машины, нашел его съезжившимся, каким-то поникшим и задумчивым. Что происходило в его душе, он знать не мог.

— Во Дворец, — бросил коротко Виктор Иванович водителю. — На конференцию.

Предложение Пастухова оказалось для Тимакова не только неожиданным, но и каким-то несвоевременным, что ли, нарушающим множество планов, которые собирался он осуществить в ближайшие два-три года. Одно радовало, другое огорчало, и Тимаков, как только захопнулась дверь серо-голубой «Волги» и взвыл мотор, погрузился в размышления. До этого он никогда ранее даже не предполагал, рассказывал Виктор Иванович позже, что может возникнуть ситуация, при которой надо будет покинуть завод. Как-никак он старожил, а завод для него что дом второй. Многие в жизни Тимакова связано с заводом, хотя в юности он не знал даже о его существовании.

...Давным-давно все было. Очень хотелось Виктору поступить в институт. Десятилетку окончил хорошо, без единой тройки. Мать не могла нарадоваться его успехам и только одна знала, чего стоили сыну оценки, как недосыпал он ночей. Пятерок в аттестате было больше, чем четверок. Но конкурс, как оказалось, дело серьезное. Не судьба, видно: Виктор возвращался домой, в Шишкино на Оке, с пустыми руками. Горько переживал свою первую в жизни осечку. Для поступления в институт недобрал четыре балла, срезался на химии и русском.

В 50-е годы деревня крепко и надолго заболела городом. Мода на инженеров, на людей, разбирающихся в технике, распространялась быстро. Да и жизнь в городе устроиться считалось легче, нежели в деревне. Мать долго переживала неудачу сына. А он все успокаивал ее.

— Если бы химия стояла не первым экзаменом да не угарный этот газ, о котором, как назло, все забылось, — говорил Виктор, — уезжал бы от тебя, мама, студентом. А теперь никем, но поеду в город, решил твердо.

— Если бы да кабы да во рту росли грибы, — пошутила Анастасия Семеновна, еще не догадываясь о том, что стоит за его твердым решением. Она ведь спала и видела своего Витю инженером, а он ее разочаровал, подвел, можно сказать.

Поближе к осени мать собрала Виктора в город на постоянное место жительства. Никто из родственников и соседей не знал, на что она надеялась, но ей самой в такой ситуации было легче, такой поворот дела казался и подходящим и удобным: многие же из села уехали поступать в вузы и поступили, а на Витю теперь пальцем будут показывать. К тому же и сын, увидев краем глаза иную, чем на Оке, в захолустье, жизнь, захотел стать городским. И еще мать считала, что в городе сын скорее приобретется к нужному делу, получит хорошую специальность.

— Там дядя родной, Глушенков, — напутствовала она, — жить будет где, а работа найдется. Видел небось, сколько домов еще с войны не отстроено.

Сельские люди в те годы обычно не ездили пустыми в город. Два огромных сидора привез дядя и Виктор. Разговор состоялся в тот же вечер короткий и ясный. С Андреем Семеновичем особенно не разговоришься, не поспоришь. Он служил в милиции и жизнь знал хорошо.

— В высшем почете у нас оружейники и металлурги, — говорил он. — Да еще шахтеры, но под землю я бы тебе не советовал лезть, опасно, может придушить.

А Виктора как раз больше прельщали шахтеры: казенная форма, знаки за выслу-



гу лет, ордена, красиво так, когда они наряжаются в праздник какой-нибудь. Но дяде об этом говорить не стал. Мать ведь тоже наказывала: «В первую очередь слушайся Андрея Семеновича, не перечь ему, он курсы милицейские кончал, все знает, во всем разбирается».

Утром следующего дня Глушенков взял Виктора за руку и отвел на Ново-Тульский металлургический завод. У него там был знакомый начальник отдела кадров Гогин...

Все это — и родная деревня, и дядя, и неудачная попытка поступить в Механический институт, и завод — всплыло в памяти неожиданно, когда Тимаков, закрыв за собой дверь в кабинет первого секретаря горкома партии, оказался на улице, а потом в машине. Ровно двадцать пять лет прошло, как он переступил порог завода. «И надо же, чтобы так совпало,— рассказывал Виктор Иванович,— почти день в день. Сам-то я, может быть, если б не вызов в горком, и не вспомнил бы свой первый заводской день, отдел кадров и Гогина». Поступить на завод было нелегко: с утра и до вечера у дверей отдела кадров толпилась очередь.

Тогда, в пятьдесят четвертом, когда дядя привел его сюда, он стал к Новому году машинистом компрессора. Ровно год проработав, Виктор все же поступил в институт, в Горный, как мечтал, на факультет шахтного электрооборудования. Ради этого еще год ходил он в десятый класс школы рабочей молодежи. Потом... Судьбой, видно, предназначено было ему, считает Тимаков, вернуться на завод. В шахту молодого специалиста, когда прибыла по распределению в Воркуту. Из-за повышенного давления не пустили, а на поверхности, в КБ, не так уж и много пользы было от него. Долго уговаривал Виктор начальство, чтобы отпустили, коль по прямому назначению не используют.

В Туле немного порасспрашивал, походил по разным конторам, а потом вдруг сел в трамвай и покатил на Ново-Тульский металлургический. Работал электриком, заместителем начальника электроцеха, начальником цеха и главным энергетиком. Секретарем парткома завода избрали в семьдесят третьем. А в семьдесят четвертом, в начале, было создано научно-производственное объединение Тулачермет, первое и пока единственное в отрасли.

Нелегкими оказались почти два года реорганизации и становления коллектива. Тимаков хорошо (еще как!) помнит те дни. Генеральным директором стал Анатолий Иванович Манохин. Его прислали на завод из Москвы. Энергичный, смелый, не знающий рутинны, ксности, молодой, ему шел тогда тридцать седьмой год, он приехал сюда с дипломом доктора технических наук. Перед этим Манохин много лет посвятил комсомольской работе, прошел большую школу в науке. немало сил отдал металлургической практике. Анатолий Иванович одинаково толково разбирался и в людях, и в науке, и в производстве и готов был горы vorочать... Но нашлись инженеры, ученые, которым показался он факиром на час, люди, не поверившие в его силы. Злые языки нашепывали: как пришел этот Манохин, так и уйдет той же дорожкой, и не таких видели. До полного единодушия среди актива вновь созданного объединения было еще далеко. Все же маховик уже начинал раскручиваться, набирал обороты.

Как секретарь парткома Виктор Иванович активно проводил в жизнь решение по созданию объединения. В заводском коллективе шла незримая борьба нового со старым, переосмысление отношения к науке со стороны многих рабочих и ИТР, так сказать, притирание производства к науке и наоборот. Раньше, до создания научно-производственного объединения, когда филиал Московского научного института жил сам по себе, а заводчане работали как им удобно, ученым дорогого стоило допроситься, чтобы металлурги сварили экспериментальную плавку или испытали какое-то новое изобретение. Теперь, по новому положению, и ученые, и специалисты, и рабочие одинаково отвечали как за производство, так и за науку. Многие цехи превратились в лаборатории, при этом обязательно с выпуском металлопродукции. Кстати, в объединении было сразу же введено материальное поощрение, для рабочих в том числе, за разработку и внедрение достижений науки. Но это и многое другое, что несла с собой новая форма связи производства с наукой, не сразу прививалось людям, и парткому приходилось много сил отдавать, укрепляя отношения на совершенно других, чем были раньше, основах между рабочими и учеными, создавая климат доверия в многотысячном коллективе металлургов.

Нелегко зарождались эти новые отношения. Ученые должны были научиться мас-

терству рабочих, а рабочие во всем должны были постичь азы науки. Кое-кто из специалистов и ученых не сразу увидел и экономическую выгоду, которую сулила коллективу завода наука. Споры иногда вспыхивали, как коробок спичек, брошенный в костер. Возникая на ученом совете или в дирекции, словесные баталии нередко переносились на заседания парткома. И так мало-помалу, шаг за шагом, объясняя политику партии в области научного прогресса, партком, первичные партийные организации привели коллектив к пониманию: производство способно во многом очень сильно помочь науке двинуться вперед.

В тот организационный период создавались новые либо расширялись старые цехи, отделы, призванные еще по замыслу академика Бардина ускорить прогресс науки в черной металлургии, объединение планировало и новое строительство и множество научных экспериментов, своим чередом шел производственный цикл: плавился металл, подходили сроки капитального ремонта доменных печей, намечалась кое-какая реконструкция; и еще Манохин пробивал решение о строительстве на заводе цеха феррованадия, благо под него можно было использовать корпуса гидропередела. Предложение его вскоре поддержали. Госплан выделил деньги, оборудование.

«А я где был? Что я делал в те дни, когда решалась судьба нового цеха?» Глядя на низкие лохматые тучи из окна автомобиля, Тимаков силился через толщу дней разглядеть то, что происходило на заре научно-производственного объединения.

Внешне все выглядело благополучно. Но настоящие, деловые отношения у Тимакова с генеральным директором, к сожалению, сложились не сразу. Не во все, над чем ломал голову Манохин, что предлагал, с чем пришел в объединение, верилось Тимакову. Не сумел он, видно, сразу, оперативно разобраться в обстановке. По молодости? Или тогда по малоопытности?

Манохин и Тимаков по возрасту ровня. Много разного и много общего у них в жизни. Оба попали под обстрел голодных послевоенных лет и оба испытали безрадостное босоное детство. Оба начинали не с того, к чему влекло. Манохин — с вальцовщика на Ждановском металлургическом заводе, Тимаков — с машиниста компрессора, тоже на металлургическом, но в Туле, на родине отечественной металлургии. Они были рабочими, студентами, стали командирами производства, а потом Манохина увлекла наука, а Тимакова спустя несколько лет избрали на партийную работу. Когда они впервые встретились на заводе, у каждого за плечами была своя, сугубо индивидуальная школа жизни. У Виктора Ивановича — знание местных условий, людей, тонкостей производственных отношений и самого производства; у Манохина — опыт крупномасштабной работы, в основе которой серьезная наука, большая практика и, конечно, широкий круг людей, среди которых ученые, специалисты, рабочие, партийные, государственные и советские работники, готовые поддержать зарождение нового объединения Тулачермет. Перед тем как дать согласие на Тулу, Анатолий Иванович возглавлял лабораторию в Центральном научно-исследовательском институте черной металлургии, удостоился за новопопечку непрерывку Государственной премии. Вот бы и объединиться сразу Тимакову и Манохину — опытом, мыслями, делами. Кстати, действия Манохина располагали к такому деловому объединению двух людей, наделенных в коллективе немалой властью — один административной, другой партийной. Сейчас, то, и уж давно, все в порядке, такое объединение произошло, наступили деловая согласованность, синхронность в работе, хорошее, толковое взаимопонимание. А тогда? В первые месяцы совместной работы?

Тимакову предстояло разобраться в ситуации, и особенно в проблеме строительства цеха феррованадия, как можно поскорее, а он в силу, конечно, ряда и не от него зависящих обстоятельств не спешил, да и советы иногда, как теперь известно не только ему одному, принимал от враждующей с Манохиным стороны. Сейчас фамилию того человека он попросту не хочет даже вспоминать — карьеристом оказался...

Отчетно-выборная конференция прошла буквально накануне создания объединения. Человек тот, кандидат технических наук, назовем его для удобства Козловым, работая в тульском филиале ЦНИИЧермета не рядовым сотрудником, был избран в состав парткома. Манохин не был членом парткома и не мог участвовать во многих его заседаниях. Козлов же как на парткоме, так и в личных контактах с Тимаковым нередко навязывал свое мнение. Виктору Ивановичу поначалу представлялось, что прав был Козлов, особенно в тот сложный для объединения организационный период, — он обо всем толкует веско, доказательно. Не однажды на парткоме утверждал, что надо

готовить людей к расширению научных экспериментов, готовить более солидную базу новых исследований, а не терять силы на строительство цеха феррованадия. Казалось правомерным то, на чем настаивал Козлов,— с цехом можно и подождать. Но, не зная главного, люди ошибались. Ведь речь шла о строительстве не обычного, рядового цеха, а прежде всего об испытании совершенно нового метода извлечения феррованадия из шлаков качканарских руд. Другое дело, что предложила это группа ученых во главе с Манохиным, а Козлов, идя против вновь назначенного директора и преследуя свои карьеристские цели, ни с чем не считался, тормозил технический прогресс. Кое-кто, не вдаваясь в суть дела, поверил ему, что пуск цеха загубит все живое вокруг завода. И все же Тимаков в конце концов раскусил Козлова.

Кому сейчас не известна в стране продукция цеха феррованадия! Заявки на нее идут в Тулу со всех концов. Незначительные добавки ванадия вместе с азотом превращают сталь в хладостойкую, увеличивая ее прочность и вязкость. И этом ванадий экономит каждые три тонны из десяти. Раньше тавровые балки на стройках Заполярья, бывало, ломались, как спички. Теперь иное дело, когда стало в стране больше феррованадия. И слава пришла в Тулу с пуском цеха, и прибыль солидная появилась. А тогда?! Не все, кто имел отношение к будущему цеху феррованадия, верили в то, что он нужен заводу. Одни были за, другие против, третьи колебались. Козлов отговаривал Тимакова от того, чтобы партком поддержал и развил идею строительства цеха. Манохин, поскольку от него многое исходило, настаивал на скорейшем решении всех проблем, связанных с получением в Туле феррованадия. Партийная поддержка пошла бы только на пользу делу. А Тимаков не спешил и, как казалось, ничего не предпринимал. Но так действительно лишь казалось. Внешняя медлительность до поры до времени скрывала его методы работы с людьми, которые шлифовались им, как самые точные из точных деталей, а свои суждения, идеи, решения он в силу партийной своей молодости и еще, наверное, скромности не мог, да и не хотел выдавать за окончательные.

Шло время. Найдя свою неопровержимую точку зрения, убедившись в полной правоте, он сказал Козлову: «Ты не прав, Альберт Петрович, цех ванадия нам нужен, очень нужен». Накануне (а слова эти были произнесены на расширенном заседании парткома) Виктор Иванович долго говорил с Шишхановым, тогда главным специалистом по ванадию, а ныне заместителем генерального директора, Жбановым, он увлекся наукой о редких металлах, Рабиновичем, начальником ЦЗЛ, побывал, да не один раз, на участке гидропередела, в сталелитейном цехе, у доменщиков, советовался с учеными, специалистами, говорил с рабочими, встречался и с Манохиным, и только по одному вопросу: строительство цеха феррованадия. Как ни странно, но он впервые в те напряженные дни (раньше, наверное, некогда было), и подробнейшим образом, разузнал, что новый метод извлечения ванадия, новая технология его получения совершенно исключали какое-либо влияние этого процесса на окружающую среду. Козлов, услышав непривычную для себя из уст Тимакова фразу, а точнее приговор своему авторитету, не поверил своим ушам. «Вы шутите, Виктор Иванович!» — воскликнул он. «Не до шуток нынче,— резко сказал секретарь парткома.— Плохи шутки, если в коллективе трещина зазяла, раскол наметился. Не по-партийному мы подошли, товарищи, к очень важному делу. Винават и я в этом, а вас прошу с Козловым быть повнимательней». «Вы еще пожалеете о своих словах»,— пообещал тот в ответ, и это оказалось не последней его угрозой.

Вскоре Тимакову пришлось разбираться с письмом, которое Козлов направил в высокую инстанцию. В своем пространном писании Козлов, правда, Виктора Ивановича не тронул, видимо еще на что-то надеясь, и все свел к карьеризму, некомпетентности Манохина, резко выступив также и против строительства цеха феррованадия. Подготовив обстоятельный ответ в инстанцию, Виктор Иванович торжествовал, что вовремя разобрался и вовремя спохватился, что раскусил коварные замыслы Козлова и смог, убедив членов парткома, устранить тормоз на пути нового строительства. Это была легкая победа молодого партийного секретаря! Она потянула за собой цепочку изменений в отношениях между ним и Манохиным.

Отпустив Алексея до пяти вечера, Тимаков направился во Дворец металлургов на конференцию. Хотел было сосредоточиться, вышагивая по аллее, усыпанной мокрыми листьями, на своем предстоящем выступлении, но никак не получалось: совсем другие мысли не давали покоя. Шел и думал: «В то смутное время легче было бы рас-

статься с заводом. А сейчас...» Тимаков взглянул на часы, прибавил шаг. «Козлов давно не работает. Обновился наполовину партком. А Манохин, почувствовав партийную поддержку, поддержку общественности, еще с большей энергией взялся за дело».

500 предприятий, научных и учебных институтов, различных учреждений — партнеры Тулачермета. Их связывают с ним крепкие нити. За эту пятилетку не только научно, теоретически, а на практике объединением решено столько проблем в черной металлургии, сколько не знали их за десять предыдущих лет. Одна непрерывная разливка стали (горизонтальная особенно) что значит! И тут куда не деться — Манохин вместе с группой ученых, специалистов работал не покладая рук. Он добился потом, спустя некоторое время, чтобы zilовцы сначала построили в Туле на их заводе машину горизонтальной разливки стали, а потом и у себя в своей литейке. А цех легированных порошков, задуманный и почти наполовину построенный в уходящей пятилетке? Чья заслуга? Манохина и немножко его, Тимакова. Он больше не повторял ошибок, как с ванадием. Правда, все, что происходит в объединении, все достижения Манохин адресует коллективу, заводским специалистам, ученым института. Им он обязан и своими личными успехами. Работая в объединении, Анатолий Иванович вместе с учеными, разрабатывавшими новый метод получения феррованадия и толкавшими строительство цеха, удостоился Ленинской премии. Его нынешний, и главный, пожалуй, конек — порошковая металлургия. За порошками будущее! Так считают теперь многие. Тимаков слышал об этом, еще будучи студентом. И только сейчас наконец увидел настоящий размах работ. И не где-нибудь, а на своем родном заводе. Такие масштабы развернулись! Дух захватывает, когда представишь, что дадут народному хозяйству легированные порошки. Новому металлу уже и название придумали: композиционный материал, а коротко — композит. Композиты рождены десятой пятилеткой. Сколько споров было, докладных записок в разные инстанции, пока начали строить в объединении цех легированных порошков. Теперь-то любой рабочий может сказать, что, смешав несколько редких порошков с железным да изготовив (методом спекания) из этой массы деталь, можно рассчитывать на такую ее долговечность, которая никому и не снилась.

Оказавшись в президиуме конференции, Виктор Иванович припомнил случай, как чуть было совсем не разругался с Манохиным. Ох и разозлился же он тогда на директора. В те несколько часов, пока не встретился с ним, готов был уйти куда угодно, лишь бы от стыда подальше. Хорошо, что не сделал этого шага, что верх взял здравый смысл, победила рассудительность. Теперь-то он понимает: сгоряча так думал. А тогда?..

Дело было по второй осени, как избрали Тимакова секретарем парткома. В области рано, в октябре, выпал снег. По нему прошумел дождь и ударил не сильный, но устойчивый мороз. Сотни гектаров свеклы оказались под снегом, стянутым ледяной коркой. Мансхина в те дни в Туле не было. Да, вспоминал Тимаков, он отстаивал в Москве пятилетку для НПО, добивался, чтобы непрерывной разливки побольше заложили в планы, чтобы и порошковая металлургия нашла в них достойное отражение и т. д.

Сначала Тимаков получил тревожный сигнал из Куркина, а потом указание из горкома партии: назавтра же отправить тысячу человек на уборку свеклы. Утром следующего дня собравшиеся на площади у Дворца культуры люди поджидали транспорт — автобусы, специально оборудованные крытые грузовики. Перед самой отправкой позвонил из Москвы Манохин.

— Что у нас там сейчас делается? — задал он обычный вопрос главному диспетчеру, через которого, если была в том необходимость, мог поговорить с любым и каждым в объединении.

— В Куркино тысячу человек отправляем.

— Кто отправляет? — уточнил Анатолий Иванович.

— Тимаков, партком.

Виктор Иванович как сейчас помнит. Он разговаривал с райкомом партии, как зазуммерил внутренний аппарат. Диспетчер передал: «Манохин просит к московскому телефону». Оборвать разговор с секретарем райкома было неэтично. Тимаков, сказав: «Сейчас, через минуту», пробовал свернуть разговор, но секретаря в тот день очень интересовали предварительные итоги социалистического соревнования за третий квартал: сдавалось, что Тулачермет займет первое место в городе.

Тимаков поднялся наверх (кабинет генерального директора и диспетчерская распо-

ложены на втором этаже) не через минуту и не через пять. Телефонная трубка уже покоилась на рычажках. Диспетчер упавшим голосом сообщил:

— Манохин велел отменить выезд в колхоз.

— Как? — вырвалось у Тимакова. — Не может быть!

Выполнять распоряжение генерального, не поговорив с ним самим, Виктор Иванович не торопился, рассчитывая, что тот погорячился. Он велел диспетчеру срочно позвонить во Дворец и задержать отправку людей на час, а сам, уйдя к себе в кабинет, начал лихорадочно разыскивать Манохина по Москве. В институте его не оказалось, в министерстве тоже. Нашел Тимаков Анатолия Ивановича в Госплане.

— В Москве сильный гололед, — начал Манохин. — В Туле, наверное, тоже?

— Да, — подтвердил Тимаков, — гололед действительно сильный, очень скользко.

— Виктор Иванович, инструктаж с водителями проведен? Машину сопровождения из ГАИ заказали? Теплой одеждой людей обеспечили? — услышал Тимаков спокойно заданные ему вопросы.

Этого он не успел сделать. Упустил Тимаков и ряд других мер, относящихся к безопасности.

— А если жертвы? — продолжал Манохин. — Если хоть одного человека недосчитается объединение?

— Значит, отменять? — еще на что-то надеясь, уточнил секретарь парткома.

— Непременно, — выдохнул в трубку Манохин. — Я завтра в восемь буду на месте, все решим, да и гололед, может быть, через день-два разобьют.

Людей на свеклу объединение Тулачермет отправило с опозданием на три дня. Зато подготовили их «с иголочки». На проводы отъезжающих добровольцев пришли и генеральный директор и секретарь парткома, представители общественности.

С тех пор и стали налаживаться отношения между Манохиным и Тимаковым. Виктор Иванович все чаще и чаще оказывался в восемь утра в кабинете генерального — проблемы с созданием объединения росли, как грибы по осени.

Организационный период в НПО Тулачермет проходил все же не гладко. Задачи на десятую пятилетку выдвигались просто-таки грандиозные. Рубль, затраченный на науку, должен был после внедрения всех новшеств, запланированных на пять лет вперед, вернуться в государственную казну четырьмя рублями. Сейчас-то Тимаков с уверенностью говорит, что задание к концу пятилетки будет выполнено, а пять лет назад все задуманное представлялось тайной за семью замками. Разгадку ее начали с кадровых вопросов. На одном из первых заседаний парткома в новой пятилетке Манохин предложил основные руководящие должности ввести в номенклатуру партийного комитета. Предложение поддержали единодушно. И теперь администрация кадровые изменения производит только с согласия парткома.

Но то был лишь первый шаг. С созданием научно-производственного объединения появилось много новых служб, подразделений, цехов, лабораторий. Администрации и парткому надо было, не останавливая «поезда» (плавились чугун, и варилась сталь, шли промышленные испытания новшеств в металлургии), подобрать высококвалифицированных специалистов («проводников») и посадить их в определенные «вагоны». Далее — провести переаттестацию других номенклатурных должностей с последующей заменой некоторых работников, так как средний возраст среди ИТР в то время составлял шестьдесят лет. Непростой оказалась эта задача. Но решать глобальные проблемы науки, решать остро и быстро, как считали и в парткоме и в администрации объединения, в сроки, отведенные пятилеткой, можно было лишь с теми, кого рутинная коснулась мало или совсем не задела. Все, кому полагался заслуженный отдых, получили хорошую пенсию. Кое-кого пришлось понизить в должности, не трогая заработка. Все же среди коммунистов, занимавших руководящие должности, нашлись и такие, которые не сразу поняли остроту поставленных задач. Весь год начавшейся пятилетки партком и администрация посвятили кадровым вопросам, не забывая проблем производства и науки. В отчетах семьдесят шестого года в графе «Средний возраст специалистов, занимающих номенклатурные должности» стояла цифра 45. А Манохину, как и Тимакову, пошел тогда тридцать девятый год. Сравнительно молодые коммунисты, которым партия доверила дело чрезвычайной важности, возглавили зарождавшееся на стыке двух пятилеток новое объединение, призванное развивать научно-технический прогресс в такой огромной и такой нужной народному хозяйству области, как черная металлургия. И двигать прогресс этот не ради только количества металла, но главное —

ради его качества, потому что степень качественности любой продукции, металла в том числе, оборачивается показателем количества, к примеру, годами, десятилетиями, в течение которых могут служить человеку газопроводы, мосты, рельсы, машины, вагоны, корабли, самолеты и т. д.

С этого и начал свое выступление — с качества работы и качества продукции — Тимаков, когда председательствующий дал ему слово. Подойдя к трибуне и бросив взгляд на знакомый не только в лицах, но и пофамильно зал, Виктор Иванович подумал: «Кто знает, в последний раз, может, выступаю».

Аудитория внимательно слушала Тимакова. Обсудив проблемы качества продукции, он поделился начальными разработками, наметками «Программы по превращению объединения в образцовый научно-производственный центр», программы, рассчитанной до 1990 года. А потом заговорил о делах партийных, а точнее, как он сам выразился, делах душевных — психологическом и политическом климате в объединении. Партийная работа, считает Тимаков, играет в этом очень важную роль. И если настроение, политическая атмосфера на заводе, в институте заслуживают внимания (как было не так давно, да и сейчас вышестоящие партийные организации все чаще ставят в пример металлургов), то все, что делали партком, первичные партийные организации, надо относить к коллективной удаче.

Тимаков, где бы ни выступал, говорил в основном о людях, о рабочих и работниках объединения. Разбирая обычно вопросы взаимоотношений в коллективе, профессионального и культурного роста, отдыха, социального климата и т. д., он в конце концов через решение проблем, в коих заинтересованы рабочие, ИТР, ученые, двигался к тому, что особенно интересует наше общество: высококвалифицированный труд, повышение его производительности, увеличение количества и улучшение качества продукции.

С конференции он ушел с одной навязчивой мыслью, которая преследовала его потом до самого дома: выдвигают — значит, признали в нем партийного работника. Может, это случилось раньше? Может. Он же почувствовал только сейчас, когда был у Пастухова.

Заседание комиссии «Рабочая честь», на которое Тимаков немного опоздал и где шло обсуждение ее работы за первое полугодие, завершилось в восьмом часу. Итоги разбора радовали, комиссия работала с энергией, а главное с умом. Сплеча никто не рубил, старались поглубже вникнуть в каждый случай нарушения трудовой дисциплины или увольнения. Оказалось, что за полгода почти половина рабочих из подавших заявления уволиться после разбора и бесед в комиссии забрала их обратно. Настроение у Виктора Ивановича к вечеру улучшилось. С тем он и уехал домой, на улицу Металлургов.

За ужином Тимаков как бы между прочим, не придавая значения тому, о чем говорит, спросил у жены:

— Как ты думаешь, Нина: если человека двигают выше — это признание его работы или избавление от неугодного работника?

— Конечно, признание, — ответила жена и, подумав, добавила: — Но бывает и второе: люди становятся все изощренней. А что, у вас забирают кого-то? — поинтересовалась она.

— Забирают, да. Меня забирают, точнее приглашают в горком на орготдел. Ты как на это смотришь?

— Я что? — удивилась Нина Григорьевна. — Тебе работать, ты и смотри, Витя.

В семейном кругу к этому разговору больше не возвращались. Нина Григорьевна давно привыкла к самостоятельности мужа и могла спокойно положиться на его решения.

Предложение Пастухова не выходило из головы у Виктора Ивановича и весь следующий день. На работу он шел обычным путем: переезд, Упа, аллея, нижняя проходная, верхняя — партком. Переезд снова был закрыт, собрав по обе стороны десятки машин, блестела и переливалась вода Упы, шумели тополя, но Тимаков ничего этого не замечал. На размышления оставался день, и голова была занята тем, чем и следовало ей: да или нет?

Вчера на конференции, сидя в президиуме, Тимаков прощупал глазами всех, кто находился в зале, и не нашел ни одного незнакомого человека. Во втором ряду он увидел Саванина, заместителя начальника четвертого, сталелитейного, цеха, их взгляды встретились. Вячеслав кивнул Тимакову, он в ответ поднял руку. Саванин — молодой ученый, конверторщик, его недавно назначили на эту должность. Позади Саванина увидел Ординарцева, известного рационализатора, изобретателя объединения. Владимир Ординарцев — ученый без диплома, у него 25 авторских свидетельств. У самой стены сидел Александр Жбанов. Он, как и Саванин, кандидат технических наук. Ему партком и администрация объединения доверили руководство седьмым цехом, занятым производством железных порошков, и серьезной наукой в области порошков хрома. Жбанов — кадровый специалист. В Тулу приехал из Норильска. Пять лет там проработал и остался бы жить за Полярным кругом, да врачи настояли на отъезде. Тимаков был в курсе многих жизненных перипетий Александра Михайловича, как почти и каждого, кто сидел в этом зале, и мог долго рассказывать о нем. Тимаков любит свой коллектив, он знает людей, знает их судьбы. В середине зала кучно разместились представители цеха феррованадия. Мастер-плавильщик Чежёнков, секретарь партбюро Вандышев, старший электрик Байрамуков. Мастыжова что-то не видно — где он? Глаза Тимакова прочертили ряды раз, второй и застыли: начальник цеха феррованадия Георгий Федорович Мастыжов, укрывшись за спиной Чежёнкова, шептался с заведующим лабораторией Тарабринным, которого объявили очередным выступающим. Тимаков все вглядывался и вглядывался в лица инженеров, рабочих, ученых, то уходя от Мастыжова, то снова возвращаясь к нему и наблюдая за тем, как он что-то горячо нашептывал Тарабрину. Задержав внимание на них подольше, Виктор Иванович вдруг резко, но еле заметно для сидящих в зале вскинулся всем телом назад, будто молнией сраженный. «Нет, не смогу, не смогу без них, — пронеслось в мозгу, — не жить мне без этих трудяг, без их споров, идей, проектов»...

«Да или нет?» — задал себе вопрос Тимаков, входя в свой кабинет и распахивая, как обычно, окно. И ответил себе: «Нет, не быть мне заворгом. Я останусь на заводе, в объединении, настоящие дела у нас только разворачиваются».

В десять часов началось заседание парткома, внеочередное, короткое. Сначала прошло несколько кандидатур должностной номенклатуры, потом члены парткома обсуждали вопрос присвоения звания лауреат премии НПО Тулачермет.

В двенадцать Виктор Ивановича вызвали в райком: надо было кое-что уточнить по строительству при объединении свинофермы и птичника. После обеда он ушел на партийное собрание в доменный цех, а оттуда к концу дня отправился в цех легированных порошков и сплавов на испытание уникальной, по существу, установки для получения порошка путем распыления жидкого металла. И где бы ни был Тимаков в этот второй день своих размышлений, он чувствовал себя уверенно и спокойно, как и все эти последние годы, став партийным работником. Неуверенность к нему приходила лишь тогда, когда он вспоминал о разговоре с Пастуховым и думал о том, что завтра утром он должен дать ему ответ.



---

---

# НА ЗАРВЪЕЖНЪЕ ТЕМЪ

С. КОНДРАШОВ



## ПРИКОСНОВЕНИЕ К ХИРОСИМЕ

**Н**ачало августа. Полдень. Короткие тени на манхаттанских авеню, сжатые пальцами, ослепительным, вознесшимся в зенит солнцем. Полдень, в пятницу и ожидание летнего уик-энда и другой жизни, когда, проснувшись утром в субботу, знаешь, что твоя газета в Москве уже вышла и ты сам себе хозяин до воскресного вечера, и уже жена хлопчет с продуктами, сумками, выкраченным в шотландскую клетку ведром-холодильником, подводя материальную базу под идею двухдневной семейной гармонии вне надоевших стен, и дети, помогая ей, прыгают от радостного возбуждения перед дорогой, и друзья-коллеги уточняют по телефону: когда и где собираемся? Ожидание короткой, но вольной жизни, когда, загрузив припасы, выводишь машину из гаража, вливаешься в мощный автомобильный исход ньюйоркцев из Нью-Йорка, покидаешь город, такой красиво-грустный в своих пустыющих, обнажающихся улицах, и вот наконец выстраданный в заторах и пробках плавный вираж на спасительный Лонг-Айленд-экспрессуэй, и там рассосались, отодвинулись, уже не бампер к бамперу, машины, уже скорость, ветер в открытые окошечки. Манхаттан позади и Куинс позади, а впереди — лоно, тесное лоно, заселенное и застроенное, но материнское лоно природы, баск большой воды, открытое большое небо, не шум машин на шоссе, а шелест ветра в деревьях и преображение солнечных лучей, которые не жалят, а благословляют, тепло и властно обнимают, погружая тебя где-нибудь на пляже, на песке под плеск волны в блаженную дрему вечной жизни, побуждая жить по таинственному календарю мироздания...

Итак, была пятница перед летним уик-эндом в начале августа и такое вот, хотя и не столь торжественно прочувствованное настроение на субботу и воскресенье. Но дидся еще рабочий день, и был в полдень серый, новый, стандартно-эффектный мотель «Сити сквайер мотор инн», один из первых представителей многоэтажного модерна на Бродвее в районе Пятидесятых стрит, и визит к людям, которые в ньюйоркское пекло приехали именно на уик-энд, как раз тогда, когда жители готовились кто как мог бежать из своего города, проклятого месяцем августом.

В прохладном затемненном холле мотеля, где приятно было очутиться после режущего глаза солнца, дежурный клерк, перемещавшийся на фоне прямоугольных гнезд для ключей и почты, слегка улыбнулся при имени Джейкоба Бисера, фамильярно-иронически молвил: «А, бомбардировочная команда» — и на память назвал номер комнаты, из чего я заключил, что бомбардировочную команду запомнили и знают, что здесь они вроде celebrities, знаменитостей, известных людей.

Лифт. Двадцать второй этаж. Пустой коридор. Лишь горничная-негритянка, одетая в белую робу, катит тележку с грязным постельным бельем. Ищу и нахожу номер 2240. Только хочу постучать, как за дверью шум, она распаивается, с криками наседавая друг на друга, вылетают из нее четверо мальчишек разного роста и возраста, но сразу видно — братья. Следом женщина, худая, средних лет. Мать. И голосом матери, опасавшейся за детей в чужом, жарком, огромно-неуютном городе, в суматошно-опасной его части, на двадцать втором этаже незнакомого мотеля, принимается урезонивать озорников, которые вот-вот горохом рассыплются по коридору. Старший уже юноша, младшему не больше восьми.

Смотрю на обеспокоенную женщину, развеселившихся мальчишек и на металлические цифры номера на двери. Не ошибся ли клерк внизу? Где же Джейкоб Бисер



и тут ли он живет? Спрашиваю женщину. Нет, профессиональная память на celebrities не подвела понимающе усмехнувшегося клерка. Джейкоб Бисер живет именно в этом номере и женщине этой приходится мужем, а расшалившимся мальчишкам, которые с любопытством уставились на меня,— отцом. Они остановились здесь всем семейством, но сейчас глава семейства в другой комнате, и миссис Бисер, охотно помогая незнакомцу, отсылает меня в другой конец коридора, провожая взглядом, в котором читается удовлетворение типа: «Ну вот, и еще один»...

Дверь открыта в большую светлую комнату. На диване двое мужчин. Оба без пиджаков, в рубашках с короткими рукавами — жарко. солнце нестерпимо спит за окном, на большом белом балконе. У одного галстук-бабочка удостоверяет, что он хотя и без пиджака, но не совсем на отдыхе, а при деле, позволяет себе некую вольность в одежде, но не забывает и об исполнении обязанностей. У обоих вид людей, ждущих посетителей, и дверь гостеприимно открыта. Они ничуть не удивляются моему появлению, напротив, манят к себе и с готовностью, улыбаясь и тем самым сразу же налаживая контакт, поднимаются навстречу с дивана. Знакомимся. С галстуком-бабочкой и есть искомый Джейкоб Бисер — низенький, широкое лицо, густые брови, черная шевелюра с проседью. Он очень энергичен и поведением своим, не обижая и не задевая товарища, дает понять, что он старший из них. Другого, высокого, медлительного, физически сильного, зовут Чарльз Макнайт. Седина и залысины старят Макнайта, но оба приблизительно в одном возрасте — от сорока пяти до пятидесяти.

Потом, конечно, хорошо знакомая мне тень удивления бежит по их лицам: советский?! Но тут же исчезает. Советский так советский. В этом что-то даже есть. Милости просим, рады любому представителю любой прессы. Меня усаживают на диван. Мистер Бисер, взяв визитную карточку, не мешкая заносит мои данные в тетрадь, раскрытую на маленьком столике у стены. Мне сообщают, что это тетрадь учета посетителей. Как клерк, на память назвавший номер, как дверь, открытая в эту специально выделенную для приема прессы комнату, тетрадь учета убеждает меня, что Джейкоб Бисер и его товарищи делают все, чтобы их приезд не пропал незамеченным в Нью-Йорке, всегда перенасыщенном известными людьми и сенсационными событиями и что, сидя на диване, ждут они журналистов с таким же нетерпеливым терпением, с каким рыбак ждет рыбку, закинув удочку и устроившись поудобнее на бережку. А на будущее, для памяти и рассказов родным и знакомым, для семейных летописей и преданий, заведена Джейкобом Бисером эта тетрадь — документ, где точно записано, кто приходил из газет, кто и на какое записывал их радио, кто снимал для телевидения, кого принимали они в этот свой звездный час, когда оказались celebrities, знаменитыми людьми в самом знаменитом американском городе...

Гремят телефонные звонки, отрывая мистера Бисера от начавшегося разговора. Он отвечает коротко и четко, сверяясь с расписанием дня, иногда подпуская шутку, и каждый раз, повесив трубку, сообщает Макнайту, кто звонил. А звонит преимущественно пресса. То репортер из информационного агентства ЮПИ, то телевизионная бригада из Эй-би-си, то еще кто-то из какой-то газеты обещает нагрянуть после ленча, а мне, чужестранцу, не так пунктуально соблюдающему время ленча, на этот раз везет. Обеденный перерыв, короткое безлюдье, и в эти минуты вынужденного простоя Бисера и Макнайта я единственный человек, с кем можно поговорить, поделиться воспоминаниями, кому можно заявить о себе. И Бисер, главный заводила и говорун, составитель программы их встречи, для начала, для разгона сообщает мне, что всего их, с женами и детьми, собирается в Нью-Йорке 75—80 человек, что в мотеле, в котором мы сидим, зарезервировано 26 номеров, что пробудут они тут три дня. Сегодня вечером дружеская совместная вечеринка с коктейлями. В субботу утром за завтраком общее собрание. Вечером торжественный банкет, выступления с речами. Между собранием и банкетом осмотр города на индивидуальной основе, магазины для жен, аттракционы и увеселения для детей, посещение Всемирной выставки. В воскресное утро групповой прощальный завтрак. И до новой встречи — в другом городе, в начале августа.

Фантазии в этой программе никакой, экономность налицо — ни дорогих ресторанов, ни даже бродвейских мюзиклов. Незамысловатая программа, как тысячи других. Мало ли бывает в Нью-Йорке таких reunions, таких воссоединений, когда после долгого перерыва съезжаются отовсюду, чтобы тряхнуть стариной и предаться воспоминаниям, сослуживцы и одноклассники.

А встреча между тем необыкновенная! Нынешний видный служащий военно-космического подразделения корпорации «Вестингауз электрик» Джейкоб Бисер приехал сюда в другом качестве — как лейтенант военного времени, как ветеран 509-й специальной комбинированной авиагруппы ВВС США, которая в августе 1945 года, ровно двадцать лет назад, сбросила атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. И Макнайт ветеран 509-й авиагруппы. И все другие, о ком клерк внизу сказал обобщающе: «А, бомбардировочная команда». Вот такая это встреча ветеранов.

Я узнал о ней из газетных заметок. У заметок, как и в словах дежурного клерка, был добродушно-насмешливый налет; и этим ребятам нейдет. А я прочитал и ахнул, отказываясь верить глазам своим, и не сразу смог переварить эту, с точки зрения нью-йоркских газет, мелкую, преходящую, всего лишь курьезную информацию. Что же происходит? И как это можно объяснить? Пусть тогда, в сорок пятом, были они лишь винтики в военной машине, случайные — если не они, то другие — исполнители приказа, который еще не выглядел чудовищно преступным, пусть не ведали, в чем участвуют, и потому невиновны, но ведь сейчас-то они знают, в чем участвовали. И они знают, и все другие знают. И все-таки устраивают этот свой *griping*, и не только между собой встречаются, но и громко, рекламно хотят напомнить всем забывшим, что это их имена написаны на той странице мировой истории? Невероятно!

Невероятно! Я написал это слово, уверенно поставил восклицательный знак и тут же засомневался: а так ли уж невероятно? Точно ли это слово, сопровождаемое восклицанием, передает то, что почувствовал я, натолкнувшись на заметки о слете «хиросимских пилотов»? Нет, неточно и не полностью. Да, само сообщение было ошеломляюще неожиданным. Но разве не был я подготовлен к этой фантастической ситуации, к этой групповой патологии своим к тому времени почти четырехлетним корреспондентским опытом в Америке и теми истинами о человеке, которые там познал (которые связывал только с Америкой, наверное, потому, что пора их познания и постижения пришлась у меня на заграничные, нью-йоркские годы)? Разве есть предел человеческому тщеславию, особенно когда оно стимулируется устройством общества и всем ходом жизни, когда к тому же оно выгодно, в самом прямом смысле окупает себя, приносит доход? У нас говорят — уметь подать себя. В Америке — уметь продать себя, и это не пустой словесный оборот. Кто может с наибольшим успехом и выгодой подавать и продавать себя? Те, кто известен, на виду у всех, всех интересуется, за кем во все глаза следит публика. Важнее (и выгоднее) всего быть известным. В таком случае исчезают полярности и сходятся полюса. Святой и грешник уравниваются не случайно возникшим нейтральным словом *celebrity* — знаменитость, известность. Как и все люди, американцы равнодушны к известности и славе, но равнодушнее других к ее происхождению и характеру, к ее нравственному или безнравственному содержанию..

Невероятно? Был 1965 год, в политический обиход входило слово «эскалация». Американцы методично, массированно и жестоко бомбили Северный Вьетнам. Как советский корреспондент я впервые в жизни оказался на территории другой страны в то время, когда она вела войну с третьей, дружественной нам страной. Американцы воевали, как привыкли, как воевали всегда за исключением своей Гражданской войны, — на чужой земле. И эта их война до поры до времени совсем не мешала экономическому процветанию, совсем не походила на ту, которую мы пережили. Я помнил немецкие воздушные налеты на Горький летом сорок второго, содрогание и пересыпание земли под бомбами, бегущие светящиеся пунктиры трассирующих пуль в черном небе, ночные перемещения в подвал бомбоубежища, испуганную мать и нас, троих детей, шель через улицу, из которой после прямого попадания выносили мертвых. Мальчишкой испил свою, пусть ничтожную, каплю из чаши страданий своего народа. Американские бомбежки Вьетнама доказывали мне нравственную глухоту и слепоту страны, которая не знала современных войн на собственной территории, не могла — и как будто не хотела — понять чужое горе и не щадила ни старых, ни молодых в другой стране, полагаясь на свое превосходство в оружии неразборчивого массового уничтожения. Самочувствие, жизненный тонус советских корреспондентов, работавших в Нью-Йорке и Вашингтоне, во многом определялись тогда вестями из Вьетнама и той борьбой, которая велась вокруг Вьетнама в Америке.

И в этом смысле я тоже был подготовлен к встрече «хиросимских пилотов». Невероятно? Как бы не так. Нет, все возможно и все вероятно в этой стране. И, узнав

о юбилейном (двадцать лет) слете участников атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, я был потрясен и подавлен, но сразу же подумал: это тема! Это разоблачительная тема! Профессиональный журналист не дремлет и в потрясенном человеке, настаивая, чтобы потрясение не пропало втуне, чтобы рожденный им эмоциональный заряд разрядился ударным материалом. Поэтому в бродвейский мотель я ехал не вслепую, не наобум, а с определенной задачей. Ни разу не видел я этих людей, но право судить и осудить их казалось мне бесспорным. Это ли не вселенский стыд и позор, когда, честолюбивые и тщеславные, подают и продают себя винтики и исполнители апокалипсиса, сотворенного человеком, дерзко и безумно опасно вставшим на уровень бога в способности карать все живое на земле? Что же в таком случае есть сам человек, если он не устыдился? И что же нас, таких, ждет? И чего мы, люди, в таком случае достойны? Эти вопросы так или иначе метались в мозг, когда я спешил на randevу в «Сити сквайер мотер инн», хотя знал, что не в такой, конечно, форме поставлю их в своей корреспонденции.

И вот я у цели. Светлая чистая комната, белое солнце за окном, на стенах две-три репродукции, не помню, то ли нечто декоративно-абстрактное, то ли ностальгически-патриархальное из давнего, прошлого и чуть ли не позапозапрошлого века, кофейный столик с пепельницей и пачкой сигарет и на диване слева и справа от меня — два объекта, избранных для негодования и осуждения. Уже раскрыт блокнот, уже заносу туда наспех их слова, перевода с английского на русский и искоса между делом поглядывая на их лица, стараясь и в них что-то прочесть, что-то сверх их деловых, сухих слов. Но ничего не читаю. Нет на этих лицах решительно никакой трагической печати, никакого скорбного отсвета, никакого следа приобщенности к событию, которое откинуло краешек занавеса, а за ним — бездна для всех нас. Хорошо выраженный, знакомый тип бизнесмена — чистого, следящего за одеждой и фигурой, по внешнему виду какого-то стерильно-дистиллированного. Физически и психически нормальные люди. Люди как люди. Имя им — легион. На улице попадется — разве подумаешь? Такой — каждый десятый. Вежливы, открыты и великодушно объясняются еще с одним журналистом. Как положено юбилярам. Они и в самом деле приехали сюда и встречаются как юбиляры.

И солнце за окном тягуче переплавляет полуденные часы, в которые, ожидая вечера и долгого уик-энда, изнывают жители Нью-Йорка... Августовское солнце, сильное и жесткое, но не чета тому, искусственному, которое на высоте шестисот метров взорвалось над Хиросимой 6 августа 1945 года в 8.15 утра.

Миг... Яркая, как тысячи солнц, беззвучно вспыхнула и тут же обвалом лопнула над городом атомная лампа и сотворила ад, ослепительный, не крошечный, и девятый, самый страшный его круг назывался эпицентром, и те, кто был там, были испепелены, не оставив и горсти праха, и в других адовых кругах, разбежавшихся от эпицентра, у людей вытекали глаза и кожа сама сползала, скатывалась с рук, ног и плеч, и свет стал смерть, и воздух стал смерть, и воздушная волна опрокинула ниц целый город, и атомный жар едва ли не вскипятил целую реку с шестью протоками, и реактивный черный дождь окропил редкими черными траурными каплями живых, мертвых и руины, и в уцелевших, чтобы они дольше страдали, небывалой лучевой болезнью проникла медленная смерть...

Миг... Прервав разговор с репортером из «Известий», двое здоровых мужчин в белых свежих сорочках шарят по карманам своих отлично сшитых и выглаженных брюк, вынимают и отсчитывают поровну (американский счет) четвертаки и гривенники, зовут Эрика, старшего сына Бисера, и посылают его к облегчающему жизнь автомату в коридоре за прохладительными напитками и сэндвичами. От ленча они отказались, но перекусить, заморить червячка не мешает. Мальчик вскоре возвращается с двумя запотевшими бутылками вишневого лимонада и упакованными в вощеную бумагу треугольниками сэндвичей с ветчиной и сыром. Чувствуется, что ему приятно хоть в чем-то помочь отцу, занятому важным делом общения с иностранцем. Они разворачивают сэндвичи, жуют и запивают, продолжают разговор, но не приглашая меня к своей легкой трапезе...

Скрытая жуть контраста, раздавленная и уничтоженная временем, — прошло целых двадцать лет, и они состояли из тысячи других дней, из миллионов других мгновений. Неизбежный вопрос о тех двух днях, о Хиросиме и Нагасаки.

— Да, кое-что мы знали, — отвечает Бисер. — Нам сказали, что эта бомба побольше обычных. Накануне прочли лекцию, и мы более или менее представляли, что слу-

чится. Мы целили в военный объект, но догадывались, что достанется и гражданскому населению. Когда я взглянул на Хиросиму с самолета, то понял, что с ней покончено. Центра города не было видно, по краям все было охвачено пламенем. Ну а после Хиросимы Нагасаки совсем не был сюрпризом для меня...

На этот вопрос Бисер наверняка отвечал сотни раз, и поэтому ответ его стерт, как заигранная пластинка, но все равно в нем пробивается первоначально заложенная интонация бывалого человека, который так много видел, что может небрежно-мужественно упомянуть о своей причастности и к такому эпохальному событию. Единственный он участвовал в обеих атомных бомбардировках, хотя роль его была далеко не самой главной: двадцатичетырехлетний лейтенант отвечал за электронную часть «Малыша», сброшенного на Хиросиму, и «Толстяка», разорвавшегося через три дня над Нагасаки.

Чарльз Макнайт еще скупо рассказывает, что пролетел над Нагасаки «за час до бомбы» в самолете, обеспечивавшем метеорологическое наблюдение. Погоду нашли подходящей, на бомбометание дали «добро».

— Мы ждали потом над морем милях в двухстах, на высоте сорока тысяч футов,— вспоминает Макнайт.— Видели, какой султан расцвел над Нагасаки...

Блокнот на колене (сейчас, через пятнадцать лет, он на столе передо мной). Лихорадочно записываю, но не успеваю записать все (сейчас жалею, что не было магнитофона). Хочу все взять и выжать из этого доставшегося мне мига жизни этих двух людей (сейчас думаю, что было и у меня профессиональное тщеславие и желание заполучить сенсационный материал). Горюплюсь. Вот-вот придут другие, американские репортеры, а именно они им нужны, от них они ждут то паблисити, которое можно ощутить, прочесть в газетных строчках или увидеть на телеэкране, при помощи которого можно подавать и продавать себя...

Как провел Джейкоб Бисер эти двадцать лет? Как часто, при каких предвиденных и непредвиденных обстоятельствах выскакивали и выплывали в нем те два дня, когда он с безопасной высоты видел мгновенную гибель двух городов? Не мог же он забыть эти два дня... Нет, не мог. Хотя бы потому, что напоминали... Значит, учился с ними жить — жить, пережить, выжить... Да, он спокоен, но внешность может быть обманчива... Посмотри на глаза — грустные... Нет, не заблуждайся. Научился он с теми мгновениями жить, Джейкоб Бисер. Не только внешне, но и внутри научился, приспособился. Соорудил свои линии обороны и защиты. Слышишь, что он говорит не без самодовольства? Эта встреча далеко не первый его выход на публику. Слышишь? Его часто приглашают в школы выступать на уроках обществоведения.

— Вас конкретно интересует, как я рассказываю об этом? Моя идея в том, чтобы дети знали. Я хочу, чтобы они думали не в том смысле, что мы снова это используем, а в том смысле, что мы этого не хотели бы использовать.

Это... Это... Вместо бомбы. Вместо ада. Все-таки избегает он называть это своим именем. Но не так уж трудно ему держать оборону, во всяком случае у себя в стране. Не одиночный у него окоп, а коллективный, глубокие, давно вырытые траншеи, целая «линия Мажино» национального сознания. Не он один так думает, с ним, пожалуй, большинство: бомбу надо было бросить! Плохо человеку, когда он один. Хорошо, когда со всеми. Если его заблуждения — заблуждения массы, то они уже не заблуждения, ибо как отличить их от истины, где ей место вне людей? Если бы знали эти двое и другие, с семьями разместившиеся в мотеле, что их встретят тут общественным остракизмом, разве осмелились бы так рекламно воссоединиться, разве жен и детей привезли бы? Разве у прокаженных есть такие reunions? Раз приехали, оповестили прессу, значит, были уверены, что их поймут и не осудят. А для тех, кто не захочет понять, тоже есть объяснения. И Джейкоб Бисер берет со стола подготовленный, отпечатанный на машинке текст речи, которую должен произнести на банкете в субботу, и со мной, отказывающимся понять, начинает говорить по бумажке. В речи как коронное присутствует слово rejoice — радоваться, веселиться, праздновать. Но не спешите с новыми упреками. Бисер знает, как с этим словом обращаться:

— Мы радуемся не тому, что сделали двадцать лет назад, а тому, что благодаря этому раньше были освобождены наши братья, сидевшие в концлагерях. Мы радуемся тому, что наша страна первой приобрела ядерное оружие и благодаря этому мир в последние двадцать лет был избавлен от войны.

Выходит, спасительная диалектика: учет времени, места, обстоятельств. И 509-я авиагруппа, которую специально создали на Гавайях и тренировали на «летающих

сверхкрепостях» с удлинёнными бомболоками, лишь исполнитель акта возмездия, пусть небывало жестокого, пусть обрушенного на невинных, но исторически благотворного. И, отклоняя роль подсудимого, которую, он это чувствует по моим вопросам, я исподволь навязываю ему, Джейкоб Бисер вводит в действие аргумент большой силы: призывает в свидетели дух американско-советского братства военных лет, память нашего боевого союза.

— Вы лучше других знаете, как тяжело это доставалось,— говорит он мне, и в голосе его подкупающая доверительность, и я чувствую, что и мне он в отместку отводит особую роль — роль человека, которому понять его даже легче, чем соотечественникам, поскольку происходит этот человек из той страны, которая больше всех потеряла и претерпела во время войны и вела самые жестокие сражения.

— Совесть не беспокоит меня. Представьте, вы были бы в те годы в Сталинграде и видели, что делают немцы. Немцы там убивали и женщин и мужчин, не так ли? А под Москвой? А на Украине? У нас не было выбора...

Теперь он переходит в атаку: соглашайся и признавай мою правоту, мое право на юбилейные встречи атомных ветеранов, а не согласишься, значит, отступник, значит, забыл то, что непростительно забыть,— настроения тех лет, когда мы были объединены общим порывом к победе, когда все направленное против общего врага делалось в сознании святой правоты и чем беспощаднее было оружие, тем было оно праведнее. Вот какие это были годы, напоминает он мне. Вот какие это были годы.. И с легким сердцем полковник Пол Тиббетс, командир переоборудованного, удлинившего бомболоки «Б-29», с которого был сброшен весь лишний вес, даже все оружие, кроме хвостовых пулеметов, чтобы мог он взять атомную бомбу, перед вылетом, по обычаю американских летчиков, крестивших свои самолеты, назвал свой бомбардировщик «Энола Гей», то есть именем родной матери, хотя знал, какого «Малыша» повезет его «мама» для Хиросимы, и военные художники вывели дорогое ему имя на фюзеляже у пилотской кабины. С легким сердцем и чувством юмора (непревзойденно черного юмора) ученые и техники придумали название и для самой бомбы — «Little Boy», «Малыш». И лейтенант Джипсон не потерял чувства юмора на борту «Энолы Гей» даже в момент, когда увидел гигантскую вспышку и большое, сначала черное, а потом серое и белое, стремительно растущее грибовидное облако. «Господи,— пошутил лейтенант,— если бы люди видели, что мы тут делаем, мы могли бы на это зрелище продать билетов на сто тысяч долларов». И его шутку по достоинству оценили...

Мои вопросы дипломатичны, ответы Бисера любезны, но диалог идет (сейчас я это вижу лучше, чем тогда) напряженный, с подтекстом. Позвольте, мистер Бисер. Диалектика диалектикой, не мне ее отрицать, но кое в чем тут, кажется, не диалектика, а передергивание. Верно, победа была нужна позарез, и как можно скорее, и святым был последний, решающий порыв к победе. Но ведь она была уже достигнута на главных фронтах — в Европе. И истина выглядела не так, как вы ее изображаете, в августе 1945 года, через три месяца после дня победы. И выбор уже был тогда — неправду вы говорите, что его не было. Был выбор — без атомной бомбы. Лишившись союзников, одна против победоносной коалиции, Япония была обречена, готова прекратить сопротивление, капитулировать. Сейчас это аксиома у историков, а политики знали это и тогда. Не упоение боем и не порыв к победе, даже не мстительная жажда закончить Хиросимой войну, которую японцы начали вероломным нападением на Пирл-Харбор, руководили президентом Трумэнном, а нечеловеческий, ледяной расчет. Жертвами атомных бомбардировок были японцы, а политической целью — Советский Союз, хоть вы и выражаете сейчас нам свое восхищение. Президент Трумэн, испытав бомбу на «живой мишени», одновременно демонстрировал новый, невиданный и, как он надеялся, эффективный инструмент устрашения Советского Союза в наступающем послевоенном мире — орудие атомного шантажа. В адском пекле испепелили японцев, но в назидание русским — вот какая это была диалектика.

Но в конце концов бог с ними, с политикой и диалектикой. Забудем о них на минуту, забудем и о тех групповых заблуждениях, за которыми соблазнительно укрываться, да не всегда укроешься, если своя, одна-единственная душа болит. Ведь история-то, как ни крути, немислимая. Тогда-то, может быть, она и в самом деле выглядела предельно простой. Просто занесли запись в боржурнал: «8.15 утра. Атомная бомба сброшена. Через 43 секунды вспышка, ударная волна, самолет качнуло». Просто увидели сверху, что с Хиросимой покончено. А потом стало непросто, уже не бесстрастный вид

сверху, уже детали пошли, земные, сначала скупо отбираемые военной цензурой, а потом и щедрее, одна другой ужаснее, и не было им конца, и год за годом забирал ваш «Малыш» в могилы новые и новые жертвы. Несчастных хиросимских детей подтачивала неисцелимая лучевая болезнь, и тысячами бумажных журавликов не заговорить было смерть, а вы растили своих четверых сыновей, вас приглашали в их школы, и вы шли, и выступали перед их сверстниками, и говорили, что так и надо было...

Надо или не надо — тогда без вас решили, и нет в том вашей вины. Но сейчас ведь это поистине ваш выбор, и нельзя сказать, что его, выбора, у вас нет, никто ведь не неволит вас, не приказывает в школу идти, говорить детям: «Надо было!» Неужели до сих пор все у вас так просто? Возьмем, к примеру, известного Роберта Оппенгеймера, ученого-физика, руководителя Лос-Аламосской лаборатории, где и произвели первые атомные бомбы, — спрашивали его накануне телевизионщики, говорил профессор Оппенгеймер, что не все просто, что и с учетом всех обстоятельств военного времени его совесть не может быть спокойна. Его называют отцом атомной бомбы, но не рад он этому родству, нет у него отцовской любви и отношение его к своему детищу год от года все сложнее и болезненнее. А другой американский физик, которого журналисты возвели в отцы водородной бомбы, — Эдвард Теллер? На что уж отпетый ястреб, но тоже ужасается, говорит, что «сделали ошибку», что не нужно было бросать бомбу «без предварительной бескровной ее демонстрации»...

И так и сяк пытаюсь я поколебать спокойствие Джейкоба Бисера, а сам между тем понимаю — пустое дело, не казнить же он приехал сюда и не сдавать те окопы, которые сооружал и укреплял целых двадцать лет. Стоит на своем. Совесть спокойна. Жителями Хиросимы восхищен — они быстро восстановили свой город. Тем, у кого «проблемы», как у «хиросимского пилота» Клода Изерли, кочующего по психолечебницам, готов выразить сочувствие...

Пора закругляться. Мое время явно истекло, да и тема, кажется, исчерпана: что еще выжмешь из мистера Бисера? К тому же обещавшие нагрязнать нью-йоркские репортеры уже толпятся в комнате, налаживают на балконе телевизионную аппаратуру, ждут своей очереди, нетерпеливо поглядывая на меня. Макнайта им мало. Нужен Джейкоб Бисер, один на весь мир участник и свидетель двух атомных бомбардировок. Нас много, а он один, и я уступаю его американским коллегам...

Он переходит на балкон, усаживается перед телекамерами Эй-би-си. Ему вешают крохотный микрофон на шею — и тем же голосом, в тех же стертых словах повторяет он свой рассказ, из которого вытекает, что легко жить с памятью Хиросимы и Нагасаки. И никто из спрашивающих Бисера не оборвет его, не крикнет: нет, трудно! Он говорит о себе, и ему виднее. И я смотрю на него уже со стороны, оживленного, уверенного, залитого солнцем, и снова убеждаюсь, что сегодня у него просто-напросто счастливый, редкий, юбилейный день и что он не собирается терять ни грана этого юбилейного счастья. А рядом жена и дети. Он привез их сюда разделить момент славы и торжества. Дети, присмирив, наблюдают за отцом, сидящим перед телекамерой. Наверное, вспоминают свой дом в Филадельфии, свой город, тоже большой, и радуются, как все ладно и хорошо получается у их дэда, не растерявшегося даже в Нью-Йорке.

Лишившись Бисера, прежде чем уйти, я выжимаю информацию из его жены и детей. Жена сообщает, что поженились они семнадцать лет назад и что, конечно, она знала об этих знаменитых эпизодах его военной биографии. Старший, Эрик, жалуется, что аспирин ему понадобится, пожалуй, раньше, чем отцу: голова идет кругом от людей и суматохи. В этом шестнадцатилетнем парне замечаю жеманство и ту снисходительность, которая встречается у детей известных людей, свысока вззирающих на обыкновенных, неизвестных взрослых. Спрашиваю Эрика, что он думает о своем отце и о Хиросиме.

— Я горжусь своим стариком, — отвечает он фразой, которая подготовлена, как рассказ его отца, но еще не так многократно употреблялась и не так стерта. — Он делал историю. Как полковник Гленн. Знаете, тот, что первым побывал в космосе...

Парень знает американский вариант истории — и с Хиросимой и с Гленном...

Тогда я ушел, оставив Бисера и Макнайта делать их дело, а сам взялся за свое, написав и отправив корреспонденцию «Он видел Хиросиму сверху», выставив на суд читателей своей газеты двух людей из чужой страны, встреченных при таких обыкновенных — и необыкновенных — обстоятельствах. Сейчас я пытаюсь вернуть этот

миг, далеко уплывший вниз по течению реки времени, спокойнее и пристальнее рассмотреть его, лучше в нем разобраться. Вспоминая прикосновение к Хиросиме в центре нервно пульсирующего, истомленного жарой августовского Манхэттана, я думаю сейчас не об ударном материале для газеты, не о разоблачении или назидании. Те же вопросы стоят передо мной, как и в день, когда я ехал в бродвейский мотель, вечные вопросы о том, что человек может сделать с человеком и с самим собою. Молодыми людьми в пылу войны и ненависти те двое участвовали в первом опыте создания атомного ада на земле. Потом, постигая век, в который все мы вступили с атомной бомбой, очевидно, не захотели понять и признать, что это было преступлением против человека и человечности. Признай они себя без вины виноватыми — и это была бы трагически верная формула. Нет, они продолжали гордиться соучастием в этом деле и уверяли себя в том, что этим делом нужно и можно гордиться, и на разных торжищах тщеславия торговали воспоминаниями о том дне, когда видели Хиросиму сверху. И, что хуже всего, свою непостижимую гордость сумели передать своим детям.

Хочу лучше, чем тогда, понять встречу в бродвейском мотеле, но в конце все равно, как сирена атомной тревоги, звучат слова, которые и тогда поместил последними: «Я горжусь своим стариком. Он делал историю...»

В каждом из нас, так или иначе приобщенных к современной мировой жизни, подспудно, подсознательно, в подкорке Хиросима живет как одно из первоощущений нашего общего бытия. Как вещей знак нашего времени. Как прошлое, которое не может уйти, потому что пророчествует о будущем, которого во что бы то ни стало надо избежать. Как напоминание, что мы гибельно далеко шагнули от дней этой двадцатикилотонной атомной мини-бомбы, накопив многие тысячи Хиросим за семью печатями и замками на складах ядерного оружия и все еще умножая эту заприходованную, аккуратно инвентаризируемую, готовую к мгновенному употреблению массовую смерть. Как трагический призыв против безумия гонки вооружений, к здравому смыслу и разуму, к трудным неустанным усилиям во имя ограничения и полного запрещения ядерного оружия... Словом, Хиросима живет как символ, и в известном смысле у каждого сознающего наше время человека вне зависимости от того, далек он от политики или близок к ней, есть своя Хиросима, как есть инстинкт самосохранения и самозащиты.

А помимо чистого, так сказать, символа существует еще и натуральный город Хиросима, в страшных своих муках давший символу жизнь, но не уступающий в него, как настоящее не уступает в прошлое. Наши деды и прадеды не знали об этом японском городе (к примеру, в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона нет ни слова о Хиросиме, а в первом издании БСЭ она упомянута лишь как центр префектуры Хиросима). Сейчас в него едут со всех сторон не только Японии, но и мира. По числу посетителей (на уровне 7 миллионов в год) Хиросима попадает в разряд знаменитых и достопримечательных мировых центров. Рим — вечный город. Париж и Лондон — обитые гнезда буржуазной цивилизации. Нью-Йорк — динамизм и антагонизмы. Москва — «люблю тебя, как сын...». А Хиросима? Не вошла, а взорвалась в истории, и привязанность к ней носит необычный, несколько болезненный характер, это единственный рассекреченный атомный полигон, куда едут разглядеть следы прошлого и по возможности разгадать будущее, — но разве там оно скрыто? Географически, политически, экономически Хиросима принадлежит своей стране, но в смысле глубинном, философском и отчаянно практическом — всему миру.

Хиросима... Зная, что на дворе семьдесят восьмой год, я все-таки ехал в сорок пятый, в город-символ. А с привокальной площади начался просто город.

Многоэтажный корпус «Хиросима гранд-отель» матово отсвечивает глазированным темно-коричневым кирпичом. В холле нижнего этажа как образы японской весны — две девушки в кимоно, гости на свадьбе: оказывается, сезон свадеб. От нежных красивых цветов кимоно еще нежнее и изящнее фарфорово-белые круглые лица девушек с раскосыми глазами. С ними пожилая японка в темно-сером, пепельном, грустно-спокойном кимоно, которое тоже удивительно идет ее лицу и возрасту. В лифте австрийки или немки оживлены, как путешественники, оставившие позади неудобства дороги и вернувшиеся в привычную обстановку комфорта: разложить вещи, привести себя в порядок — и вниз, к новым впечатлениям. У дверей отеля сверкающие туристские автобусы. Гиды-японцы прохаживаются возле них в ожидании пассажиров. Иностранцев в отделе больше, чем японцев, и сам отель, можно сказать, из интуристских, построей-

ный по международным, скорее всего по американским образцам, которые японцы могут и хорошо копировать и превосходить: покрытые коврами полы комнат, цветной телевизор, кондиционированный воздух, трехканальное внутреннее радио, ночная лампа с рычажком, регулирующим яркость света, два телефонных аппарата. Лишь шлепанцы у двери от традиционной Японии — шлепанцы и аккуратно сложенный на кровати халат. Но развернув его, убеждаюсь, что и он шит на рослого американца.

...Около шести вечера. Солнце, скрытое в сером, ровно затянутом небе, сеет на землю предвечерний грустный свет. Мемориальный музей мира уже закрыт — длинное пасмурное здание приподнято на прямоугольных колоннах как будто для того, чтобы не давить на землю, обожженную атомным взрывом. Сбоку Мемориал-холл, четверть часа до закрытия. Спешим туда.

Посетителей нет. Стенды с фотоснимками. Вот исторический, с борта «Энолы Гей», только что сбросившей бомбу: белые клубы дыма застилают Хиросиму. Панорамный, спокойный, для отчета командованию снимок. Красный экран под стеклом вспыхивает каждые пять секунд, наливаясь кровью: 1945 6.8/8.15. И английские слова: «Дебют атомной бомбы».

От стенда к стенду второпях, будто это не дорога миллионов, будто тут я первый и последний посетитель и никто ничего не узнает без моих закорючек в блокноте.

Другая фотопанорама не сверху, а снизу, с земли: малоэтажный деревянный город весь повален, вместо домов груды стройматериалов и скарба, лишь линии дорог хорошо глядятся на внезапно образовавшемся огромном пустыре, и торчат вдоль них бесполезные телеграфные столбы и ободранные от листьев и ветвей черные, мертвые, как столбы, стволы деревьев...

На стендах образцы мгновенных превращений материи, попавшей в атомное пекло: обугленная еда в деформированной от температуры солдатской миске, враз окаменевшие кусочки дерева, вспузырившаяся черепица крыш, черно запекшиеся гольши... Картина японского художника «Смерть при жизни» — в багровых отблесках фантастические пляски мертвых тел...

Фукуй-сан, руководитель местного небольшого общества дружеских связей с Советским Союзом, сдержан и молчалив: что добавишь к сообщениям этих экспонатов? Разве что личное. Его тетушка погибла сразу, дядя умер через десять дней, бабушка через год. Говорит об этом лишь тогда, когда спрашивают, — спокойно и грустно, как о знаке своей причастности к той Хиросиме. Сам он тоже хиросимец, но тогда не был в городе, вернулся лишь через три года. Рожденный русской матерью непроницаемый японец... Наверное, в праздничный день у него свои планы. Наверное, нелегко ходить таким вот гидом то с одним, то с другим мимолетно приезжающим, впопыхах впитывающим впечатления, охающим и ахающим иностранцем. Как вести себя с этими паломниками? Чего ждут они от своих хиросимских сопровождающих? Гнева и ярости или горя и печали? Каких открытий и сильных чувств? Но разве могут быть одни и те же чувства у жителя Хиросимы и у иностранца, приехавшего на пару дней?

Фукуй-сан молча несет бремя странного хиросимского гостеприимства, терпеливо исполняет то, что считает своим долгом перед людьми из России. И в Мемориальном парке подводит нас к низкой оградке, в которой стоит низкорослая березка. Перед ней на серой мраморной дощечке надпись по-японски и по-русски: «Хиросима — Сталинград». Это сентиментальность непроницаемого японца. Березку он привез из Сталинграда, сам и посадил, но она, как бы отвергая исторические параллели, чахнет в японских субтропиках...

Простившись с ним, мы гуляем в Мемориальном парке мира, посаженном в районе эпицентра взрыва. Гу-ля-ем! Да, там гуляют, как в обычном городском парке, к тому же в праздничный день. Дети играют, голуби воркуют на площадке за пасмурным зданием Мемориального музея мира, взрослые умиляются детям и голубям, гуляя возле печальных памятников. И даже памятники не создают той концентрации трагического, на которую настроилась по пути в Хиросиму, которую ищет душа. Так много памятников в Мемориальном парке. В пруду между двух бетонных плоскостей как между двух ладоней тихо колышется на возвышении неугасимый огонь. Памятник погибшим школьникам (многие тысячи их приехали в Хиросиму, чтобы разбирать руины от прежних обычных американских бомбардировок — и чтобы погибнуть от новой, атомной) увешан гирляндами бумажных разноцветных журавликов, сделанных живыми детьми.



Горбится бессильный бронзовый учитель, и на другом постаменте бронзовая мать хочет и не может укрыть собой от смерти своих детей. Колокол мира тихо, глухо и вятно отвешивает удары, прикрывшись от неба бетонным куполом. Хиросимские памятники не шлют проклятий — японцы не посмели проклинать американцев-победителей. Их молчаливый протест фаталистичен, адресован не человеку, а року. Они все укрываются от неба, как главный из них — Кенотаф, бетонное седло которого прячет от неба гранитный саркофаг, где, все время пополняясь, хранятся имена более 90 тысяч жертв.

Здесь все боится неба, и лишь Атомный купол бесстрашно и бессмысленно смотрит в вышину, зияя пустотой через ребра каркаса, — оставленная векам (и фотографам-любителям) руина, похожая на выпотрошенную половинку глобуса...

Через Мемориальный парк проходит один из шести рукавов реки Ота, на которых раскинулась Хиросима. В тот роковой день обожженные, нагие или в жалких лохмотьях обгоревшей одежды, испытывавшие нестерпимые зуд и жажду люди бросались в воду остудиться, но и вода, как все, изменила им в тот день, она была горячей, почти кипела...

И слава богу, что нельзя дважды войти в одну и ту же воду. Вокруг идиллии апрельского субботнего вечера под тихим мирным небом. По трагической реке в свежечернокрашенных прогулочных лодках празднично одетые отцы семейств чинно катают жен и детей. Как где-нибудь в Измайловском парке. И те же всплески весел и то же на лицах выражение удовольствия и никакого страха, а если и есть боязнь, то лишь та, которая охватывает городских людей, временно почувствовавших под собой не асфальтированную твердь, а зыбкую водную стихию. Дебаркадеры, на которых выдают лодки, красочные и чистенькие, как только что купленная игрушка, которой еще не коснулась рука ребенка. И по бортам дебаркадеров, по самому их краешку, еще одним штрихом мирной идиллии стоят аккуратными рядками ботинки, туфли, кеды: садясь в лодку, японцы снимают обувь так же, как входя в дом.

Это эпицентр через тридцать три года...

В отель возвращались пешком. По пути попались два крытых, длинных, как улицы, торговых пассажа. Все двери были настежь, отовсюду модная западная музыка, всюду висели красочные фонари из рисовой бумаги. В Хиросиме готовились к фестивалю цветов, и торговцы заманивали покупателей. У одной из лавчонок женщина рекламировала трубочку для выдувания мыльных пузырей. Один за другим пузыри рождались на конце трубочки, раздувались, прозрачно-маслянисто поблескивая, и, отделившись от трубочки, воспарив, тут же бесшумно лопались и бесследно исчезали. Это тоже запомнилось. Потому что все сопрягалось с тем. Какое странное, кощунственное занятие! В Хиросиме? А в прокуренных залах и стар и млад, сидя перед небольшими вертикальными полями, утыканными гвоздиками, гоняли по этим полям металлические шарики, посылая их легкими касаниями пальцев о рычаг: пачинко — бездумная игра, каждый в одиночку среди толпы, атомы отчуждения в современном городе.

Мы шли длинными пассажами, потом прямыми узкими улицами, где тоже царили торговля и реклама торговли, потом ужинали в китайском ресторане. И всюду я искал то, за чем приехал, — следы той символической Хиросимы. И не находил. Лишь две сценки, два образа переключались в ней своим внутренним напряжением, да и то лишь в моем сознании. Один — образ горя, мелькнувший и исчезнувший в Мемориальном парке. Женщина в домашнем фартуке, затрапезная, растерянная, невесть откуда взявшаяся, идет, нервно зираясь, вдруг побежала, вдруг остановилась, поднесла ладонь ко рту, как будто сясья что-то вспомнить, и снова побежала — в другую сторону, просто потому, что не могла стоять. Что с ней? Горе. Какое? Наверное, потерялся, запропастился ребенок, испугалась. И мысль, работающая на хиросимской волне, уже в том дне, в том горе, которое при всей своей невыносимой массе тоже было разбито на единицы — человеческих тел, душ, судеб.

Второй образ — жестокости. Поздно вечером вышел один прогуляться. Темно и безлюдно, редкие автомашины, на тротуаре редкие фигуры и немецкая речь туристов, которым тоже не спится в первый и, может быть, последний вечер в Хиросиме. Ближе к центру больше света и жизни, еще не угомонившийся город. Покачиваясь, идет подвыпивший японец. Другой и вовсе не стоит на ногах, официант, за плечи выведя его из ресторана, прислоняет, как куль, к стене и скрывается за дверью, оставив наедине с растерянной молодой девушкой. Праздничный вечер...

Но вот зверская уличная драка, которую вижу, подходя, на расстоянии. Хорошо одетый, молодой и ловкий японец ударом кулака свалил другого и лежащего наотмашь ударил ногой в лицо. Не спеша скрылся в переулке, бросив обрезок металлической трубы. Когда я подошел, победенный встал на четвереньки, а потом, тяжело качаясь, поднялся во весь рост, открыв жуткое, окровавленное лицо, пьяно оглядываясь, порывался бежать за обидчиком... Пьяная кровавая драка. В Хиросиме?!

И другая жестокость тем же вечером — на цветном телеэкране. Пистолеты в вытянутых руках щегольски одетых японских гангстеров и их красавиц, выстрелы, липкая кровь на лицах, ладонях, пиджаках... Японская копия с американского оригинала.

Выключил телевизор. Тихо. За окном спал город. Раскрыл маленькую книжку в золотистой обложке. На фотоснимке, уже знакомом, причудливо клубилось, взмывавая ввысь, похожее на гриб белое облако. Книжка о той Хиросиме. Я попал на нее случайно в магазинчике отеля, где она затерялась среди иллюстрированных красивых изданий об искусстве икэбана и укийё. В аннотации говорилось, что американский журналист Джон Херши приехал в Хиросиму, когда «пепел был еще теплым». Его соотечественники, сбросив бомбу, сфотографировали атомный гриб. Херши увидел Хиросиму снизу, с земли. Расспрашивал очевидцев с дошошностью американского репортера-следопыта и страстью ужаснувшегося человека, который решил рассказать соотечественникам о преступлении, совершенном от их имени.

В комфортабельном отеле для иностранных туристов, отделенный ночью и тишиной от сегодняшнего города, живущего другой жизнью, я прикасался к той Хиросиме, расколовшей время — до Хиросимы и после Хиросимы. Я читал: «У некоторых брови сгорели и кожа свисала с лиц и рук. Другие из-за боли руки держали перед собой, как будто что-то в них несли. Многие были голыми или в остатках одежды... Из ста пятидесяти городских докторов шестьдесят пять были уже мертвы, а из оставшихся большинство ранены. Из 1780 медицинских сестер 1654 были либо убиты, либо так тяжело ранены, что не могли работать... Под многими домами слышались крики о помощи, но никто не помогал; как правило, уцелевшие помогали в тот день лишь своим родственникам или ближайшим соседям, потому что на большее, на остальных у них не было сил... Отличить живых от мертвых было нелегко, так как люди лежали молча с открытыми глазами... Молчание в роще у реки, где сотни тяжелораненых страдали вместе, было одной из самых ужасных и жутких вещей. Никто не плакал, еще меньше кричали от боли, никто не жаловался, многие умирали, и все без звука, даже дети не плакали и лишь очень немногие говорили... Г-н Танимото обнаружил на песчаной отмели около двадцати мужчин и женщин. Он причалил к берегу и велел им садиться в лодку. Никто не двинулся, и он понял, что они были слишком слабы и не могли подняться. Он наклонился и взяла одну женщину за руку, но кожа поползла с ее рук большими, похожими на перчатки кусками... Когда он вошел в кусты, он увидел там около двадцати человек, и все они имели ужасный вид: совершенно обгоревшие лица, пустые глазные впадины, и по лицам их текла жидкость их растопленных глаз (должно быть, они смотрели вверх, когда взорвалась бомба, может быть, это были зенитчики)».

И так далее... И так далее... Много-много больше того, что может за один прищест вместить сознание человека, начитавшегося и наслышавшегося о жестокостях XX века.

Я проснулся рано утром. С двенадцатого этажа город просматривался до дымчатых спокойных горбов окрестных гор. Он был по-воскресному пустынен, и от пустынности сильнее бросалась в глаза геометрия прямых улиц, современных зданий, белая разметка мостовых, зебры пешеходных дорожек. Новый город. 800 тысяч жителей, почти втрое больше, чем тогда в уничтоженном. В нем не было узких и кривых улочек, типичных для японских городов. Жизнь не стесняется жестокых парадоксов: Хиросиму уничтожила американская атомная бомба, а восстанавливая, ее заново, по-американски геометрически четко распланировали.

После завтрака поехали в Мемориальный музей мира с новым провожатым — Ицудзи Суми-саном, среднего роста, плотным, пятидесятилетним японцем, владельцем магазина по продаже искусственных челюстей, зубных протезов и прочих зубо-врачебных товаров. Как и Фукуй-сан, он был вежлив, непроницаем, молчалив и, принаравливаясь к желаниям гостей, как бы растворял в них свое собственное «я».

В музее было много посетителей, японцев и иностранцев, туристских групп, школьников. Это был хорошо поставленный, поистине международный музей с над-

писями на разных языках, хотя эсперанто жестокости и страданий не нуждается в переводе. У входной двери предлагали портативные магнитофоны с пояснительными записями, и Суми-сан взял мне магнитофон с записью на русском. Я вдел наушник, и милый женский голос приветливо зажурнал в ухо о жутких вещах.

И снова в спешке и толчее, под шарканье ног и гул голосов я заносил в блокнот то, что слышал, читал, видел и что давно описано, что содержалось в подробных путеводителях, продававшихся там же, в музее. Записывал, и эти собственные записи как бы делали меня очевидцем той Хиросимы. И вот кое-что из записей:

макет — две женщины и ребенок, дикие, всклокоченные и грязные, как пещерные люди, но кожа страшно стекает с их рук и щек приметой атомного века;

фотоэскизы, на которые стыдно смотреть, несчастных, обожженных, искалеченных людей. На их лицах вопрос — «что же это?»;

отпечатки рисунка кимоно на красивом изгибе плеча молодой женщины. Запекшиеся человеческие тела;

как останки материальной культуры каменного века, тысячелетиями пролежавшие в земле, искореженные предметы недавнего пролога к веку атомному — стеклянная чернильница-непроливайка, как будто попавшая в руки сумасшедшего стеклодува, сплюснутая жарой люстра, сплывшие швейные иголки, связка спекшихся монет. В одном закрытом сейфе от денег и документов осталась кучка пепла — таким был жар;

на белой стене натуральные следы черных струек радиоактивного дождя;

на гранитных ступеньках, оставшихся от местного банка, — тень испарившегося человека, одна лишь вечная тень...

Наш провожатый Суми-сан всю жизнь прожил в Хиросиме. Во время войны служил в санитарной команде. В день бомбы в радиусе полукилометра от эпицентра погибло 99 процентов людей, в радиусе километра — 96. Суми-сан служил в километре от эпицентра. Его спасло то, что в момент взрыва он был «в тени», то есть загорожен от вспышки стенами.

— Такой день разве забудешь?!

Деревянный дом обрушился. Когда он выбрался из-под обломков, увидел внезапно высохшие канавы. Города не было. От жара все было красно или черно. Обожженные нагие люди собирались по берегам протоков Оты.

— Как будто в другой мир попал...

Скажешь ли проще и сильнее? В другой мир, в другой век...

И все-таки Суми-сан не допустил, чтобы мы покинули Хиросиму с одними лишь гнетущими впечатлениями от того, что случилось треть века назад. Очевидец того дня, он все-таки жил в нынешней, живой, не мертвой Хиросиме и хотел показать ее нам. Наняв такси, повез на гору Огондзаган на краю города. Хмурый с утра день разгулялся, посветлел, стал пол-летнему жарким. На склонах сильно и приятно пахло нагретой сосновой хвоей. Во влажной дымке плыли соседние горы. И вид открывался царский с высоты более полукилометра. Поблескивал на солнце морской залив. Между островами в заливе были перекинуты большие мосты. Середина залива разгораживалась тросами на деянки морских плантаций по искусственному разведению устриц. Прямо под горой стояли плоские корпуса завода автомобильной фирмы «Мазда», на крышах многоэтажных хранилищ разноцветными пятнышками сверкали тысячи готовых к отправке машин. В центре города высились большие здания, а по окраинам одноэтажные жилые домики красиво сверкали густой бирюзой черепичных крыш. По серпантину дороги на гору катили сотни авто.

Хотя до поезда оставалось мало времени и мы готовы были довольствоваться увиденным, вежливый Суми-сан, проявляя настойчивость, повез нас еще в какой-то любимый им сад сплошь в белых и красных цветах сакуки. Разбитый на склоне горы сад казался многоэтажным, тесным. Люди ходили друг под другом и друг над другом по посыпанным гравием дорожкам, с чувством и знанием дела рассматривая цветы. Буквально в метре от дорожек, на площадках-пятачках молодые и старые японцы сидели на циновках, и перед ними на развернутых газетах была разложена нежирная еда, стояли бутылки с пивом. Кое-где веселье уже было в разгаре, хором пели песни... И непроницаемый японец Суми-сан сказал с тихим восхищением:

— Сюда люди приходят, чтобы на цветы полюбоваться, а также выпить и закутить — именно в таком порядке...

И меня, человека, приехавшего сюда на сутки в поисках своей личной, не взятой из описаний других Хиросимы, в этом неожиданном месте вдруг охватило неожиданное чувство щемящей близости к этим людям на циночках, и я вспомнил довоенное детство, отца с матерью, брата и сестру и подумал, что на этих их хиросимских газетках недостает четвертинки водки, яичь вкрутую и зеленого лука с солью в спичечном коробке, и еще жаль, что в их саду не раздастся музыка — то веселая, то пронзительно грустная — духового оркестра. Как будто и не раскололось время — до Хиросимы и после Хиросимы.

Ждали поезда. На перроне три пары молодоженов стояли с гирляндами цветов на шеях, счастливо-озабоченные, окруженные родственниками и сверстниками. Их провожали в свадебное путешествие. Три торжественно-живописных компании — старики в черных фраках, старушки в темных кимоно, молодые девушки в ярких кимоно и парни в черных костюмах и белых галстуках. Подбрасываемый друзьями, то один, то другой жених взлетал в воздух вверх тормашками.

Поезд подошел. В наш вагон вошла одна пара молодоженов. Когда провожающие уплыли за окном, они сняли гирлянды цветов и стали как все. Поезд быстро набрал скорость. У них начиналась другая, новая жизнь.

Мы ехали в Киото, древнюю столицу Японии с ее знаменитыми храмами и садами, которые утоляют любовь японца к гармонии и красоте. Киото тоже числился среди возможных мишеней атомной бомбардировки, но атомные боги из Америки пощадили древний город, избрав жертвами Хиросиму и Нагасаки.

В единственное мое хиросимское утро еще до стадиона, сада и горы Огондзаган я записал в тетради: «Есть что-то постыдное (от праздного зеваки, от соглядатая) в том, чтобы приезжать в Хиросиму — как бы подглядывать место общечеловеческого стыда, полюбопытствовать: а как они живут после этого, а помнят ли они об этом? А ведь тем, кто пережил, даже на небо, может быть, страшно смотреть».

Чувство произвольное и искреннее, но мысль спорная. Постыдное? Смотри с каким впечатлением уезжаешь. Я ехал в город-символ, символ жестокости человека и его способности причинять страдания себе подобным. Но нельзя ехать только за этим впечатлением и невозможно уехать только с ним — как тогда жить? И механизм внутреннего саморегулирования, работающий помимо нашей воли, не подвел и на этот раз и за пределами Мемориального комплекса снабдил меня другими впечатлениями о Хиросиме. И уезжал я, как сейчас понимаю, с ощущением неистребимости жизни и того ее противоречивого, животворящего, спасительного — и опасного! — свойства, которое зовется забвением.

Вскоре после поездки в Хиросиму я читал «Божественную комедию» Данте. Читал без всякой задней мысли, но Хиросима стала приходить на ум, когда дошел до страниц с описанием путешествия Данте с Вергилием по кругам ада. Смертвенная фантазия великого поэта и уходящая в прошлое, но не затухающая, пророческая боль Хиросимы. Конечно, Дантов ад как риторическая фигура всегда под рукой у златоустов современности, но если брать саму плоть и мясо его описаний, ужасы всех девяти кругов вплоть до — употребим этот термин — эпицентра в виде ледяного озера Коциг, то мы, люди конца XX века, можем сказать о них так же, как сказал Лев Толстой о произведениях Леонида Андреева: «Он меня пугает, а мне не страшно...» Не потому, что мы бесстрашные, а потому, что знаем об аде на земле, сотворенном наукой вкупе с политикой. Не страшно, потому что страшно другое: множится и множится ассортимент ядерной смерти и все больше совершенствуется межконтинентальная служба доставки ее на дом.

«Спите спокойно. Ошибку не повторим», — сказано мертвым под бетонным седлом Кенотафа. Сказано от имени всего человечества. Без полномочий от человечества. В надежде, что человечество не устанет повторять эту клятву.



---

---

# ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

В. А. КУПЧЕНКО



## ВОЛЬНОЛЮБИВАЯ ЮНОСТЬ ПОЭТА

М. А. Волошин в студенческом движении

Максимилиан Александрович Волошин (1877—1932) всегда считал себя прежде всего поэтом. Однако он был и талантливым переводчиком (с французского языка), с успехом выступал на поприще литературной и художественной критики, помимо слова, профессионально владел кистью и карандашом. Страстный путешественник; пешком обошедший пол-Европы, он в конце концов открыл «неведомую землю» на своей родине: в короткое время Коктебель стал Меккой литераторов и живописцев. Дом поэта, построенный им в этом уголке Восточного Крыма, после Великой Октябрьской революции притягивал к себе многих советских художников, он поистине оказался одним из центров формирования новой интеллигенции. Впоследствии в Коктебеле разместился Дом творчества советских писателей...

Вокруг имени Волошина сложилось множество легенд; документальное изучение его жизни и творчества по-настоящему только начинается. Публикуемая статья призвана осветить ранний период его жизни, время его становления. Большая часть материалов почерпнута из волошинского архива, хранящегося в Институте русской литературы Академии наук СССР в Ленинграде; использованы также материалы Центрального государственного архива Октябрьской революции. Ход студенческих волнений воспроизведен в основном по книге В. Орлова «Студенческое движение Московского университета в XIX столетии» (М. 1934).

Осенью 1897 года, окончив гимназию, М. А. Волошин поступает на юридический факультет Московского университета. В письмах домой в Феодосию он подробно описывает свою новую жизнь — и письма эти становятся все красочнее. Вот одна из первых университетских лекций: «Огромная зала — аудитория 1 курса юри[дического] факульт[ета]. По стенам колонны, нарисованные барельефы, портреты Пирогова и Соловьева. Это актовая зала. В зале гул голосов пятисот человек. Лица все незнакомые: бородастые, лохматые, усатые, франтоватые, с бакенбардами, розовые, покрытые первым пухом невинности, измотанные и потертые жизнью...» Появляется профессор. «Небольшая, сухая, угловатая фигура. Лицо простое — мужицкое. Умный высокий лоб, яркие глаза. Это Чупров... Голос у него приятный, гибкий. Говорит он несколько торопливо, но сердечно. Чувствуется какая-то внутренняя приподнятость, которая наружу не прорывается, но слушателям невольно передается. Он не ораторствует, а беседует...»

Однако далеко не все профессора стоят на таком уровне. П. П. Мрочек-Дроздовский, например, начинает свою лекцию с того, что признается в своей нелюбви к русскому праву, которое должен читать. «От всей фигуры его веет скукой... Он однообразно журчит целый час, усыпляет всех и уходит». А профессор Д. Я. Самоквасов считает, что «русское право — чрезвычайно запутанная вещь» и «нужно только коё-как подготовить по билетам», чтобы выдержать экзамен. Бесцветность большинства профессоров первого курса Волошина, впрочем, не угнетает — можно ведь и дома заниматься, — а все выпады против русского права не мешают ему с увлечением заниматься его изучением («по Беляеву» — и он находит, что это «преинтересная вещь»!

Больше всего Волошина занимает в этот период затейный им «Студенческий сборник». Подобные сборники, предпринимавшиеся в пользу нуждающихся студентов, уже издавались в Петербурге, Киеве и Харькове. В Москве таких студентов также предостаточно. «В этом году 900 человек за невнесение платы исключают», — пишет Максимилиан Александрович своему другу А. М. Петровой в Феодосию. А помимо

благотворительной стороны, сборник, по мысли Волошина, должен стать «зеркалом студенческой жизни и мысли» и даже «объединяющим началом для всего студенчества». «На днях по аудиториям будут развешаны объявления, приглашающие студентов к участию в Сборнике. Дело кипит!» — ликовал Максимилиан Александрович.

Исподволь, но неуклонно в Волошине идет процесс самоопределения личности. Неожиданное известие, что он находится под негласным надзором полиции, только повышает его в собственных глазах. Не случайно именно в это время Волошин затевает «капитальный труд» — перевод поэмы Гейне «Германия». Несомненно, она близка ему своим протестантским духом, своим убийственным сарказмом.

Отталкиваясь от окружающей его обстановки, в которой «все слишком серо, бесцветно, вяло и безыдейно», Волошин тогда же увлекается эпохой народовольцев. Глубокое впечатление производит на него стихотворение в прозе И. С. Тургенева «Порог», напечатанное в свое время в нелегальной газете «Народная воля». Затем в руки ему попадает «Официальный отчет о деле Первого марта». «Отчет, конечно, пристрастный и односторонний, — характеризует он этот документ в письме к Петровой. — «Кровожадные исчадия тьмы» рисуются в нем самыми темными красками. А все-таки, прочтя всю книгу, я невольно подумал: «Это тоже были святые» — и едва ли много было личностей, которые любили бы Россию и русский народ так, как любили они».

Во время рождественских каникул в Москве Волошин знакомится с Жебунёвыми — семейством, от которого на него «пахнуло той жизнью», которую он искал. Здесь он встретил «живых» народовольцев: Владимир Александрович и его жена Мария Александровна работали в революционных кружках, вели пропаганду среди крестьян, были под арестом и в ссылке. В их квартире в доме 243 на Садовой-Самотечной Волошин познакомился, по его словам, и с некоторыми другими «замечательными личностями», в частности «с известным экономистом Воронцовым, который пишет под буквами В. В.», и надеялся познакомиться с Н. Н. Златовратским, бывшим частым гостем Жебунёвых.

Продолжая изучение материалов о народовольцах и в новом, 1898 году, Волошин открывает для себя «целый мир». «Передо мной раскрылись течения и движения семидесятих годов, и раскрылись в таком свете и в таком виде, что я был поражен и подавлен... Какие громадные личности, какая железная сила воли, какая страстная любовь к родине — и это все уничтожено, замыто, скрыто, искажено... Мы, русские, совсем не знаем своего прошлого — наше наследство, наше достояние скрыто и отнято у нас». По-прежнему доискиваясь, «почему так мелка и безотраднa наша молодежь», Волошин заключает: «Она не знает ни своего прошлого, ни своего настоящего... Все мы живем в каком-то искусственно созданном для нас парнике, в который доступ внешним впечатлениям и свежим струям закрыт».

Волошин пытается осмыслить «свое прошлое» и связать его с настоящим. «Интересно проследить волнообразную линию русских поколений: шестидесятники — логический разум, увлечение наукой, отрицание чувства; семидесятники — «диктатура сердца», увлечение народом, полное самопожертвование в пользу его; восьмидесятники — царство Льва Толстого: самоанализ, погружение в себя, вопросы совести; девяностодесятники — отсутствие деятельности, увлечение Марксом, научным материализмом, все объясняется экономическими факторами. Что-то скажем, наконец, мы — первое поколение двадцатого столетия?.. Пока я еще чувствую себя в положении оратора на юбилейном обеде, который с бокалом в руке торжественно поднялся со стула, чтобы сказать спич, но совершенно не знает, с чего начать...» Тем не менее студент первого курса пытается уже от слов переходить к делу. Он пишет стихотворение «Доля русского поэта», звучащее своего рода программой:

В вековом исканьи света,  
В тине пошлости и зла,  
Доля русского поэта  
Бесконечно тяжела.

Жажда жизни, жажда воли  
Исстрадавшейся душой —  
Тяжелее этой доли  
Не сыскать другой!

Не жилища в этом мире  
Наша муза. Ведь она  
В глубине самой Сибири  
Жгучим горем рождена.

Эти песни прилетели  
И родились среди степей —  
В буйном ропоте метели,  
Под зловеющий звон цепей...

Его глубоко захватывает процесс Эмиля Золя. И поскольку в травле писателя приняли участие французские студенты, Волошин начинает деятельную агитацию, предлагая «послать ему сочувственное письмо от московских студентов». 31 января он информирует Петрову, что таких писем уже отправлено несколько, причем «первое было отправлено по моей инициативе». «Только поражаешься на то, что теперь делается во Франции! — негодует он. — Раньше я думал, что такие безобразия и такой культ генералов возможны только в России, — оказывается, нет. Поразительно!»

Протестуя против «французских безобразий», Волошин ни на минуту не забывает о русских. «Сколько людей теперь, поди, возмущаются Францией в деле Дрейфуса — и не подозревая того, что у нас не один, а тысячи Дрейфусов существуют, и документальные данные я тому видел... Делается такое, что волосы дыбом становятся и дух от негодования захватывает», «Многое смогу я вам рассказать, когда приеду», — обещает он Петровой.

В стихотворении «19 февраля», аллегорически изображающем отмену крепостного права, он впервые пытается выразить свое критическое отношение к царскому строю:

И, хоть стены крепостные  
Въявь упали, — тем сильней  
Сон народный охраняют  
Кабани и ряд церквей.

А чтоб кем-нибудь случайно  
Потревожен не был он,  
Послан был начальник земский  
Охранять народный сон...

Нет, не зря полиция установила за Волошиным надзор! Сам он относится к этому мероприятию с иронией. Надзор, по его словам, «сказывается только в том, что меня знают все университетские педеля да градовой на нашем углу вытягивается передо мной во фронт и отдаёт честь». Правда, есть еще «невидимые последствия» такого внимания власти — вскрытие писем, и оно порой раздражает Максимилиана Александровича. «Жаль, что не обо всем говорить можно, имея в виду, что письма вскрываются», — сетует он в письме от 28 января.

Была еще одна сторона деятельности Волошина, в которой его оппозиционерство могло найти себе выход: участие в землячествах. Землячества, объединявшие студентов по месту их обучения в гимназиях и семинариях, официально были запрещены. Однако потребность в товарищеском общении, а для большинства — в материальной поддержке толкала студентов-земляков на объединение. Именно поэтому администрация вынуждена была смотреть сквозь пальцы на запрещенные ею же организации. «Ни землячества, ни имена их членов никакой тайны от инспекции не представляют», — писал Волошин матери.

Сам он вступил в Крымское землячество в первый же год обучения в университете. По-видимому, главным его побуждением было желание приобрести на новом месте товарищей, но и материальная сторона была небезразлична. Первое упоминание о землячестве в его письмах связано с займом в земляческой кассе, который он сделал, не получив вовремя от матери денег, чтобы заплатить за квартиру. Помимо своей роли «обществ взаимного кредита», землячества выполняли и другую работу: в них создавались библиотеки, «кружки саморазвития» (где студенты по очереди зачитывали составленные ими по тому или иному научному сочинению рефераты), составлялись петиции, адреса, прокламации. Однако Волошин, не нашедший среди студентов сколько-нибудь ярких личностей, скептически отнёсся к проявлению общественной активности членов землячеств, да и в самих землячествах не видел для себя ничего «особенно дорогого и приятного». Настроение это резко изменилось после событий 8 февраля, послуживших толчком к Первой всероссийской студенческой забастовке. Сам Волошин в письме к своему гимназическому приятелю Василию Гауфлеру, находив-

шемуся в Берлине, так описывал ход событий: «8 февраля, в годовщину основания Петербур[гского] универ[ситета], студенты, возвращаясь с акта по домам, не были пропущены полицией через мост. И когда, таким образом, перед мостом образовалась толпа, то казакам приказано было ее разогнать нагайками,— причем на месте осталось трое убитых: один студент, курсистка и сторож конно-железной дороги, бывший в толпе. После этого в течение двух недель студенты в сех высших учебных заведениях и во всей России объявили, что, пока виновные не будут наказаны, они будут препятствовать правильному ходу университетской жизни и не станут посещать лекций: один за другим все они были закрыты (самими студентами). Тогда в университетах начали сотнями исключать забастовщиков и высылать на родину».

Разумеется, Волошин не мог остаться в стороне от движения, принимавшего такой размах. По донесению помощника инспектора, он пытался «произвести волнение в актовом зале, где собирал вокруг себя кружок слушателей»; «то же он пытался делать и в аудитории своего курса». Сам Максимилиан Александрович позднее уточнял, что в актовом зале «в тот день не агитировал... зато в библиотечной сказал пять слов».

В тот же день 58 студентов университета из наиболее «беспокойных» были уволены и вечером высланы по месту жительства. Высылали «самым семейным образом»: на квартиру являлся околоточный, просил собрать вещи, сажал на извозчика, отвозил на вокзал и, купив, если не было своих средств, билет третьего класса до станции назначения, ждал, пока не отойдет поезд. Bravo козырял своему студенту и отправлялся за следующим. Тогда в популярной песне пелось:

Кто-то мне судьбу предскажет  
И какой городской  
На вокзал везти прикажет  
И отправит на покой?..

По-видимому, именно таким способом был отправлен в Феодосию Волошин. Арестован он был 16 февраля в 10 часов утра. 17-го в охранном отделении он заполняет сведения о себе и дает расписку в том, что уведомлен о своем увольнении «с 15 сего февраля из числа студентов».

В Феодосии Волошина неотвязно волнуют дела в университете. «Быть высланным после первого дня и не знать продолжения — это чересчур досадно!» — сетует он в письме к матери по приезде в Феодосию. «Господи! и как это глупо — вылететь в самом начале... и потом не быть в состоянии действовать, когда хочется и когда надо сие», — делится он со своим кузеном Я. А. Готовым 22 февраля. «Ты себе представить не можешь, какое удовольствие доставляет мне всякое известие о студенческих делах и как я корчусь в судорогах от невозможности видеть все самому», — пишет он ему.

Между тем события в Москве развивались так. 19 февраля в газетах появилось сообщение о создании правительственной комиссии для расследования «событий 8 февраля». Однако студенты решают продолжать забастовку до возвращения всех высланных товарищей. 7 марта министр народного просвещения утверждает ходатайство правления университета об обратном приеме исключенных студентов. К 12 марта, по сведениям охранного отделения, в университет были возвращены все высланные, кроме 16 «наиболее виновных в агитации». Однако в тот же день исполком, переизбранный и пополнившийся вернувшимися радикально настроенными студентами, выносит постановление о продолжении забастовки. Причиной послужило неожиданное запрещение студенческих сходок вообще, а также сведения о волне полицейских репрессий в провинциальных университетах — Варшавском, Киевском, Томском, Харьковском. 17 марта занятия в университете окончательно прекратились — и одновременно все студенты, участвовавшие в забастовке, были исключены. 18 марта «Русские ведомости», сообщая о закрытии Московского университета, писали, что студенты, желающие продолжать учебу, могут быть приняты лишь при условии подачи прошения с обещанием «полного подчинения установленным правилам».

Узнав о закрытии университета, Волошин пишет матери: «Я подавать прошение не буду, считая это со своей стороны подлостью». Получив от Елены Оттобальдовны письмо, он решительно подтверждает свой протест. «Нет! Я только тогда решусь подать такое прошение с обязательством, когда узнаю, что решено забастовку продолжать: продолжать, если даже и лекции прекратятся и начнутся экзамены, продолжать даже и во время экзаменов, не являясь на них так же, как мы раньше не являлись на лекции. Но это все,



впрочем, невозможные утопии, и хоть студенчество в этом году сделало столько, сколько я никак от него ожидать не мог, но все-таки забастовку во время экзаменов оно не устроит».

В Феодосии Волошин знакомится с тремя политическими — бывшими московскими студентами, высланными «по рабочим движениям». Особенно по душе пришелся ему Павел Павлович Покровский, «ярый марксист». «Он пишет статьи в «Научн[ом] обозрении», получает «Начало» и несколько англ[ийских] экономич[еских] журналов». «Я, благодаря ему, начинаю чувствовать к марксистам глубокое почтение», — признавался Волошин Глотову. Несомненно в связи с этим он обращается к матери с просьбой привезти ему наряду с трудами Г. Брандеса «1-й том «Капитала»...».

В Феодосии Волошин устраивает небольшую демонстрацию: вывешивает в городской читальне протест против получения реакционного «Нового времени» (издатель которого выступил с резким осуждением студенческого движения). «Под ним уже подписалось 30 посетителей, и сегодня назначено экстренное собрание членов комитета заведующим городской библиотекой для обсуждения этого инцидента», — сообщил Волошин Глотову 29 марта. Причину беспокойства заведующего можно было понять: савонный А. С. Суворин имел в Феодосии дачу и не сомневался «в верноподданности своих феодосийцев». «Посмотрим! — с молодым задором восклицает Волошин. — Если даже читальня и не откажется от «Нов[ого] Вр[емени]», то, во всяк[ом] случае, это падает в местную газету...»

Новые подробности об университетских делах Максимилиан Александрович узнает от Пешковского, своего друга по гимназии, проездом в Ялту остановившегося на два дня в Феодосии, от Елены Оттобальдовны, приехавшей из Москвы 3 апреля, из двух писем Глотова. Высланный в Феодосию студент-караим Бобович рассказывает Волошину, «с какими овациями их встречали при проезде харьковские студенты, — причем полиция харьковская, которой на вокзале было очень много, вела себя удивительно, совсем на европейский лад: в ту залу, где собрались студенты, постороннюю публику не впускала, говоря, что туда только студентам можно, и сама не входила. Так что сходка или, скорее, революционный банкет, происходивший там, совершался под охраной полиции». «Чем все это кончится — Бог его весть, — пишет Волошин Глотову, — но все совершающееся так ново и необычно, что рождает массу надежд на лучшее будущее. Мы все-таки — сила... Для рус[ского] прав[ительства] нет ничего невозможного... в сфере административн[ых] распоряжений: оно может высочайшим указом произвести всех рядовых в генералы, всех писарей в начальники отделений, но произвести административн[ым] путем московских дворников и городских в адвокатов, докторов, учителей и т. д. невозможно даже для русск[ого] правительства... Во всяком случае, Россия в наст[оящую] минуту переживает момент очень интересный...»

Между тем студенческое движение слабеет. К 24 марта уволенных из университета оказалось 815 человек — наиболее радикальная часть студенчества. Старания исполкома сорвать экзамены к успеху не привели — и сам исполнительный комитет состав за составом ликвидировался охранным отделением. К концу апреля Первая всероссийская студенческая забастовка была практически свернута...

Но Волошин по-прежнему не хочет сдаваться. «Если только студенческие волнения возобновятся, — пишет он в начале мая профессору Озерову, — то я[...] быть в стороне считаю нечестным». Узнав от профессора, что «половина из 800 будет принята», он пишет: «...неужели эти 400 будут приняты только под условием принесения извинения и покаяния...? Вот ни за что бы я не стал еще прощенья просить. Ведь это насмешка просто!»

С 5 апреля Волошин живет в Коктебеле, откуда в течение лета совершает походы в Ялту, Севастополь, на Чатыр-Даг. В начале августа он подает прошение об обратном зачислении в университет (безо всяких обязательств — просто: «Прошу Вас сделать зависящее от Вас распоряжение о зачислении меня...»). Еще до получения официального ответа студент университета М. Лавров сообщает ему, что он, видимо, будет принят только в январе. Гостивший у Елены Оттобальдовны присяжный поверенный В. В. Быховский советует Волошину воспользоваться этим временем для поездки за границу — «для общего осмотра». Максимилиан Александрович загорается этой идеей. 25 августа получены заграничные паспорта, 29-го Волошин с матерью покидают Феодосию.

Киев, Краков, Вена, Северная Италия, Швейцария, Париж, Берлин — таков маршрут первого заграничного путешествия Волошина. Его кругозор ширится, свободоло-

бивые настроения крепнут. В Париже огромное впечатление производит на него открытие памятника «торжества Республики», состоявшееся 19 ноября. «Был яркий солнечный день. Семизэтажные дома были усеяны народом и увиты флагами, на старых деревьях бульваров висели гроздья уличных мальчишек. А по бесконечным улицам широким потоком лилась могучая народная толпа с развивающимися красными знаменами социальной революции. Потухая и зажигаясь снова, раскатывался и развевался мотив Карманьолы, смешиваясь с лучами солнца... Я шел в толпе за знаменем, на котором было написано: «Ni Dieu, ni maître» (ни Бога, ни господина!); я сам чувствовал себя частью толпы и кричал «vive Zola!» вместе с другими», — писал Максимилиан Александрович Петровой.

В Берлине, где он проводит два месяца, Волошин много читает. 9 января 1900 года он пишет в Феодосию Петровой: «Прочел я недавно «Воскресение» в заграничном издании — и был поражен страшной силой некоторых сцен, которых в русских изданиях, разумеется, нет». Особенно сильное впечатление производит на него «рассказ Нехлюдову одного политического — о том, как были повешены 2 его знакомых». Выпуски «Воскресения», о которых идет речь, издавал В. Г. Чертков, и 17 января Волошин пишет ему в Лондон, осведомляясь, нельзя ли выписать другие издания «Свободного слова». В частности, его интересуют произведения Ренана, письма Цебриковой<sup>1</sup>, некоторые тома Герцена, письмо Белинского к Гоголю и «другие книги такого рода». Показательно, что Волошин обращается к Черткову как бы от лица некоей группы: «Пока мы находимся в полном неведении... мы совершенные новички в этом деле...» — и объявляет своей и своих единомышленников целью распространение библиотечек из запрещенных книг «в провинции, преимущественно между учащимися средн[их] учебных заведений».

За время пребывания за границей в Волошине все определеннее становится ощущение ненужности для него юридического образования. «Не перейти ли мне лучше на историко-филологический факультет? — пишет он Елене Оттобальдовне. — В сущности, все мои интересы направлены именно в эту сторону — истории, искусства и литературы, а никак не права».

Однако примут ли его еще в университет?.. 16 декабря 1899 года он отправил в университетскую канцелярию просьбу известить его: может ли он «весною 1900 года держать полукурсовые экзамены со второго курса на третий»? И вот идет неделя за неделей, а ответа все нет. Может быть, от него ждут просьб о прощении?.. Нет, на это он не пойдет. «Это прямо издевательство какое-то — со всеми этими бесконечными прошениями и беспричинными принятиями и непринятиями, допущениями и недопущениями!» — возмущается Волошин в письме к матери 5 января. Он сочиняет «Прошение», в котором нарочито «неудобопонятно и тяжело» излагает все перипетии своих исключений, прося разъяснить ему, почему «университетским советом было принято четыре последовательных решения, то смягчавших, то увеличивавших» его наказание, «без всяких на то поводов». Его также возмущает, что «ни одно университетское решение не было объявлено ему письменно, а все было устно сообщено» или его матери или родственникам, «справлявшимся в канцелярии». «Также ни разу не было мне отвечено и на мои просьбы о высылке мне моих бумаг, которые и до сих пор мною не получены».

Увы! И на этот раз из университета не последовало никакого отклика. Правда, при посредстве Глотова Максимилиан Александрович узнает, что он может поступить «только в августе 1900». Однако затем Елена Оттобальдовна, переговорившая с инспектором Р. Державиным, сообщает, что он может быть допущен к весенним экзаменам — при честном слове не участвовать в беспорядках. 23 января он пишет в ответ: «Раз беспорядки в университете возникнут, то не принимать в них участия я считаю нечестным». В конце концов Волошин приходит к выводу, что ему необходимо самому ехать в Москву и на месте выяснить обстановку. 25 января 1900 года он покидает Берлин.

Волошин отправляется к Державину, и у них происходит «удивительный разговор». «Инспектор был глубоко либерален, я — возвышенно радикален; он меня отечески увещевал не портить своей карьеры, я ему доказывал огромное воспитательное значение студенческих беспорядков; он меня просил дать слово в том, что я не буду больше

<sup>1</sup> Цебрикова М. К. (1835—1917) — писательница народнического толка. В 1890 году напечатала за границей либеральное «Письмо к Александру III».

участвовать в беспорядках, обещая, что он «об этом никому не скажет», я же говорил, что не могу не участвовать, что мои убеждения и т. д. Наконец мы сошлись на том, что я в случае наступления новых беспорядков, в которых я сочту своим долгом принять участие, сам подаю прошение об увольнении и уеду за границу». Инспектор «остался этим совершенно удовлетворен и на радостях,— заключает Волошин,— разрешил мне участвовать в землячествах».

19 января правление императорского Московского университета, предполагая «допустить к экзаменам в мае месяце 1900 года бывшего студента» Кириенко-Волошина, запрашивает московского обер-полицеймейстера, не встречается ли с его стороны «к сему препятствий». Препятствий не обнаружилось. Однако помощник инспектора (неразборчиво подписавший свою фамилию), в течение предыдущих полутора лет обращавший на неблагонадежного студента особое внимание, рекомендует и дальше держать его под неослабным надзором...

Волошин ничего не знает об этой переписке. Он счастлив, что может не посещать лекций, что вдобавок освобождает его от зачетов и платы за учение. Поселившись у своих кузин Ляминых на Арбате, он живет в свое удовольствие: «бегает по знакомым», занимается историей искусства, выступает с речами «на разных юбилеях и обедах». Чтобы добыть денег для летнего путешествия в Италию, Волошин берется за перевод немецких экономических книг.

Мы не знаем, как часто Волошин в ту весну бывал в университете. Между тем там снова назревали события. В конце февраля был опять сформирован исполнительный комитет землячества, провозгласивший своей целью «регулирование общественной жизни студенчества и разборку общестуденческих вопросов». Было объединено более 500 студентов; исполком имел своих корреспондентов в Киеве, Харькове, Одессе; в середине марта началась подготовка съезда представителей от всех университетских организаций России. Студенты — социал-демократы все больше толкали исполком к общегражданской, политической борьбе: в прокламации от 22 марта ИК заявил о желательности сближения студенческого движения с деятельностью других революционных организаций — прежде всего с рабочей партией.

Существует легенда, что Волошин был председателем исполнительного комитета Московского университета. Между тем по документам известно, что председателем исполкома в 1900 году был естественник второго курса Л. А. Сенявин; Волошин же состоял заместителем представителя от Крымского землячества (представителем был П. Н. Глоба). Впоследствии Волошин определил свое участие во «вторых беспорядках» так: «В 1900 г. [...] арестован по делу о Всероссийском студенческом съезде». Съезд этот планировался на лето, местом его сначала был избран Киев, затем Одесса. Охранное отделение, державшее деятельность исполкома Московского университета под неусыпным контролем, решило, что «наиболее удобным для ликвидации» моментом является момент съезда, так как «будут захвачены одновременно делегаты всех высших учебн[ых] заведений и организации студенческие будут лишены возможности продолжать свою деятельность с возобновлением учебных занятий».

Таким образом, Волошин и его соратники спокойно готовились к экзаменам, не зная, что их участь предreshена. Правда, успех на экзаменах весьма мало волновал Максимилиана Александровича. «Провались я теперь,— признавался он матери,— я, мне кажется, право, обрадовался бы этому,— потому что это сразу бы покончило со всей канителью юридического факультета, на который я попал, сам не знаю почему». Значительно больше занимает его подготовка к путешествию по Италии: он «подучивает» итальянский язык, штудирует «карты Италии и итальянскую живопись», составляет примерную смету путешествия.

26 мая Волошин с тремя спутниками выезжает из Москвы за границу. Австро-Венгрия, пеший переход через Тирольские Альпы, вся Италия — от озера Комо на севере до южного порта Бриндизи, — Афины, Константинополь... 28 июля Максимилиан Александрович прибывает в Севастополь — и первым делом пишет новое прошение о зачислении его «в число студентов Московского университета на третий курс». Он не знает, что еще в июне в Одессе были арестованы участники Всероссийского студенческого съезда и что та же участь уготована остальному составу исполкома Московского университета. Только «метания» Волошина по Крыму (Севастополь — Ялта — Феодосия — Керчь — Коктебель) отсрочили его арест: лишь 21 августа он был достигнут жандармами в Судак. При обыске у Волошина была обнаружена одна гектогра-

фированная прокламация «группы студентов» и «рукописное стихотворение тенденциозного характера». В тот же день он был отправлен в Москву.

Просидев по пути день в харьковской центральной тюрьме, Волошин 25 августа был доставлен в Москву в Басманный «полицейский дом». На допросе он отрицал, что был членом исполкома, признавая лишь свое участие в Крымском землячестве. 31 августа на новом допросе Максимилиан Александрович повторил, что на заседании исполкома был только однажды и как частное лицо. Впоследствии он писал Пешковскому, что, «сидючи в тюрьме», «читал, делал шведскую гимнастику и царапал на стене при помощи зубчика от гребенки... удивляя охранников своим прекрасным расположением духа». Однако в письме к Е. С. Ляминой (от 11 января 1902 года) он признавался, что испытал «то мучительнѣе чувство и те бесконечные сплетения мыслей, которые бывают до и после допросов». В другом письме (к Петровой, от 8 марта 1902 года) он вспоминал, что даже он не выдерживал тюремной пищи. Во всяком случае, позднее Волошин был убежден, что «отсидел в одиночке две недели», тогда как на самом деле был освобожден 1 сентября, то есть на восьмой день заключения...

До окончательного решения его дела Волошин был лишен права въезда в столицу и подчинен гласному надзору полиции на год. 2 сентября, подписав обязательство сообщать о перемене своего адреса в московское охранное отделение, Максимилиан Александрович выехал в Севастополь. Еще через несколько дней вместе с приятелем детства Валерианом Вяземским, инженером путей сообщения, Волошин выезжает в Среднюю Азию на изыскания железной дороги Ташкент — Оренбург. Начинается новый, переломный этап его жизни...



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

## ВЕСОМОЕ ПИСАТЕЛЬСКОЕ СЛОВО



ВЛ. ВОРОНОВ

### *Художник и его время*

Лет семьдесят назад известный театральный критик Александр Кугель, разбирая пьесу Южина «Ночной туман», в которой главным героем был выведен писатель, утверждал, что, наверно, не следует раскрывать вот так прямо — в монологах и диалогах — писательскую личность, что делать это «опасно, и притом еще, пожалуй, не очень тактично». «И вообще, между нами,— писал критик,— мы ведь все одного цеха — следует ли поднимать покрывало Изиды, если Изида есть литература?.. Ну так вот я и думаю: сохраним нашу конспирацию...»

Прошли годы, и постепенно «заговор специалистов против профанов», о котором там же писал Кугель, был раскрыт — тайны писательской лаборатории, секреты литературного творчества все чаще выносятся на публичное рассмотрение... В наши дни стало привычным — писатель, поэт, драматург охотно делится с читателем секретами своей творческой лаборатории, высказывается о произведениях собратьев по перу и т. д. Появляются многотомные автобиографические заметки, мемуарные повести, «интервью с самими собой», записки из писательских дневников и блокнотов — произведения, способные соперничать общим страничным объемом с «чистой», традиционной прозой. Целые издательские серии на протяжении десятилетий под разными названиями выходят в городах страны: «О времени и о себе», «Писатель и жизнь», «В творческой лаборатории», «Сами о себе» и т. п.

Здесь не место исследовать всесторонние причины этого явления (Наталья Банк в специальной недавно вышедшей монографии подробно рассматривает такого рода писательские работы). Ограничимся указанием на два обстоятельства, прямо связанных с интересующим нас взрывом.

Первое обстоятельство связано с общим процессом художественного развития нашего века. Серьезным художникам стал очевиден кризис сочинительства — возник особый интерес к документальному повествованию, слову-документу, непосредственному свидетельству, хронике, репортажу (об этом, в частности, обстоятельно рассуждает П. В. Палиевский в книге «Литература и теория»). Короче, писательскому слову потребовалась более прочная опора на факты и слово ныне обретает особый авторитет. Люди уповают на его убеждающую силу. Строка художника вбирает в себя силу и убежденность революционного действия, получая невиданную власть над людскими душами.

Другое обстоятельство, обусловившее нынешний взрыв художественной публицистики и критики этого рода, внутрিলитературного порядка. Оно связано с известной ситуацией, в которой оказалась литературная критика в начале 50-х годов. Неудовлетворенность ее состоянием испытывали тогда многие литераторы (можно вспомнить темпераментную статью Конст. Симонова «Критики или комментаторы» (1947), в которой было много искренних и горьких слов по адресу критики начетнической, далекой от литературы). Отсюда и активизация писательской публицистики на литературные темы на новом этапе общественного развития. Именно с того времени поток писательских раздумий, биографических эссе, интервью, заметок о своей профессии неизменно стал возрастать. Кто-то назвал эти разножанровые публицистические сочинения писательской критикой; название пришло. Редакторы газет и журналов охотно публиковали статьи и рецензии писателей: считалось, что прозаик, поэт, драматург по-своему напишет о литературе, его рецензию отличает

раскованность стиля, повышенная эмоциональность, свободная интонация...

Но процесс есть процесс. Тут же обнаружались и его издержки — рядом с талантливыми, квалифицированными писательскими выступлениями на страницах газет и журналов стали появляться достаточно поверхностные рецензии и заметки (особенно когда писатель о писателе, поэт о поэте и т. п.) Непринужденные, живые по слогу писательские статьи и рецензии, как правило, страдали тем недостатком, что были сплошь апологетичны (тогда-то и прозвучало ироническое словечко «самообслуживание»). Так что когда к началу 70-х годов заметно вырос уровень критики, повысилось внимание общественности к профессиональной критике, сложилось определенное отношение к такого рода выступлениям прозаиков, поэтов, драматургов. О них хорошо сказал Борис Бурсов в своей работе «Критика как литература»: «Меня лично радует все возрастающее вмешательство мастеров слова в дела нашего критического цеха, но одновременно и огорчает, ибо, если говорить откровенно, нередко обнаруживается слишком любительский характер их рас- суждений».

Нет, конечно, писательская критика неспособна заменить критику профессиональную, собственно критику как таковую, да она и не пытается делать это. Природа и специфика писательской критики в ином, у нее другая роль в литературном процессе.

Если говорить строго, писательская критика — это творческое самосознание мастеров прозы, поэзии, драматургии. Это другое, отличное от критики творчество, ибо в созданиях писательской критики отнюдь не всегда проявляются главные функции собственно критики. Писательские интервью, эссе и т. п., относясь к области творческого самоанализа, чаще всего во главу угла ставят непосредственно текст, творческий процесс. Здесь обычно встает вопрос не только о тексте, но и о контексте — творческом, психологическом, историко-литературном, общественном. Понятно, что для прояснения такого широкого контекста произведения весьма полезны самооценки писателя.

Особо привлекает в писательской публицистике — в размышлениях, идейных исканиях автора, прямых публицистических раздумьях о мире и человеке, о своем творчестве — возможность полнее опреде-

лить творческую индивидуальность писателя.

Перед нами публицистические книги трех известных современных прозаиков — Чингиза Айтматова, Юрия Бондарева, Георгия Маркова. Называются они: «В соавторстве с землей и водою...», «Поиск истины», «Горизонты жизни и труд писателя». В сборники включены статьи, литературные заметки, интервью, выступления на партийных и писательских съездах, на творческих совещаниях и встречах. Все три автора — видные общественные деятели, народные депутаты, лауреаты Ленинской премии, руководители творческих союзов. Поэтому в их статьях и выступлениях, естественно, нашли отражение крупные события нашей государственной, общественной, литературной жизни, международные культурные связи. Причем взгляд на эти события каждый раз индивидуальный, здесь много значат личные подходы, пути решения труднейших проблем жизни и литературы. Много значат не только темперамент, неповторимость личной судьбы, но и писательские позиции, взгляды, отношения, симпатии и антипатии.

Чингиз Айтматов, Юрий Бондарев и Георгий Марков представляют три писательских поколения. Марков встретил войну тридцатилетним, уже сложившимся прозаиком, автором романа «Строговы», Бондарев вступил в войну двадцатилетним, а Чингизу Айтматову в июне 1941 года было неполных тринадцать. И все-таки Великая Отечественная стала рубежом в биографии каждого из них, отношение к войне — творческое и личное — объединяет этих писателей.

Важно отметить и такую тонкость. Для Георгия Маркова, вступившего в сознательную общественную жизнь в середине 20-х годов, прошедшего школу комсомольской и партийной работы в период первых пятилеток, война с фашизмом была одним из крупнейших событий в жизни. Для Юрия Бондарева и его ровесников война стала главным событием, потрясением, определившим весь дальнейший путь поколения. Между первыми книгами Маркова и Бондарева полтора десятилетия («Строговы» вышли в 1939 году, а бондаревские рассказы и повесть «Юность командиров» публиковались в начале 50-х), но это были годы, вместившие в себя «сороковые, роковые».

Военное поколение писателей, к коему

принадлежит Юрий Бондарев, не сразу заговорил о войне; появление «литературы лейтенантов» совпало с общественным подъемом середины 50-х годов. Бондарев и Айтматов почти одновременно вступили в большую литературу, и характерно, что первые айтматовские повести — «Лицом к лицу» и «Джамиля» — были тематически тоже связаны с войной. Тем не менее разница в осознании войны, ее связь с личной творческой биографией каждого из трех писателей достаточно отчетливы. Те шесть-семь лет, на которые Бондарев старше Айтматова, были слишком важными для формирования духовного мира каждого. Заостряя, можно сказать, что Бондарев старше Айтматова на Отечественную войну. Автор «Последних залпов» и «Горячего снега» много сказано о том, какое место заняла война в судьбах его поколения. В 1972 году он ответил корреспонденту «Литературной газеты»: «Да, вся моя биография и биография моих сверстников пронизаны войной...»

Айтматов, повторяю, встретил войну подростком, а в день победы ему шел семнадцатый год. По его признанию, для поколения мальчишек 1941 года война была временем «сурового познания жизни... приобретения нашим обществом опыта, ставшего достоянием мирового значения». В статье «Снега на Манас-ата» Чингиз Айтматов так определил роль войны в биографии его сверстников: в те годы «началось открытие большого мира для моего поколения».

Отношение к Отечественной войне — биографическое, нравственное — составляет лишь одну грань мироощущения, индивидуальности современного литератора. Можно взять в этом плане и другие проблемы, всякий раз убеждаясь, сколь своеобразны подступы писателей к их решению.

Для Бондарева главный предмет раздумий и художественного исследования — мир человека, прошедшего через огонь и смертные испытания XX века. На тяжких дорогах Великой Отечественной войны Юрий Бондарев увидел человека в минуты его высочайшего взлета, в минуты подвига. И рядом с этим — минуты падения, когда страх превращал иного в слепое животное, движимое лишь чувством самосохранения. Раздумья о трагических проблемах бытия, о ценностях жизни стали для автора «Последних залпов» и «Берега» главными. «Видимо, человек не мог бы быть человеком, — пишет Бондарев, обра-

щаясь к читателям, — если бы он не был способен осознать возможность своей смерти, а осознав ее, познать неповторимую ценность самого себя и ценность других. В этой слабости — его величие и сознание собственной нужности на земле». Это одно из характерных для Бондарева рассуждений. Главное для него — «яркий и ровный свет найденной в борьбе истины, след упорной веры в людей».

В публицистике Юрия Бондарева преобладает интонация размышления, недаром любимые его слова — «поиск истины». Так называется книга, так можно определить движение его таланта, его героев от капитана Новикова до Вадима Никитина. Писатель исследует своих героев в моменты преодоления ими крайних, трагических ситуаций, требующих величайшего напряжения духовных и физических сил. «Отними у людей импульс самопожертвования, эту вспышку высокого духа, — и люди сильных убеждений проклянут физическое бессмертие, если даже оно станет биологически возможно». На пороге смерти Вадим Никитин приходит к решению труднейших философских проблем, вернее приближается к решению этих проблем. «Порой человеку не хватает только одного шага, чтобы совершить акт мужества и справедливости. Этот последний шаг, возможно, подготовлен всей его жизнью, — пишет Бондарев. — Но может быть и так, что в силу многих причин жизнь не подготовила его к деланию добра и воля скована растерянностью». И далее писатель высказывает важную для себя мысль: «Мгновение осознанного решительного шага и последнее движение от темноты к свету, от отрицания к утверждению — одна из главных задач искусства, это и есть сущность анализа человеческой души в ее противоречиях...».

В поисках собственной «формулы человека» Юрий Бондарев углубляется в интеллектуально-психологические сдвиги в сознании героев. Для него литература прежде всего смысловое искусство, и сила ее заключается в том, что она является актом познания и исследования.

Чингиз Айтматов тоже много размышляет о духовном мире своего современника; при этом автор «Белого парохода» часто обращает наши взоры к огромному богатству народного, национального опыта, осмысливаемого в связи с трагическим опытом XX века. Если Юрия Бондарева привлекает поиск истины и даже чистое философ-

ствование (это чувствуется и в публицистических работах писателя и в размышлениях его героев), то Чингиза Айтматова больше занимают духовно-нравственные отношения человека и общества, человека и мира. У Айтматова его любимые герои (Данияр, Дюйшен, Танабай, Мальчик) не слишком склонны к философским раздумьям — у него философствуют земля и вода, сама художественная структура айтматовской повести порой светится притчеобразным философским смыслом.

Для Чингиза Айтматова главное — судьба духовных и нравственных ценностей в современном мире, который воспринимается писателем как величайший в истории переломный этап, как эпоха взаимодействия мощных культурных традиций Запада и Востока, тысячелетней народной культуры и сегодняшнего опыта человека.

Живо чувствующий теплоту родного киргизского аила, Айтматов обостренно реагирует на глобальные проблемы современности. Свежесть его восприятия, его острый глаз, отмечающий перспективные художественные искания крупных писателей XX века, позволяют видеть мир и литературу как в первый день творения. В айтматовском восприятии мира преобладает прежде всего ощущение его новизны. Современная действительность предстает перед писателем как «новая страница в истории человечества...». За этими словами пока еще не много индивидуального. Далее Айтматов уточняет: «...новая страница в истории человечества, заставляющая переосмысливать целый ряд проблем — исторических, философских, социальных. В частности, понимание гуманизма. С одной стороны, мы и сейчас выступаем против абстрактного и внесоциального понимания гуманизма, но с другой — у нас более широкое, чем прежде, представление о гуманизме... Преодолевая все государственные, социальные, национальные различия, мы пытаемся найти общий подход к общечеловеческим проблемам. Например, к проблемам войны и мира». А год спустя на софийской встрече писателей Европы и Америки Чингиз Айтматов эту же свою мысль выразил в лаконичной образной формуле, очень по-айтматовски: «Мы все сегодня в одной лодке, а за бортом — космическая бесконечность» (из выступления «Духу Хельсинки альтернативы нет»).

Это ощущение всемирности проблем, бед и забот, волнующих современное человечество, жизненно важных для всей Зем-

ли людей, присуще творческому миро-созерцанию киргизского прозаика. Оно выражено во многих выступлениях Айтматова на партийных и писательских съездах, в беседах с зарубежными литераторами (Куртом Воннегутом, Хейнцем Плавкусом). Писатель не раз обращает внимание на задачу литературы охватить весь мир, выразить с наибольшей полнотой духовный комплекс современника, человека нашей эры.

При постановке такой задачи Айтматов не стремится обязательно выдвинуть на первый план интеллектуально-философские ценности, которым уделяет столь серьезное внимание, например, Юрий Бондарев. Однажды в беседе, включенной в рассматриваемый сборник, Чингиз Айтматов прямо заметил, что чисто философская проблематика и терминология («отчуждение», «одномерный человек» и проч.) его мало волнуют, потому что в этих понятиях, с точки зрения художника, есть нечто умозрительное, нарочито интеллектуализированное. В другой беседе на вопрос о связи современной советской литературы и философии Айтматов подчеркнул: «Для того чтобы возникли прочные связи между художественной литературой и философией, требуется какое-то историческое время. С каждой революцией жизнь общества начинается на совершенно новой основе. Все перестраивается... Начинают действовать новые закономерности, возникают новые взаимосвязи. На этом начальном этапе литература, а в частности и проза, намного более эмоциональна, нежели философична...»

Последние слова этого высказывания весьма показательны для Чингиза Айтматова: для него искусство ценно прежде всего эмоционально-духовным зарядом. «Неужели ушли из жизни сильные, страстные чувства, канули в прошлое трагические потрясения? Литература, искусство, начиная с античной трагедии, всегда были сильны этой своей стороной: способностью потрясать сердца... И я не могу согласиться, что наш век — век холодных прагматиков. Я верю в неизменную способность человека к душевным взлетам, к полноте радости и страдания...»

Наверное, поэтому сдержанна айтматовская оценка инженера Чешкова из пьесы И. Дворецкого «Человек со стороны» (фигура Чешкова не столько жизненна, сколько сконструирована как дань моде на делового человека). Наверно, поэтому же отношение Айтматова к научно-технической



революции пронизано тревожным раздумьем о нравственной цене технического прогресса, о соотношении нравственных и интеллектуальных богатств современного мира. Писатель помнит, что «научно-техническая революция несет с собой не только блага, что она воздействует на нашу психику не всегда в желательном для нас направлении. Хорошо, когда научно-технический прогресс приближает к нам космос, но не менее важно, чтобы человек в век машин и ракет оставался человеком, чтобы он не превратился в холодное, расудочное существо, позабывшее, как пахнет полынь, цветет тюльпан, как радуется весне и солнцу все живое».

Столь спокойное отношение Айтматова к прямому интеллектуализму не означает, что киргизский писатель чужд серьезным размышлениям о жизни, человеке, просто философичность его мировосприятия носит другой характер, она сливается с характером его прозы, впитавшей в себя многое из народно-мифологической образности; она и определяет основное творческое, художественное своеобразие писателя, часто не поддающееся простому логическому анализу, как любое синкретичное явление.

Нагляднее эти особенности творческого самосознания Айтматова раскрываются, когда анализируешь его прозу, в частности повести «Прощай, Гульсары!», «Белый пароход», «Пегий пес, бегущий краем моря». Существенное подспорье для такого анализа — публицистика писателя. Как ярко, например, в статье «Необходимые уточнения» (в связи с дискуссией о «Белом пароходе») Чингиз Айтматов выразил свое понимание народного мифа, его глубины, многозначности, его актуальности в наше время! Легенды, притчи, мифы составляют духовно-нравственное достояние народа, и Айтматов воспринимает их как живое творческое богатство. Заметим здесь, что современные русские прозаики — Юрий Бондарев, например, Георгий Марков или Даниил Гранин — иначе, по-своему относятся к устному народному творчеству, в основном закрепленному в печатном слове еще во времена «Кирши Данилова». Если нынешние русские прозаики и используют народные легенды, притчи (в частности, Сергей Залыгин в «Комиссии» или Василий Белов в «Бухтингах вологодских»), то, во всяком случае, не так, как Айтматов. Для киргизского прозаика легенда, миф обычно являются основой идейно-художественной концепции произведения, а не одним из многих выразительных средств

воплощения замысла (как, например, в «Царь-рыбе» Виктора Астафьева).

Такое отношение Чингиза Айтматова к народному творчеству объясняется многими причинами. Ведь еще на его памяти народные сказители эпоса о богатыре Манасе делились своими богатствами с теми, кто впервые за многие столетия решил записать бессмертные творения. Айтматов знал великого манасчи Саякбая Каралаева, умершего несколько лет назад. Для киргизского народа эпические сказания еще не стали памятником, они входят в сегодняшнее сознание жителя страны Ала-тоо. «Среди киргизов, — пишет Чингиз Айтматов, — трудно найти человека, который не знал бы истории батыра Манаса». Не удивительно, что в книгах талантливого киргизского прозаика ощутимо мифологическое образное мышление народа, шагнувшего за каких-нибудь двадцать — тридцать лет из феодально-родового строя к социалистическому укладу жизни.

На другие координаты опирается творческое мировосприятие Георгия Маркова. Юность писателя-сибиряка совпала с бурными событиями 20-х годов, с преобразованием родного края, с первыми рабфаками и коммунами. В своих статьях и выступлениях он часто вспоминает томскую землю, Приобье, которое молодой инструктор комсомола объехал и обошел вдоль и поперек — на пароходах и баржах, на плотах и лодках, верхом и пешком. «У каждого времени свои приметы», — записывает он слова друга юности. Георгий Марков помнит, скажем, как в 30-е годы «тысячи парней и девушек из городов и деревень нахлынули в Томск на рабфаки, заполнили аудитории университета и политехнического института... Стук, стук, стук... Ходили ведь больше в обуви на березовой подошве. А тротуары везде тоже деревянные. Вот откуда этот стук брался».

Столь протяженный во времени опыт позволяет писателю сравнивать настоящее, нынешнее с протекшими десятилетиями и почувствовать прежде всего громадный исторический рывок, который сделал народ, ставший первопроходцем революции. Этот ценный опыт помогает осознать подлинные масштабы происходящих событий, объективно оценивать возникающие проблемы. Писатель горьковской школы, Георгий Марков воспринял от основоположника советской литературы широкий, ясный взгляд на человека и мир, веру в че-

ловеческую способность преодолеть все трудности на пути к лучшей жизни.

Как литератор Георгий Марков сформировался в 30-е годы; в то время, особенно после Первого писательского съезда, теоретическое обоснование получали исходные принципы социалистического реализма. После групповой борьбы 20-х и начала 30-х годов творческое единство, народность творчества осознавались как главные, коренные ценности. Позже, через четверть века, органично воспринятые писателями следующих поколений, эти ценности были умножены глубокими раздумьями нашего литературоведения, критики, в том числе и критики писательской.

Георгия Маркова серьезно волнует тема творческой индивидуальности литератора, его личного, самобытного вклада в общее дело. Он убежден, что «каждый писатель познает действительность своим особым способом, присущим только ему одному». Поэтому, наверно, так часто в последние годы в статьях и интервью автор «Строговых», «Соли земли» и «Сибири» вспоминает о том, как складывался его личный творческий опыт, о своем детстве в причудливой тайге, о долгих беседах с отцом-охотником у ночных костров, о встречах на необозримых просторах Западной Сибири. Мы еще не научились в своей литературно-критической работе по-настоящему учитывать связь между той землей, тем краем, который взрастил писателя, и характером его творческого мировосприятия. Думаешь: а ведь это российские просторы, тысячекилометровые пространства Сибири располагали человека к неторопливым, долгим раздумьям; и русская проза со времен Гоголя не раз отмечала неизъяснимое воздействие этой шири и дали, влекущих мысль и воображение... В статье «В поисках поэзии и правды» Марков начинает с обращения к таким не похожим друг на друга писателям, как Пушкин, Лев Толстой и Горький, для того чтобы сказать о насущной необходимости для современных литераторов изучать жизнь не в кабинетах, а в непосредственном общении с людьми, в поездках по городам и весям родной страны.

Мысль Георгия Маркова в прозе и публицистике ищет широких обобщений, связующих начал в противоречивом потоке жизни и литературы. Беседует ли он с молодыми строителями Сибири, делает ли доклад на писательском съезде, дает ли интервью о недавней поездке — в каждом случае писатель подмечает типические

черты, существенные для понимания творческой или исторической преемственности между людьми. Потому в своем рассказе о встречах с молодежью современного Новосибирска, отмечая разительные перемены в духовном и внешнем облике юного поколения, писатель вслед за этим с большой сердечностью говорит о преемственных связях между первостроителями 20—30-х годов и юностью 60—70-х: «Эти поколения молодежи роднит самая существенная черта, присущая, вероятно, всем поколениям советских людей: самоотверженность в борьбе; бесстрашие, готовность во имя интересов Родины и торжества наших коммунистических идей на любой труд и любые подвиги».

Для Георгия Маркова первостепенное значение имеют социальные вехи тысячелетней народной истории. Для писателей молодых советских литератор, в которых первые письменные произведения на родном языке созданы в 20-е годы, социальное и национальное сплавлено несколько иначе: выход их национальных культур (например, киргизского кинематографа и киргизской литературы) на мировую арену художественной жизни явился для иных из них фактом, что называется, личной биографии. Скажем, талант Айтматова созрел в то знаменательное время, когда национальные литературы братских республик набирали свежие силы и выступали как полноправные участники мирового художественного процесса. Бондарев или Марков едва ли ощущали столь резкий перелом: они всегда чувствовали за собой мощную традицию русской художественной культуры, тысячелетний широкий поток русского искусства. Публицистические сборники Айтматова, Бондарева и Маркова дают немало оснований для сравнительного изучения творческого облика разных писателей, разных художественных школ. Отношение к темам и проблемам современности, оценка нынешнего уровня нашей прозы, преимущественное внимание к характерам или к изображению социальной среды, вопрос об учителях и классическом наследстве... Любой из аспектов помогает увидеть грани творческой самобытности писателей, более полно представить реальное идейно-художественное богатство советской литературы.

А необходимость такого анализа все более настоятельно осознается прозаиками, поэтами, драматургами. «...много раз я читал, — замечает Юрий Бондарев в «Поиске истины», — что такой-то писатель известен,

самобытен, талантлив, ярко, своеобразен, и в конце концов оказывается, что известны, талантливы, своеобразны, ярки, серьезные, даже замечательны (это уж определение никак невозможно понять) почти все, кто пишет книги, независимо от того, современный Потапенко в поле зрения или современный Чехов. Таким образом, мы уравниваем нашу литературу и одновременно принижаем самих себя, славу нашей культуры перед читающим миром... Оценки, направленные на удручающее уравнение талантов, создают впечатление литературы скуки и однообразия.

В Конституции 1936 года впервые были записаны слова о морально-политическом единстве советских людей, это было величайшим завоеванием социалистического общества. В Конституцию 1977 года включены великолепные слова из «Коммунистического манифеста», определяющие идеальное взаимоотношение личного и общего: «Свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех».

Легко понять пристальный интерес нынешней критики к творческой индивидуальности писателя, к его личному, самобытному вкладу в художественную культуру социализма, к тем незыблемым основам нашей литературы, которые в неповторимых и самостоятельных идейно-художественных исканиях советских писателей обогащаются и углубляются.

Теперь о тех произведениях писательской критики, которые приближаются непосредственно к критике: о писательских статьях на общелитературные темы, о рецензиях на книги.

Мне представляется, что прозаик или поэт, берущийся за критическую статью или рецензию, редко выходит за пределы собственного творческого мира и, по существу, больше говорит о своем художественном восприятии, нежели о тех книгах, коим посвящена статья или рецензия. Конечно, для рецензируемой книги это тоже имеет немалое значение, она вовлекается в определенные силовые линии литературы, в какие-то творческие связи (притяжения или отталкивания) с идейно-художественным миром другого.

Можно вспомнить из истории много примеров чисто писательских откликов на те или иные явления литературы, культуры, имеющих значение только для понимания творческого мира авторов высказываний, а вовсе не для осмысления творчества того, о ком говорилось (например, ста-

тья Л. Толстого о Мопассане, прежде всего интересная для толстоведения, для уяснения творческих поисков великого писателя).

Возьмем наугад, ну, хотя бы из сборника Юрия Бондарева «Поиск истины», рецензию под названием «Внутреннее освещение». Она отлично написана, бондаревская рецензия, но не об этом сейчас речь. Попробуем определить направленность разговора, вектор анализа, ответить на вопрос, о чем здесь говорится. Вопрос, казалось бы, ясный, подразумевающий и ответ: конечно же, о рассказах Юрия Куранова, ведь им же посвящена рецензия. Однако же посмотрим...

Рецензия начинается с воспоминания о посещении Юрием Бондаревым мастерской одного художника-пейзажиста, о споре, возникшем вокруг показанных там картин. Далее рецензент размышляет: «В этом споре не было затронуто одно — внутреннее освещение. Что же это такое?» И следом за вопросом прозаик-рецензент формулирует и решает один из важных для него творческих принципов: о важности в искусстве оригинального, самобытного взгляда художника на все, что он изображает. Юрий Бондарев пишет:

«Настоящее искусство тем искусство, что в нем душа художника светится как бы изнутри, озаряя идею, сюжет, тональность вещи, ее настроение. Известно, что существуют разные приемы в литературе. Талант современен тогда, когда вы чувствуете действительность без надоедливо указующего перста автора, подобно тому как ощущаете лучи солнца — ведь оно присутствует и греет вас, если даже вы не смотрите на него в упор».

Прозаику-рецензенту важно установить главное для себя, для литературы, именно затем он перекидывает мостик и в другой творческий мир: «Как и в картинах моего знакомого художника, современность и талант присутствуют в маленьких рассказах Юрия Куранова...» Отмечая в рассказах любовь к точным деталям, лиризм, доброту, он делает вывод: «Как видим, Куранов — писатель своеобразный, с тонкой чистотой красок, со своей молодой манерой, со своей труднейшей краткостью...»

Конечно же, отмеченные достоинства легко отнести ко многим хорошим прозаикам. Свообразие позиции, стиля, манеры в рецензии не раскрывается, место Куранова в лирической прозе не обозначено. Да это и не важно для Юрия Бондарева:

ему дорога мысль о внутреннем освещении, обаянии таланта. Скажу так: эта превосходно написанная рецензия много значит для понимания прежде всего бондаревского творческого мира. Для Юрия Куранова «Внутреннее освещение» было откликом и доброй творческой поддержкой со стороны крупного мастера прозы.

В публицистическую книгу Чингиза Айтматова «В соавторстве с землей и водою...» вошла статья о стихотворениях и поэмах калмыцкого поэта Давида Кугультинова. Читая статью, убеждаешься, что этот живой, доброжелательный отклик на книгу друга-писателя совсем не похож на критическую рецензию, как мы ее представляем, и является скорее творческой декларацией художнической близости, солидарности, общности литературных, гражданских позиций. И начало статьи (о словесной народной стихии, о тайне рождения талантливого поэта), и последующие рассуждения о национально-исторических корнях подлинного творчества, о сложном поэтическом мировосприятии большого художника — все это в одинаковой мере относится и к Давиду Кугультинову и к Чингизу Айтматову. Не случайно свой публицистический сборник Айтматов назвал словами из стихотворной строки калмыцкого поэта: «В соавторстве с землей и водою...» (Нужно отметить истины ради, что в статье Айтматова есть и элементы конкретного критического анализа — когда он разбирает поэму «Бунт разума».)

Конечно же, прозаику или поэту отнюдь не заказана дорога к собственно критике. Например, Маршак и Фадеев были не только отличными публицистами, мастерами поэзии и прозы, но в равной мере профессиональными критиками. В ответ мне могут заметить, что и профессиональные критики также не ограничивают свое творчество жесткими жанровыми рамками (речь идет не только о многообразии жанров критической прозы). Спрашивается: какой в этом случае смысл различать, где просто критика и где критика писательская?

Думаю, что разобраться нашим теоретикам в существо литературного явления, именуемого писательской критикой, все-таки полезно, к этому нас побуждают обстоятельства литературной жизни, вспыхивающие время от времени газетно-журнальные дискуссии на темы «Критик и читатель», «Писатель и критика», «Зачем и кому нужна критика»... Полезно учитывать, что писательская критика прежде

всего связана с творческим самосознанием художника, важным объектом нынешнего литературоведения. Более того, глубокое и точное осмысление специфики различных видов литературного творчества имеет не только теоретическое значение.

Каждый писатель — прозаик, поэт, критик, драматург — в эти дни, в преддверии XXVI партийного съезда, снова и снова обращается к собственному творчеству, к работе своих товарищей, стремясь отточить, усовершенствовать «оружие любимейшего род», чтобы лучше использовать его в коммунистическом строительстве.

Истекшее пятилетие отмечено не только масштабными сдвигами в экономике, в материальном производстве; трудно найти в последние десятилетия такой период, когда партия и литература столь сосредоточенно и всесторонне занимались проблемами духовного обеспечения общественного прогресса. Эта характерная черта времени оставляет резкую печать и на писательской публицистике. Вслушаемся, как единодушно писатели говорят о человечности зрелого социализма, о гуманистическом пафосе нашей жизни и литературы.

Чингиз Айтматов накануне XXV партийного съезда писал о дальнейшем расцвете социалистической многонациональной культуры: «Я говорю об этом не случайно. Культура всегда отражает состояние экономики общества. Все трудовые усилия, все накопление материальных благ должны в конечном итоге найти свое выражение в расцвете духовной культуры общества, в умножении и совершенствовании его нравственных ценностей, в гармоничном развитии человеческой личности. В этом — смысл жизни, в этом — высшая логика социализма».

Юрий Бондарев в статье «Нравственность — это социальная совесть писателя» заявляет: «Движение социалистической цивилизации имеет одну-единственную цель — человек, его благо, его культурное, духовное усовершенствование. Я назвал бы этот процесс миссией развитого социализма».

Георгий Марков во многих своих выступлениях и статьях подробно анализирует качественно новые черты литературы 70-х годов. «Нам необходимо, — заметил он на Шестом съезде писателей, — говоря о литературном процессе, снова подчеркнуть принципиальное превосходство нового типа культуры — нового и по содержанию, и по степени участия в ее строительстве масс трудящихся, и по степени ее влияния на духовную атмосферу общества, и по

условиям ее динамического развития, диктуемого общим ходом поступательного движения общества к коммунизму».

Размышляя о путях более активного воздействия литературы на действительность, писатели отводят публицистике значительное место. Георгий Марков на одном из писательских пленумов, посвященном публицистике, предлагал «сообща подумать,

как повысить активность нашей литературы, как поднять ее влияние на умы и души людей, на всю жизнь нашего общества». Речь идет не о скороспелых откликах, не о поверхностных иллюстрациях, а о произведениях глубокой мысли и высокого мастерства. В этом процессе активизации литературного слова серьезная роль принадлежит писательской публицистике.

## ЕВГЕНИЙ СИДОРОВ

### *Критическая проза поэта*

**Н**едавно вышедшая в «Советском писателе» критическая книга Евгения Евтушенко «Талант есть чудо не случайное» читается с живым интересом. Мета темпераментного, демократического характера стоит на каждой статье и рецензии, собранных в книгу. Но в критической прозе у этого поэта существенны и немалая тонкость суждения, нервное и гибкое ощущение чужого и потому бескорыстно близкого стиха. Когда речь идет о хорошей поэзии, Евтушенко щедр напропалую, и это придает особое обаяние его отзывам о работе товарищей по профессии.

Другое дело, что предельная исповедальность такой критики часто может не нравиться тем, о ком он пишет. Много раз приходилось слышать: «Евтушенко всегда пишет о себе, о ком бы он ни писал». Что ж из того? Лучшие статьи Евтушенко не есть собственно критика, к какой мы все привыкли, а лирическая эссеистика. Он создает образы поэтов, остающиеся в сознании и памяти читателя независимо от того, узнаёт себя оригинал в этом зеркале или нет. От поэта-критика не всегда можно требовать перевоплощения в другого художника, умирания в нем. Евтушенко, как и в стихах, всюду остается самим собой и другим быть не может. Он возвращает нам чужую поэзию, конечно же преобразованную своим напористым индивидуальным видением. Он легко «присваивает» себе стихи и судьбы, неизменно включая в них себя, не мысля иного творческого поведения. Когда мне говорят, что это нескромно, я всегда вспоминаю слова одного большого писателя, который как-то иронически заметил, что скромность является

величайшей добродетелью лишь в глазах очень будничных людей.

Евтушенко и сам охотно готов порассуждать с улыбкой на эту тему, словно бы заранее отводя упреки в свой адрес: «Ну что ж, каждый, как говорится, приходит в мир со своей собственной трубой, чтобы трубить о своей скромности, а то эту скромность никто не заметит». Он вообще любит публично призываться в собственных грехах, в глубине души отпуская их себе задолго до встречи с исповедником. Но Евтушенко не брал на душу тех грехов, которые роняют или даже колеблют в нем поэта и гражданина. Книга «Талант есть чудо не случайное» еще одно тому подтверждение.

Молодое сильное чувство в ней бродит, любовь ко всему талантливому, будь то стихи, фильм или роман, который прочел ночью не отрываясь. Какое-то здоровое, безоглядное желание жизни полной, выказанной без остатка, связанной бесчисленными нитями с судьбами ближних и дальних собеседников. Все идет в строку, все рядом и взаимосвязано: Шостакович, футбол, Вознесенский, Гарсиа Маркес, Распутин, Чурикова. Он и о жанре, не ударяясь в строгую теорию, говорит примерно такими афоризмами: «Гений выше жанра», «Любой жанр может быть коктейлем всех жанров, но только при вкусовой сочетаемости ингредиентов». Вкус Евтушенко порой вызывает несогласие, но жанр самой его работы в литературе определен им верно — это именно сочетание жанрово несочетаемого, которое поэт оправдывает самой жизнью, ни больше ни меньше. Так, о романе «Сто лет одиночества» он выра-

зительно напишет: «Эта книга, несмотря на то, что она взшла на перебоем всей мировой литературы, не пахнет бумагой и чернилами: она пахнет сыростью сельвы, горьким потом рабочей усталости и сладким потом любви, мокрой шерстью бродячих собак, дымящейся фритангой, амброй женской кожи и порохом. Эта книга матерится и молится, молодо горланит и по-старчески покряхтывает, устало мычит, как обессленный буйвол, и вопит от горя, как мать над своими расстрелянными детьми».

Он и сам мечтает писать Россию стихами и прозой, забывшими, что они бумага, чернила, жанр. При этом его буквально сжигает жажда масштабности, всеобъемлемости, вселенства. У него не хватает времени и скорости для творческой жизни, которую он себе возжелал, вымечтал и в которую поверил, и поэтому он так много и лихорадочно пишет, словно боясь не успеть высказаться по каждому вспыхнувшему в стремительном сознании поводу, обнять каждого, хоть на мгновение полюбленного. Ум подсказывает: задача не по силам; щедрое чувство с презрением отталкивает подсказки небескорыстного ума. В критике и публицистике с Евтушенко происходит то же самое, что в его поэзии. Господствующая интонация-проповедь: «Граждане, послушайте меня!» Главные его темы — классическая русская поэзия и современность русского стиха, интернационализм и гражданственность нашей культуры, Россия и ее трудный путь к реальному социалистическому гуманизму.

Большинство статей и выступлений поэта и композиционно строятся как проповедь на определенную тему. Сначала общие соображения о предмете. Что такое истинный поэт. Юность и смелость. Мое поколение. Память и злопамятность. Равнодушие и равнодушие. Дом и бездомность. И т. п. Рождаются формулы, часто с опорой на метафору. Далее мысль обращается к конкретным явлениям литературы и искусства, анализ по-прежнему эмоционален, образен, но все его детали призваны утвердить незыблемую верность общей идее, данной в прологе. Мысль Евтушенко в процессе письма не знает сомнений. В ней постоянно звучит напористая уверенность и желание убедить читателя в правоте своего взгляда иногда даже не аргументами, не текстами, а одной интонацией, одной афористичностью письма.

Но любой, даже самый блестящий афо-

ризм таит в себе схему и ограниченность. Его неотразимость мнимая, она действует на читателя и слушателя лишь в момент своего публичного рождения. Афоризмы помнят не потому, что они глубоко отражают действительность, а потому что они эффективно обращают наше сознание к противоречию или к одной какой-нибудь яркой стороне предмета. Тем самым другие, не освещенные им, еще дальше уходят в тень.

«Бесстрашие самобезжалостности» — сказано об А. Межирове, и весь очерк его творчества призван подтвердить этот постулат «истинной поэзии», следование которому будто бы дает право художнику «на безжалостность, направленную вовне». Не говоря уж о том, что Межиров шире (в дальнейшем я не буду делать таких оговорок, они подразумеваются), здесь сформулировано этически сомнительное право, как бы ни был поэт безжалостен к собственной персоне.

«И в Санчо Пансе живет Дон-Кихот» — так названа статья о Е. Винокурове, где говорится, что все его книги строятся на обнаженности «санчопансовской темы и донкихотовской антитезы и наоборот». Талантливо, остроумно? Может быть. Но подобная находка делает анализ Евтушенко несвободным, намертво привязанным к собственному нравящемуся парадоксу.

Теплые, пронизательные строки, обращенные к поэзии Н. Глазкова, Д. Самойлова, вдруг резко охлаждаются менторским тоном, уже в интонации несущим неправду. В самой заданности критической формулы, часто вынесенной в заголовки статьи, таится некая снисходительность всезнания. Если уж «непринужденность» — так это Д. Самойлов, если «обязательность творческого поведения» — так это Б. Слуцкий и никто иной. Черты схвачены, в общем-то, верно, но генерализированы, возведены в творческий принцип. И тогда рождаются требования, которым никак нельзя соответствовать. Чего стоит, например, упрек, обращенный к поэзии Б. Слуцкого, чей главнейший недостаток «состоит в том, что из ее опыта как бы выпал Блок, который знал преимущества мышления музыкой перед рациональными категориями». Внемли Слуцкий подобному дружескому совету, его как поэта не было бы. Предположение, впрочем, достаточно фантастическое.

Весьма спорными для меня выглядят и некоторые другие, бегло брошенные замечания Евтушенко. «Такой замечательный

поэт, как Ахматова, которой так восхищалась Цветаева, была лишь хранительницей традиций, но не их обновителем, и в этом смысле Цветаева выше Ахматовой». Мысль далее никак не уточняется и остается в памяти как явно небрежная, несправедливая. Права Марина Цветаева, которая так восхищалась Анной Ахматовой, и не прав Евтушенко, внезапно предположивший, что можно быть замечательным поэтом, лишь храня, подобно музею, традиции отечественного стиха, не обновляя и не развивая их. Кроме того, искусство не спорт, не табель о рангах; «обе выше», как мог бы сказать об Ахматовой и Цветаевой сам Евтушенко, если бы следовал каждый раз благородной и непредвзятой логике своей книги.

Таковы издержки этой манеры, но хватит о них, пожалуй. Меня гораздо больше занимают ее достоинства. Можно без особого преувеличения сказать, что сборник статей поэта дает хороший пример для всей нашей критики. Пример боевой критической публицистики, обращенной к самым принципиальным проблемам современного литературного развития.

Немало страниц посвящено классическому наследию, вызывающему столь острые споры. Позиция поэта мне очень близка. Она высказана им прямо и отчетливо в полемике с лукавым суесловием и выпренней аполитичностью, играющими фальшивую мелодию на чистых струнах национального, народного чувства. «Патриотизм восходит на крови собственного подвижнического неравнодушия к народу,— пишет Евтушенко в статье «Уроки русской классики». — Но неравнодушие к своему народу никогда не замыкалось в нашей классике на почвенничестве, никогда не сводилось к умиленному этнографии, никогда не доходило до того, чтобы возвышать свой народ за счет унижения других. Русская интеллигенция устами Короленко высказала свое отвращение к насаждавшемуся царской бюрократией антисемитизму. Долго тянулся спор между славянофилами и западниками, но практика решила этот вопрос по-своему. Не подражая, не обезьянничая, русская классика впитала все лучшее, что было на Западе, и, переплавив это в горниле русской совести, пришла и завоевала Запад Толстым, Достоевским, Чеховым, определив на много лет вперед все развитие мировой литературы».

К этой теме Евтушенко возвращается неоднократно. Она естественно перетекает в другой мотив, волнующий поэта: пути

русской поэтической музыки. В статье о Н. Рубцове читаем: «В понятие «земля русская» входит и живой колос, и звезда родных полей, но и громады Братской ГЭС, и КамАЗа, и сегодняшний крестьянин, но и сегодняшний пролетарий, сегодняшний интеллигент, все культурное наследие древней Руси от фресок Ферапонтова монастыря и первых летописей, но и новое культурное наследие, уже созданное социализмом, весь исторический опыт, начиная с былинных времен до сегодняшних дней, не разрываемый никакими социальными катаклизмами. Если справедливо называют духовным вандализмом неуважение к историческим памятникам древности, то так же справедливо можно назвать духовным вандализмом и пренебрежение многими сложнейшими проблемами современности, ибо сегодняшняя современность — это будущая древняя история. Наша ностальгия по есенинской линии в поэзии естественна, но эта ностальгия не имеет права превращаться в идолопоклонничество, чуждое таким живым народным характеристам, как и сам Есенин, и его потомок и ученик, но не подражатель Рубцов».

Для автора не существует традиционалистов и новаторов, а есть только хорошие и плохие поэты. Точно так же для советского писателя не может существовать запрещенных тем при условии, что им движет не спекулятивный подход к сложным проблемам действительности, а страстное желание помочь своему народу преодолеть противоречия жизни. «Факты умолчания в литературе тех или иных кусков нашей истории или освещение этих фактов под тем или иным углом, в зависимости от конъюнктуры на сегодняшний момент, чревато последствиями, ибо литература — это эмоциональная информация и недостаточно информированный или дезинформированный читатель — это неполноценный член общества».

Есть в книге статьи, посвященные поэтам советских республик: Симону Чиковани, Геворгу Эмину, Отару Чиладзе. Чувство интернациональной солидарности с прогрессивными писателями земли живет и в откликах Евтушенко на международные темы. Правда, мне кажется, что его международная публицистика, помещенная в сборнике, не всегда учитывает адрес читателя. Так, большая антивоенная статья «Каждый человек — сверхдержава», специально написанная для американского издания, выглядит в книге не очень умест-

ной, ибо толкует о вещах, для советских людей очевидных.

Евтушенко — талантливый критик и полемист. В его голосе переливаются многие тона и оттенки звучаний от ораторского трибунного пафоса до едкого сарказма, от нежного, лирического признания до веселой иронии. Он нигде не впадает в мелочность, не переходит на личности, на позиции грушовой литературной борьбы. Он неизменно корректен в споре и, отстаивая свою точку зрения, держится достойно, попрыцарски, как и положено русскому интеллигенту. Он очень ценит товарищество, литературное братство и спешит раньше критиков воздать должное, сказать верные и добрые слова о Владимире Соколове, Григории Поженяне, Булате Окуджаве, Олеге Чухонцеве, Николае Тарасове, Глебе Горбовском и о многих других старших и младших коллегах. «Прекрасная тайна товарища» — это не только о прозе Виктора Конецкого, но и о своем ощущении жизни.

Лучшая статья сборника — «Смеляков — классик советской поэзии». Здесь Евтушенко высказался с подлинным вдохновением и точностью историко-художественного анализа. Сквозь судьбу и творчество Ярослава Смелякова, может быть, особенно ярко, слепяще светят трагедийность и героика советской эпохи, история советской

поэзии с ее великими прозрениями и черными дырами разрывов. «Читатели поэзии! Когда вы будете брать в руки книги Смелякова, не забывайте, какой ценой он страдал право говорить о революции, о первых пятилетках, о патриотизме. В его гражданственности нет ни тени приспособленчества, ни тени художественного цинизма. Она оплачена дорогой ценой. А если на вашу долю выпадут тяжелые жизненные испытания, которые будут толкать вас в безверие, в безгражданственность, вспомните, что вынес Смеляков, сохранив в себе гражданское целомудрие. Пусть его мужество будет для вас примером».

Статью о Смелякове хочется цитировать целиком. «Памятника Смелякову еще нет. Но ощущение этого памятника нарастает». Уверен, что слово Евтушенко уже легло надежным, прочным камнем в пьедестал этого будущего памятника.

Теплые тени ушедших поэтов от Пушкина и Маяковского до Твардовского и Антокольского, джжание идущих рядом товарищей по искусству излучают на страницах сборника непрерывное магнитное поле культуры. По праву крупного советского поэта Евгений Евтушенко воспринимает ее как наследник, как современник и как строитель. Таково главное ощущение от этой незаурядной книги.





# ЖИЖНОЕ ОБЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**С. Семанов.** Всеволод Вишневский — писатель «напора, труда, драк, мук и побед...».— **Вл. Новиков.** «Героев начну ремеслу обучать...».— **Игорь Волгин.** Уроки Гоголя.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**В. Елисеева.** Женщины революции.— **И. Забелин.** Первый космос.— **В. Турбин.** Педагогика истории.

## Литература и искусство

### ВСЕВОЛОД ВИШНЕВСКИЙ — ПИСАТЕЛЬ «НАПОРА, ТРУДА, ДРАК, МУК И ПОБЕД...»

**Виктор Хелемендик.** Всеволод Вишневский. («Жизнь замечательных людей») М. «Молодая гвардия». 1980. 398 стр.

**В** декабре нынешнего года Всеволоду Вишневскому исполнилось бы восемьдесят лет.

Окопный солдат, моряк, писатель, драматург и редактор, он дожил только-только до пятидесяти. По нынешним понятиям почти молодой человек. Но невозможно сказать так о Вишневском: как все дети революции, он возмужал рано, зрелость пришла к нему быстро, а сделано было за недолгую жизнь очень и очень много.

Таковы они были, пришедшие в литературу прямо с гражданской войны. Аркадий Гайдар написал свою знаменитую «Школу» в двадцать шесть лет (а до этого издал уже несколько книг). Всемирно известный «Разгром» появился, когда Александру Фадееву было двадцать пять. Михаил Шолохов создал первую книгу «Тихого Дона» в двадцать два. Примеров такого рода предостаточно, однако подчеркнем главное: в ту пору ранняя зрелость — политическая, гражданская, писательская — никого не удивляла. Подобное было правилом, а не исключением.

Первый сборник рассказов Всеволода Вишневского появился, когда ему было двадцать три года. Сейчас можно сказать — слабоватый сборник, его даже побранили в печати, отнесясь со всем уважением к теме. А тема была — гражданская война, изображению которой писатель отдал впоследствии все свои силы.

Знаменит же и признан он стал тридцатилетним — после появления «Оптимистической трагедии».

Естественно, что центральное произведение драматурга занимает в книге В. Хелемендика подобающе значительное место. Подробнейшим образом рассмотрены история создания пьесы, причины, осложнившие путь пьесы к сцене, первые постановки и отзывы на них, дальнейшая сценическая судьба. Автор книги имел все основания написать:

«Спектаклю «Оптимистическая трагедия», поставленному Камерным театром, суждено было стать одним из крупнейших произведений героического жанра на советской сцене. Он получил всеобщее признание и оказал плодотворное влияние на последующие постановки пьесы в нашей стране и за рубежом. Об этом спектакле (а он прошел на сцене Камерного театра свыше 800 (!) раз) создана целая литература: не только статьи в печати, но и книги, научные работы и воспоминания, особенно после того, как миновала полоса искусственного замалчивания драматургии и театра Вишневского. И каждый автор, естественно, избирает свой угол зрения и тон повествования.

Однако, коль скоро этот спектакль принадлежит истории советского театра, очень важно, чтобы при очередных публикациях не искажалась истина, чтобы вновь выхо-

дящие издания тщательно сверялись с архивными документами.

Сам-то В. Хелемендик тщательно изучает архивные и иные документы и свидетельства, пристально сравнивает и сопоставляет их. Вот один лишь пример: вопреки распространенному благодаря позднейшим мемуаристам представлению образ Комиссара в пьесе не имел реального исторического прототипа, сам драматург неоднократно подчеркивал, что этот образ собирательный, обобщенный. В книге В. Хелемендика рассказывается о первых редакциях пьесы, в которых главным ее героем был мужчина.

Нет сомнений, что раздел книги, посвященный «Оптимистической трагедии», встретит живой интерес не только у широких читателей, но и среди специалистов — театроведов и литературоведов.

Жизненным материалом «Оптимистической» стала судьба военных моряков в гражданскую войну. Это главная тема творчества Всеволода Вишневского. Ему не нужно было опрашивать очевидцев, рыться в бумагах — словом, «изучать материал», очевидцем являлся он сам, а героями произведений становились его товарищи (или враги, которых он тоже видел не на картинках). В автобиографических записях эти подлинныя впечатления выглядят так (идет 1919 год, Южная Украина, «раненый Володька» — сам автор, имя Всеволод казалось его товарищам несколько барским, вот его и перекрестили):

«В вагон политотдела Заднепровской бригады бронепоездов вваливались матросы, занимая скамьи. Собрание...

— На повестке — организация Особого отдела. Районы бандитские — бьют нас тут со всех румбов. Человек оправиться выйдет, а его в расход... Поезда под откос пускают. Приходится подумать...

Секретарь ячейки встал:

— Тут одного ранило. В строю ему трудно. Пока пусть в Особый идет. Володька, встань.

Раненый встал и глянул одним глазом из-под громадного кома грязной марли, окутавшей распухшее лицо.

Секретарь продолжал:

— Еще кандидатура Петра Попова. Они с одного корабля — «Вани-коммуниста». Попов, встань.

Человек встал.

Раздался голос:

— Попов, у тебя какая специальность?

— Машинист.

— Вот и верти, вали.

Секретарь докладывал:

— Вот, товарищи, им все и поручим.

— А инструкции какие?

— Какие инструкции? Чудак! Доглядай да поспевай — вот и все».

«Десятилетие бешеного напора, труда, драк, мук и побед...» — называется одна из глав книги В. Хелемендика. Это можно было бы сказать и о самом Вишневском — он был писателем «напора, труда, драк, мук и побед».

Моряцкая судьба Всеволода Вишневского, его боевая биография не прихоть случая. Судьбу свою в существенной мере определял он сам. Закономерно в этой связи, что В. Хелемендик уделяет много места детству и юности героя — тут богатейший материал для всякого писателя. Напомним лишь: четырнадцатилетний Всеволод бежит на войну в гвардейский (и прославленный) Егерский полк, участвует в боях, награждается в неполных пятнадцать Георгиевским крестом, а в неполных шестнадцать получает первое ранение... Как говорится, дальше — больше. Вступает в морской отряд, сражается с анархистами (тоже моряками — вот откуда появляются позже Вожак и Сиплый!), воюет на Волге на речных судах, на Украине на бронепоездах, вновь ранен. А при этом пишет заметку в «Правду» в 1917-м, успевает окончить петроградскую классическую гимназию, чуть позже начинает пописывать в газеты. Не место рассказывать здесь биографию юного Всеволода, отошлем заинтересованного читателя к книге В. Хелемендика, там это изложено точно, полно и с хорошей мастеровитостью.

В 1930 году в театрах широко пошла пьеса Вишневского «Первая Конная». В основу здесь тоже положен собственный опыт — будущему драматургу довелось некоторое время повоевать в коннице Буденного. Нужно отдать должное В. Хелемендику — в его книге это произведение получает поистине объективную оценку, следовательно доказательно говорит о художественно слабых местах, об избытке риторики и явном недостатке подлинного реализма. Столь же обстоятельно рассматривается пьеса «Последний решительный». Любопытный штрих: биограф Всеволода Вишневского приводит список обвинений, предъявленных пьесе после премьеры, — один перечень всякого рода злодейских «измов» занял целый абзац, и среди них (еще не самое сильное) «чеховщина». Большинство обвинений были явно нелепы — В. Хелемендик получает благоприят-

ную, казалось бы, возможность для защиты своего героя. Многие биографы в подобных случаях так и поступают — из лучших побуждений, разумеется... Но здесь не так. В. Хелемендик не становится в позу присяжного поверенного, обязанного любой ценой защищать героя. Отмечая все несовершенства произведения, он тем не менее в историческом контексте дает «Последнему решительному» положительную оценку. Думаю, он прав. Прочитывая последние слова пьесы («Прощайте, дорогие... товарищи... Мы как могли... Смерть пришла... Передайте... на корабль... до конца были... Вы не сдавайтесь...»), биограф замечает, что «это было написано, еще когда Адольф Шикльгубер не стал Гитлером — фюрером „третьего рейха“». Да, победа при всех слабостях сыграла важную общественно-нравственную роль. И это лучше всего опровергает суждения иных критиков с их «измами».

В. Хелемендик не замалчивает трудности, которые встретил поначалу сценарий знаменитого фильма «Мы из Кронштадта», препятствий, которые стали на пути такого своеобразного произведения, как «Мы, русский народ». Все было, и жаркие те схватки велись не автоматами, а живыми людьми, они могли иметь свои пристрастия и заблуждения. С осторожностью объективного человека В. Хелемендик дает свою оценку этим отшумевшим бурям, показывая, в чем и почему правы и не правы были спорящие стороны (в том числе и сам В. Вишневский).

Да, завидную жизнь прожил Всеволод Вишневский! Поездки к дальневосточникам, Мадрид, блокадный Ленинград, запись беседы В. И. Чуйкова с Кребсом при капитуляции Берлина — да только ли это!

Не жизнь, а роман. И этот «роман» написан В. Хелемендиком с тщательным вниманием к фактической подоснове. Рецензенту удалось обнаружить лишь несколько мелких неточностей (например, в книге упоминается белый генерал Каппель — на самом деле герой колчаковщины В. О. Каппель в августе 1918-го был лишь подполковником). И другое важно: книга о таком боевом человеке, как Вишневский, не должна писаться вяло и монотонно. К счастью для памяти замечательного драматурга, книга о нем написана в его духе, живо, автору удается передать особенности речи героев, их душевное состояние, драматизм страстей и столкновений, которым так переполнена была описываемая эпоха.

«Талант Вишневского обладал резкой выразительностью формы, своим творчеством он утверждал стиль социальной трагедии, массового действия и оптимистического звучания, систему обобщающей образности, поднимающейся до символа, до монумента... «Человек-огонь», «человек-легенда»... Так называли его еще при жизни — за страстность, вулканический темперамент, за беспредельную преданность делу революции, партии, народа. Ровесник века, он прошел через все испытания, выпавшие на долю поколения, а бурлившие в нем страсти, жажда деятельности неизменно выносили его на передний край судьбы», — пишет В. Хелемендик, завершая свою монографию о Всеволоде Вишневском.

Что ж, юбилей замечательного писателя отмечен добротной и интересной книгой. А как в эти дни будет выглядеть его драматургия на сцене, на экране? Она тоже достойна самого сердечного внимания нашего современника.

**С. СЕМАНОВ.**



### «ГЕРОЕВ НА ЧНУ РЕМЕСЛУ ОБУЧАТЬ...»

Михаил Чулаки. Долгие поиски. Повести и рассказы. Л. «Советский писатель».

1979. 350 стр.

Михаил Чулаки. Тенор. Роман. «Нева», 1979, №№ 10—11.

Среди персонажей этого писателя нет лица без определенных занятий. Математик-программист, врач-терапевт, слесарь, еще слесарь, тренер, физик, крановщик, певец, композитор, дирижер, балерина... Разве что у героини рассказа «От „Стрелы“ до „Стрелы“» профессии пока нет, но она как раз кончает школу и самым серьезным образом размышляет на тему «кем быть?». Более того, род занятий

оказывается важным, если не решающим фактором в развитии отношений, конфликтов, споров. Научный сотрудник устыдился, что его возлюбленная лишь лаборантка, и за это наказан: она выходит замуж за другого ученого, к тому же директора института. Бригадир слесарей вступает в бой с бездушным карьеристом-администратором. Между работницей сберкассы и оперным премьером вспыхивает молниеносный ро-

маи, после чего и он и она возвращаются к прежней жизни. А герой повести «Что по-чем?» оказывается в состоянии душевной раздвоенности вследствие несовместимости своего основного (аспирант-математик) и побочного (сторож в кооперативном гараже) занятия.

Ответственность за трудоустройство героев — характерный признак остросовременной прозы. И признак симпатичный, приобретенный, если не завоеванный, в ходе длительной литературной эволюции. Нынешнему юношеству еще разъясняют в школе противоречия в характерах Онегина и Печорина, а они для него очевидны: тяжело же было бедным лишним людям в нескончаемом отпуске-отгуле! Опыт века минувшего показал, что поиски смысла жизни — недостаточное занятие даже для условно существующей личности, что смысл этот без дела конкретного, пожалуй, и непостижим. Вспомним, как Бунин требовал от Катаева, чтобы его персонаж, декоратор, в рассказе именно декорациями занимался: старая проза завещала новой выписывать профессию героя честно и тщательно.

Время мчалось вперед, и, чтобы поспеть за ним, прозаики отправляли своих персонажей на цемент и на лесозавод, строили вместе с ними гидроцентраль и доменную печь. С не меньшей пристальностью изобразилась и профессиональная деятельность ученых, артистов, писателей. Новые тематические ресурсы вызвали зависть у поэтов.

Я сам собираюсь  
Роман написать —  
Большущий!  
И с первой страницы  
Героев начну  
Ремеслу обучать  
И сам помаленьку учиться —

мечтал Михаил Светлов. Эта исследовательская неутомимость унаследована современной литературой. Правда, до сих пор можно услышать и прочесть, что важна не работа героя, а его отношение к ней, что главное не кем быть, а каким быть. Думаю, что это антитезы нарочитые. Едва ли достойным отношением к своей профессии может быть безразличие к ее специфике, каждый труд требует отношения своего, особенного. Ну а вопросы «кем быть?» и «каким быть?» в жизненной практике связаны прочнее некуда.

Профессиональный ракурс — незаменимый способ в постижении глубин бытия. Для одного человека весь мир окружающий — это зрители, для другого — покупатель, для третьего — пассажиры, для четвертого — пациенты, для пятого — читатели

или будущие персонажи... Каждая профессия может стать материалом для построения особой модели жизни, если, конечно, будет раскрыт внутренний смысл ее как уникальной ипостаси человека в мире. И здесь недостаточно полагаться на естественное любопытство читателя, нужно открыть ему больше, чем он ждет. Иначе возникает опасность беллетристической подмены главного. Тут нельзя не вспомнить широкочитаемые произведения А. Хейли. Книги эти упрекают за отсутствие психологизма, за обилие производственно-специальных подробностей. А по-моему, «хейлизм» как раз состоит в недостаточной любви к описываемой сфере производства, в спекуляции на амурных историях, на ужасных катастрофах и авариях, то есть на моментах внешних по отношению к предмету. Потому и не становятся отель и аэропорт моделями мира.

Все сказанное имеет прямое отношение к литературной работе Михаила Чулаки — ленинградского прозаика, выпустившего пока один сборник повестей и рассказов плюс один роман. Чувствуется, что М. Чулаки долго искал сюжет, адекватный своей главной теме, преодолевая разного рода соблазны, пробиваясь сквозь частоклок готовых конструкций к свежему жизненному материалу. Характерно, что молодой писатель шел от изображения профессий, хорошо знакомых литературе, к менее популярным. Соответственно росла его творческая самостоятельность.

Рассказы, открывающие сборник «Долгие поиски», отмечены еще типичнейшими чертами литературного ученичества. «Синекдоха короткохвостая» — нравоучительная история, слегка оживленная описанием будней НИИ. Научные сотрудники, конечно же, предстают неутомимыми острословыми, разыгрывающими непросвещенного ученого секретаря, мороча ему голову несуществующими «компромормными секретитами» и т. д. Рассказ «На приеме» тоже из обязательной, а не произвольной программы. День молодого врача — кто из начинающих прозаиков не выполнял композицию на эту тему!

Повесть «Слесари, слесари, слесаря» — первая по-настоящему самостоятельная вещь М. Чулаки. Феномен изображаемой профессии передан здесь во многих достоверных деталях. Хотя и не обошлось без идиллических свиданий при луне.

Еще большей исследовательской добросовестностью отличается повесть «Классическое троеборье». Это производственная вещь — о производстве рекордов. Спорт по-

казан как труд — будничным, тяжелым, иногда мучительным. Автор перевоплощается по очереди в трех штангистов, разных по возрасту, основному занятию, темпераменту, взглядам и вкусам. Ему удалось здесь сделать увлекательным сюжетом тренировочный процесс. А выход героев на помост и распределение призов стали как бы избыточными. Со всей определенностью выявился тот факт, что стихия этого писателя не острые, исключительные события, а стабильные жизненные ритмы, реалии частые, распространенные, ежедневные.

Постепенно в прозе М. Чулаки устоялась такая прочная связь характера и профессии, профессии и судьбы, что малейшие отклонения от объективных параметров современной жизни стали восприниматься как явные диссонансы. Так, мне кажется примечательной одна натажка в самой сюжетной основе повести «Что почему?». Аспирант Вадим, мечтавший разработать математическую модель всеобщего языка, прирабатывает сторожем в гараже. Приучившись извлекать легкодоступные доходы на своей временной работе, Вадим охладевает к науке и даже решается на аферу, ставящую под вопрос его пребывание в аспирантуре. Я считаю, что как раз в принятой у М. Чулаки исследовательской системе такое разрешение конфликта двух профессий немислимо. Жизненная значимость работы оценивается сейчас не в рублях-копейках. Теперь не нужно быть бессребреником, чтобы осознавать отнюдь не эфемерное преимущество теоретической математики перед охраной гаража. Преимущество, я бы сказал, материальное. Ибо уважение окружающих, диапазон общения, перспективы на будущее — все это материя жизни.

Профессия — жанр человеческого существования. Здесь связь взаимная: выбор работы во многом определяет характер и судьбу и, наоборот, каждая профессия несет в себе что-то от тех личностей, которые себя ей посвятили. Профессии рождаются, стареют, умирают, приобретают одушевленность, эмоциональный колорит, вступают друг с другом в сложные взаимоотношения. Об этом особенно хочется говорить на материале самого большого и самого интересного произведения М. Чулаки. Долгие поиски привели писателя к роману.

Мир оперного театра. Репетиции. Премьеры. Вводы. Худсоветы. Интриги. Да, те самые закулисные интриги, которыми так возмущается (и которыми так интересуется) обыватель. В первом же диалоге романа этому явлению дается спокойное и деловое

объяснение. Директор театра Лев Петрович Бас, невозмутимо реагирующий на борьбу двух ведущих теноров, убеждает удивленного композитора Касьянова в том, что пресловутые интриги не что иное, как «кипение страстей, столкновение вкусов». Иначе говоря — производственные конфликты. Театр у М. Чулаки показан именно как производство. Среди действующих лиц нет, правда, декоратора, но если бы он был, то, конечно, занимался бы своим прямым делом. Потому что певцы здесь поют, дирижеры дирижируют, композитор сочиняет музыку.

По ходу романа выясняется масса подробностей. Мы узнаем, например, что в опере поют на опертом звуке, а эстрадные певцы — на неопертом, что солисту важно присутствие в зале его присяжных поклонников, что певцы в день спектакля отказываются от обеда. Это интересно — без всякой иронии. Мы часто повторяем классический афоризм «весь мир — театр», а ведь он справедлив не только в своем уже несколько избитом смысле. Ведь в театральном труде и быте тоже сконцентрированы какие-то всемирные законы или, по крайней мере, социологические закономерности.

Автору удалось построить роман очень экономно, из материала, который сам по себе обладает потенциальной остротой. Проблемность в «Теноре» не акцентирована, не педалирована, но роман дает широкие возможности для проблемного осмысления. Попробуем выделить несколько ключевых пунктов.

Профессия как стратегия поведения. Театральное производство примечательно тем, что каждый его участник видит результат общей работы в целом и способен самостоятельно оценить и спектакль и труд любого из своих коллег. Так, для певца-солиста крайне важно «пройти» (то есть получить одобрение) у оркестра и хора. А дирижер дорожит приветственным стуком смычков своих оркестрантов гораздо больше, чем успехом у зрителей. Общая атмосфера повышенной требовательности и интереса к работе друг друга для театра привычная вещь, для представителей же других профессий она крайне поучительна и может служить эталонной моделью. Вместе с тем каждый труженик театра, подчиняясь общим установкам, всегда остается верен индивидуальной стратегии своей профессии. Любопытен постоянный спор на репетициях дирижера Орлина и режиссера Варравы. При всей

резкости и агрессивности этих прений оба их участника остаются старыми соратниками. Просто в спор вступают сами профессии, и это необходимо для достижения энергичного и гармоничного баланса театральности и музыкальности в спектакле.

Или вот обсуждение оперы Касьянова «Лермонтов» на худсовете. Не без иронии приводит автор реплику: «Лермонтов — народный поэт, поэтому жаль, что почти не участвует народ, масса». Естественно, что это замечание принадлежит... хормейстеру. А баритон робко предлагает ввести в оперу встречу Лермонтова с Пушкиным (последний, естественно, должен петь баритоном). Это, конечно, на грани шутки, но и серьезно вместе с тем: в ансамбле театральных специальностей каждый заботится о престиже и развитии той сферы, которую представляет его профессия.

Поэтому весьма нетривиальную оценку получает в романе конфликт Касьянова и тенора Селицкого. Это тоже спор профессиональный, добрая ссора, которая, несмотря на мелкие неудобства, более плодотворна в искусстве, чем худой мир компромиссов. И уступчивость Касьянова и максимализм Селицкого по-своему верны. Вот пример того, что профессиональная стратегия диктует человеку и как быть в конкретном случае и каким быть в отношениях с окружающими.

**Фактор таланта.** В театре слово «талант» звучит часто и открыто. Тенор Сухово честно признается, что его противник Селицкий талантливей, хотя и надеется превзойти его за счет труда и культуры, заранее пишет в своих мемуарах, что Селицкий свой талант погубил. В театре таланты не фетишизируются, но рационально используются. Может быть, и в этом смысле театральный опыт был бы полезен и для других сфер? Не слишком ли часто твердим мы о том, что талант — это лишь один процент, а труд — девяносто девять, едва ли не забывая уже, что без этого одного девяносто девять ничего не стоят? С другой стороны, слово «талант» нередко звучит там, где стоило говорить просто о способностях. И вообще: какие профессии и виды деятельности требуют талантов, а какие нет? Вопрос этот не только для психологов, он из ежедневных вопросов.

Существует еще и такая гуманная и демократичная гипотеза, согласно которой каждый человек наделен каким-то талантом. Что же, это не противоречит идее о природной уникальности талантов, а лишь дополняет ее. Практически говоря, чтобы

выявить свой неповторимый талант, человек должен отдавать себе отчет, в каких областях он талантами не располагает. А что, если он талантлив в той сфере, которая для него недостаточно желанна или престижна? В общем, вопросы эти требуют, чтобы решали их честно, откровенно, даже беспощадно. Как в театре.

**Фактор честолюбия.** Это слово вообще приобрело какой-то неодобрительный оттенок. А почему, собственно? Давайте посмотрим на примеры.

Селицкий честолюбив. Он жаждет блистать, мечтает о том, чтобы его знали и слышали все новые и новые люди. Но ведь и люди, зрители хотят от него того же самого. Почему-то принято считать, что блеск всегда ложный, что стремление к успеху — путь губительный? А разве не бывают блеск и успех объективными показателями высококачественного труда?

И Касьянов честолюбив. Когда он бунтует против нелепого принципа «чем старее, тем лучше», когда он доказывает, что Шостакович не менее значителен, чем Бах, — за этим угадывается, что скромник Касьянов мечтает о самых больших высотах, работает, что называется, «ревнуя к Копернику». И прекрасно!

Может быть, неприязнь к честолюбию исходит от людей вялых и нетворческих? Может быть, честолюбие — это сочетание самоуважения с целеустремленностью? Когда восторженный Селицкий стгоряча аттестует Дуганова «первым оперным дирижером современности», тот спокойно и вежливо корректирует: «Если говорить серьезно, я всего лишь в первой десятке». Чем не модель достойной, трезвой и ответственной самооценки?

Подлинный профессионализм несовместим ни с эгоцентрической самонадеянностью, ни с малодушным самоуменьшением. Ведь и скромность может оказаться чрезмерной. Может быть, партнерша Селицкого по сцене Наташа Овчинникова не страдала бы от скуки и не отдавала бы столько сил перестановкам в личной жизни, если бы у нее чуть больше было творческого честолюбия?

**Таланты и поклонники.** Есть категория профессиональных зрителей. Они ходят на все спектакли своих кумиров и даже ухитряются ездить за ними во время гастролей. Занятие это требует уйму времени, сил и плохо совмещается с каким-либо другим. Но зрители-профессионалы ничем другим и не дорожат: когда Катю, поклонницу Селицкого, уволили из

сберкассы, она просто перешла работать на почту. Заслуживает ли Катя того, чтобы о ней писать? Когда-то ей подобных просто называли оперными психопатками, да и теперь их мало кто всерьез воспринимает. И все-таки не зря, по-моему, заглянул М. Чулаки в щемяще-убогую жизнь этого несчастного существа.

«Почему же так несправедливо, что он может достаться только Ирке-художнице или Наташке-певице?! Почему между *Ним* (курсив и прописная буква Катины.—В.Н.) и Катей пропасть, преодолеть которую нет никакой надежды?!» Давайте подумаем вместе с Катей.

Ответ будет очень прост: да потому что Селицкому с Катей не интересно. Потому что ему некогда выслушивать бурные восторги. Потому что он успевает встречаться только с нужными людьми, а точнее — с теми, кто, так же как он, отдает себя работе не от и до, а полностью.

Тут, по-моему, М. Чулаки несколько поторопился разыграть вставной любовный сюжет, завершающийся Катиной попыткой самоубийства. Не хотелось бы, чтобы читатель слишком близко к сердцу принял эту историю и счел Селицкого злодеем. Вопрос о талантах и поклонниках из другой оперы, не любовной. Просто профессиональный фактор стал играть важнейшую роль в межличностных коммуникациях. Профессия стала способом сближения, но и отчуждения одновременно. Вот где сложность настоящая таится.

А Катя (и только ли она!) просто не думала никогда, что право на общение с интересными людьми надо завоевать, что это можно сделать единственным способом: самой стать для них интересной. А это качество вырабатывается только в процессе профессионального самоопределения. Время интересных бездельников бесповоротно минуло.

Все работы хороши... Да, но хороши по-разному. Каждая профессия, помогая человеку определиться, требует и определиться, чем-то ограничить себя. И тут важно четко осознать объективные плюсы и минусы (в нравственном, человеческом смысле) разных видов деятельности. Естественно, что в задачу литературы ни в коей мере не входит дотошное описание всех профессий. Но в гуманистическом их осмыслении художественную прозу не заменит никакая наука.

Для нашего времени слишком наивен принцип: не место красит человека. Есть вполне определенный (хотя и подвижный по составу) круг профессий, которые сами по себе красят личность, то есть требуют постоянных усилий, непрерывного развития. Человек, выходящий на подмостки, открывающий дверь класса или операционной, склоняющийся над рукописью, должен полностью выкладываться для того, чтобы иметь право называться просто артистом, учителем, врачом, писателем — без всяких там возвышающих эпитетов. А есть, в свою очередь, занятия (самые разные по социальному статусу), которые не дают себя в том, чтобы их красили. И неизвестно, каков будет их курс лет через двадцать.

Есть свои специализации и внутри писательского дела. «Профессиональная» проза, которой служит Михаил Чулаки, пока не принадлежит к самым престижным разновидностям. Но она незаметно, порой невольно высвечивает такие острые и новые проблемы, которые, я уверен, вот-вот станут предметом литературы самой высокой. Просто феномен профессии делается совершенно необходимым звеном в таких интересных для каждого литератора и читателя системах, как «человек и человек», «человек и общество», «человек и мир».

Вл. НОВИКОВ.



## УРОКИ ГОГОЛЯ

Игорь Золотусский. Гоголь. («Жизнь замечательных людей») М. «Молодая гвардия». 1979. 511 стр.

Павел Васильевич Анненков рассказывает: однажды (это было в 1841 году в Риме) он заспорил о чем-то с Гоголем. Оба разгорячились: «сделалась ощутительна... некоторая степень напряжения». «Молча вышли мы из австрии,— продолжает Анненков,— но после немногих задумчивых шагов Гоголь подбежал к первой лавочке лимонадчика... выбрал два апельсина и,

возвратясь к нам, подал с серьезной миной один из них мне. Апельсин этот меня тронул: он делался, так сказать, формулой, посредством которой Гоголь выразил внутреннюю потребность некоторого рода уступки и примирения».

Как будто сущая безделица: незначительный факт, даже без признаков так называемого исторического анекдота. И все же

в памяти Анненкова, свидетеля куда более значительных событий, закрепилось именно это, по-видимому ничтожное, происшествие. Мы благодарны внимательному вспоминателю: тот—уже почти полуторауговековой давности—италийский плод не только примиряет с Гоголем автора «Замечательного десятилетия», но, пожалуй, доставляет и нам некоторое метафизическое утешение.

В своей книге Игорь Золотусский не упоминает об эпизоде с апельсином; однако сама книга написана так, что он вполне мог бы в ней присутствовать. Потому что изображенная в книге жизнь сохраняет первоначальную полноту своих движений. И дело здесь не столько в цепкости охватывающего авторского зрения (способности отметить и запечатлеть), сколько в пристальности иного рода—медленном взгляды в а н и и (или, если угодно, созерцании), одушевляющем «литературного героя» и делающем его соучастником нашего с ним диалога.

Подобный диалог чреват неожиданностями, когда собеседником является не кто иной, как Николай Васильевич Гоголь.

Слово Золотусского о Гоголе не противостоит слову Гоголя, не дополняет и не переинтерпретирует его на собственный лад; оно напряженно вслушивается в его звучание, стремясь воспринять малейшие полутона и оттенки и благодарно отозваться на этот звук. Это слово-отклик, но обладающий собственным встречным мотивом. Это послесловие — к творчеству, жизни, судьбе.

Жанр, который избрал Золотусский, помимо прочего предполагает «чтение в душах». В этом нет ничего зазорного: отсутствие такого подхода лишило бы книгу внутреннего интереса.

Закрытая, «неуловимая», все время как бы ускользающая душа Гоголя словно нарочно смущает своих исследователей, подталкивая их в область рискованных, хотя порой и весьма остроумных догадок. Под пером Д. Мережковского сквозь лик Гоголя-провидца двусмысленно просвечивает глумливая рожа черта. В. Розанов вообще склонен отказать автору «Ревизора» в каком-либо постижении действительной жизни: Гоголь, по его мнению, имеет дело не с живыми лицами, а с фигурами из папье-маше (здесь остается только шаг до понятия «кукольный реализм!»). И. Анненский высказывает предположение, что «едва ли кто и когда-нибудь разберется в чудовищной лаборатории „Похождений Чичикова“».

В результате подобных предположений личная тайна Гоголя становится его худо-

жественной тайной, а сотворенный им художественный мир, в свою очередь, прикрывает его самого, делая почти неприступным для постороннего взора.

Между тем художественная жизнь Гоголя—при относительной уравновешенности его внешнего существования—остается едва ли не единственным предметом для биографа. Писательство (исключая краткие периоды проб на иных поприщах) всегда было преобладающей формой его жизнедеятельности. Но, как выясняется, далеко не главной целью его духовных усилий.

Есть писатели, которых влечет беспредельный порыв к художественному совершенству; есть художники, которыми помимо этого завладевает жажда «последней истины»,—таков Гоголь.

В книге Игоря Золотусского во время следования за Гоголем и подле Гоголя образ последнего претерпевает существенные метаморфозы. И все же нельзя не согласиться с высказанным автором убеждением, что «Тараса Бульбу» и первый том «Мертвых душ» писала рука одного Гоголя.

Но если это так, то следует задуматься и о другом: не исходит ли весь духовный мир Гоголя, несмотря на прошедшие по нему разломы и внутренние отталкивания, из одних и тех же нравственных посылов? И, может быть, тот катаклизм, который потряс автора «Переписки с друзьями» и видимым образом преобразил его житейское поведение, как раз и был попыткой сохранить эту нравственную целостность, дать «дополнительные» оправдания своему искусству, сделав его чем-то большим, чем простое художество. Не сказала ли здесь совестливая воля гения—постигнуть скрытую моральную природу своей гениальности и тем самым как бы спасти ее от самой себя (опровергнуть слишком буквально понимаемый тезис «поэзия выше нравственности»)?

Вожденная «конечная» цельность достигается ценой утраты первоначальной поэтической цельности—и эта новая гармония таит в себе некий мертвенный изъян. Рука «бессознательно» творящего Гоголя, еще не обремененного знанием того, что он совершает, схватывает истину без видимых усилий; рука сознающего свою ответственность творца второго тома «Мертвых душ» влечется тяжело, оглядливо, «с заминкой».

Искусство как таковое не признается уже достаточно компетентным: ему полагается некий моральный противовес. Удивительное



дело: здесь Гоголь как бы сходит с тем направлением русской критической мысли, которое несколько позднее потребует от Пушкина (правда, исходя из прямо противоположных, чем в настоящем случае, мотивов) объяснений по поводу его художественной деятельности. Но это и рефлексия самого художественного сознания, взыскующего самоотчета и в предельном случае (Лев Толстой) отказывающего себе в праве на существование.

Все эти небесполезные для читателя размышления возникают по мере знакомства с талантливой книгой Золотусского.

Путь, которым шел Гоголь, замечает Золотусский, «был завещан ему традицией русской литературы, всегда сознававшей себя участницей в «деле общего добра»... Выражая себя, русский писатель все же при этом преследовал цель — облагородить русскую жизнь, привести ее хотя бы в некоторое соответствие с идеалом. Так поступали Херасков, Сумароков, Державин, Капнист, Фонвизин».

Все это так. Представляется, однако, что Гоголь был не столько продолжателем традиции, сколько ее основателем. Ибо в нем, Гоголе, подмеченное Золотусским качество обрело совершенно иную глубину. Стремление к «облагораживанию» (а когда искусство к этому не стремилось?) превратилось у Гоголя в жажду преобразования. Это стало для него делом жизни (а следовательно, и смерти).

В Гоголе литература впервые поставила себе задачи, превышающие ее непосредственные возможности.

Отступив от пушкинской гармонии, принимающей жизнь как саморазвитие и самооправдание, Гоголь попытался направить эту жизнь к ее конечным, отдаленным целям, к той запредельности, где, по известному пророчеству (не случайно вспоминаемому Иваном Карамзовым в разговоре с Алешей), волк должен был возлечь рядом с ягненок. Если первый том «Мертвых душ» был экстрактом, выжимкой из бытия (порой более реальной, чем самое бытие: недаром Аполлон Григорьев говорил, что произведения Гоголя верны «общему смыслу действительности»), то дальнейшее грозило стать выжимкой из небытия — не сущим, но должным.

Нравственный максимализм русской литературы идет от Гоголя. Его родовые черты властно проступают в ликах Толстого и Достоевского. Им (особенно Толстому) мало одной литературы; они пытаются установить новое соотношение между

искусством и действительностью. Более того: они желают придать самой действительности новый образ. Они хотят воссоединить течение обыденной жизни с ее идеальным смыслом, сделать этот смысл мировой поведенческой нормой. Вся публицистика позднего Толстого и в какой-то мере «Дневник писателя» Достоевского и есть реализация этого стремления. Это прорыв к читателю сквозь литературу.

Путь, представлявшийся кратчайшим, оказался чрезвычайно долгим.

М. Бахтин в своих записях (недавно опубликованных) замечает: «Наивность Гоголя, его крайняя неопытность в серьезном; поэтому ему кажется, что надо преодолеть смех». Когда Гоголь смеялся в «Записках сумасшедшего» или «Ревизоре», читатель мог испытывать ужас. Когда автор обращался к тому же читателю с прямой речью («Соотечественники! страшно!.. Замирает от ужаса душа...»), читатель, случалось, усмехался, наивно полагая, что дело писателя изображать жизнь, а не учить и учительствовать.

Учительство (в его непосредственном виде), присущее русской литературе, восходит к Гоголю.

Принято считать, что идеологический роман появился впервые у Достоевского. В определенном смысле, по-видимому, это именно так. Но что иное представляют собой «Мертвые души», как не тяготеющую к некоему абсолютному завершению идеологическую систему — систему, которая возводилась тем сознательнее, чем дальше подвигалась работа? И если в какой-то момент это сооружение стало заваливаться, погрывая под собой своего творца (приводимый Золотусским предсмертный рисунок Гоголя: книга, захлопывающая человека), то не потому ли, что его постигла участь всех вавилонских башен?

Гоголь первый явил в своем искусстве «указующий перст, страстно поднятый», перст, направленный, повторяем, к конечным, а не к промежуточным целям. Это был вполне волевой акт в отличие, скажем, от стихийно-«бессознательных» («пророчески-слепых», по слову Тютчева) откровенный пушкинской музыки.

Начиная с Гоголя большая русская проза устремляется именно по этому пути. И кто знает, может быть, так называемая чеховская бестенденциозность, его тяготение к малым формам были своеобразной реакцией на безраздельное господство идеологического романа, прообраз которого наметился еще в «Мертвых душах».

В этом плане «Выбранные места из переписки с друзьями» (серьезный, хотя и не бесспорный, разбор этой книги Золотусским остановит внимание читателя) есть своего рода прелюдия к русской «идеологической прозе» (и публицистике) второй половины века. Правда, при этом Гоголь гораздо прочнее, нежели Толстой или Достоевский, связан с внешними моментами христианской ортодоксии. Наивная (лобовая), провоцирующая форма «Выбранных мест...» (как бы контрастирующая с «искусшенностью» гоголевских художественных форм) могла вызвать подозрение в не совсем чистых авторских намерениях. У Белинского имелись очень серьезные основания для его «громокипящей» отповеди.

Белинский, по словам Золотусского, судит Гоголя «с позиции своей чистоты, незапятнанности, искренности». Думается, однако, что у автора знаменитого письма были еще и другие резоны. Белинский пребывает в реальной истории (вернее, в конкретной ситуации 1847 года), Гоголь — в некоем «дистиллированном» историческом пространстве, где, по его мнению, сосредоточена вся полнота русской жизни.

Здесь была точка разлада.

Если Пушкин до конца так и не захотел отказаться от надежды установить «идейное опекунство» над русской монархической властью, то Гоголь пошел намного дальше. «Переписка с друзьями» передоверяла высшие нравственные цели тому государству и той церковной иерархии, которые в силу своей собственной природы не только были не в состоянии их осуществить, но даже сделать усилие в этом направлении (такое усилие повело бы к их самоуничтожению). Очевидно, именно за эту заранее обреченную на неуспех попытку Гоголь и был назван панегиристом татарских нравов. Письмом Белинского был оскорблен даже не столько его непосредственный адресат, сколько вся официальная Россия: недаром за чтение этого письма государство определило высшую меру наказания<sup>1</sup>.

Меж тем гоголевский идеал не так уж неподвижен, как это может показаться на первый взгляд. Для Гоголя, а затем для Толстого и Достоевского самым главным становится то, что, как они полагают, больше литературы: ж и з н е с т р о и т е л ь с т в о. Их высшей целью делается изменение самого состава жизни.

<sup>1</sup> Кстати, «назнь» петрашевцев состоялась не в Петропавловской крепости, как полагает Золотусский, а на Семеновском плацу.

Автор «Мертвых душ» начал с себя.

«Гоголь,—писал Достоевский,— умирает... уморив себя сам, в бессилии создать и в точности определить себе идеал, над которым бы он мог не смеяться». Конец Гоголя — это его последний аргумент в затянувшемся споре с современниками.

Для Белинского его письмо не только спор с Гоголем, но и акт исторической (и, если угодно, социальной) гигиены (недаром он говорил, что надо спасать а людей от взбесившегося человека; самого человека он, по-видимому, спасти уже не чает).

Как и Толстой, Гоголь попытался «решить на себе» мировую преобразовательную задачу. Задолго до автора «Исповеди» он явил поразительный пример напряженной внутренней работы (причем в данном случае сам этот процесс скрыт от постороннего взгляда, осязаемы только результаты). Гоголь строит, отделяет самого себя не менее тщательно, чем собственные произведения.

Но вот что интересно. Кризис, потрясший Гоголя в середине 40-х годов (заметим, что и Толстой и Достоевский пережили сходные духовные перевороты), этот кризис, очевидно, мало изменил саму структуру его личности, ее нравственное ядро. Он лишь пробудил тайные, дремлющие стороны его натуры.

В этом случае возникает некоторое недоумение.

Юный провинциал, замысливший покорить столицу, входящий в доверие к Жуковскому, Плетневу и наконец к самому Пушкину, оборотистый, хотя и не лишенный обаяния дебютант, ловко устраивающий свои житейские и литературные обстоятельства (так и хочется сказать — негоции)... Застенчивый честолюбец, возбуждающий зависть удачник... У нас нет оснований не верить Золотусскому: очевидно, это подлинный Гоголь. Но — весь ли Гоголь? Уж не играет ли автор «Вечеров...» не только с Пушкиным, но и с самим своим биографом? Не зря же Золотусский, изображая такого Гоголя, все время как бы оставляет его под неким нравственным подозрением.

Во второй части книги (она, на наш взгляд, значительно сильнее первых глав) происходит как раз обратное. С позднего Гоголя «подозрение» снимается. Его внутренние мотивы выглядят достаточно убедительными.

Где же точка соединения? Где то недостающее онтологическое звено, которое

связует автора «Вечеров...» с автором «Выбранных мест из переписки с друзьями» и второго тома «Мертвых душ»? Неужели в молодом Гоголе, в этом преемстве в теле, не было ничего от того высокого идеализма, который повел его к жертве и искуплению?

Золотусскому удалось глубоко проникнуть в тайну позднего Гоголя. При этом, однако, обнаружилась загадка Гоголя раннего. «Хочешь быть любимым — люби», — говорили древние, и с ними приходится согласиться. В повествованиях такого рода, как книга Золотусского, этот закон прояв-

ляется с особой неумолимостью. Для нас, читателей, существенно не только авторское отношение к герою, но, так сказать, и обратное действие: желательное, чтобы и герою «полюбил» автора. Одного профессионального писательского умения для этого недостаточно. Только личность самого повествователя и может стать тем магическим кристаллом, который способен оживить мертвое историческое пространство, передав ему часть собственной (авторской) жизни. В книге Золотусского это произошло.

Игорь ВОЛГИН.



### Политика и наука

## ЖЕНЩИНЫ РЕВОЛЮЦИИ

Сквозь бурю времени. Воспоминания участниц революционного движения и социалистического строительства на Украине и в Молдавии. Кишинев. «Карта молдовеняскэ». 1979. 394 стр.

Книг, в которых рассказывается о женщинах — участницах революционного движения, выпущено немало. Но каждое последующее издание, будь то сборник воспоминаний или художественное произведение, воспринимаешь как новые и новые главы документальной повести о женщинах героических и прекрасных. Они действительно были прекрасны, и трудно сказать, кто может сравниться с ними по красоте духовной и высоте нравственной.

Многие имена нам хорошо знакомы: Вера Фигнер, Надежда Крупская, сестры Ульяновы, Елена Стасова, Идесса Арманда, Александра Коллонтай, Мария Андреева... Известны их удивительные биографии, жизни немислимо трудные, когда каждый день требовал подвига, самоотречения, героизма. Но это отнюдь не было неким сурово-аскетическим служением, а битвой ради жизни, ради человеческой радости, битвой против нищеты, унижений личности, за полное ее раскрепощение. И сама эта высокая цель не могла не вносить в жизнь участниц революционного движения предощущения грядущего счастья, помогая им стойчески переносить аресты, тюрьмы, ссылки и сообщая их повседневному опасному труду революционера-подпольщика всю полноту человеческого бытия.

Именно такой предстает перед читателем жизнь женщин, делавших революцию и рассказавших об этом в книге «Сквозь бурю времени». В сборнике принимают участие более 40 авторов. Но когда закрываешь последнюю страницу книги, возникает

ощущение единства образа. Оно возникает, несмотря на несхожесть биографий, разность характеров, неповторимость судеб. Но создается в основном: рассказ ведут единомышленницы, люди одного мировоззрения, духовного склада, одной цели, выдержавшие испытание в жестокой борьбе с царизмом. И, повествуя о времени и о себе, они все вместе создают образ эпохи и образ женщины, делавшей революцию.

Из опыта всех освободительных движений, говорил Ленин, замечено, что успех революции зависит от того, насколько в нем участвуют женщины. Ему же принадлежат слова: «Без них мы не победили бы». Эта высокая оценка места и роли женщины в революции может служить эпиграфом к жизнеописанию многих и многих подпольщиц. В этом убеждают даже протоколно лаконичные анкетные данные, сопровождающие каждую из главок книги. Одни из них знакомят читателя с незаметной, на первый взгляд будничной работой рядового бойца, в других речь идет о жизни ответственных, руководящих деятелей подпольного революционного движения, труд же тех и других, сливаясь воедино, образовал тот мощный поток, который смыл до основания российское самодержавие.

Кто же они, эти женщины, немногие из которых, пройдя «сквозь бурю времени», дожили до наших дней, активно участвуют в социалистическом строительстве?

Е. Н. Адамович, член КПСС с 1898 года. Участница трех революций. Четырежды подвергалась тюремному заключению и ссыл-

ке. Работала в Петербурге с А. И. Ульяновой, Н. А. Скрышником, П. Г. Смиловичем. В 1900—1901 годах член подпольного Екатеринославского комитета РСДРП, в 1905—1906 годах работает с М. И. Ульяновой, входит в состав Петербургского комитета РСДРП, затем Харьков, снова Петербург. После Октябрьской революции член коллегии Государственного комитета по делам просвещения, в 1918—1919 годах член Орловского губкома...

Г. А. Корсунская, член КПСС с 1898 года. Работница. В 1901—1902 годах печатница первой подпольной типографии ленинской «Искры» в Кишиневе. При разгроме типографии в марте 1902 года была арестована и приговорена к зэчдой ссылке в Сибирь. Бежала за границу. В 1905 году вернулась в Петербург, работала в подпольной типографии. Вновь аресты и наконец освобождение из тюрьмы с приходом революции.

Д. М. Базлова, член КПСС с 1904 года. Участница трех революций, в 1905 году организатор подпольной квартиры, склада оружия. Распространяла среди солдат большевистские листовки. Аресты, ссылки.

С. И. Гойнер, член КПСС с 1903 года. Активная участница трех революций. Екатеринослав, Николаев, Одесса... Шесть арестов. Эмиграция. Встречи с Лениным, Крупской, активное участие в работе большевистской группы в Париже...

Как поразительно схожи эти краткие биографические справки! Аресты, ссылки, побеги из тюрем, опять аресты. А ведь подпольщицы были молоды, многие из них удивительно красивы, все они любили жизнь, свободу, солнце, любили детей, мечтали о любимых, глубоко чувствовали музыку, искусство и не задумяваясь, не колеблясь снова и снова шли на правый бой.

В каких горнилах надо было закалять характеры этих бесстрашных женщин, что помогало им с такой немислимой стойкостью выдерживать все испытания? Воспоминания участниц революций исчерпывающе отвечают на эти вопросы.

Условия подполья, когда каждый вступающий на путь борьбы понимал (или это понимание приходило в процессе революционной деятельности), что его ждет, чем придется пожертвовать, от чего отказаться, производили жесткий отбор, оставляя в рядах революции только сильных духом. Случайно затесавшиеся в эти ряды, зараженные тщеславием, малодушием, карьеризмом, любящие себя в революции, а не революцию, отсеивались при первых же серьезных испытаниях.

Но сила духа, нравственная стойкость не приходили, как некая данность, от рождения, а выработывались в процессе борьбы, в процессе необходимого, обязательного преобразования знаний в убеждения. Не случайно, говоря о нравственных ценностях подпольщиков-революционеров, мы прежде всего называем убежденность.

Многие из авторов воспоминаний вступили в борьбу, когда только-только зарождались основы марксистской революционной партии, стояли у ее колыбели и вместе с партией прошли весь многотрудный путь до победы Октября. Среди них П. И. Кулябко, вступившая в марксистский кружок, организованный Лениным, а в 1896 году ставшая активной участницей создания екатеринославского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Ее фамилия в составе первого комитета РСДРП.

Знакомство с биографией таких революционеров, как Кулябко, дает зримую картину полной слитности их личных судеб с жизнью партии, ее историей. И поэтому так часто воспоминания о пережитом самим автором являют собой одновременно и рассказы о важнейших этапах становления партии, ее борьбы за единство рядов. Вот один из таких примеров.

«В середине февраля 1898 года, — пишет П. И. Кулябко, — состоялось очень важное собрание всех членов центральной группы «Союза». Обсуждался вопрос о съезде крупнейших организаций, с тем чтобы положить начало Российской социал-демократической партии. Докладчиком был Казимир Адамович Петрусевич. Необходимость объединения разрозненных социал-демократических организаций, слабая связь между которыми тормозила работу и сводила ее на местах к кустарничеству, создалась всеми, поэтому доклад Петрусевича вызвал единодушный восторг. Все чувствовали, что наступит совершенно новая полоса революционной работы, когда будет единый центр и единое руководство. Когда Петрусевич задал вопрос, своевременно ли сейчас объединение наших отдельных организаций в партию, назрела ли в этом потребность, несколько голосов сразу заговорили: «О чем тут говорить, дело ясное, давайте выбирать делегата». Выбран был Петрусевич, который и был на Первом съезде РСДРП делегатом от Екатеринославской организации».

А несколько ниже, после рассказа об аресте комитета РСДРП, автор не без юмора замечает: очутившись утром в вагоне по дороге в харьковскую тюрьму, арестован-

ные прежде всего убедились, что Екатеринбургский комитет РСДРП и социал-демократическая группа, «которые никак не могли объединиться на работе (по соображениям конспирации.— В. Е.), объединены жандармским управлением... путем ареста».

Авторы сборника «Сквозь бурю времени» начинали свою революционную деятельность в различных городах Российской империи, в разные годы, большинство из них не были лично знакомы — хотя, читая их воспоминания, кажется, что написаны они близко знавшими друг друга людьми, — но у каждого был один центр притяжения, объединявший и направлявший их деятельность. Имя Ленина с любовью называют те, кому посчастливилось знать его, работать рядом, слышать его выступления на партийных съездах и конференциях. Ценным дополнением войдут эти воспоминания в сокровищницу народной памяти о великом вожде.

Страница за страницей воссоздает сборник этапы борьбы, которая привела к победе Октябрьской революции. Книга ведет читателя туда, где ковалась она, — на заводы и фабрики, в подпольные типографии, в шахты, на железные дороги, в воинские части, где вели свою титаническую работу рядом с мужчинами женщины-революционерки.

Не для всех авторов сборника Октябрь принес освобождение от эксплуатации, возможность выйти из подполья и принять участие в строительстве социализма. Одним великий день 7 ноября принес свершение былых надежд, сделал реальным, достижимым то, чему отдавали они долгие годы свои силы и помыслы, ради чего шли на каторгу, в ссылку, а иные отдавали жизни. И когда к ним пришло освобождение, возможность выйти из подполья, чтобы как равные среди равных влиться в ар-

мию тружеников первого в мире отечества рабочих и крестьян, рядом, в близком соседстве, за кордоном на их товарищеской по революционной борьбе, друзей-единомышленников обрушился тяжкий гнет. Вся мощная машина подавления в странах, правительствам которых удалось устоять, удержать режим насилия и угнетения, была пущена на полный ход.

Нельзя без волнения читать строки из воспоминаний Х. Столяр, принимавшей участие в революционном подполье Бессарабии. «Мы были тогда молоды, очень молоды. Нас, шестерых девушек, вели по улицам города Яссы рядом с пожилыми крестьянами в цепях, в окружении вооруженных солдат. Нас, 59 жителей местечка Атаки и окрестных сел района (бывшего Сорокского уезда на севере Бессарабии), должен был судить Ясский военный трибунал за коммунистическую пропаганду и незаконное хранение оружия». Тюрьма, и вот «сквозь щели забора мы увидели, как волокут по земле в карцер избитых и окровавленных товарищей. После расправы с мужчинами охранники набросились на женщин. Нас избили, заковали в цепи (одной цепью двоих) и закрыли в камеру». Можно представить бешенство палачей, услышавших из тюремных казематов не стоны и жалобы, а пение «Интернационала».

«Сквозь бурю времени» возвращает нас мыслью не только к прошлому. При чтении книги неотступно, зримо встают другие образы: духовные наследницы женщин героического революционного подполья — наши современницы, явившие миру в годы Великой Отечественной войны примеры мужества, стойкости, отваги, достойные жизни и подвига праматерей.

В. ЕЛИСЕЕВА.



## ПЕРВЫЙ КОСМОС

Владимир Снегирев, Дмитрий Шпаро. Путь на Север. М. «Молодая гвардия». 1979. 271 стр.

**А**ннотация к этой книге уникальна — едва ли есть ей аналог в мировой литературе, — и потому стоит привести ее полностью.

«Когда печаталась книга, 31 мая 1979 года Высокоширотная полярная экспедиция газеты «Комсомольская правда», возглавляемая Дмитрием ШПАРО, в составе Ю. ХМЕЛЕВ-СКОГО, В. ЛЕДЕНЕВА, А. МЕЛЬНИКОВА, В. РАХМАНОВА, В. ДАВЫДОВА и В. ШИШКАРЕВА достигла Северного полюса.

1 июня в 11.00 над вершиной планеты был поднят Государственный флаг Союза ССР. С ПОБЕДОЙ, ДРУЗЬЯ!»

В истории человечества есть немало мирных страниц, которые с полным на то основанием называют героическими. И все-таки мне кажется, что несколько особое место в мирной летописи человечества занимает Арктика. Постоянный бескомпромиссный бой человеку здесь приходится вести с самою Арктикой. Новую страницу в летописи ледовых баталий вписали семеро смелых, свершивших ранее небывалое.

Книга участника экспедиций «Комсомольской правды» журналиста В. Снегирева и постоянного руководителя их Д. Шпаро,

понятно, посвящена походам, предшествовавшим штурму Северного полюса. Достижение полюса невольно заставляет ретроспективно оценивать ранее сделанное как подготовку к главному, как этап на пути к высочайшей вершине. Если иметь в виду сверхзадачу, то, наверное, это справедливо. В самом деле, сначала были туристические походы разной степени трудности, затем сверхсложный спортивный переход через зимний Таймыр на острова «Комсомольской правды», экспедиция в зимнее время на Северную Землю. В этих походах совершенствовалась техника, сплачивались или отсеивались участники экспедиции, но, как мне кажется, постепенно возникало и чувство неудовлетворенности своим делом. Едва ли случайная спортивная экспедиция превратилась в спортивно-научную. Весьма и весьма суровые испытания не только закаляли физически—они исподволь пробуждали интерес к тем, кто проходил по тем же краям раньше, кто победил или погиб... Процесс этот, конечно, был непрямолинейным, но нравственно-гуманистические тенденции в какой-то момент, что и должно было произойти, создали особую атмосферу в экспедиции, и тогда участники ее пошли по следам Толя, Русанова, Бегичева, Ушакова, Журавлева... Вероятно, в те годы полюс оставался заветной целью. Давний (1972) переход по дрейфующим льдам пролива Лонга на остров Врангеля был, очевидно, первой пробой сил, а генеральной репетицией стал лыжный поход от острова Врангеля до «СП-23»... Отнюдь не навязчиво, но вполне отчетливо показано, как постепенно завоевывали участники экспедиции право на подвиг, тренируя не только себя, но и подготавливая общественное мнение.

Отдавая должное целеустремленности Шпаро, Хмелевского и их товарищей, я думаю, что не войду в особое противоречие с ними, если скажу, что их предположная эпопея заслуживает и особого разговора. Исторический заряд книги Снегирева и Шпаро столь высок, что позволяет обозреть чуть ли не всю историю изучения Арктики в главных ее чертах.

Название книги традиционно в том смысле, что еще в средние века появилось в литературе понятие «Nord Weg», «путь на Север», которое отражало вековечное историческое движение в полярные области. Свообразным финалом на европейском его отрезке явилось образование государства Норвегии (от древнескандинавского *Norweg*, северный путь) — нечасто народы обозначали свою страну своей дорогой к ней.

Стремление Снегирева и Шпаро вписать свое дело в историческую канву вполне закономерно, и оно, кстати сказать, отлично вписывается в нее.

Стратегия «пути на Север» складывалась в веках, конечно, стихийно. Один из героев Жюль Верна полагал, что полюса Земли людям помогут открывать киты, в погоне за которыми корабли все дальше и дальше проникают на север и юг. Что не китобойи открыли полюса, известно всем. Но именно китобоям и зверобоям обязано человечество открытием первого космоса нашей планеты — Арктики (есть еще второй космос — Антарктида). Космос этот совсем не походил на космос античности — ухоженный, с гармонией сфер, все части которого наделены взаимной симпатией... Это был космос в современном смысле — непригодный для жизни, враждебный человеку, загадочный и беспощадный... Куда бы ни ступала нога человека, на протяжении всей известной нам истории путешественники всюду встречали людей. Принципиальное значение открытия Арктики в общечеловеческом плане, в частности, заключается вот в чем: впервые было установлено наличие на планете абсолютно безлюдных мест и непригодных для привычного существования людей. Был открыт особый мир. Можно было удивиться и остановиться в том и состоит, что ни во времени, ни в пространстве оно неостановимо в своем движении. Поскольку за пределами ойкумены человек мог существовать только за счет природы, промышленный люд шаг за шагом принялся отвоёвывать у ближней Арктики пустынные побережья ее морей, пустынные острова, разведывал удобные для китобойного промысла районы, лежбища морского зверя, птичьи базары... Так, между прочим, был открыт и заселен в глубокой древности остров Врангеля<sup>1</sup>, сыгравший столь важную роль в делах экспедиции «Комсомольской правды».

На фоне фронтального наступления на Арктику отдельные экспедиции кажутся эпизодическими явлениями. Но первые арктические экспедиции, пришедшие на позд-

<sup>1</sup> Остров Врангеля был открыт в прошлом веке необитаемым. Но в 1939 году экспедиция геолога Л. Громова нашла на острове следы пребывания людей в древности. В 1975 году уже археологи во главе с Н. Диковым открыли на Врангеле палеоэскимосскую культуру, которую датировали I тысячелетием до нашей эры. Честь вновь заселить остров выпала на долю одного из самых любимых героев В. Снегирева и Д. Шпаро — Г. Ушакова и его спутников. Это произошло в 1926 году.

нее средневековье, наместили еще одно из главных направлений в освоении Арктики: я имею в виду упорный, продолжавшийся столетия поиск так называемых Северо-западного и Северо-восточного проходов. Трудно сказать, что послужило источником легенды о существовании вдоль полярных берегов Америки и Азии морского пути в «златообильную» Индию — наверное, неясные сведения об относительно недалеких плаваниях к широкоим устьям северных рек. Еще труднее объяснить легенду о «великой полынье» в высоких широтах (на картах XVI века у Северного полюса изображались киты). Но направление поиска эти легенды определили, и определили надолго. По отношению к Северному морскому пути это означало не только все дальше на восток, но и все дальше на север, к предполагаемой свободной воде... Одним из главных исторических героев книги В. Снегирева и Д. Шпаро является полярный исследователь В. Русанов. Страницы, рассказывающие о поисках места его гибели, едва ли кого-нибудь оставят равнодушным. Но интересно отметить, что Русанов в начале 900-х годов, думая об освоении Северного морского пути (именно освоении — к тому времени Э. Норденшельд уже прошел Северо-восточным путем, а Р. Амундсен — Северо-западным), избрал северный вариант, который только в наши дни оказался по силам атомоходу «Сибирь».

Итак, по следам палеоарктов через пролив Лонга, по следам Русанова... Находка аварийного склада — «депо» Э. Толля, другого погибшего полярника. Минута молчания у надгробного памятника Ушакову на Северной Земле... Сами задачи, которые ставили перед собою участники экспедиций «Комсомольской правды», были историчны и гуманны, и книга как бы засвидетельствовала это. Конечно же, не приходится удивляться и внимательности авторов к современникам — знаменитым или не очень, — ко всем, кто помогал им советом и делом или просто встретился в пути <sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Жаль, однако, что участники экспедиций «Комсомольской правды» не вспомнили Константина Званцева — в середине 30-х годов имя его знала вся страна. Это он, Званцев, провозгласил лозунг «комсомол — в Арктику!» и организовал первую комсомольскую зимовку как раз в тех районах, по которым проходили маршруты экспедиций «Комсомольской правды». Кстати, на Врангеле он был в числе зимовщиков, сменивших группу Ушакова. Его полярная биография легла в основу знаменитого фильма С. Герасимова «Семеро смелых» (1936).

XIX век, не отменив, так сказать, проблеме первооткрытий в Арктике, на первое место выдвинул задачу ее научного познания. Невозможность традиционными способами (свободное плавание, пешие походы с затертых льдами кораблей) познать первый космос привела в последней четверти прошлого века к радикальному изменению в стратегии его познания и освоения. Почему-то мы редко вспоминаем, что если инициатором проведения Первого международного полярного года (1882—1883) был австриец Вайпрехт, то практическим организатором этого мероприятия была Россия <sup>3</sup>. Но именно тогда утвердилась идея необходимости научных полярных станций, то есть необходимость систематического наблюдения за природой Арктики. Итак, идея стационара. Три других стратегических направления, тогда же возникших, предполагали движение: первые два — активное, третье — пассивное. Шведу С. Андре пришла в голову мысль проникнуть в Арктику с помощью воздушного транспорта — дирижабля. Андре реализовал свою идею и погиб во имя ее. Русскому адмиралу Макарову освоение Арктики мыслилось иначе — он хотел пройти кратчайшим путем и с огромным трудом добился создания первого в мире ледокола, названного «Ермак». А норвежец Ф. Нансен предпочел использовать в Арктике для достижения научных целей силы самой природы — дрейф льдов — и на «Фраме» блистательно осуществил свой проект. (Замечу в скобках, что в те же годы началось освоение второго космоса — Антарктиды: сначала норвежец Борхтревинк первым ступил на ее землю, а через несколько лет он же организовал там первую зимовку.)

Все четыре стратегических направления исторически великолепно оправдали себя: и полярные станции, и ледокольный флот, и авиация, и дрейфующие станции. С вполне законной гордостью можно сказать, что именно Советский Союз достиг наибольших успехов в практической реализации этих направлений. Напомню лишь очевидное: освоение Северного морского пути, создание дрейфующей станции «СП-1» с помощью авиации, систематическая работа «СП» в наши дни, поход атомного ледокола «Арктика» к Северному полюсу, уже упоминав-

<sup>3</sup> В книге несколько раз упоминается мыс Вильда на Таймыре. Он назван так в честь Г. Вильда, директора Главной физической обсерватории в Петербурге, который был председателем комиссии Первого международного полярного года. Он же являлся одним из организаторов сети метеорологических станций в России.

шийся рейс ледокола «Сибирь». Право же, ни одна другая страна не имеет такого прекрасного послужного списка в освоении первого космоса, как СССР. (Напоминаю, что подъем советского флага во втором космосе, в Антарктиде, по времени совпал с запуском первого советского искусственного спутника Земли — совпал с началом освоения третьего космоса.)

На фоне мощного технократического напора на природу в целом, на Арктику в частности достижения участников экспедиции «Комсомольской правды» при поверхностном подходе к ним могут показаться не столь уж существенными, однако лишь при поверхностном подходе. Были разные стратегические, разные тактические направления в освоении первого космоса, но основу всех направлений составлял и составлял человек — его мужество, его мысли, его способность действовать. Ни одно из этих качеств не устарело в век НТР. Тем более в Арктике, где эти качества проявляются в напряженнейших ситуациях, но никогда не выставляются на вид, а подразумеваются как должное.

Существует много проектов изменения климата нашей планеты. Чаще всего они связаны с проблемой арктических льдов: обычно их рекомендуют растопить. Растопление наверняка не произойдет в ближайшее столетие, и стратегия освоения Арктики, на мой взгляд, должна считаться с этой реальностью. С такой стратегической позиции автономное или полуавтономное существование подвижных групп на дрейфующих льдах не дань прошлому, а, вероятно, как ни фантастически это звучит, предвестие будущего. Проблемы освоения Мирового океана не исключают, а включают и районы, занятые многолетними льдами, — включают Арктику. Иного пути нет — осваивать уже приходится (и придется) не только водную, но и ледовую океаническую стихию. Высокоширотные экспедиции «Комсомольской правды» как нельзя лучше способствуют утверждению этого ледового варианта в сложных взаимоотношениях человека с природой. В этом смысле за ними будущее, и потому лыжные походы по арктическим льдам закономерно вписываются в великую северную эпопею. Именно поэтому мне представляются излишними оправдательные интонации в некоторых статьях об экспедициях. Да и к тому же усилия участников экспедиций по достоинству оценены правительством, научной и спортивной общественностью.

В заключение же просто необходимо ска-

зать об одной грандиозной проблеме, которая оказалась практически не затронутой ни на страницах книги (авторов можно понять), ни в статьях ученых и публицистов (их понять труднее). Я имею в виду проблему единства социального и естественноисторического в подходе к освоению и осмыслению внешнего мира. Об этом писал К. Маркс еще в середине прошлого века, эта же идея была вновь выдвинута XXV съездом КПСС, призванным к созданию фундаментальных исследований на стыке общественных и естественных наук. Маркс писал об этом так: «Сама история является действительной частью истории природы, становления природы человеком» — и: «...вся так называемая всемирная история есть не что иное, как... становление природы для человека», «становящаяся в человеческой истории... природа». Имея в виду изучение этого процесса, Маркс полагал, что «впоследствии естествознание включит в себя науку о человеке в такой же мере, в какой наука о человеке включит в себя естествознание: это будет *одна наука*»<sup>4</sup>.

Понятно, что Маркс мог писать о слиянии естествознания и социологии только как о явлении будущего. Но мы находимся в ином положении. Дело в том, что советская Арктика — это уникальный полигон, не имеющий аналогов в прошлом, на котором в небывало сжатые сроки (начиная с первой пятилетки) в процессе строительства социализма сплелись воедино, стали неразрывными история человека и история «становления природы для человека». На глазах фактически одного поколения в советской Арктике был проигран, реализован сюжет всемирной истории, о котором говорит Маркс в приведенных строках, причем реализован блистательно. Уже в 20-х годах социальный процесс начал стремительно преобразовывать самый характер взаимоотношений человека с природой в Арктике. Коротко преобразование можно охарактеризовать так: от эпизода к системе, к плановой системе, связавшей воедино все направления в исследовании и освоении Арктики. Становление человека новой формации, становление природы для человека социалистической формации протекали в единстве; в Арктике как нигде в другом районе даже нашей страны творилась, сотворялась единая история человека и природы. А вот наука, адекватно отражающая этот процесс, не возникла. Есть в системе наук болото-

<sup>4</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М. Политиздат. 1956, стр. 596, 598, 595.



ведение, гляциология, мерзлотоведение, но ни полярноведения, ни полярнологии нет. Нет, возможно, прежде всего потому, что слишком сложно было переплетение социального и природного в истории Арктики последних десятилетий. Мы только теперь приблизились к развертыванию фундаментальных исследований на стыке общественных и естественных наук, к созданию натурсоциологии как общей науки о взаимоотношениях человека с природой. Советский арктический опыт наверняка окажется бесценным для развития подобной отрасли знания, столь необходимой социалистическому обществу.

Литература, посвященная истории исследования Арктики, безгранична. Но так, как только что было сформулировано, пони-

маемая история Арктики — почти абсолютная целина. Для освоения ее потребуются целеустремленность, моральная и физическая закалка, недюжинная воля, огромная работоспособность, мужество — потребуются все те качества, которые необходимы в любом настоящем деле и которые привели к выдающимся достижениям участников высокоширотных экспедиций «Комсомольской правды». Изучение же коллективного опыта исследователей и покорителей первого космоса актуально не только в теоретическом, но и в практическом отношении еще и потому, что он получил логическое и историческое продолжение в освоении второго земного и бесконечного третьего космоса.

**И. ЗАБЕЛИН.**



## ПЕДАГОГИКА ИСТОРИИ

**Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1977. Л. «Наука». 1977. 471 стр.**

**Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1978. Л. «Наука». 1979. 510 стр.**

«Памятники культуры. Новые открытия» — издание странное, весьма еще непривычное, хотя необходимость его уже очевидна: оно в ряду с «Литературным наследством», с археографическими сборниками «Встречи с прошлым». Но «Памятники...» обширнее, пространнее по тематике, а хронология их просто-таки универсальна: древность Киевской Руси, средневековье. И далее мелькают века, обозначения коих воспринимаются нами уже приблизительно так, как после долгой отлучки из родного и любимого города воспринимаются начинающие мелькать за окнами скорого поезда названия пригородных станций, что-нибудь вроде Подольска, Мытищ или Люберец, — XVII век, XVIII. И — XIX столетие. А там уж и мы: хронология «Памятников...» доведена до композитора Сергея Прокофьева, до Кузмы Петрова-Водкина. С географией то же, что и с хронологией: «Памятники...» стремятся включать в себя и публикации по истории, по археографии соседних с Россией народов: новый выпуск их открывается экспонированием своеобразной грузинской церковной словесности XI столетия (В. Силогава, «Древнегрузинские граффити из Верхней Сванетии»), далее — эпизод из истории украинской культуры (Я. Исаевич, «Первые гравюры на меди в книгах типографий Украины»). В публикации К. Роберта «Инвен-

тарная книга городской библиотеки XVII в.» воспроизводится каталог внецерковного, внемонастырского книгохранилища города Ревеля (Таллина). Много материалов о градостроительстве в Средней Азии, об организации общественной жизни на Востоке в пору раннего и сравнительно позднего средневековья. Таким образом, нововыходящие ежегодники как-то по-особенному пространны и материалы их словно бы ветвятся вширь, заставляя нас хотя бы на день-другой неожиданно для себя становиться специалистами в самых непривычных отраслях исторических знаний: специалист по русской культуре XIX—XX столетий в дополнение к необходимой ему публикации письма Чехова или переписки профессора И. Цветаева, вдохновителя и учредителя Музея изящных искусств в Москве, сможет получить и массу отлично обработанных данных о том, как производилось и как выглядело когда-то золотое шитье (М. Фехнер, «Золотое шитье древней Руси»), или о том, какой пистолет в начале прошлого века носил при себе Абу-Муслим-хан (Э. Аствацатурян, «К вопросу об определении одной группы огнестрельного оружия»). Пистолет — шедевр материальной культуры, созданный в ауле Кубачи, на Кавказе, но при всем уважении к тем, кто его смастерил, он, этот почтеннейший пистолет,

достаточно далек от реконструируемых М. Чудаковой эпизодов из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»; и риск едва ли не парадоксального совмещения в одном издании столь разнородных материалов огромен. Но риск оправдан, и «Памятники...», каким бы диковинным это издание ни казалось, об этом свидетельствуют.

Сложившаяся у нас литературно-критическая традиция повелевает найти единство даже в самом разнородном, разнокалиберном материале. Разнородность материалов «Памятников...» налицо, а что касается их единства... Для обнаружения его не требуется особенной проницательности — оно есть, оно заявляет о себе внятно, весьма велегласно, и остается восхищаться уменьем и тактом составителей «Памятников...», сумевших сделать так, что разнороднейшие материалы, представляемые ими, как нетрудно догадаться, в преизрядном количестве, в конце концов стекались бы к общим концепциям и идеям.

Прежде всего «Памятники...» — книги, я бы сказал, о тщательности. Об усердии это книги, о труде профессионально дотошном. Это книги о работе-предшествовании, о работе, предвещающей появление на свет того или иного шедевра зодчества, словесности, музыки или так называемого прикладного искусства.

Один публикатор-исследователь анализирует огнестрельное оружие кавказских мастеров, другой — рукописи известного писателя. Общее здесь то, что нам показывают мастеров. Мастеров за работой. М. Чудакова взялась решать буквально головоломку: вопреки уже ставшей крылатой сентенции героя булгаковского романа о том, что рукописи не горят, рукописи первых вариантов «Мастера и Маргариты», безжалостно писателем уничтоженные, исчезли, сгорели. И утраченное восстанавливается по одной половине, по трети сохранившихся для потомства страничек. От произвольных догадок здесь не уберечься, и не все в работе исследовательницы достоверно и несомненно. Но речь сейчас о другом — о том образе художника-труженика, который, однажды сложившись в «Памятниках...», прочно здесь укоренился и в гипотезах М. Чудаковой обрел новые, дополнительные аспекты: уничтожать собственные творения — это, увы, тоже творчество, хотя, разумеется, это творчество-драма, трагедия творчества. Булгаков у Чудаковой трагичен. Но главное то, что он в ее интерпретации труженик, один из тех тружеников националь-

ной культуры, которых представляют современности книги «Памятников...». Таким тружеником был и современный русский писатель и его земляк-предок, строитель одного из первых русских соборов (Г. Логвин, «К истории сооружения Софийского собора в Киеве»). И труженик XI или нашего XX века в «Памятниках...» явлен в начале деяния своего, на той таинственной грани, которая отделяет замысел от последующей материализации. В «Памятниках...» не столько строят, лепят, чеканят, сколько намереваются строить, лепить или, скажем, чеканить. То, что построили или вылепили, мы, как правило, уже увидели, признали и полюбили. Но здесь — как в кино, когда фильм проецируется от финала к середине, к началу. И есть в «Памятниках...» даже такой своеобразный сюжет, по крайней мере сюжетная линия: строительство некоего здания, храма в широком понимании этого слова. Собор Софии предстает в книгах как бы еще не воздвигнутым, дан только план его, и сюжетная линия храмостроительства здесь начинается. А в конце ее — страницы из истории сооружения в Москве Музея изящных искусств, письма И. Цветаева крупному меценату Ю. Нечаеву-Мальцеву, без огромных вкладов коего в задуманное Москва своего великолепного музея обрести не смогла бы. Словом, храмостроительство, зодчество — такова несомненная сюжетная линия ежегодника, и, как всякая правдиво и искренне выполненная сюжетная линия, она ставит нас перед угадываемой метафорой: жизнь народа, жизнь единичного человека — трудоемкое, требующее неустанной заботы строительство храма, некой духовной святыни, в воздвижении которой сливаются вдохновение и скрупулезные чертежи, талант и работа. То, что создал талант, мы видим: достаточно прогуляться по Волхонке в Москве, по Владимирской улице в Киеве или записаться на экскурсию в Новгород. Но созданное дополняющей талант усердной работой покажут «Памятники...» — книги, освещающие подоплеку, изнанку таланта. А там, где есть стремление к изнанке и, смею даже сказать, к кухне национальной культуры, неизбежно появится и другое, не менее поучительное — стремление к равноправному анализу того, что считается эстетически периферийным, не очень-то важным и несущественным. Но культурология — новая, достаточно не окрепшая наука, которую явно пропагандируют «Памятники...», — перспективна именно своею

непредубежденностью, непредвзятостью: исследователь-культуролог как бы не знает о том, что сейчас, в наше время, почитается важным, а что важным не почитается. Он, по присловью, словно с луны свалился, и заурядный комнатный стол для него внутренне равноправен с классическим архитектурным ансамблем, а колокольный звон — с музыкой Бетховена или Скрибина.

Статья З. Поповой «Стол XVII в. из Краеведческого музея г. Тотьмы» вводит в историю сосуществования и соперничества разных стилей мебельного искусства. Внимание исследовательницы отдано стилю барочному, метафорическому, в трактовке которого стол изображается и как ладья, причем явно подразумевалось, что за этой метафорой пойдут и другие. Тут уж нельзя не вспомнить Державина: «Где стол был яств, там гроб стоит» («На смерть князя Мещерского»). И ясно, что ежели перед предком нашим «стол был яств», то ладьеобразное строение стола напоминало ему ковчег праотца Ноя, а ежели на стол-ладью водружался гроб... Что ж, плаванье в некую обетованную страну у него на глазах продолжалось, и в обоих случаях обыкновеннейший стол был идееносным высказыванием, речением, словом (нам, окружившим себя функциональными, как бы утратившими дар речи вещами, о подобном смешно и помыслить!). И статья о столе из районного краеведческого музея напоминает нам о премудром мире вещей-идей, вещей-мифов.

А заметка Л. Благовещенской «Звуковые спектры московских колоколов!» Не так давно в журнале «Москва» (1977, № 7) появилась повесть-воспоминание Анастасии Цветаевой «Сказ о звонаре Москвожеём». Рассказывалось в ней о совершенно особенном человеке, молодом и странно талантливом, — о Константине Сараджеве-младшем. О феноменальном слухе его: в октаве он слышал 1701 (!) звук. Рассказывалось о замечательных деяниях его на поприще сохранения, спасения колокольной музыки столицы России, о праздниках, которые он дарил людям волшебным звоном своим (как свидетельствует А. Цветаева, «гармонизациями» Сараджева на колоколах живо заинтересовался Горький). И снова яркий пример позиции «Памятников...»: в одном случае нам показали лицо, лик кого-то, чего-то прекрасного — прекрасной музыки, прекрасного человека, — теперь же показывают трудовую изнанку таланта. И публикация Л. Благовещенской в духе «Па-

мятников...»: раскрывается подводная часть некоего оригинальнейшего художественного свершения. Публикуя «Список «индивидуальностей» «больших» колоколов всех колоколен г. Москвы», составленный едва ли не гениальным музыкантом когда-то, исследовательница скромно пишет, что он, список этот, «является сейчас наиболее значительным фактическим материалом по московским колоколам и по акустике колокола вообще». Но публикации ее просто-таки цены нет. И не потому только, что воздана наконец справедливость москвичу-патриоту, а потому еще, что какие-то радостные, хотя и смутные, а может быть, даже и несбыточные надежды подогревает она: рукописи все-таки и впрямь не горят, а звуки, когда-то гремевшие, переливавшиеся над городом, не могут умолкнуть. И как знать, вдруг да — уж хотя бы в хорошей имитации какой-то, в чем-то камерном повторении — мы еще удостоимся радости внять их отблескам, отзывам. И повторю: колокольный звон для нас — пусть даже и вежливо уважаемая, но бесспорная периферия искусства, а центром его является музыка симфоническая. Но имеем ли мы право считать себя обладателями безусловной какой-то эстетической истины? Неизвестно. И надежды, которые будят «Памятники...», чреваты сомнениями. Здоровыми, естественными сомнениями в себе, в теперешних своих художественных нормативах, в эстетических убеждениях и, возможно, предубеждениях. А «Памятники...» продолжают свое: широко отворяют врата в миры, почитающиеся периферийными.

Одна за другой идут две публикации: Н. Покровский, «Исповедь алтайского крестьянина» и С. Житомирская, «Дневник дочери декабриста».

В первой уникальный случай: некто Артемий Сакалов в середине XVIII столетия вел что-то наподобие дневника — дядюшка Артемий, крестьянин с Алтая, написал перечень своих грехов, прегрешений. «За свою семидесятилетнюю жизнь, — сообщается в публикации, — Артемий насчитал 58 грехов». Грехи были разными, но даже простого перечисления их достало бы на многотомный роман, на «плутовской роман», приключенческий со всеми его атрибутами: герой, человек из низов, вступает в разбойничью шайку, ведет разгульную жизнь, невредимым выходит из невероятных переделок и злоключений, оказывается в плену и в конце концов мирно женится, с тем чтобы благонаравно при-

няться за размеренный труд земледельца. Он тих и уживчив. «Соседи претензий к нему не имели», — сообщает нам публикатор, не чувствуя некоторого комизма своего стиля: будто он современную служебную характеристику мужичку Артемию пишет. Но это обмолвка, а в целом документ Артемия по-настоящему восхитителен: да, история его, включающая в себя еще и непосредственное общение его с князем тьмы, с духом нечистым, — настоящий роман. Это роман, рассказанный как бы изнутри его фабулы, самую жизнью рассказанный. Он хранился где-то лет двести, пока не явились «Памятники...». И с современностью нашей заговорила жанровая периферия национальной культуры, заговорил жанр, который ведом нам лишь в культивированном, в обработанном виде: скажем, «Журнал Печорина» в «Герое нашего времени» Лермонтова.

И, кстати, о Лермонтове. В начале 40-х годов прошлого века дочь декабриста В. Давыдова Елизавета Васильевна, Лиза, шестнадцатилетняя девушка, роман Лермонтова жестоко осудила. Она нашла, что «человек, его написавший, не понимает чувств женщины, и в особенности женщины, хорошо воспитанной». Завидная независимость! И Лиза — великолепный оппонент для всех нас, уже на школьной скамье писавших гладкие сочинения и о психологизме Лермонтова, и о женских образах в «Герое нашего времени». Публикуя выдержки из дневника Елизаветы Давыдовой, С. Житомирская напоминает: «Обычный дневник дворянской барышни. Их десятки в архивах... но наша наука лишь начинает распознавать в них подлинные исторические источники...» Далее говорится о том, что в этих дневниках не надо искать каких-либо неведомых прежде фактов, что они ценны по-другому: в них «черты социальной психологии», в них высказывается «массовый» культурно-психологический стереотип. Это верно, хотя и как-то слишком уж холодно: жила человек, жила-была девочка, в разлуке с отцом жила, и папы своего дочь не видела; думал человек, размышлял, боролся с собой, страдал — и на тебе: удостоили его наконец вниманием на том основании, что массовый стереотип им представлен. Это холодно. Но, наверное, от неуверенности здесь холод идет. От желания оправдаться и от оглядки: а все ли поверят, что Лиза — это тоже история и тоже культура нации? И внутренней теплоте публикации рационалистический тон ее заметно про-

тиворечит: по существу же, Лиза Давыдова выглядит в публикации и очень живой, и славной, и вполне достойной стать героиней солидных академических изысканий. Судьба ее драматична. Суждения ее независимы и смелы: Лермонтов уличен в незнании женского сердца, «Ревизор» в исполнении Гоголя ей не понравился (счастливица, слышала, как сам Гоголь читал «Ревизора»!). И стоят они рядом: скиталец-мужик со своими 58 грехами, герой, может быть, «Капитанской дочки» или «Дубровского» Пушкина, да подросток-девушка, героиня скорее все-таки Лермонтова, уличенного ею в нарушении жизненной достоверности (если не романа его, то поэмы «Сказка для детей»: там как раз такая описана русская девушка-аристократка, интеллигентная и немного скептическая). И говорят они, девушка и мужик, что они — культура. Культура великого народа, представленная в неканонических, но равноправных с канонизированными формами и видах: их исповедь и дневник — такое же важное, такое же существенное речение прошлого, как и классические философские трактаты, романы, поэмы.

«Прошлое здесь лишь для того, чтобы от него рикошетом возникло современное», — записал художник К. Петров-Водкин. И слова его, приведенные в публикации Ю. Новикова, посвященной воспоминаниям художника, словно бы формулируют какое-то этическое и методологическое кредо «Памятников...».

Прошлое актуально. Но наивно было бы требовать, чтобы каждый осколок, каждый отблеск его мог бы открыть нам свою актуальность в одночасье, мгновенно: так бывает только в сомнительного пошиба сенсациях, скоропреходящих, хотя и эффектных. Прошлое имеет и ценность самодовлеющую. Оно требует спокойствия и пристойной солидности: живи, терпеливо копи материалы, факты, штрихи и не борись с вопросом о том, зачем это нужно, — сохраненное и накопленное рано или поздно зачем-нибудь да понадобится.

«Памятники...» это чувствуют, ведают. Уже и сейчас они исподволь достраивают, перестраивают наше знание прошлого, нашу методику ведения с ним диалога. И часть материалов их уже сейчас рикошетирует в современность, а часть остается как бы про запас, на потом, для последующих поколений. И о том, что дадут эти книги нашему будущему, во благовременье скажет оно само.

В. ТУРБИН.

---

## КОРОТКО О КНИГАХ



**ВЛАДИМИР БЕЛЯЕВ.** Избранные произведения в двух томах. М. «Художественная литература». 1979.

Однажды у Владимира Беляева состоялась в Москве необычная встреча — он познакомился с сыном героя своей трилогии «Старая крепость», молодым украинским ученым Александром Кожухарем.

— В детстве, — сказал Кожухарь, — я часто спрашивал отца: а правда, что это про тебя написали в книжке? И отец повез меня в Каменец-Подольский, показал Старую крепость. Вот, говорит, смотри сам, думай... Там все время мальчишки, когда бы ни приехал туда. Ищут подземные ходы, сидят, как галчата, на башнях, играют в войну...

Как, очевидно, помнит читатель, герои «Старой крепости» — комсомольцы первого призыва. После гражданской войны, когда вся страна жила уже относительно спокойно, близ Каменец-Подольского провались из-за рубежа две банды петлюровцев... Первый удар пришлось принять на себя комсомольцам, пока не подошли регулярные части червоного казачества. Образы многих комсомольцев и красных конников, ставших потом курсантами Совпартшколы, и вывел впоследствии в своей трилогии В. Беляев.

Долголетняя, яркая жизнь трилогии, которой зачитываются все новые и новые поколения детей и юношества, объясняется тем, что в произведении увлекательно и талантливо воссозданы достоверные портреты обыкновенных молодых людей, живших в то необыкновенное время, таких, как Василь Манджура, Петр Маремуха, Феофан Кожухарь, Юзик Стародомский... В судьбах героев книги — судьба страны, великие социальные перемены.

Не только главная книга писателя «Старая крепость», вобравшая в себя жизненный опыт автора, но и другие его произведения, включенные в двухтомник, — художественное отражение реальных событий, конкретных личностей, достоверное свидетельство времени. Писатель, еще подростком начавший службу в отрядах ЧОНа, взволнованно рассказывает о доблестных стражах наших границ, о беспримерном мужестве, проявленном советскими погра-

ничниками как в военное, так и послевоенное время, воскрешает имена реальных героев застав.

Во время войны Беляев жил в Ленинграде, строил оборонные рубежи, нес патрульную службу в истребительном батальоне и одновременно выступал в печати, по радио, в кино как писатель-публицист, летописец всенародного подвига. Все, что ему удалось узнать и пережить в осажденном Ленинграде, в морских баталиях, в ледовых арктических сражениях, легло в основу целого ряда рассказов; некоторые из них публикуются в двухтомнике («Дорога жизни», «После удара торпеды»).

Осенью 1944 года В. Беляев на освобожденной от фашистских захватчиков Львовщине участвует в работе Чрезвычайной комиссии по расследованию гитлеровских зверств. Располагая обширным обличительным материалом о бесчинствах украинских националистов, В. Беляев в гневных публицистических статьях разоблачал предателей, которые, прикрываясь религиозной фразой, действовали в тесном сотрудничестве с фашистами, диверсантами, посланными из-за рубежа на борьбу с советской властью. Pamфлеты того времени — «Последнее салто Серого», «Загадка Вулецких холмов», — вызвавшие бешеную злобу в среде заокеанских украинских националистов, автор включил ныне в свой двухтомник: они не утратили политической актуальности и по сей день, ибо буржуазный национализм не сложил оружия, до сих пор творит свое черное дело, и, несмотря на отдельные призывы к миру высоких иерархов церкви на капиталистическом Западе, другие, прямо подчиненные им слуги божьи не только поощряют политику кровавой войны, но и открыто благословляют ее. Писатель призывает советских людей быть бдительными, свято хранить дело мира и социализма.

Правдивые книги Владимира Беляева не стареют. Они, как и его жизненная судьба, нерасторжимо переплелись с революционной биографией страны, помогают новым и новым комсомольским поколениям закаляться идейно, находить свое место в рядах борцов за коммунизм.

**Владимир Разумневич.**



**Б. ЗИНГЕРМАН.** Очерки истории драмы XX века. Чехов, Стриндберг, Ибсен, Метерлинк, Пьяранделло, Брехт, Гаушман, Лорка, Ануи. М. «Наука». 1979. 392 стр.

Девять драматургов, чьи имена стоят на обложке книги Б. Зингермана, это девять действующих лиц той реальной драмы, которую представляла собой великая театральная революция, разыгранная на рубеже двух веков и до сих пор окончательно еще не разрешившаяся. Драматургия этого реального исторического действия является предметом исследования и определяет сюжет книги, свободный в своей целеустремленности, послушный зигзагам индивидуальных творческих судеб и неуловительно доказательный.

Проблема поведения человека и проблема драматического действия, определяемого поведением сценического персонажа, являются в книге стержневыми. Новое историческое время во второй половине XIX века стало обнаруживать подвластность личности могучим общественным силам, превращавшим ее в средство, а не цель прогресса. Эта обнаружившаяся несвобода человеческого существования противоречила самой природе драмы, существо которой — действие, а действие скомпрометировано, ибо герой неполномочен для конфликта. В этом, по книге, зерно причин тех резких перемен, которые произошли в драматическом жанре. Автор последовательно рассматривает, как на рубеже двух веков и уже в XX веке (преимущественно в первой трети его) драматурги выразили взаимоотношение человека с действием. Каждый из очерков — это всякий раз новое имя крупного драматурга и новая драматическая ситуация, отражающая реальную историческую ситуацию. Каждый из очерков — это глава монографии и одновременно новый, последующий виток и акт развертывающейся драмы, где девять драматургов, девять персонажей, напряженно разгадывают свою эпоху, следя за тем, как ее герои стремятся вернуть себе утраченные полномочия и право на инициативу в конфликте. Художественное творчество предстает в книге Б. Зингермана как поступок, как действие высшей категории, потому что представляет собой реальность, в которой формирующаяся судьба человечества не только выявляет себя и подытоживает, но и предугадывает свои будущие пути.

Изучая дух и стиль творчества каждого из девяти драматургов, исследователь глубоко вторгается в реальность, породившую это творчество и запечатлевшую в нем свои черты. Горизонты индивидуальности своих героев он видит широко. Минимум полвека отделяет автора книги от авторов изучаемых им пьес и постановок. Эта дистанция времени обогащает исследование, но не мешает исследователю писать портреты создателей драмы XX века с азартом заинтересованного, даже заинтригованного современника, едва ли не перевоплощаясь в них, но нигде не опускаясь до стилизации.

«Обожествление радостей бытия, — пишет Б. Зингерман о фарсовых персонажах Ануя, — заглушает страх перед жизнью и

способствует формированию необыкновенно гибкой этики, помогающей справиться с любой ситуацией, какой бы сомнительной она ни была... Ближайшая цель этой портативной, свободно скользящей этики, избавляющей от необходимости держаться в границах какого-либо амплуа, состоит в том, чтобы узаконить каждую новую ситуацию, в которую человек вторгается волею судеб».

«Коррида, по Лорке, — говорится в предшествующей главе, — это и «национальное зрелище», и «подлинная драма», где нужно не погрешить против художественной истины, где человек борется и со смертью, и с рассудочностью: он должен выйти победителем в своем опасном поединке, не унижая себя, однако, мелочной осмотрительностью, не лишая свою борьбу, основанную на расчете, на геометрии, естественного и вольного развития, оставив простор для стихийной игры жизни и смерти, свободы и предопределенности».

Реконструируя историю драмы как драматический сюжет, Б. Зингерман дает читателю возможность почувствовать себя втянутым в это действие. Прихотливая и чутко соотносенная с исторической реальностью мысль автора постоянно устремляется к человеческой природе, чтобы понять, какие силы и качества исторгают из ее глубины новый век. Оттого строгая научная монография читается как документ трезвого и мужественного самопознания.

И. Борисова.



**ЕЛЕНА БЫКОВА.** Большая Ордныка. Рассказы. М. «Современник». 1979. 333 стр.

Неспокойно в душевном мире героев книги Елены Быковой, выбравших себе нелегкие земные пути — геологов, археологов, шоферов, врачей, журналистов. Они неуступчивы, когда обстоятельства толкают их на компромиссы, требовательны к себе. Они любят порассуждать о жизни, о том, что есть человек, любят пофилософствовать. Прост сюжет рассказа «Пролливной дождь». Поискская партия геологов занята будничной работой, но только почему-то не спится после трудового дня ни начальнику партии, ни его подчиненному. Оба, ворочаясь в спальных мешках, думают об одном и том же: «Чудно на свете все устроено, что ни человек, то свой нор...» В рассказе «Уроки музыки» Инна, молодой геолог, отстав от своей партии и задержавшись в таежном поселке, чтобы исследовать пробы, неожиданно подвергается искусственности «легкой жизни». Но только в борьбе за правоту человечности обретает она настоящее счастье, вовсе не похожее на то, которое подменяет правду красивой ложью: «Обман всегда останется обманом. И работа потому у нас не ладилась, — выговаривала она Виталию. — Нечестность, даже самая малая, доведет тебя... Надо отвечать за каждый свой шаг...» Стараясь быть предельно честной в любви, Инна мучается

не ревностью, не обидой, а сознанием невыполненного нравственного долга: «Не успела, не успела сказать правду...»

В рассказах Елены Быковой действуют люди активные, волевые, неутомимые в поиске счастья. И еще одна черта отличает их — они ценят доброту и сами добры к людям. «Пожалуй, следующая моя статья и будет именно об этом, о терапии доброты... Доброта — это самый большой человеческий талант» — так думает Нина, молодой физиолог. Добротой живут герои сборника, за доброту они страдают и расплачиваются даже собственной жизнью, как это случилось с Анной Карениной из Черноморки. Зато какой победительной силой обладает рука трехлетней девочки, пытающейся погладить кобру! Такое событие происходит в рассказе «Пески звенят».

Автор, создавая незаурядные характеры, не боится писать о поступках своих героев и с юмором, а иногда и с легкой иронией, подтрунивая над новомодной интеллектуальностью и страстью к острым ощущениям. Чем привлечь австрийские симпатии угловатая девочка-подросток, умеющая с одинаковой непосредственностью лгать, притворяться, плакать, раскаиваться, любить и ненавидеть? Это Леночка из рассказа «Триптих», начало которого развертывается метафорически: «Утром встаю — лежит пчела. Надо убрать. Беру — ужалила. Мертвая пчела?!» Писательница верит в то, что Леночка избавится от всего, что чужеродно и враждебно истинной юности, от того, что искусственно внедрялось в ее сознание с детских лет слишком утилитарно настроенными взрослыми. И действительно, героиня находит свое место в жизни, обладая самым главным земным богатством — молодостью.

Жаль, что в хорошем сборнике Е. Быковой встречается и торопливость письма, и нечеткость отдельных образов, а порой и штампованность стилистических построений. Но думается, что это недостатки, от которых писательница в силах освободиться.

**Маргарита Ногтева.**

Красногорск, Московская обл.



**АСАФ МЕССЕРЕР.** Тавец. Мысль. Время. М. «Искусство». 1979. 175 стр.

Тот, кто видел Асафа Мессерера на сцене, помнит, как он танцевал. Танцевал прекрасно: технически безупречно, актерски выразительно. Комедийные балеты «Коппелия» и «Тщетная предосторожность» с жизнерадостными образами Франца и Колена. Мягкий лиризм Зигфрида в «Лебедином озере». Блистательная виртуозность «Танца с лентой» в «Красном маке». Военетная мужественность Нурали в «Бахчисарайском фонтане». Юмор и воспитательная легкость в сложнейшей партии Базиля из «Дон Кихота». Гротеск и чувство меры в Продавце воздушных шаров из балета по сказке Юрия Олеши «Три толстяка»... Настоящему дирижеру выдающегося солиста Большого театра не знал ограничений.

Те, кто бывал на уроках Асафа Мессерера в классе мастеров Большого театра, знают, как велик его педагогический дар. Класс этот очень красив: он строится по тщательно продуманной ежедневной программе и все движения здесь от самых простых до самых трудных комбинаций даются в истинно эстетической последовательности. Перед вами возникает картина зарождения, развития и формирования классического танца.

Тот, кто сейчас прочтет книгу народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР Асафа Мессерера, с удовольствием вспомнит или узнает наново о его артистической и педагогической деятельности. И, быть может, в познавательности книги и состоит ее особая значительность.

Но не только профессионал балета или его любитель почерпнут в рецензируемом труде нечто для себя важное. Для любого знатока литературы или театрала будут весьма любопытны воспоминания о мимолетных встречах с Маяковским, о работе с Мейерхольдом, описание постановки и триумфального успеха «Мистерии-буфф», показанной в Москве на немецком языке для участников конгресса Коминтерна.

Целая портретная галерея замечательных государственных деятелей (от Луначарского до Малиновской) и артистов (от Дункан, Собинова, Гельцер и Тихомирова, от Чабукиани, Улановой, Голейковского до Кандауровой и Семеновой) проходит перед нашим мысленным взором при чтении книги. Она вводит нас в творческую лабораторию автора — артиста, педагога и балетмейстера.

Сегодня, как всегда, семидесятипятилетний Асаф Мессерер, подтянутый, элегантный, улыбающийся, приходит утром в Большой театр, чтобы дать свой урок. И даже когда он устаёт, его артистизм делает усталость незаметной для окружающих. По-прежнему у него на все есть время: и на работу в парторганизации, и на то, чтобы помочь новичку освоиться в сложных условиях теперешнего большого балета, и чтобы замечательно написать содержательную и необычную книгу...

**Анна Илунца.**



**Ф. Д. РЫЖЕНКО.** Декабрь 1905. М. «Молодая гвардия». 1980. 196 стр.

«История — сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего». Это высказывание Сервантеса, взятое эпиграфом к рецензируемой книге, хорошо оттеняет ее основную мысль: раскрыть непреложную важность для человечества величайшего исторического события — первой народной революции XX века, революции 1905—1907 годов в России.

Завершив буржуазно-демократические революции XIX века, 1905 год в России положил начало освободительным битвам пролетариата в эпоху империализма, открыл пути для социалистической революции. Создание марксистско-ленинской партии, партии нового типа, сделало Россию

центром международного революционного движения, а рабочий класс этой страны — его авангардом.

Книга Ф. Рыженко рисует картину нарастания революционной бури к ее вершине — Декабрьскому вооруженному восстанию. Автор рассказывает о III съезде РСДРП, который нацелил пролетариат на вооруженное восстание, раскрывает роль В. И. Ленина в организации восстания.

Политической, экономической, военной силе самодержавия российский пролетариат в 1905 году противопоставил организованность и мобилизацию всех духовных и нравственных сил. Из-за нехватки оружия в боях с царизмом в декабре 1905 года смогла принять участие лишь незначительная часть пролетариата. Но отличие любого восстания от мятежа или путча заключается именно в том, что за спиной боевых отрядов, защитников баррикад, стоят тысячи, сотни тысяч людей, готовых по первому зову занять место передовых бойцов. У баррикадного фронта в декабре 1905 года был свой тыл — массовая политическая стачка. Только в Москве в ней участвовали, морально поддерживая боевые дружины, около 150 тысяч человек.

Рецензируемая книга дает представление о некоторых реальных чертах прошлого на основе воспоминаний, большевистской печати, выдержек из художественных произведений (А. М. Горького, Вс. Иванова, Т. Щепкиной-Куперник, В. Брюсова и других). В распоряжении биографов революции имеется много исторических источников, в том числе опубликованных. Помимо материалов, привлеченных автором, немало важных штрихов к характеристике духовной жизни в революционную эпоху может дать богатейшее эпистолярное наследие. Например, о степени возмущения и нравственного роста передовых рабочих можно судить по их переписке с семьями. «Спешу уведомить тебя, дорогая моя жена, Евфросинья Тимофеевна, что скоро будет вооруженное восстание, и останусь ли я жив в бою или нет, но я смерти не боюсь, и тебе за меня бояться нечего», — писал накануне декабрьских событий рабочий одного из екатеринославских заводов.

Атмосферу общества в период вооруженного восстания хорошо передают источники, рассказывающие об участии русской демократической интеллигенции в революции. Как свидетельствует большевичка Ф. Дравкина, квартира Алексея Максимиловича Горького в Москве стала одним из важных организационных центров восстания. Под ёвнст пуль и грохог орудий А. Серёфимович пишёт рассказ «На Пресне», А. Куприн — «Сны». В них отклик на восстание, вера в успех борьбы за свободу и счастье народа.

Вооруженное восстание оказало огромное влияние на формирующееся творчество будущих крупных деятелей культуры, дало им заряд на всю жизнь. Известная впоследствии скульптор А. Голубкина не только участвовала в вооруженном восстании в декабре 1905 года, но и устроила у себя дома госпиталь для раненых дружинников. Революция прочно вошла в духовный мир многих художников, писателей,

ученых. «Под знаком событий первой русской революции я оформился и рос как художник», — писал С. Коненков. — На баррикадах Пресни передо мной открылась душа восставшего народа».

В декабрьском восстании участвовало много молодежи — рабочих, студентов, учащихся. Лучшие из них, отмечает Ф. Рыженко, цитируя воспоминания старого большевика З. Литвина-Седого, заслужили «право быть занесенными золотыми буквами на скрижали истории борьбы». Книга Ф. Рыженко, выпущенная в молодежном издательстве, несомненно способствует популяризации истории революционной борьбы, самоотверженных подвигов молодых бойцов, равнение на которых держит комсомол 80-х.

Декабрьское восстание потерпело поражение. Но обретенный народом опыт революционной борьбы не пропал даром. «Будущее за рабочим классом. Поколение за поколением во всех странах на опыте Пресни будут учиться упорству» — эти слова последнего воззвания штаба пресненских дружин звучат пророчески. Замечательную по глубине характеристику исторического значения вооруженного восстания дал В. И. Ленин, подчеркнувший, что «декабрьской борьбой пролетариат оставил народу одно из тех наследств, которые способны идейно-политически быть маяком для работы нескольких поколений».

**И. Пушкарева,**  
доктор исторических наук.



**А. И. МОЛОДЧИЙ.** Самолеты уходят в ночь. Хроника экипажа бомбардировщика авиации дальнего действия. Киев. «Молодь». 1979. 238 стр.

В те месяцы линия фронта проходила совсем недалеко от Москвы. Берлин, другие города фашистской Германии воспринимались как мрачное, зловещее, но бесконечно далекое «логово зверя». А для летчиков авиации дальнего действия это была просто цель. Цель, до которой добраться хотя и очень нелегко, но вполне возможно, что они, летчики АДД, и доказывали многократно. Излишне говорить, каким ореолом в глазах соотечественников были окружены люди, делавшие эту трудную боевую работу! И одним из наиболее популярных среди них был Александр Молодчий, вскоре ставший Героем, а затем и дважды Героем Советского Союза.

Раскрывая книгу А. Молодчего, мы сразу погружаемся в живую атмосферу военных лет, переживаем вместе с автором все трудности и опасности его боевой службы, его нелегко доставившаяся, но, можно сказать, ставшие системой удачи и его редкие неудачи, о которых он не в пример многим другим мемуаристам пишет откровенно и аналитически: «...и я не раз действовал по старинке, успокаивался на ранее достигнутом или переоценивал свои возможности. И это нередко кончалось неудачей». Такая самокритичная, доверительная интонация в устах одного из лучших летчиков АДД, выполнившего более 300 вылетов на бомбарди-



ровку глубоких тылов противника, вызывает уважение.

Многое в книге А. Молодчего выходит далеко за пределы обозначенной в подзаголовке «хроники экипажа бомбардировщика авиации дальнего действия».

Он видит — и откровенно вспоминает сейчас — многие беды и неполадки начального периода войны. Что помогло преодолеть их? Автор отвечает прямо: «Беззаветная отвага и чувство высочайшей ответственности за судьбу Родины». А говоря о событиях 1942 года и тем более последующих лет войны, с удовлетворением констатирует: «Мы научились воевать. Вернее, мы непрерывно учились воевать...»

В книге остро ощущается правда времени. О своих товарищах и боевых командирах А. Молодчий рассказывает тепло, уважительно, причем в той же манере — не декларационной, а очень конкретной. Особенно запоминаются нарисованные им портреты его штурмана Героя Советского Союза С. Куликова, командующего дальней авиацией А. Голованова, полкового комиссара С. Федорова, который «в самые трудные моменты появлялся среди нас. Никогда не произносил зажигательных речей, а просто в качестве рядового штурмана летал вместе с нами на боевое задание».

Конечно, не все в книге А. Молодчего безупречно. Встречаются в ней мелкие неточности, анахронизмы, ошибки в наименованиях географических пунктов. Кое-где нечеткая формулировка, неточно найденное слово приводит к противоречию со всем содержанием книги да и общим строем мыслей самого автора. Так, не очень убедительна попытка сейчас, задним числом, не просто объяснить, но чуть ли не превозвести как положительное явление шапкозакидательское отношение к врагу, бытовавшее среди некоторых молодых летчиков накануне войны. Ряд замечаний вызывает и качество литературной записи. Укажем хотя бы на употребление — вполне всерьез — штампов, давно ставших достоянием пародистов (вроде «украдкой смахнуть скудную мужскую слезу»).

Мемуарная литература, посвященная авиации дальнего действия, достаточно обширна. Вспомним хотя бы интересные воспоминания Э. Пуспа, Б. Тихомолова, Н. Богданова, А. Штепенко, И. Киндюшева, А. Крылова, самого А. Голованова.

Но книга «Самолеты уходят в ночь» не повторяет ранее опубликованного. Она содержит много новых фактов, обобщений. Она знакомит со многими незаурядными людьми — погибшими в боях и здравствующими поныне (последних числом куда поменьше, чем первых: дальняя авиация несла в боях тяжелейшие потери).

И наконец, в книге Александра Игнатьевича Молодчего явственно виден привлекательный профессиональный и человеческий облик ее автора, без чего, наверное, не работали бы все остальные ее бесспорные достоинства.

М. Галлай.

**О. И. ЛАРИЧЕВ.** Наука и искусство принятия решений. М. «Наука». 1979. 200 стр.

Рассуждая логически, нельзя не заметить, что в названии этой работы сделана попытка совместить два противоположных подхода к делу. Ведь если принятие решений — наука, то при чем тут искусство? А если оно искусство, то какова роль науки? Только дочитав книгу до конца, начинаешь понимать, какую убедительную в целом концепцию выстраивает О. Ларичев для доказательства совместимости, даже неизбежности сочетания двух противоположных подходов к процессу принятия решений.

Сегодня нет особой нужды пояснять, что принятие решений — главный раздел науки об организации и управлении, которая становится на наших глазах едва ли не самой актуальной из областей знания. Математики и медики, исследователи космоса и социологи, экономисты и публицисты — все теперь говорят о комплексных подходах, системных анализах, исследованиях операций... Любой уважающий себя управленец стремится раньше других овладеть батареей компьютеров, составить свою АСУ и задействовать множество ее разновидностей. Однако трезвые головы уже начали роптать: АСУ-то оказалась котом в мешке — системный анализ не дает автоматического эффекта, а сетевые графики требуют такой четкости и культуры работы всех звеньев управляющих систем, какие еще и не снились...

К счастью, есть примеры эффекта. Лучшие из наших управленцев неизменно доказывают делом, что рубль, вложенный в создание АСУ, окупается всего быстрее, если только он, рубль, затрачен с умом. Оно и понятно: математики говорят, что если количество управляемых объектов увеличивается в арифметической прогрессии, то информационная составляющая при этом тяготеет к геометрической прогрессии. Рост «объектов» нагляден, его может убедительно проиллюстрировать, в сущности, одна-единственная цифра: за последние десять лет основные фонды народного хозяйства СССР возросли почти вдвое.

На многих ярких примерах О. Ларичев показывает, что есть наука, а что — искусство в принятии управленческих решений. Провести исследование, которое осуществляют консультанты, сам руководитель часто не в состоянии. Требуется время, научный аппарат для всестороннего анализа ситуации — и даже неоспоримые доказательства объективности и непредвзятости исследования. Всего этого инженеру, даже вознесшемуся на высокую ступень управленческой иерархии, не дано. Я вовсе даже не уверен, что должно быть дано. Если начальниками главков и будут у нас назначаться сплошь квалифицированные ученые — специалисты в науке управления, очень скоро они забудут свои научные навыки. Потому как всем известно: текучка обязательно заест, уж не говоря о ведомственном подходе, который с первых же шагов оказывается в вооружении управленца, хотим мы того или нет. Значит, научная часть принятия решений — это чаще всего

проводимое профессионалами-экспертами объективное исследование, подкрепленное отработанной методикой.

Достаточно ли этого, чтобы было принято наилучшее решение? Нет, утверждает автор. И мы с ним не можем не согласиться. Одно дело консультант и его рекомендации, другое — само решение. Принимает его в конечном итоге администратор, управленец, организатор производства. Когда перед ним раскрыта карта «многокритериальных альтернатив», когда он знаком с экспертными оценками «полезностей» в «слабоструктуризованных и неструктуризованных ситуациях», тогда ему остается... принимать решение. Это уже искусство. Никакой консультант не выдаст подходящих рекомендаций, если не поработает с автором будущего решения. Но и никакой консультант не сможет учесть всю полноту факторов, все возможные последствия. ЛПР (Лицо, Принимающее Решение, с которым, как и с консультантами, автор в своей книге то и дело беседует, спорит, убеждает, чем, кстати, и делает эту серьезную научную монографию интереснее для читателей разной подготовки), только ЛПР чутьем, интуицией, опытом оценивает все рекомендации, все ожидаемые и неожиданные последствия.

Повторяю, речь идет не о стандартных ситуациях, в которых ЭВМ много быстрее находит оптимальный выход, а о случаях «уникального выбора», когда сама наука признает свое бессилие найти однозначное решение. Но чем сложнее производство, жизнь, общество, тем таких случаев больше. Развивается и наука исследования подобных ситуаций. Но она не может обогнать саму жизнь. Она будет всегда чуть-чуть сзади. Решения же не могут ждать. Они должны приниматься. Потому что даже отказ от их принятия или откладывание в долгий ящик — это тоже решение.

Впрочем, отказ не искусство. Искусство принятия решений, видимо, проявляется тогда, когда уполномоченный обществом на это дело вправе воскликнуть: «Эврика!» И, как в любом виде искусства, здесь тоже есть тени и ремесленники. Но это уже другая проблема — проблема выбора кадров, которую, кстати, как аргументированно доказывает О. Ларичев, решать без участия квалифицированных консультантов становится все труднее.

О. Гатевосян.



**А. НЕЖНЫЙ.** Решающий довод. М. Политиздат. 1979. 191 стр.

«Когда ребенка надо научить не касаться горячего утюга, достаточно всего лишь раз позволить до него дотронуться». Однажды в пылу молодости автор этой фразы, директор большого завода, пустил в ход все резервы своего предприятия, перевыполнил план, стал героем чуть больше чем на час, получил на следующий год 12 процентов роста от уже достигнутого, понял, почему за битого охотно дают двух небитых, и раз навсегда зарекся переступать черту, за которой сегодняшний успех грозит обернуться провалом.

Подобными историями — порой смешны-

ми, чаще драматическими, но всегда поучительными — полна эта книга. «Портрет делового человека» — таков ее подзаголовок. О деловых людях писали и пишут много. Ими восхищаются, о них спорят. А Нежный решил проследить их взаимоотношения с окружением, а ведь это наиболее интересный поворот разговора.

...Сколько энергии затратил директор Первомайского стекольного завода, чтобы поднять жизнь затерянного в смоленских лесах производства и поселка при нем. Как одинок он поначалу в своей вере в успех, как величав в сосредоточенном скопидомском стремлении сначала свести концы с концами, а затем расширить дело, привлечь к нему единомышленников. Как справедлив он, наотрез отказываясь принять назад тех, кто когда-то ушел отсюда искать жизни полегче.

Коллективный невидуманный герой книги в отличие от персонажей художественных сочинений не может закончить свою историю эффектной и окончательной победой. Жизнь свергает его в новые конфликты, проблемные ситуации, которые не проще уже преодоленных.

Главная работа делового человека сегодня, как убедительно показывает автор, происходит в сфере человеческого сознания. Так, организационная перестройка, проводимая на львовском обувном объединении «Прогресс», начинает воспитывать людей, заставляет их с максимальной ответственностью делать то, что им поручено.

Порой деловой человек самоотверженно, стиснув зубы, вынужден расхлебывать то, что наворотили его безгласные, покорные любой указке предшественники. Таков начальник цеха Энгельсского комбината химволокна Алексей Беляев. Его образ в рассказе об одном арбитражном процессе подтверждает: одна из главных черт делового человека наших дней — терпеливое упорство. Автор показывает нам и другие черты его — волю к действию, остроту восприятия нового, страсть к творчеству. Каждая глава книги как бы поворачивает человека дела новой стороной, одновременно меняя сферу его деятельности (он то ученый, то директор, то рабочий, то экономист, то снабженец, то работник министерства) и возраст, темперамент, запас энергии, крепость нервов. Но каждый раз неизменна его преданность идее — совершенствовать экономический механизм, внедрять в производство и управление то полезное новое, что нашел он сам и придумали другие.

Форма внедрения нового — как правило, эксперимент. Мы привыкли к этому слову. Сегодня экспериментируют в масштабах от бригады до отрасли. Экспериментируют годами, порой не зная потом, что же делать с неожиданными результатами. А ведь нередко исходом эксперимента является обычная, разумная, единственно возможная с точки зрения норм экономики, но такая удивительная по результатам постановка дела. Поэтому автор и не романтизирует своих героев, не драматизирует искусственно ситуации.

Любопытен в этом смысле рассказ об эксперименте, осуществляемом Сибсельмашем и Сибирским отделением АН СССР

Спокойно, планомерно работают сотни людей, чтобы к обычной формуле «идеи ученых — в производство» добавить лишь уточнение: незамедлительно, сразу по открытии. Даже приблизительно невозможно подсчитать эффект подобной перестройки в масштабах всей страны, ведь сотни научных открытий ищут путь к производству нередко десятилетиями. Заключительная глава книги, где говорится об этом, характерна тем, что герой здесь множествен — единомышленники на заводе и в академических институтах как бы знаменуют собой, что уходит время, когда единственным средством вскрытия резервов был приказ сверху, директива. Общественная выгода, о которой хлопочат союзники от науки и производства, становится в определенных условиях и желанной личной целью. Как создать такие условия — главная тема книги «Решающий довод».

А. Божанов.



**В. В. КУНИН. Библиофилы пушкинской поры. М. «Книга». 1979. 352 стр.**

Мы давно уже свыклись с понятием пушкинской поры в русской литературе и убеждаемся чем дальше, тем больше, как широко понятие этой поры распространяется на отечественную культуру. Можно сказать, любой сколько-нибудь значительный современник Пушкина зримыми или незримыми нитями с ним связан. Таковы и герои рецензируемой книги — Сергей Александрович Соболевский и Сергей Дмитриевич Полторацкий, рыцари книги, каждый из которых собранной им библиотекой и многолетней библиографической деятельностью заслужил право на долговую и благодарную память потомков. Соболевский принадлежал к числу ближайших друзей Пушкина, Полторацкий был его добрым знакомым. Факты прямых связей двух библиофилов пушкинской поры с великим поэтом достаточно хорошо известны пушкинистам, об этом посвящено немало статей, есть даже книги. Но, думается, только с выходом в свет работы В. Кунина многочисленные читатели получат возможность подробно познакомиться с этими оригинальными людьми.

Известно, что у книг, как и у людей, своя судьба. Но судьба есть и у библиотек — счастливая, как у библиотеки Полторацкого, и ныне служащей людям, и горестная, как у библиотеки Соболевского, которая оказалась рассеянной по всему свету. Как мы знаем, собирал библиотеку и Пушкин (к счастью, она сохранилась и тщательно описана исследователями); любовь к книге была важной составляющей его духовной жизни. В. Кунин проследживает именно эту сторону отношений Соболевского и Полторацкого с Пушкиным и делает множество ценных наблюдений, рассказывая о книгах, являвшихся важными звеньями в цепи их отношений (особенно интересны в этом плане страницы, связанные с запрещенной книгой Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву»).

Однако речь у В. Кунина идет не только

об отношениях его героев с Пушкиным. Автор подробно знакомит нас с их жизнью и с «биографиями их библиотек». Как рассказать о библиотеке, насчитывающей два-три десятка тысяч томов? Прочитав рецензируемую книгу, мы убеждаемся в том, что такая трудная задача выполнима и что рассказ получается захватывающе интересным. Детально излагается принцип собирания книг — определенный тематический подбор, противопоставленный всеядности. Рассказывается о мирной библиофильской «охоте», столь богатой, однако, страстями. Об отношениях собирателей друг с другом — об их противоборстве и дружеской пикировке, случавшихся не раз, но проходивших на фоне постоянного благожелательства и взаимной поддержки. Об отношениях, установившихся у Соболевского и Полторацкого с писателями (и здесь мы находим практически весь цвет русской литературы того времени), собирателями, книгопродавцами. Автор знакомит читателя с увлекательной судьбой тех или иных книг, рассказывает о каталогах «всея литературы» и отдельных собраний, о находках и курьезах, связанных с такими каталогами.

Примечателен вывод, к которому В. Кунин подводит нас на примере своих героев: у настоящих библиофилов любовь к книге не вступает в противоречие со щедростью, с которой они отдают свои сокровища, чаще всего безвозмездно, общественным библиотекам (в случае Соболевского и Полторацкого прежде всего основанным на их глазах Публичной библиотеке в Петербурге и библиотеке Румянцевского музея в Москве) и своим «собратьям по страсти». А объясняется эта щедрость тем, что «книги существуют для того, чтобы ими пользоваться»; под этими словами Полторацкого несомненно подписался бы и Соболевский.

Работа В. Кунина вносит заметный вклад в изучение истории русской культуры XIX века. Привлекает язык книги и то, что (это очень существенно) она написана с большим тактом. Автор приводит многочисленные данные своих архивных изысканий, искусно отбирает и уже опубликованные материалы, стремится по возможности предоставить слово самим героям книги, которых крепко любит. Этим чувством невольно проникаешься, читая книгу. И хорошо, что труд В. Кунина, пронизанный любовью к книге и библиофилам, с таким вкусом издан: отличные шрифт и бумага, прекрасно подобранные и отпечатанные иллюстрации.

В. Френкель.



**РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ ТЕКСТИЛЬНОГО КРАЯ. Сборник очерков. Ярославль. Верхне-Волжское книжное издательство. 1980. 327 стр.**

Сложилось так, что я видел, знал некоторых героев этого сборника биографических очерков, а слышан был обо всех. Помню, как 1 Мая 1937 года к моему отцу в гости пришли старые боевые товарищи. Самому старшему, Валериану Николаевичу Наумову, было едва за сорок. За столом сидели

четыре красносзнаменца. И мне, подростку, почудилось, что сама революция через двадцать лет вошла в наш дом. В годы гражданской войны Наумов возглавлял Иваново-Вознесенскую ЧК, воевал с Брангелем, участвовал в разгроме банд Махно. Фрунзе вручил Наумову почетное революционное оружие. Окончив Московское высшее техническое училище имени Н. Э. Баумана, Валериан Николаевич работал инженером-механиком на московских заводах. Имя его присвоено одной из улиц города Иваново.

Этот факт, приведенный в конце очерка о Наумове, характерен. Текстильные фабрики, комбинаты, улицы города носят имена ветеранов революции. Мемориал на реке Талке, где возник первый в России общегородской Совет рабочих депутатов, напоминает современникам о славном боевом прошлом текстильного центра страны. В граните увековечен образ и председателя Совета Авенира Евстигнеевича Ноздрина. Ученик гравера, поэт, чьи стихи одобрял В. Я. Брюсов, в 1927 году он член правления МОГПР, один из инициаторов создания в Иваново интернационального детского дома...

В стене меланжевого комбината замурована урна с прахом Константина Ивановича Фролова. В жизнь этого крупного текстильного предприятия Фролов вложил всю свою страсть большевика-подпольщика, энергию хозяйственника. Я был мальчишкой, когда Фролов умер, но память сохранила рано поседевший ежик его волос, строгий взгляд этого доброго человека. А потом, много лет спустя, мне довелось познакомиться с дневниками Константина Ивановича, написанными во время его поездок за границу в 20-х годах. Наблюдательности бывшего рабочего, своими глазами увидевшего послеверсальскую Европу, мог бы позавидовать любой публицист-международник...

В 1932—1937 годах наркомом легкой промышленности был Исидор Евстигнеевич Любимов, крестьянский сын из Костромской губернии. Помню, как в конце 20-х годов он с гордостью показывал моему отцу, его знакомому еще по Туркестанскому фронту, новое здание наркомата, строившееся по проекту знаменитого Корбузье (ныне здание ЦСУ СССР).

А кажется, совсем недавно, четверть века назад, я встречался с Аркадием Александровичем Осинкиным — он принес в редакцию свои воспоминания. Бывший химик — колорист и технолог, — ставший чекистом, много сделавший в годы войны для создания оборонных сооружений близ Москвы, принимавший участие в боях за города Клин и Можайск...

Всем этим людям в сборнике «Революционеры текстильного края» посвящены специальные очерки — краткие, но выразительные. С особой радостью встретят книгу, конечно, ивановцы. Они увидят в ней жизнеописание не только таких всенародно известных героев, чья судьба была связана с городом, как М. В. Фрунзе, П. П. Постышев, А. С. Бубнов, О. А. Варенцова, но и рядовых революций, без которых революция была немислима.

Когда я писал эту рецензию, раздался те-

лефонный звонок. Глуховатый, слегка окающий голос Пелагеи Яковлевны Вороновой нельзя было не узнать. В свои восемьдесят семь лет она по-прежнему в строю. Недаром авторы и редколлегия сборника выразили ей благодарность за помощь и советы. Тридцать лет проработала ее мать, крестьянка, на текстильных фабриках Иваново-Вознесенска. Начала свою трудовую жизнь шпунлиницей и юная Пелагея. А уже в 1913 году она участвует в забастовке работниц подготовительного отдела, ведет от их имени переговоры с администрацией. В итоге увольнение. А вскоре поездка в сылку вслед за мужем, с двумя детьми. В дни Февральской революции вступает в ряды большевистской партии. В конце 20-х годов Пелагея Яковлевна — второй секретарь обкома партии в Иваново, с 1932-го — заместитель наркома легкой промышленности, начальник главного управления шелковой промышленности... Даже краткий перечень этих фактов дает пищу для размышлений. Простая работница — руководитель целой отрасли текстильной промышленности. Ни что, ни гибель мужа в гражданскую войну, ни другие испытания, не согнула ее. Настоящая большевистская гвардия!..

Составители сборника (научный редактор-составитель В. П. Терентьев) проделали огромную работу. Каждый очерк снабжен небольшим справочным аппаратом: датами жизни, указанием революционных псевдонимов, эпитафией, как правило, взятым из воспоминаний о герое очерка или из его высказываний... В книге есть список упомянутых промышленных предприятий (старые и новые названия), библиография.

В предисловии составители и редакторы оговорили, что не могли включить биографии еще многих активных революционеров. Само собой напрашивается предложение: выпустить аналогичный сборник, посвященный, так сказать, следующему поколению революционеров текстильного края, ровесников века, ветеранов Великого Октября и гражданской войны, тех, кто встретил революцию в семнадцать—восемнадцать лет и чья деятельность развернулась впоследствии.

Ю. Шарпов,  
кандидат исторических наук.



**ЕВА АНЧЕЛ.** Мифы потрясенного сознания. Перевод с венгерского Е. Бочарниковой. М. Политиздат. 1979. 176 стр.

«Я ищущу в нашем веке очертания возникающего нового мира, — пишет в предисловии венгерский философ Ева Анчел, — не уходящая из виду и сосредоточие враждебных ему и в действительности и в сознании сил. И делаю я это, сознавая, что тысячи уз и предрассудков привязывают человека к его времени, так как век, в котором он живет, означает для него родину во времени».

Наша «родина во времени» — XX век. Бесспорно, это эпоха стремительного прогресса во всех областях человеческой деятельности, прогресса невиданных в истории темпов и масштабов. Но наше время — это и век колебаний смятенного человеческого

духа перед лицом острейших противоречий действительности (от вселенского отчаяния до иступленной надежды), это век потрясенного сознания.

Предметом изучения автор взяла потрясенное сознание человека в современном буржуазном обществе и многочисленные мифы как попытки выхода из нравственного тупика, в который загнала человека буржуазная действительность. В книге рассматриваются духовные и практические проявления, а также основные разновидности отчаяния, которое в XX веке в капиталистическом мире стало всеобъемлющим и бескрайним. Подобное отчаяние создает и новую мифологию, где, по словам автора, «миф искупления подменяется мифом «проклятия всего земного мира»...». Так, убедительно показывает Е. Анчел, само отсутствие надежды перерастает в миф, так возникают мифы безнадежности.

Эти мифы о непобедимости действительности основаны на преувеличении препятствий, существующих на пути человеческой деятельности. В подобных мифах беды буржуазного общества, всегда конкретные и пוסторонние, трактуются как сущность мира либо же их причины приписываются не поддающейся изменению природе человека.

Первым путем идут, например, Макс Шеллер, который видит в трагизме параболу состояния мира, и Камю, полагающий, что основу и источник абсурдности человеческого существования необходимо искать во вселенной, не зависящей от человека. Вторым — те, кто считает сущностью человека именно то, что в нем человечно. Но, делает один из важнейших выводов Е. Анчел, все это прежде всего оправдание, отговорка и лазейка для утверждения собственной бездеятельности.

Автор не случайно уделяет большое внимание искусству как чуткому зеркалу затененных глубин души современного человека. Авангардизм, модернистские течения в искусстве показываются как ложная, искажающая истинную перспективу жизни призма. Как показывает Е. Анчел, «авангардизм совершает предательство по отношению к тем силам, которые олицетворяют способность человека к сопротивлению, оставляет их одинокими, а сам удаляется в мир, где нет ни борьбы, ни осуждения»; декаданс же «именно и з-за своей неспособности судить оказывается безжалостным и жестоким».

Читая эту книгу, лишней раз убеждаешься: буржуазная действительность XX века страшна для личности, ибо отчуждение в западном мире достигает такой степени, что «некоторые индивиды оказываются не способными ни к одному из видов страданий», а метания между иступленным экстазом и равнодушием, всевозможные попытки достичь «негативной свободы», заглушение социальности, а значит, и человеческой сущности толкают человека от одной крайности к другой — от наркотиков к буддизму, к идее и практике лжебутов.

Лишь идеология пролетариата позволяет открыто смотреть в лицо действительности,

делает острым и смелым взгляд и разум мыслящего человека. «...новый образ человека, а вместе с ним и черты будущего, — завершает книгу Ева Анчел, — мы видим уже сегодня, в современных революционных, в их повседневной и исторической деятельности, в присущих им характерных чертах, в их страстном и серьезном отношении к жизни».

Г. Степанидин.



**П. А. КРОПОТКИН. Великая французская революция 1789—1793. («Памятники исторической мысли») М. «Наука», 1979. 575 стр.**

Выход этой книги в академической серии «Памятники исторической мысли» несомненно вызовет интерес читателей. Судьба книги необычна. Необычна личность ее автора.

Мы, пожалуй, до сих пор еще не в полной мере осознали весь широчайший спектр научной деятельности П. А. Кропоткина, развернувшейся как в области естественных, так и общественных наук. Было бы чрезвычайно нелегко составить избранное Кропоткина-ученого, решая при этом вопрос, специалистам именно какой научной дисциплины его адресовать. Сюда пришлось бы включить труды по географии и геологии, геофизике и эволюционной биологии, психологии и педагогике, литературоведению и истории... И все эти темы, столь далеко, казалось, отстоящие друг от друга, он разрабатывал глубоко и серьезно, как специалист именно в данной отрасли знания. Секрет тут, очевидно, заключается в целостности взгляда на природу и общество, которая была характерна для Кропоткина, в его удивительной способности видеть всеобщие связи вещей и явлений.

Книга о Великой французской революции, вышедшая в 1909 году, едва ли не лучшее его научное исследование. Особенно ценно для нас исключительное внимание к этой книге В. И. Ленина, который имел ее в своей библиотеке и, по свидетельству В. Д. Бонч-Бруевича, настоятельно указывал на необходимость ее публикации в советской России «немедленно и в самом большом количестве экземпляров, чтобы ее хватало на все библиотеки — до изб-читален и районных библиотек».

Когда читаешь книгу Кропоткина, порой начинает казаться, что это высокохудожественное повествование, а не научная работа. В действительности перед нами исследование большой глубины, что доказывает не столько профессиональное использование огромного числа различных источников, сколько то, что именно Кропоткин увидел и проанализировал ту сторону революции, которая до него осталась как бы незамеченной. Первым из многочисленных историков Кропоткин раскрыл ее как «великое народное движение», показав, что только активное участие всего народа обеспечило все успехи революции. За это в особенности ценил книгу Владимир Ильич Ленин. Известно также, с каким интересом читал ее в революционном 1905 году

Лев Толстой, ища в ней ответ на вопрос о том, «как начинается революция». Как раз «происхождение революции» было главным объектом исследования Кропоткина, и она представилась ему «целым миром, полным жизни и действия».

Книга о Французской революции — естественный результат многолетней революционной деятельности Кропоткина, одного из первых народников, автора самой первой революционной программы народничества, написанной в 1873 году. В ней он утверждал: «...никакая революция невозможна, если потребность ее не чувствуется в самом народе». Спустя тридцать шесть лет та же идея положена им в основу научного анализа Великой французской революции. Кропоткин показал, что освободительная инициатива широких народных масс, крестьянские восстания, деятельность коммун и секций составили истинное содержание революции. Он подчеркнул, что парижским округам, тысячам политических союзов, созданным по всей стране, принадлежала особая роль в революции, они не ограничивались одними чисто городскими делами, а «принимали участие в обсуждении всех крупных политических вопросов, волновавших Францию». Гибель парижских секций означала конец революции.

Кстати, очень удачно, что публикация книги Кропоткина последовала непосред-

венно за изданной в той же серии «Памятники исторической мысли» четырехтомной работой Ж. Жореса «Социалистическая история французской революции». Влияние этой книги, написанной с марксистских позиций, на Кропоткина несомненно, и, может быть, ни в каком другом из своих произведений он не подходит так близко к марксистскому взгляду на историю. Однако и здесь Кропоткин упорно придерживается своих антигосударственных принципов, чем вызван ряд неточностей и противоречий в тексте, обстоятельно рассмотренных в статьях и примечаниях В. Далина, Е. Старостина и А. Гордона.

В. Далин в своей статье справедливо отмечает, что «крупнейшим достоинством книги, которое привлекало и будет привлекать к ней читателей, является та поразительная увлеченность, с которой она написана». Это достоинство отличает большинство научных трудов Кропоткина. Издание наиболее выдающихся из них представляется весьма желательным и своевременным. В первую очередь это относится к работам по географии и биологии и к книге «Взаимная помощь как фактор эволюции», идеи которой до настоящего времени служат предметом оживленной дискуссии среди биологов и социологов.

**В. Маркин.**



# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



## ПОЛИТИЗДАТ

**К. Маркс.** Критика Готской программы. 48 стр. Цена 5 к.

**К. Маркс.** Экономические рукописи 1857—1861 гг. (Первоначальный вариант «Капитала»). В 2-х частях. Ч. I. 564 стр. Цена 1 р. 10 к.

**В. И. Ленин.** Пролетарская революция и ренегат Каутский. 119 стр. Цена 15 к.

**А. П. Кириленко.** Политика созидания и мира. Избранные речи и статьи. 759 стр. Цена 1 р. 40 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**А. Ананьев.** Годы без войны. Роман. Кн. 1—2. 549 стр. Цена 2 р. 70 к.

**В. Британишский.** Открытое пространство. Стихи. 151 стр. Цена 40 к.

**Е. Краснощенова.** Художественный мир Всеволода Иванова. 351 стр. Цена 1 р. 50 к.

**В. Минц.** Не называя фамилий. Комедии. Перевод с украинского. 303 стр. Цена 1 р. 85 к.

**Ю. Смолич.** Я выбираю литературу. Книга о себе. Перевод с украинского. 311 стр. Цена 95 к.

**Э. Ставский.** Камыши. Роман. 560 стр. Цена 2 р. 10 к.

**М. Шургин.** Стоит село русское. Повести. 240 стр. Цена 65 к.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**Т. Аргези.** Стихи. Перевод с румынского. 183 стр. Цена 1 р. 10 к.

**Х. Бенхожин.** Избранное. Стихотворения и поэмы. Перевод с казахского. 263 стр. Цена 1 р. 40 к.

**М. Валек.** Стихи. Перевод со словацкого. 157 стр. Цена 1 р.

**Д. Габе.** Стихи. Перевод с болгарского. 198 стр. Цена 50 к.

**Б. Грибанов.** Эрнест Хемингуэй: герой и время. 255 стр. Цена 50 к.

**Вс. Иванов.** Повести и рассказы. («Классики и современники») 447 стр. Цена 1 р. 10 к.

**Цань Чжун-шу.** Осажденная крепость. Роман. Перевод с китайского. 381 стр. Цена 2 р. 50 к.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**Е. Дубровин.** Дивные пещеры. Роман. 382 стр. Цена 1 р. 50 к.

**Е. Колесников.** Синица пила воду. Повести. 224 стр. Цена 65 к.

**Ю. Малевичинский.** Дороже всякого золота. Кулибин. Историческое повествование. 174 стр. Цена 35 к.

**Н. Тряпкин.** Избранное. Стихи. 1940—1979. 255 стр. Цена 95 к.

**А. Яхонтов.** Плюс-минус десять дней. Повести и рассказы. 271 стр. Цена 85 к.

## «СОВРЕМЕННОИ»

**С. Винулов.** Встать пораньше, шагнуть подальше. Очерки и статьи о вологодской деревне. («Новинки «Современника») 398 стр. Цена 70 к.

**А. Джачаев.** Синие берега. Стихи. Перевод с кумыкского. («Новинки «Современника») 95 стр. Цена 35 к.

**Задонщина.** Похвала великому князю Дмитрию Ивановичу и брату его князю Владимиру Андреевичу. Факсимиле текста и перевод. Вступительная статья М. Н. Тихомирова. 104 стр. Цена 10 р. 40 к.

## «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**А. Абрамов и С. Абрамов.** Серебряный вариант. Фантастический роман и повесть. 224 стр. Цена 55 к.

**З. Балаян.** Белый марафон. Документальная повесть. 159 стр. Цена 50 к.

**Ю. Вебер.** Ветер с моря. Изд. 2-е, дополненное. 238 стр. Цена 60 к.

**Высокое стремление.** Лирика декабристов. Составление и предисловие Фризмана. 223 стр. Цена 50 к.

## ВОЕНИЗДАТ

**А. Каныкин.** Пульсы грома. Стихи. 159 стр. Цена 50 к.

**О. Михайлов.** Суворов. Исторический роман. 496 стр. Цена 2 р. 40 к.

**М. Шолохов.** Тихий Дон. Роман в 4-х кн. Кн. 1—2. 567 стр. Цена 3 р. 10 к.

## «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**В. Гусев.** Высокая любовь. Очерки. («Писатель и время») 79 стр. Цена 10 к.

**И. Данилов.** Красные ставни. Роман, повесть и рассказы. 303 стр. Цена 1 р. 20 к.

**Н. Кончаловская.** Кладовая памяти. Воспоминания. 304 стр. Цена 55 к.

**К.-Э. Кудачи.** Адай-кыс. Повесть. Перевод с тувинского Т. Петелиной. 158 стр. Цена 50 к.

**Поле Куликово.** Сказание о битве на Дону. Вступительная статья Д. С. Лихачева. Составление, подготовка текста и предисловие Л. А. Дмитриева. Переводы Л. А. Дмитриева и В. В. Колесова. 339 стр. Цена 2 р. 60 к.

## «ПРОГРЕСС»

**Ф. Бебей.** Ашантийская куколка. Роман. Перевод с французского. 168 стр. Цена 95 к.

**Из современной португальской поэзии.** Сборник стихотворений. Переводы. 351 стр. Цена 1 р. 30 к.

**К. Мисарж.** Краина. Роман. Перевод с чешского. 320 стр. Цена 2 р.

**Новые рассказы Южных морей.** Перевод с английского. Сборник произведений аборигенов Австралии и Океании. 349 стр. Цена 1 р. 70 к.

## «НАУКА»

**А. Биллури.** Дом души твоей. Сборник стихов. Перевод с азербайджанского Р. Казаковой. Предисловие А. Бабаева. 141 стр. Цена 65 к.

**Амир Хосров Дехлеви.** Избранные газели. Перевод с персидского Д. Седых. 207 стр. Цена 2 р. 60 к.

**Л. Черкасский.** Китайская поэзия военных лет. 1937—1949. 270 стр. Цена 1 р. 80 к.

**В. Щербина.** Революционно-демократическая критика и современность. Белинский, Чернышевский, Добролюбов. 544 стр. Цена 2 р. 10 к.

## «ИСКУССТВО»

**Л. Аннинский.** Лев Толстой и кинематограф. 238 стр. Цена 1 р. 40 к.

**Е. Громов.** Кинооператор Анатолий Головня. Фильмы. Свидетельства. Размышления. 239 стр. Цена 1 р. 30 к.

## МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

**Абхазские рассказы.** Переводы. Сухуми. «Алашара», 222 стр. Цена 1 р. 10 к.

**В. Бээнман.** Год осла. Роман. Перевод с эстонского. Таллин. «Ээсти раамат». 283 стр. Цена 1 р. 10 к.

**Л. Долуханян.** Архитектура Советской Армении: 20-е годы. Ереван. «Советакан грох». 84 стр. Цена 2 р. 90 к.

**В. Овечкин.** Районные будни. Очерки.— Из записных книжек и дневников. («Отчий дом») Воронеж. Центрально-Черноземное книжное издательство. 415 стр. Цена 1 р. 70 к.

**Л. Пасенюк.** Чай с моршжкой на берегу океана. Повести. Краснодар. Книжное издательство. 255 стр. Цена 1 р.

**Б. Сергуненков.** Кувшин. Сказки. Предисловие М. Дудина. Лениздат. 174 стр. Цена 50 к.

## СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1980 ГОД

**Луис Корвалан.** Наш демократический проект. Перевел с испанского И. Рыбалкин. II — 183.

**А. Нивов.** Олимпийская тетрадь. VI — 3.  
**Свидетельствует Курт Бахман.** Предисловие В. Ежова. Перевел с немецкого А. Грищенко. X — 177; XI — 191.

### *Набережные Челны*

**Евгений Батенчук.** Долгой тебе жизни, КамАЗ! XII — 3.

### РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ

**Чингиз Айтматов.** И дольше века длится день. Роман. XI — 3.

**Леонид Бежин.** Мастер дизайна. Рассказ. V — 153.

**Константин Ваншенкин.** «Там, где Семеновский полк...». V — 82.

**Борис Васильев.** Были и небыли. Роман. IX — 7; X — 58.

**Юрий Гейко.** Сайга. Повесть. X — 7.  
**Даниил Гранин.** Картина. Роман. I — 3; II — 85.

**Савва Дангулов.** Заутреня в Рапалло. Роман. IV — 7; V — 101.

**Валентин Катаев.** Уже написан Вертер. VI — 122.

**Лев Кривенко.** Рассказы. VIII — 3.  
**Владимир Крупин.** Живая вода. Повесть. VIII — 26.

**А. С. Лихачев.** Заметки о русском. III — 10.  
**Юрий Нагибин.** Итальянская тетрадь. IV — 110.

**Сергей Наровчатов.** Абсолют. Рассказ. I — 142. — Через всю жизнь. VI — 168. — Стрельба по безоружным. Из воспоминаний сорокалетней давности. VII — 14.

**Владимир Орлов.** Альтист Данилов. Роман. II — 14; III — 49; IV — 126.

**Владимир Попов.** Тихая заводь. Роман. VI — 41; VII — 25.

**Елена Ржевская.** Ближние подступы. Записки военного переводчика. V — 21.

**Марк Соболев.** Трентов. Рассказ. V — 96.

**Франц Таурин.** Каменщик революции. Повесть о Михаиле Ольминском. XII — 32.  
**Виктория Токарева.** Самый счастливый день. Рассказ акселерантки. II — 177.

**Уильям Фолкнер.** Авессалом, Авессалом! Роман. Перевела с английского М. Беккер. VII — 144; VIII — 122; IX — 128; X — 138.

**Юрий Черняков.** Пространство для маэвра. Повесть. XII — 134.

### СТИХИ И ПОЭМЫ

**Маргарита Алигер.** Новые стихи. IX — 123.  
**Апрельский день:** Степан Ципичев, Йордан Милев (перевел с болгарского

В. Шленский), Хасан Туфан (перевел с татарского Р. Бухараев), Михаил Шанбагуев, Зорий Яхнин, Софья Петренко. IV — 3.

**Тудор Аргези.** Когда венчаются с железом жгучим клеши. Перевели с румынского Новелла Матвеева, Анна Ахматова, Андрей Вознесенский, Кирилл Ковальджи. III — 39.

**Ветераны:** Николай Войткевич, Виктор Федотов, Алексей Смольников, Алексей Леонтьев, Софья Петренко, Юрий Белаш, Анатолий Прокудин, Анатолий Головков, Анатолий Землянский, Петр Хорьков, Юрий Мельников, Евгений Ерхов, Н. Рудой, Иван Савельев, Михаил Касаткин, Юрий Лозина, Татьяна Глушкова, Зиновий Вальшонов. Стихи. V — 3.

**Взлет:** Валерий Прохвятилов, Евг. Блажеевский, Андрей Василевский, Сергей Мадльщев, Владимир Носков, Валентина Ханадеева, Иван Панкеев, Ирина Автонова, Владимир Шаров, Ольга Кондратьева, Дмитрий Нечаенко, Карэн Джангиров, Зинаида Такшеева, Сергей Каратов, Евг. Манфановская, Евгений Муравлев, Виктор Смагин, Владимир Чурилин, Виктор Шеголов, Николай Урванцев, Людмила Сосновская, Семен Печеник, Олег Хлебников, Корнелия Войткевич, Сергей Семяников, Наталия Грачева. VIII — 107.

**Евг. Винокуров.** Из цикла «Мифы». Стихи. IX — 126.

**Андрей Вознесенский.** Андрей Полисадов. История. I — 168.

**Расул Гамзатов.** Батырай. Перевел с аварского Яков Козловский. X — 3.

**Николай Глазков.** Новые стихи. I — 136.

**Юлия Друнина.** «Ноль три». Стихи. III — 45.

**Звездный путь:** Генрих Рудяков, Михаил Беляев, Николай Кутов, Григорий Глазов, Иван Бауков, Игорь Иванов, Ибрагим Кэбирли (перевел с азербайджанского Владимир Цыбин), Эльмира Блинова, Вячеслав Баширов, Марина Некрасова, Александр Романов, Василий Казанцев, Александр Кунцын. II — 3.

**Из татарской поэзии:** Габдулла Тукай, Муса Джалиль, Хасан Туфан, Сибгат Хаким (перевел Р. Бухараев); Шаукат Галиев, Ильдар Юзеев (перевела Э. Блинова); Ренат Харис (перевели Вяч. Баширов и Э. Блинова); Р. Файзуллин (перевели Э. Блинова, Вяч. Баширов и М. Аввакумова); Рустем Кутуй; Разиль Валеев, Фанвур Сафин Марсель Галеев (перевел Р. Бухараев). VI — 161.

**Из украинской поэзии:** Платон Воровько, Микола Нагнибеда, Евмен До-



ломан, Юрий Сердюк. Перевели Юрий Сренко, Н. Котенко. IX—3.

Юрий Каменецкий. Все становится на места. Стихи I—140.

Иван Киуру. Баллада о старой ели. Стихи. VI—159.

Вениамин Колыхалов. Истоки. Стихи I—139.

Аннисм Кройгауз. Отцы. Стихи. VI—157.

Март (лирические стихотворения): Лидия Григорьева, Светлана Соложенкина, Римма Катаева, Эмма Марченко, Олеся Николаева, Лариса Сушкова, Лорина Димова, Корнелия Войткевич, Наталья Грачева, Светлана Мекшен. III—3.

На орбите: Аркадий Рывляин, Юрий Усенко, Татьяна Гладкая, Геннадий Калашников, Нина Габриэляв, Борис Куняев, Инна Кашежева, Николай Година. Стихи. IX—116.

Лев Озеров. Новые стихи. VI—121.

Отчий дом: Михаил Ласков, Новелла Матвеева, Владимир Гришин, Владимир Осипин, Виктор Яковенко, Блага Димитрова (перевел с болгарского В. Солоухин), Игорь Бехтерев, Павел Ковдрашев. IV—164.

Поэзия: Яков Хелемский, Марк Ляснянский, Олег Шестивский, Натан Злотников, Татьяна Андропова, Николай Арсеньев, Марина Тарасова. VII—3.

Простор: Эдуардас Межелайтис (перевел с литовского Мих. Двинский), Леонид Шкавро, Джубан Муддагалиев (перевел с казахского Вл. Савельев), Владимир Дагуров, Александр Шевелев, Марк Гроссман, Феликс Чуев, Евгения Гай, Валерий Краснопольский, Леонид Вьюнник, Леонид Виноградский. Стихи. XII—21.

Д. Самойлов. Память. Стихи. I—135.

Виктор Смирнов. Три стихотворения. I—133.

Николай Тихонов. Из неопубликованной лирики. Публикация В. Тихоновой. VI—36.

Торжественная соната: Юрий Окунев, Светлана Сомова, Юрий Сорокин, Михаил Шлаин, Инна Клемент. Стихи. XI—186.

Римма Черявина. Путешествие Дерева вместе с корнями. Стихи. III—180.

#### ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Владимир Абызов. Последний штурм. Рассказ участника боев за Берлин. V—189.

Геннадий Геродяк. Размышления над останками «Пантеры». VII—186.

Лев Давыдов. К портрету героя. X—214.

Е. Тараканова. «Если ранили друга...». III—234.

«Художник и человек необыкновенной чуткости...»: М. М. Читау, Е. П. Семенов, Бор. Лазаревский, А. С. Суворьян. Публикация и комментарии Н. И. Гитович. I—228.

#### ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

Ю. Каграмагов. «Новые идеологи старых правых». VII—219.

#### ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Андрей Вознесенский. Мне четырнадцать лет... IX—155.

М. Крупникова. Фронтовые записки. V—198.

Николай Федоренко. Краски Созопола. VIII—180.

#### ПУБЛИЦИСТИКА

Всегда открытое лицо. Из переписки писателя-публициста В. Я. Канторовича и ленинградского слесаря С. Г. Солипатрова. III—183.

Эрнст Генри. Неофашизм поднимает голову. I—180.

Владимир Карцев. «Начало самой счастливой эпохи». IV—173.

Феликс Новиков. Четыре этюда о зодчестве. X—198.

Михаил Садовяну. О всемирном значении классической русской и советской литературы. Перевел с румынского М. Розенфельд. XI—220.

Г. Шахназаров, Г. Остроумов. Осмысливая пройденный путь. V—182.

#### К 600-летию Куликовской битвы

А. Клибанов. «О светло светлая и красно украшенная земля Русская!». IX—175.

#### ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Николай Иванов. Когда приходит старость. II—209.

Александр Левиков. Что остается людям? V—220.

Григорий Резниченко. Трудный выбор. XII—190.

#### В МИРЕ НАУКИ

Андрей Никитин. Восхождение к человеку. IV—187; V—204.

#### В МИРЕ ИСКУССТВА

Е. Кибрик. Всегда открытие. I—191; II—221.

Н. Михайлов. Павел Корин. III—220.

#### НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Владимир Еременко. На дорогах и за ними. VI—206.

С. Ковдрашов. Прикосновение к Хирошима. XII—203.

Еремей Парнов. Зерно лотоса. Судьбы йоги в XX веке. IV—207.

Григорий Резниченко. Последние американцы. III—197.

А. Сабов. Жанна д'Арк и Европа. Опыт анализа исторических ассоциаций, или Фуртурология вчерашнего дня. IX—185.

Мэлор Стуруа. Цвета времени в Батон-Руже. VII—196.

#### ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Гийом Аполлинер. Перевел с французского М. Кудинов. XII—186.

Борис Лебский, С. Орлов. Стихи. V—179.

Б. Пастернак. Начало прозы 36 года. VI—175.

Мария Петровых. Стихи разных лет. IX—153.

#### ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

М. Ф. Киселева-Шумова. «С душевным расположением». II—234.

Вл. Купченко. Вольнолюбивая юность поэта. М. А. Волошин в студенческом движении. XII—216.

Николай Самвелян. Час «Очакова». IX—205.

Талант крупный и самобытный. К 80-летию со дня рождения Михаила Исаковского. I—244.

## ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

**Алесь Адамович.** О войне и о мире... VI — 226; VII — 223.

**Владимир Амлянский.** В тени парусов. Перечитывая Александра Грина. X — 238.

**А. Аннинский.** В цепи. Михаил Луконин и его поэтические спутники. III — 247.

Весомое писательское слово: **Вл. Воронов.** Художник и его время; **Евгений Сидоров.** Критическая проза поэта. XII — 224.

**А. Зверев.** Предчувствие эпики. Латиноамериканская проза и пути современного романа. IX — 220.

**А. Караганов.** Действенность искусства. Заметки о художественном познании. X — 224.

**Вадим Ковский.** Закон единства. Современная литература в масштабе культуры. VIII — 211.

**Н. Крымова.** Этот странный, странный мир театра. II — 245.

**А. Лавинский.** Биография подвига. III — 261.

**Анатолий Медников.** Свет ленинских идей. IV — 228.

О Шукшине сегодня: **В. Сердюченко.** Надежность традиции; **Генрих Мятин.** Монолог о правде. IX — 237.

**Павел Топер.** Будущее добывается в борьбе. Новое издание книги Виталия Озерова «Тревоги мира и сердце писателя». VII — 238.

**Людмила Уварова.** Встреча с Маяковским. Московская быль. VIII — 226.

*К 120-летию со дня рождения А. П. Чехова*

**В. Турбин.** Воды глубокие. Из заметок о жизни, творчестве и поэтике Чехова. I — 216.

*К 100-летию со дня рождения  
Александра Блока*

**Валентин Берестов.** Вечный юноша. XI — 226.

**Имаит Зиедонис.** Путь поэта. XI — 224.

**Н. В. Лоцинская.** Блок и его родные. Последние годы. По архивным материалам. XI — 246.

**И. Родянская.** Муза Александра Блока. XI — 230.

«...современная русская жизнь есть революционная стихия». Александр Блок в переписке с деятелями русской культуры. XI — 256.

*К 75-летию со дня рождения  
М. А. Шолохова*

**Владлен Котовсков.** Встреча с «дочерью» Григория Мелехова. Из блокнота литературного критика. V — 256.

**В. Литвинов.** Люди победы. Тема Великой Отечественной войны в творчестве М. Шолохова. V — 243.

**Овдей Марушьяк.** Дорогой для всех нас опыт. Перевела со словацкого Р. Филипчикова. V — 237.

## КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

*Литература и искусство*

**Маргарита Алягер.** Будь всегда самым собой (Бетти Альвер. Дети ветра. Стихотворения и поэмы). X — 256.

**Владимир Амлянский.** Грани единого опыта (Юрий Бондарев. Мгновения). IV — 243.

**Сергей Баруздин.** Живая история (Сергей Алексеев. Рассказы о русском подвиге). VII — 249.

**Сергей Белов.** «Замкнутая вселенная» и магистрали истории (Иордан Радичков. Все и никто. Повесть. Рассказы). VIII — 240.

**Александр Борщаговский.** Пробуждение личности (Г. Канович. Свечи на ветру. Роман). IX — 248.

**Ирина Ведембовская.** Симпатии и антипатии Юрия Трифонова (Юрий Трифонов. Старик. Роман. Юрий Трифонов. Другая жизнь. Повести, рассказы). IX — 254.

**Ирина Вишукорова.** Поэзии пристальный опыт (Вадим Шефнер. Страница отправления. Книга стихов). III — 268.

**Игорь Волгин.** Уроки Гоголя (Игорь Золотусский. Гоголь). XII — 242.

**Савва Дангулов.** Отчий край (Ирина Ракша. Далеко ли до Чукотки? Повести). VIII — 231.

**Евг. Евтушенко.** Причастность (Владимир Амлянский. Нескучный сад. Повесть. Романы. Рассказы). VII — 245.

**Д. Затонский.** Когда молодость зрела (Леонид Киселев. Последняя песня. Стихи). VII — 251.

**А. Зись.** Актуальные проблемы искусствоведения (Юрий Барабаш. Вопросы эстетики и поэтики). IV — 249.

**Г. Злобин.** Освоение Фолкнера (Уильям Фолкнер. Собрание рассказов. Уильям Фолкнер. Камин и очаг. Повесть. Уильям Фолкнер. Библиографический указатель). VIII — 243.

**М. Злобина.** История и миф (Габриэль Гарсиа Маркес. Осень патриарха). I — 272.

**Константин Кедров.** Мужество Достоевского (В. Я. Кирпотин. Избранные работы в трех томах. Том I. Пушкин, Лермонтов, Салтыков-Щедрин. Том II. Достоевский. Том III. Разочарование и крушение Родиона Раскольникова. Достоевский-художник). II — 274.

**А. Когаи.** «...Снова к прошлому взглядом приблизимся...» (Константин Симонов, Илья Эренбург. В одной газете... Репортажи и статьи 1941—1945). II — 266.

**В. Косолапов.** Герои эпохи (В. Пискунов. Знаменосцы. Образ коммуниста в советской литературе). IV — 242.

**Владимир Кочетов.** Беспокойство (Арон Вергелис. Избранное. Арон Вергелис. 16 стран, включая Монако). IV — 247.

**Н. Крымова.** Вместо легенды (А. Мацкин. Орленев, И. Соловьева, Немирович-Данченко). VII — 252.

**Валентин Курбатов.** На расстоянии истории (Григорий Бакланов. Навеки—девятнадцатилетие. Повесть. Борис Васильев. Встречный бой. Повесть). I — 264.

**С. Муратов.** Лицо лица (Д. Луньков. Наедине с современником). III — 271.

**Василий Новяков.** Талант критика (Б. Панкин. Строгая литература. Литературно-критические статьи и очерки). VIII — 248.

**Вл. Новиков.** «Героев начну ремеслу обучать...» (Михаил Чулаки. Долгие поиски. Повести и рассказы. Михаил Чулаки. Тенор. Роман). XII — 238.

**А. Нуйкин.** Оружием пафоса и иронии (Вардгес Петросян. Аптека «Ани». Повести и рассказы). V — 262.

**Владимир Огнев.** Неузнанная любовь (Эрве Базен. Анатолия одного развода. Роман. Ингмар Бергман. Сцены из супружеской жизни. Киноповесть. Джон Апдайк. Давай поженимся. Романическая история). VI — 247.

**В. Оскоцкий.** Пути и судьбы советского рассказа (И. Краморов. В зеркале рассказа. Наблюдения, разборы, портреты). V — 259.

**Ст. Рассадин.** Советоваться с Пушкиным (Н. Эйфельман. Пушкин и декабристы. Из истории взаимоотношений). VI — 242.

**Микола Рябчук.** Новизна и постоянство (Виталий Коротич. Прозрачный ливень. Стихи. Виталий Коротич. Досвід. Вірші). IX — 251.

**С. Семанов.** Всеволод Вишневский — писатель «напора, труда, драк, мук и побед...» (Виктор Хелемендик. Всеволод Вишневский). XII — 236.

**Михаил Синельников.** Постоянство перемен (Анатолий Медников. Восхождение. Повесть и рассказы. А. Медников. Эстафета). I — 269.

**Ю. Смелков.** Нота надежды (Галина Башкирова. Рай в шалаше. Роман). II — 270.— Трудный путь к гармонии (Иосиф Герасимов. Эффект положения. Роман). VIII — 233.

**С. Смоляницкий.** Дорогой поколения (Виктор Тельпугов. Польша на снегу. Повести и рассказы). X — 250.

**Наталья Старосельская.** «Обдумываю этот мир» (Кшиштоф Камиль Бачинский. Стихи. Польские поэты. Составление В. Британишского. Из современной польской поэзии. Составление В. Британишского. Тадеуш Ружевич. Избранное). VIII — 235.

**А. Устинов.** В контексте истории (В. Новиков. Движение истории — движение литературы). VI — 241.

**А. Юрueva.** Новая встреча с Анной Зегерс (Анна Зегерс. И снова встреча. Повести и рассказы). X — 253.

#### Политика и наука

**И. Бестужев-Лада.** Семья — извечная ценность (А. Г. Харчев. Брак и семья в СССР. З. А. Янкова. Городская семья. Диалоги о воспитании). VII — 264.

**Д. Биленкин.** Эволюция и разум (Р. К. Баландин. Время. Земля. Мозг. Р. К. Баландин. Геологическая деятельность человечества. Техногенез. Р. Баландин. Вернадский: жизнь, мысль, бессмертие). VI — 259.— По следам споров (Кибернетика. Итоги развития. 1979. Кибернетика. Современное состояние. 1980). X — 258.

**Иг. Бубнов.** Эстетическое очарование истины (Олег Мороз. В поисках гармонии). II — 280.— Дух неуспокоенности человеческой (Преодолимидийские размышления по поводу серии книг «Спорт и личность» издательства «Молодая гвардия»). VII — 257.

**В. Бугаев.** «Отец истории» о скифах и древних славянах (Б. А. Рыбаков. Геродотовы Скифия. Историко-географический анализ). VIII — 256.

**Тимур Гайдар.** Взгляд сквозь годы (Егор Яковлев. Портрет и время). IV — 252.

**В. Гантман.** Приключения одной доктрины (В. Ф. Петровский. Доктрина «национальной безопасности» в глобальной стратегии США). IX — 259.

**И. Геевский.** Уроки «бурного десятилетия» (Филипп Боноски. Две культуры). I — 283.

**А. Грунт.** Люди из легенды (Революционные латышские стрелки (1917—1920). X — 264.

**В. Елисеева.** Очеркист в пути (Александра Горобова. Высокие равнины. Рассказы). III — 273.— Женщины революции (Сквозь бурю времени. Воспоминания участниц революционного движения и социалистического строительства на Украине и в Молдавии) XII — 246.

**И. Забелин.** Первый космос (Владимир Снегирев, Дмитрий Шпаро. Путь на Север). XII — 248.

**Ю. Замошкин.** На пути к познанию «я» (И. С. Кон. Открытие «я»). VIII — 252.

**Ю. Игрицкий.** Борьба идей в современном мире (Социализм и идеологическая борьба: тенденции, формы и методы). VI — 256.

**В. Ильин.** Страницы космической летописи (Александр Романов. Космонавт-два). IV — 261.

**Ю. Каграманов.** «Групповой портрет» буржуазии Франции (И. М. Бунин. Буржуазия в современном французском обществе. Структура, психология, политические позиции). IV — 257.

**В. Карпушин, Я. Поварков.** Маоизм, его буржуазные интерпретаторы и апологеты (Современный Китай в зарубежных исследованиях (Основные тенденции в китаеведении капиталистических стран). III — 276.

**В. Косолапов.** Командующий фронтом (Акрам Шарипов. Черняховский). II — 277.

**Владимир Красильщик.** Творческая задача содружества (Обгоняя время. Рассказы писателей о друзьях — станкостроителях Москвы). IV — 255.

**Вл. Кузнецов.** Свидетельства очевидца (Виталий Кобыш. Глядя на Америку). VII — 262.

**В. Лобачев.** И все-таки она вертится (Диалоги. Dialogues. Polemические статьи о возможных последствиях развития современной науки). IX — 263.

**Владимир Ломейко.** Европа под знаком разрядки (Ю. Б. Кашлев. Разрядка в Европе. От Хельсинки к Мадриду). VIII — 250.

**С. Лянин.** Политика, ведущая в никуда (Эрнст Генри. Китай против Азии). X — 261.

**А. Нежный.** Разговор об экономинеской гармонии (По страницам журнала «Экономика и организация промышленного производства» («ЭКО»). I — 276.

**Григорий Резниченко.** Первый главком (В. Толубко. Неделин). V — 265.

**Георгий Степаниди.** Книга о «красном директоре» (Тамара Леонтьева. Лихачев). IV — 260.

**В. Турбин.** Педагогика истории (Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1977. Памятники

культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1978). XII — 252.

**Г. Федоров.** Извечный круговорот (Н. Н. Велецкая. Языческие символы славянских архаических ритуалов). III — 280.

**В. Френкель.** Портрет ученого (Сергей Иванович Вавилов. Очерки и воспоминания). I — 280.

**Н. Эйдельман.** Поэт — историк строгой (А. А. Формозов. Пушкин и древности. Наблюдения археолога). VIII — 259.

#### КОРОТКО О КНИГАХ

Татьяна Комиссарова. — Два мира — две судьбы. Сборник статей. В. Лобачев. — И. Г. Моргенштерн, Б. Т. Уткин. Занимательная библиография. I — 286.

Г. Петрова. — Геннадий Абрамов. Теплом одеть. Рассказы. А. Л. Горловский. — Анатолий Ренин. Словом слышу. Книга стихов. Ст. Лесневский. — Евг. Петряев. Записки книголюба. В. Барвинский. — Г. А. Разумов, М. Ф. Хасин. Тонущие города. Т. Гнедина. — Ирина Радунская. Предчувствия и свершения. II — 283.

Ю. Игрицкий. — Советский Союз глазами американцев. 1917 — 1977. Документы и материалы. Ю. Орфеев. — А. Чачко. Искусственный разум. Б. Розен. — Е. Мархинин. В пасти огнедышащих драконов. Н. Черкасова. — Н. А. Троицкий. Безумство храбрых. Русские революционеры и карательная политика царизма 1866 — 1882 гг. Н. Макарова. — Николай Самохин. Так близко, так далеко. Повесть. Л. Абельев. — Борис Шмидт. Стихи о моих сокровищах. А. Л. Хорт. — Витауте Жилинскийте. Парадоксы. Юморески, пародии. III — 282.

Владимир Буданин. — Воспоминания о Г. И. Петровском. Д. Биленкин. — А. М. Вейн. Три трети жизни. Лев Озеров. — Петр Семьнин. Разгадывая жизни смысл. Стихи. Владимир Шленский. — Ритмы. Африканская лирика XX века в переводах Михаила Курганцева. Ст. Золотцев. — Николай Шумаков. Дальний гром. Стихи. И. Дубашинский. — Н. Анастасьев. Разочарования и надежды. Заметки о западной литературе сегодня. Сергей Львов. — Е. Кузьмина. О том, что помню. Татьяна Кохман. — В. К. Кюхельбекер. Путешествие. Дневник. Статьи. Л. Антопольский. — Повесть о Петре и Февронии. Н. Шафер. — Э. Медведкин. Звонок самому себе. Юмористические рассказы. IV — 264.

Д. Панков. — С. М. Исаченко. В одной цепи с атакующими. Михаил Найдич. — Живые строки войны... Э. Бабаев. — Василий Субботин. Роман от первого лица. Василий Субботин. Бранденбургские ворота. Стихи. В. Локин. — Наталья Кравцова. Вернись из полета! Повести. V — 269.

Владимир Санин. — Геннадий Паценок. Зал ожидания. Рассказы, повести. Ксения Бродер. — Русская сатирическая сказка. В. Непомнящий. — А. Крейн. Жизнь музея. Художник В. Кошмин. Г. Павлова. — А. С. Пушкин. Эпиграммы. Художник Н. В. Кузьмин. А. Румянцев. — С. В. Мелихов. Количественные ме-

тоды в американской политологии. В. Елисеева. — К. Моисеева. Люди ищут забытое царство. Рассказы об археологических открытиях. Вадим Рабинович. — Фарли Моузт. Кит на заклание. Эрнст Генри. — П. П. Черкасов. Агония империи. А. Княжичский. — Н. И. Пруцков. Русская литература XIX века и революционная Россия. Ю. Бессмертный. — А. Л. Ястребицкая. Западная Европа XI — XIII веков. Эпоха, быт, костюм. А. Андреев. — М. Т. Иовчук, Л. Н. Коган. Советская социалистическая культура: исторический опыт и современные проблемы. VI — 263.

Андрей Василевский. — Александр Вампилов. Белые города. Рассказы, публицистика. Александр Вампилов. Билет на Усть-Илим. Публицистика. Виктор Федотов. — Владимир Туркин. Полос доверия. Стихотворения и поэмы. Марк Соболев. — Михаил Шлаин. Вечные темы. Стихи. С. Овчинникова. — Станислав Токарев. Наташа и другие. Документально-литературные повести о спорте. VII — 269.

Василий Субботин. — Л. Финк. Константин Симонов. Творческий путь. Г. Соловьев. — Л. Лазарев. Василь Быков. Очерк творчества. Владимир Успенский. — Иван Арсентьев. Три жизни Юрия Байды. Роман. А. Кожин. — В. Морозова. Всероссийский розыск. Повесть о Конкордии Самойловой. А. Бочаров. — Е. Сидоров. На пути к синтезу. Статьи. Портреты. Диалоги. Григорий Левин. — Юрий Окунев. Власть лирики. Книга стихов. З. Соколова. — Юрий Папоров. Хемингуэй на Кубе. Очерки. Сергей Алханов. — Андрей Дементьев. Рождение дня. Стихи. Андрей Дементьев. Подборка стихов. Сергей Львов. — Библиотеки Москвы. Справочник. И. Дрейгер. — И. И. Середюк. Восприятие архитектурной среды. И. Забелин. — В. А. Есаков. География в России в XIX — начале XX века. И. Эвентов. — Валентина Левидова. У нас в Ленинграде. Повести и рассказы. VIII — 263.

П. Черкасов. — А. Арбатов. Безопасность в ядерный век и политика Вашингтона. А. Мыльников. — Ю. А. Лимонов. Культурные связи России с европейскими странами в XV — XVII веках. Ф. Чирсков. — Я. Гордин. Пусть каждый исполнит свой долг. Николай Рулин. — Михаил Беляев. Улетающая любовь. Лирика. Михаил Беляев. Роса на белых яблонях. Стихи и поэма. У. Гуралик. — Л. Быковцева. Горький в Италии. Монография. Н. Львова. — Б. Покровский. Размышления об опере. IX — 267.

Владимир Буданин. — Николай Кузьмин. Рассвет. Повесть о Федоре Сергееве (Артеме). Эр. Ханпирра. — К. П. Матвеев. Ассирийцы и ассирийская проблема в новое и новейшее время. Ю. Михайлов. — А. К. Жирицкий. Плата за безответственность (Экологический кризис в современном буржуазном обществе и идейно-политическая борьба). А. Белорусец. — Юрий Яковлев. Жить нам суждено. Повести и рассказы. Андрей Василевский. — Ричи Достян. Кинто. Повесть. А. Устинов. — Воспоминания об Иване Шухове. Г. Знаменская. — Валентин Дебекин. Не сгоревшие на костре. Немецкая

антифашистская литература 1933—1945 годов. X — 266.

Владимир Разумневич.— Владимир Беляев. Избранные произведения в двух томах. И. Борисова.— Б. Зингерман. Очерки истории драмы XX века... Маргарита Ногтева.— Елена Быкова. Большая Ордынка. Рассказы. Анна Илупина.— Асаф Мессерер. Танец. Мысль. Время. И. Пушкарева.— Ф. Д. Рыженко. Декабрь 1905. М. Галай.— А. И. Молсачий. Самолеты уходят в ночь. О. Татевосян.— О. И. Ларичев.

Наука и искусство принятия решений. А. Божанов.— А. Нежный. Решающий довод. В. Френкель.— В. В. Кунин. Библиофилы пушкинской поры. Ю. Шаропов.— Революционеры текстильного края. Сборник очерков. Г. Степанидин.— Ева Анчел. Мифы потрясенного сознания. В. Маркин.— П. А. Кропоткин. Великая французская революция 1789—1793. XII — 256.

Книжные новинки: I, II, III — 288; IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI — 272; XII — 266.




---

**Главный редактор С. С. Наровчатов**

**Редакционная коллегия:**

**Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. В. Карпов (первый зам. главного редактора), В. А. Косолапов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов (зам. главного редактора), А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекеля**

---

Адрес редакции: 103306 ГСП Москва К-6. Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29  
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»  
Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

---

Сдано в набор 25/IX 1980 г. Объем 17 п. л. Подписано к печати 21/XI 1980 г.  
Формат бумаги 70×108<sup>1/16</sup>. 27,13 уч.-изд. л., 8,5 бум. л. (23,8 усл.-печ. л.)  
А 03512. Тираж 320 000 экз. Зак. 3188.

---

Набрано и сматрицировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР». Москва, Пушкинская пл., 5.  
Отпечатано в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Врест-Литовский проспект, 94. Зак. 05709.



Цена 70 коп.

70636